ISSN 0130-6545

10.1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЖОРЖ БЕРНАНОС
Диалоги кармелиток

КОЛЕТТ
Больной ребенок

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ
Жиль и Жанна

МОРИС БЛАНШО
При смерти

ЭЖЕН ИОНЕСКО
Белое и черное

Специальный номер журнала, посвященный французской литературе, выходит при содействии и поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в Москве.

Fanurge

Seigneur de Basrecul

François Villon

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Перед нами Франция мытарств и благодати, Франция поразительных взлетов духа и черных провалов отчаяния, Франция пейзажей и лиц, исполненных удивительного разнообразия — того разнообразия, что выковывает и формирует душу нашей страны, как любил это подчеркивать Фернан Бродель. Такова Франция, которая возникает передо мной, когда я раскрываю этот специальный номер и начинаю перелистывать некоторые из представленных в нем произведений.

Уж лучше вовсе не верить в Бога, чем верить в Бога, который управляет миром как машиной! — восклицает Бернанос. И мы сразу оказываемся очень далеко от картезианского духа, от того рационализма, который, как принято считать, характерен для французов. Оказываемся в самом сердце той страстной и пламенной Франции, где в смутные времена, в пору застоя и мрака, расцветает странная святость кармелиток Компьеня. Но мы находим здесь и меланхолию, одну из ведущих тем этого номера журнала, звучащую под знаком Верлена, находим и «любовное томление», и безумие жгучей любви, снедающей Жиля де Ре и доводящей его до потери рассудка, находим, наконец, и насмешку, которой пронизано творчество гениального нигилиста Ионеско. Какая впечатляющая панорама! Русские сумели напомнить и о том, что во Франции существует также литература крайностей, милая сердцу Мориса Бланшо, который умеет анализировать, укрощать и высвечивать интимнейший внутренний трепет.

Я хотел бы выразить всей редакции «Иностранной литературы», так много делающей для того, чтобы французскую литературу знали и любили в России, мою глубокую признательность и мои самые сердечные чувства. Не сомневаюсь, что этот номер — неординарное по своей смелости литературное начинание — встретит восторженный отклик.

В то же время мне хочется от всего сердца поблагодарить переводчиков, этих паромщиков-чудотворцев, этих незаметных скромных героев, без которых наш эксперимент мог бы закончиться тем же, чем обернулся он для строителей Вавилонской башни. Я несколько раз пытался и сам по-любительски что-то переводить, и это оказывалось для меня своего рода упражнением духа. Желаю каждому, кто любит литературу, произвести когда-нибудь такой опыт, который может стать для него истинным озарением. Писатель, которого вы переводите, навсегда становится вашим другом.

Читателю, тому «доброжелательному читателю», к которому так запросто обращался Стендаль, эти страницы откроют Францию, красоту ее земли и ее неба, простирающегося до России.

ПЬЕР МОРЕЛЬ,

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Франции в России

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Л. А. ЖМЫРЕВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

10 октябрь 1993

СОДЕРЖАНИЕ

ГИЛЬВИК — Стихи из книг, вышедших в 1987—1993 гг. *(Перевод Мориса Ваксмахера)* 5

ЖОРЖ БЕРНАНОС — Диалоги кармелиток *(Пьеса. Перевод Юлии Гинзбург)* 10

КОЛЕТТ — Больной ребенок *(Рассказ. Перевод Н. Шаховской.)* . . . 64

АЛЬБЕРТИНА САРРАЗЕН — Перелом *(Роман. Перевод Н. Мавлевич)* 78

ПЬЕР ДАК — Объявления из газеты «Мозговая кость» *(Перевод Н. Бунтман)* 119

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ — Жиль и Жанна *(Повесть. Перевод Елены Морозовой)* 122

АЛЬФОНС АЛЛЕ — Миниатюры *(Перевод Н. Бунтман)* 161

МОРИС БЛАНШО — При смерти *(Повесть. Перевод И. Стаф. Послесловие С. Зенкина)* 169

Литературное наследие

ПОЛЬ ВЕРЛЕН — Стихи *(Перевод и вступление А. Гелескула)* . 206

ЭЖЕН ИОНЕСКО — Белое и черное *(Перевод Ю. Стефанова)* . . 214

К нашим иллюстрациям

ВЛАДИМИР ИОРДАНСКИЙ — Раздвигая границы реализма . 229

Критика

Литературная пресса мира

«Magazine littéraire». Досье «2000 лет горестей любви»

Г. ЛИСИНА — Расследование ведет «Магазин литтерер». РОЛАН ЖАККАР — Слон и муравей... ЛЮК БРИССОН — Платон: первая на Земле разлука. МИШЕЛЬ ДЕЛОН — Инцест: мерзости и соблазны. ПАТРИС БОЛЛОН — Дон Жуан: истинная горесть любви. ИВАН ЛЕКЛЕРК — Стендаль: In love and melancholy. ФЛОРАНС САРРОЛА — Безутешная плоть, или Горести добродетели. *(Перевод Н. Хотинской.)* ЖАН БОРИ — Конец века: бедствия любви. АЛЕН БЬЮЗИН — Пруст: атмосфера ревности. *(Перевод Т. Пошерстник.)* БЕРНАР ДЕЛЬВАЙ — Андре Жид: недоразумения любви. ХУГО МАРСАН — СПИД: роковая любовь. ПЬЕР-МАРК ДЕ БЬЯЗИ — Эммочки образца 1992 года. *(Перевод А. Волкова.)* 230

У книжной витрины . 261

Курьер «ИЛ» 264

Французская литература на страницах «ИЛ» (краткая библиография) 63, 160,168

Авторы этого номера 270

© «Иностранная литература», 1993

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»

Роман известного английского писателя ПИТЕРА АКРОЙДА **«Завещание Оскара Уайльда»** написан в форме дневника, который Уайльд якобы вел в Париже в 1900 году в последние месяцы своей жизни. Тонко стилизованная Акройдом лирическая проза дневника воскрешает различные периоды жизни выдающегося писателя — как дни славы и триумфа, так и дни падения, позорного суда и тюрьмы. В дневник вкраплены вставные новеллы-притчи, написанные в духе уайльдовских сказок. Вместе с романом будут опубликованы письма Уайльда и редкие фотографии.

В рубрике «ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА» мы представим читателям австрийский литературный журнал «Веспеннест».

Рубрика **«Возвращаясь к напечатанному»** отдана на сей раз романам Милана Кундеры «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия». **«Герои Кундеры: между пустотой и кичем»** назвал свою статью известный критик и постоянный автор журнала Алексей Зверев.

Завершается публикация глав книги знаменитого американского адвоката Эдварда де Грациа **«Девушки оголяют колени везде и всюду.** Закон о непристойности и подавление творческого гения». Читателей ждет история судебного преследования романов Генри Миллера «Тропик Рака» и Владимира Набокова «Лолита».

На страницах обложки — иллюстрации французского художника АЛЬБЕРА ДЮБУ к роману Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**

Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 07.07.93. Подписано в печать 09.09.93.
Формат 70x108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,45. Номер выходит в увеличенном объеме.
Заказ № 3881

Тираж 56 000 экз. Цена по подписке 95 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16

ГИЛЬВИК

СТИХИ

из книг,
вышедших в 1987—1993 гг.

Перевод ***МОРИСА ВАКСМАХЕРА***

* * *

Если бы тишина
Утратила свои деревенские корни,

Если бы о лесах
Никто даже слыхом не слыхивал,
Разве что археологи,

Если бы ветер, что свищет на улицах,
Ничего бы не знал
Ни о вспаханном поле,
Ни о дальнем зове кукушки,—

Как бы тогда
Обнимались влюбленные
В сыром полумраке домов?

* * *

Все эти вздрагиванья и толчки,
Которые ты ощущаешь
В самом себе и вокруг,—

Ты должен их подхватить,
И воедино собрать,
Пока они не исчезли,

И изваять из них что-то вроде скульптуры,
Что смогла бы противиться
Натиску времени.

© Éditions Gallimard, 1987
© Éditions Gallimard, 1989

* * *

Не выжидай слишком долго.

Если ты не поймаешь строку,
Как только она к тебе явится,

Быть может, уже никогда
Она к тебе не вернется,

Быть может,
Она растворится в тумане

Или украдкой скользнет
В мир других измерений.

* * *

Это солнце в рассветном небе —
Ты ведь сам его прилепил
Над линией горизонта.

Ведь это ты его и придумал,
И в небо метнул,
И вскормил.

И теперь оно тебе светит
И греет тебя.

Славный будет нынче
Денек.

* * *

Ночью не будет солнца,
Но будет
Воспоминанье о нем,
Будет легкая дрожь,
Что охватит тебя при встрече

Этого воспоминанья
И близящегося рассвета.

* * *

Когда я иду в темноте,
Я начинаю петь,

Потому что не нравятся мне
Песни, какие поет темнота,

В них чудится
Что-то враждебное мне.

© Éditions Gallimard, 1990

* * *

В сухую погоду
Уловить попытайся
Песню червей дождевых.

* * *

Наш мир
Это конкурс песни

Без жюри
И с единственной премией —

Радостью, оттого что поёшь.

* * *

Что же должен ты сделать,
Чтобы сегодняшний день

Стал местом, где время
Обходится с тобой дружелюбно,

Где даже стены тебе разрешают
Пройти напрямую сквозь них,

Где ты можешь полакомиться пространством,
Как сорванным с дерева яблоком,

Где углы с большим удовольствием
Славят окружность,

Где из земли в любую минуту
Может хлынуть источник прозрачный
И где всё о тебе проявляет заботу —
Всё, кроме тебя самого,

Ибо в этих волнах дружелюбия
Ты о себе забываешь.

* * *

Осень на первых порах
Еще не ведает страха
Перед тем, какой она позже станет.

Зима спервоначала
Смертельно себя боится
И порывается от себя отречься.

© Éditions Gallimard, 1993

* * *

Когда ничего не случается
И ты полагаешь,
Что в самом деле сейчас ничего не случается,

Случается все-таки вот что:
Ты полагаешь,
Что ничего не случается.

Именно это твое убеждение,
Оно и стало событием,

Где на самом себе
Замыкается время

И ты подражаешь ему.

* * *

Не удалось тебе сделать так,
Чтобы каждый миг твоей жизни
Был маленьким чудом.

Попытайся еще.

* * *

Присутствие пустоты
В чем-то сплошном и цельном.

Присутствие пустоты
Даже там,
Где для нее нет места.

Пустоты такого настырного нрава,
Что ее ни прогнать,
Ни заполнить.

Да и поворачиваться к ней спиной —
Бесполезно.

* * *

Не мешай тишине.

Не мешай ей, пожалуйста,
На свой лад поступать

В движении волн,
В скрежетанье зубов,
В петушином глазу,
В зевании устрицы,
В сне беспробудном булыжника,
В росте ногтей,

До и после
Всех шумов и шорохов

И даже над ними над всеми.
Не мешай тишине.

* * *

Если возле тебя
На орешнике
Неожиданно лист задрожал,

Поди-ка узнай, отчего эта дрожь —
От ветерка ли,
Которого сам ты не чувствуешь,

Или он собственной дрожью
Дрожит,
Потому что ведь очень непросто
Быть на свете листком, которому необходимо
Как можно дольше продержаться на ветке.

Поди-ка узнай,
Не из-за тебя ли он вздрогнул

И не твой ли
Внутренний трепет
Вдруг передался ему.

* * *

Божья коровка, что села мне на руку,
Слушала вместе со мной
Молчание звезд.

* * *

Всюду вокруг себя,
И под ногами, и в воздухе,
Ты ощущаешь вибрацию,

Будто солнечная система
Захвачена неведомыми шестернями,
Которые подгоняют и торопят ее...

Нет, постой, но ведь это дрожание
Означает, быть может, что, как всегда,
Сквозь тебя пробивается время

И что обычно насилие это
Оно чинит над тобой
Не столь откровенно.

ЖОРЖ БЕРНАНОС

Диалоги кармелиток

ПЬЕСА

Перевод ЮЛИИ ГИНЗБУРГ

От переводчика

«Диалоги кармелиток» (1948) были написаны замечательным французским католическим писателем Жоржем Бернаносом (1888—1948) за несколько месяцев до смерти. Единственная пьеса романиста стала не только хронологически последним его сочинением, но и духовным завещанием, вобравшим в себя итоги многих размышлений, длившихся всю его жизнь. Между тем начинался этот труд как рядовая заказная работа профессионального литератора. В 1947 году священник отец Брюкберже сделал сценарий фильма по новелле немецкой писательницы Гертруды фон Лефорт «Последняя на эшафоте» и обратился к Бернаносу с просьбой написать диалоги для будущего фильма; литературный первоисточник был Бернаносу давно и хорошо знаком, и он принял предложение.

Сюжетом для новеллы Гертруды фон Лефорт, написанной в 1931 году, послужило подлинное историческое событие. 17 июля 1794 года за десять дней до конца якобинского террора шестнадцать монахинь кармелитского монастыря в Компьене были приговорены к смерти революционным трибуналом и в тот же день гильотинированы на одной из площадей Парижа. Одна из них, сестра Мария от Воплощения Сына Божия, случайно избежала ареста и оставила рассказ о судьбе своих подруг. В 1906 году папа Пий X причислил шестнадцать монахинь к лику блаженных.

Создатели фильма, ознакомившись с написанными Бернаносом диалогами, сочли, что для кино они не годятся. Только год спустя Альбер Беген, исследователь творчества Бернаноса, его друг и восторженный почитатель, обнаружил эту рукопись. Он дал ей название, разделил на пять картин и написал несколько связующих ремарок, пересказывающих содержание тех сцен, в которых диалогов не предполагалось. В таком виде «Диалоги кармелиток» были опубликованы, и вскоре их стали с большим успехом ставить театры во Франции и за ее рубежами. Сценический успех сопутствует пьесе и по сей день.

Кристиане Манифика [1]

Видите ли, в каком-то смысле Страх — это тоже дитя Господне, искупленное в ночь Страстной Пятницы. Он не хорош собой, нет! Его то осмеивают, то проклинают, все от него отрекаются... И всё же — не надо обманывать себя: он стоит у изголовья каждой агонии, он предстательствует за человека.

«Радость» [2]

Действующие лица

Маркиз де Лафорс.
Маркиза де Лафорс.
Шевалье, их сыи.
Бланш, их дочь (сестра Бланш от Смертной Муки Христовой [3]**).**
Госпожа де Круасси (мать Генриетта от Иисуса), настоятельница кармелитского монастыря.
Госпожа Лидуан (мать Мария от Святого Августина), новая настоятельница.
Мать Мария от Воплощения Сына Божия, помощница настоятельницы.
Мать Жанна от Младенца Иисуса, старшая из монахинь.
Мать Жераль, **Сестра Клара** } **пожилые монахини.**
Сестра Антония, привратница.
Сестра Екатерина.
Сестра Фелисите.
Сестра Гертруда.
Сестра Алиса.
Сестра Валентина от Креста.
Сестра Матильда.
Сестра Анна.
Сестра Марта.
Сестра Сен-Шарль., **Сестра Констанция от Святого Дионисия** } **совсем юные сестры.**
Капеллан монастыря.
Господин Жавлино, врач.
Маркиз де Гиш.
Гонтран.
Элоиза.
Роза Дюкор, актриса.
Монастырский нотариус.
Тьерри, лакей.
Антуан, кучер.
Члены муниципалитета, комиссары, гражданские чиновники.
Заключенные, стражники, простолюдины и простолюдинки.

ПРОЛОГ

Сцена I

1774 год. Площадь Людовика XV в Париже. Вечер праздника, устроенного в честь бракосочетания дофина, будущего Людовика XVI, с эрцгерцогиней Марией Антуанеттой. Сквозь веселящуюся толпу, сдерживаемую стражами порядка, пробираются кареты аристократов. В одной из карет можно разглядеть молодую чету. Это маркиз де Лафорс и его жена; она беременна. Маркиз выходит из кареты и направляется к трибунам.
Начинается фейерверк. Внезапно ящики с ракетами загораются, и один за другим следуют взрывы. Хотя никакой серьезной опасности нет, толпа впадает в панику. Давка, испуганные крики, люди падают на землю, их топчут. Юная маркиза в страхе защелкивает задвижку на дверце кареты. Кучер стегает лошадей, которые, закусив удила, срываются с места, не разбирая дороги. Вспышка ярости в толпе, лошадей останавливают, одно из стекол разбивается вдребезги. Мужской голос кричит: «Скоро все изменится, ваш брат попадет на бойню, а мы будем разъезжать в ваших каретах!» Солдаты подоспевают вовремя, чтобы спасти маркизу, которой грозит расправа.

Сцена II

Несколько часов спустя. Из спальни маркизы в особняке Лафорсов выходит врач. Он объявляет маркизу, что у того родилась дочь, но что молодая мать умерла.

---

[1] Кристиана Манифика — близкая приятельница Бернаноса в последние двадцать лет его жизни. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] «Радость» (1929) — роман Бернаноса.

[3] В некоторых католических орденах существует обычай при пострижении прибавлять к своему монашескому имени какое-нибудь богословское понятие либо имя святого, как бы выбирая себе тем самым особое покровительство и предмет особого поклонения.

Первая картина

Сцена I

Особняк Лафорсов. Апрель 1789 года. Маркиз и шевалье. Этот последний, очевидно, не ожидал увидеть здесь отца, но не может сдержать вопроса, рвущегося у него с языка.

Шевалье. Где Бланш?

Маркиз. Ей-богу, не знаю; какого дьявола вы не спросите об этом у ее служанок, вместо того чтобы врываться ко мне без стука, как дикарь?

Шевалье. Приношу тысячу извинений.

Маркиз. В вашем возрасте не беда быть чуточку сумасбродом. А в моем естественно держаться своих привычек. Визит вашего дядюшки лишил меня послеобеденного отдыха, и я сейчас немного задремал, по правде сказать. Но зачем вам нужна Бланш?

Шевалье. От нас только что ушел Роже де Дамас. Ему дважды пришлось сворачивать с дороги из-за огромной толпы. Говорят, они собираются сжечь на Гревской площади чучело Ревейона [1].

Маркиз. И пусть себе сжигают! Когда вино продают по два су, следует ожидать, что весна немного вскружит головы людям. Это все пройдет.

Шевалье. Если бы я смел позволить себе в вашем присутствии дурную шутку, я бы ответил, что в случае с каретой моей сестры вы рискуете оказаться неважным пророком. Дамас видел, как толпа остановила ее на углу улицы Бюси.

Маркиз де Лафорс, который держал в руках открытую табакерку, внезапно захлопывает ее, ничего из нее не взяв. Шевалье делает шаг к отцу, но тот мягко отстраняет его рукой.

Маркиз. Карета... толпа... Простите меня, эти видения слишком часто преследовали меня по ночам... Сейчас много говорят о бунте или даже о революции. Но кто не видел охваченной паникой толпы, тот ничего не видел... Проклятье! Все эти лица с перекошенными ртами, эти сотни и тысячи глаз... Помилуй Боже! Площадь из конца в конец вдруг закипает, трости и шляпы взлетают вверх на невероятную высоту, как будто их подбросил в воздух громовой крик. Кое-кто из свидетелей потом уверял меня, что не видел этих тростей и шляп, но я-то их видел, тысяча чертей!

Шевалье. Простите меня, отец, я должен был догадаться... Я опять сказал сгоряча.

Маркиз снова берет в руки табакерку, в задумчивости барабанит пальцами по крышке.

Маркиз. Пустяки, это я слишком горячусь, хоть моя голова и седа. Но хотел бы я знать, что общего между тем, что я видел тогда, и какими-то мелкими весенними беспорядками, кучкой пьяниц на парижских улицах? Карета у меня крепкая, старых лошадей ничем не испугать, Антуан нам служит уже двадцать лет, а два наших лакея — бывшие солдаты Наваррского полка. С вашей сестрой не может случиться ничего дурного.

Шевалье. О, вы же знаете, я боюсь не за ее безопасность, а за ее больное воображение.

Маркиз. Бланш просто слишком впечатлительна, правда. Доброе замужество все поправит. Полно! Хорошенькая девушка имеет право быть чуть-чуть трусихой. Немного терпения. Племянники у вас будут сорванцы.

Шевалье. Поверьте, здоровью Бланш, может быть, даже ее жизни угрожает не просто страх. Это страх, поразивший самую глубь души, как в дереве промерзает сердцевина... Да, поверьте, отец, в характере Бланш есть что-то, недоступное обычному разумению. Быть может, в менее просвещенном веке, чем наш...

Маркиз. Ба! Вы говорите, как суеверный простолюдин. Привязанность, которую вы неизменно испытываете к сестре, немного сбивает вас с толку. Мне Бланш почти всегда кажется спокойной, а порой даже веселой.

---

[1] Богатый фабрикант обоев, жестоко притеснявший своих рабочих. 27 апреля 1789 года толпа сожгла чучело Ревейона, а на следующую ночь разгромила его фабрику и магазины.

Ш е в а л ь е. Да, конечно, бывает, что я и сам обманываюсь, глядя на нее. Я бы поверил, что судьбу удалось умилостивить, если бы не замечал постоянно печать несчастья в ее взгляде. То, что голос может скрыть, взгляд выдает. Страх выходит наружу не в голосе, а во взгляде, это мне довелось понять на королевской службе, хотя я в ней еще новичок... Но зачем говорить вам о том, в чем вас умудрили другие войны, посерьезнее, и задолго до моего рождения!

Маркиз сделал было протестующий жест, потом медленно отвечает с видом человека, перебирающего свои воспоминания.

М а р к и з. Бог мой, это верно, мы знали о таких вещах, это нам бывало полезно при случае. Но мне странно слышать об этом из ваших уст. Мы-то о них не рассуждали, вот в чем разница между нашим поколением и вашим. Как мне могло прийти в голову судить о вашей сестре по своему опыту с капралами и сержантами Пикардийского полка? Вы не боитесь, что если вот так рассуждать обо всем, как вы, нынешние, то перестанешь понимать что бы то ни было? Когда Бланш с гувернанткой придут сюда через минуту, вы посмеетесь над вашими страхами, а она забудет о своих.

Ш е в а л ь е. Вы хотите сказать, что она снова отделается испугом... Отделается испугом! Когда речь идет о Бланш, соседство этих двух слов кидает в дрожь... Такая благородная и такая гордая девушка! Болезнь засела в ней, как червь в яблоке... Ах, отец, такие речи, конечно, покажутся вам невнятицей или заумью, особенно в моих устах... Но соблаговолите извлечь из них только самое необходимое, чтобы решиться отослать сестру в Мироменил или даже в Лимёйль, подышать весенним воздухом и попить молока от наших коров.

М а р к и з. Ну да, поиграть в крестьянку, как сейчас модно. К несчастью, замуж так девушку не выдать. Я был бы дураком, если бы отослал свою дочь как раз сейчас, когда могу порадоваться знакам внимания со стороны вашего друга. Молодой Дамас, конечно, это не то, что в былые времена назвали бы блестящей партией, но я охотно сделал бы его своим зятем. Что поделаешь? По мне, теперешние молодые люди слишком мудреные. А этот — настоящий француз, в нем даже совмещаются три столетия. От одного в нем рыцарство, от другого — изящество, а от нынешнего — веселость. Да, поистине он и есть тот, кого я называю добрым французом, добрым малым, славным малым. Настоящий сеньор во вкусе французского двора — вот кто такой Роже де Дамас. Черт побери! Вы и сами о нем так думаете.

Ш е в а л ь е. Он мой лучший друг, этим все сказано... Но не стройте себе иллюзий. В нынешнем своем дурном состоянии моя сестра ни за что не выйдет замуж за человека, который слывет повсюду самым отчаянным сорвиголовой. Она будет бояться, не придется ли ей краснеть перед ним.

М а р к и з. Ребячество!

Ш е в а л ь е. Не тешьте себя этим. Не знаю, способны ли странности ее натуры толкнуть Бланш на какой-нибудь предосудительный поступок — предосудительный по тем понятиям, которые она себе составила об обязанностях знатной девицы. Но я знаю, что она этого не переживет.

Сцена II

Дверь открывается, и на пороге появляется Б л а н ш — достаточно неожиданно, чтобы можно было засомневаться, не слышала ли она последних слов. Шевалье не может удержать удивленного жеста, но старый маркиз лучше владеет своими нервами и говорит совершенно естественным тоном.

М а р к и з. Бланш, вашему брату не терпелось снова вас увидеть.

Черты Бланш искажены волнением, но у нее, очевидно, было время прийти в себя, и она пытается говорить веселым голосом.

Б л а н ш. Шевалье слишком добр к своему зайчонку...

Ш е в а л ь е. Не повторяйте по каждому поводу шутку, которая имеет смысл только для нас двоих.

Бланш. Зайчики обычно не покидают норку на целый день. Правда, я свою норку везла с собой. Но поверьте, простое стекло между этой толпой и моей пугливой особой на какой-то миг показалось мне совсем ненадежной защитой. Наверно, у меня был очень смешной вид.

Маркиз делает сыну знак молчать.

Маркиз. Довольно! Мы поговорим о ваших приключениях за ужином, когда вы немного отдохнете. Лучше позабыть на минуту о том, что вы видели. А чернь не надо судить по виду... Парижане — народ добрый, здесь все кончается песенками.

Шевалье. Господин де Дамас видел вас на углу улицы Бюси, и он рассказывал мне сейчас, что сквозь окошко вы выглядели очень достойно...

Она краснеет от удовольствия и, чтобы скрыть замешательство, говорит все более возбужденно, отчего мало-помалу возникает ощущение неловкости. Маркиз переглядывается с сыном.

Бланш. О, господин де Дамас, конечно, видел то, что хотел увидеть... Я и вправду выглядела достойно? О Боже, опасность — это, наверно, как холодная вода; от нее сначала перехватывает дыхание, а когда погрузишься по шею, становится приятно. Но какой же у нас, девушек, может быть случай проверить себя? Чтобы оценивать, надо сначала знать, что чего стоит... Боже мой, когда я выходила из кареты, представьте себе, госпожа Жанен не верила своим глазам, я чувствовала себя такой легкой... Эта вечная тяжесть у меня на сердце... *(Прижимает руку к груди, озирается вокруг и смолкает.)* Что это я говорю? Я просто глупышка, простите меня... *(Прежде чем ее брат успевает что-то сказать, она продолжает, но уже с деланной веселостью.)* Церемония у сестер визитандинок [1] была долгая, и я очень устала. Конечно, поэтому я и болтаю вздор. Если позволите, отец, я последую вашему совету и немного отдохну перед ужином. Смотрите! Как сегодня быстро темнеет...

Маркиз. Я бы сказал, что надвигается гроза, если бы время года не было для грозы слишком раннее. Пока вы говорили, небо внезапно затянулось.

Она идет к лестнице, брат ее провожает.

Шевалье. Раз вы уходите к себе в комнату, велите тотчас принести свечей и не оставайтесь там одна. Я знаю, сумерки всегда наводят на вас тоску. Вы мне говорили, когда были совсем маленькая: «Я умираю каждую ночь и воскресаю каждое утро».

Бланш. Потому что есть только одно утро, шевалье: утро Пасхи. Но каждую ночь для нас настает ночь Пресвятой Смертной Муки...
(Уходит.)

Сцена III

Маркиз. Воображение бросает ее из одной крайности в другую. Что за черт! Как понимать эти ее последние слова?

Шевалье. Не знаю, да это и не важно! Ее взгляд, ее голос — вот что переворачивает душу. Лошадей уже распрягли, пойду расспрошу старину Антуана.

Уходит. Сквозь приоткрытую дверь доносится крик ужаса. Маркиз на мгновение в нерешительности, куда идти, затем направляется к лестнице. Слышны шаги по ступенькам. Маркиз как будто узнает кого-то в темноте и кричит.

Маркиз. Это ты, Тьерри?

Шаги приближаются, и входит молодой лакей. Он очень бледен.

Маркиз. Что случилось, мой мальчик?

Лакей. Я зажигал свечи, и тут мадемуазель Бланш вошла в ком-

---

[1] Монахини женского религиозного ордена, основанного в 1610 г. Название связано с библейским эпизодом Посещения (visitation — *по-французски)* — Девой Марией Елисаветы, матери Иоанна Предтечи.

нату... Наверно, она сначала увидела мою тень на стене. Я задернул занавески.

Сцена IV

Комната Бланш. Увидев входящего отца, Бланш идет ему навстречу. Ее голос, движения, черты лица выражают решимость и какую-то смиренную безнадежность.

Маркиз. Поднявшись к вам, вместо того чтобы позвать вашу гувернантку, я поддался первому порыву. Простите мою неловкость. Я вижу, что ничего серьезного, к счастью, не произошло.

Бланш. О, вы самый снисходительный и учтивый отец на свете...

Маркиз. Господин Руссо желает, чтобы мы были друзьями своих детей, чего нельзя сказать о нем самом [1]. Но по здравом размышлении, боюсь, как бы мы с этой дружбой в один прекрасный день не пожалели о снисходительности и учтивости. Ведь дружба на руку скорее нам. Другом быть легче, чем отцом... Но не будем больше говорить об этом пустячном случае.

Бланш. Нет такого ничтожного случая, отец, чтобы в нем не отразилась воля Божия, как вся безмерность неба отражается в капле воды. Да, это Господь привел вас сюда, чтобы выслушать то, что мне столько раз не хватало мужества вам сказать. Если вы позволите, я решила постричься в кармелитки.

Маркиз. В кармелитки!

Бланш. Я думаю, такое признание удивляет вас меньше, чем вы хотите показать.

Маркиз. Увы! Со столь добродетельной юной особой, как моя дочь, всегда нужно опасаться голоса неумеренного благочестия. Вы знаете, из-за злосчастных обстоятельств вашего рождения я питаю к вам привязанность особенно нежную и не хотел бы вас неволить ни в чем. Мы поговорим обо всем этом на досуге, а пока подумайте о том, что вы, без сомнения, переоценили, — не свое мужество, нет, но свои силы и здоровье.

Бланш. Мое мужество...

Маркиз. Девушка не такая гордая, как вы, не стала бы терзать себя из-за того, что вскрикнула разок.

Бланш. Мое мужество... *(Внезапно решается говорить; пытаясь убедить отца, она словно поддается понемногу надежде убедить саму себя.)* Боже, да, я действительно думаю — во мне немало такого, за что вам не придется краснеть. Зачем бы Господу наделять меня только презренными свойствами, создавая меня такой, какая я есть? Слабость моей натуры — не просто унижение, Им ниспосланное, но и знак Его воли, запечатленный на Его смиренной служанке. Я вовсе не должна стыдиться этого, скорее уж меня может искушать гордость таким предназначением. О, конечно, я знаю, что в вашем присутствии не следует хвалиться кровью предков и величием нашего рода. Пусть! Каким чудом я могла бы уродиться вовсе недостойной стольких замечательных людей, знаменитых как раз своей отвагой? Есть разная храбрость — так я теперь думаю. Одна, разумеется, в том, чтобы не дрогнуть перед дулом мушкета. А другая в том, чтобы пожертвовать всеми преимуществами завидного положения и уйти жить среди тех, подчиняться тем, чье происхождение и воспитание много ниже твоего.

Она умолкает, немного смущенная. Старый маркиз слушает ее молча, опустив голову. Потом произносит с усилием, словно исполняя свой долг.

Маркиз. Дочь моя, в вашем решении больше гордыни, чем вы думаете. Правда, святошей меня не назовешь, но я всегда думал, что люди нашего звания должны вести себя с Богом честно. Мирскую жизнь не покидают с досады, как новобранец, который дает себя убить в первом же жарком деле из страха струсить и тем без всякой пользы лишает своей службы короля и отечество.

---

[1] Жан-Жак Руссо признавался в своей «Исповеди», что отдавал собственных детей в приют.

Она явно пошатнулась от удара, но не сдалась.

Бланш. Я не презираю мир, и едва ли будет правдой сказать, что я его боюсь. Просто для меня мир — как стихия, в которой я не могу жить. Да, отец, я самим существом своим не выношу шума и оживления, меня отвращает и самое изысканное общество, многолюдные улицы меня оглушают, и, просыпаясь ночью, я невольно вслушиваюсь, как шумит там, за нашими тяжелыми шторами, за пологом моей постели этот огромный неутомимый город, который утихает только к рассвету. Избавьте меня от этого непосильного испытания, и вы увидите, на что я способна. Неужели вы осудите молодого офицера, отказывающегося от службы в королевском флоте, если он не переносит моря?

Маркиз. Дорогое мое дитя, только вашей совести решать, по силам вам такое испытание или нет...

Бланш. О, сжальтесь, отец, оставим этот спор. Сжальтесь, позвольте мне верить, что существует лекарство от этой ужасной слабости, несчастья моей жизни! Увы! Господин де Дамас, должно быть, совсем слеп, когда речь идет обо мне. Ведь он счел, что я вела себя достойно сегодня. Господи! Я едва сидела на подушках, я вся заледенела и не отогрелась до сих пор, потрогайте мои руки... Ах, отец! Если бы я не надеялась, что у Неба есть какой-то промысл обо мне, я умерла бы со стыда тут у ваших ног. Быть может, вы правы, я не прошла испытание до конца. Но Господь не посетует на меня за это. Я все приношу ему в жертву, я все покидаю, ото всего отрекаюсь — только пусть он вернет мне честь.

Вторая картина

Сцена I

Несколько недель спустя. Приемная монастыря кармелиток в Компьене. Настоятельница и Бланш разговаривают через двойную решетку, задернутую черной тканью. Настоятельница, госпожа де Круасси,— старая и явно больная женщина. Она неловко пытается пододвинуть свое кресло поближе к решетке. Ей это удается с трудом. Она немного задыхается и говорит улыбаясь.

Настоятельница. Не подумайте, что это кресло — привилегия моего сана, как табурет у герцогинь. Увы! Я хотела бы чувствовать себя в нем удобно из любви к моим дорогим дочерям — они так обо мне заботятся. Но возвращаться к старым привычкам, слишком давно утраченным, непросто. Мне теперь ясно — то, что должно бы доставлять удовольствие, для меня всегда будет только унизительной необходимостью.

Бланш. Как это, наверно, радостно — сознавать, что ты так далеко продвинулась по пути отрешения от мира, что уже не можешь вернуться назад.

Настоятельница. Бедное мое дитя, привычка в конце концов позволяет отрешиться ото всего. Но какой прок монахине отрешаться ото всего, если она не отрешится от самой себя, то есть от собственного отрешения?

Молчание.

Я вижу, суровость нашего устава вас не пугает?

Бланш. Она меня притягивает.

Настоятельница. Да, да, у вас высокая душа.

Молчание.

Запомните все же, что самые простые с виду обязанности на деле зачастую оказываются самыми тяжелыми. Можно одолеть гору и споткнуться о камешек.

Бланш *(горячо)*. Ах, матушка, кроме этих маленьких жертв, есть другие страшные вещи...

Настоятельница. Ну, ну, что же это за страхи?

Бланш *(все менее уверенным голосом)*. Преподобная мать моя, я, наверно, не сумею... Мне трудно... вот так... сразу... Но если позволите, я подумаю и отвечу вам после...

Настоятельница. Как пожелаете... А могли бы вы ответить мне теперь же, если я спрошу, в чем вы полагаете первую обязанность кармелитки?

Бланш. Побеждать естество.

Настоятельница. Прекрасно. Побеждать, а не насиловать — разница очень важная. Тому, кто стремится насиловать естество, удается только утратить естественность. А Господь ждет от своих дочерей, чтобы они не разыгрывали всякий день комедию перед Ним, но служили Ему. Хорошая служанка всегда там, где она должна быть и где ее присутствие не бросается в глаза.

Бланш. Я мечтаю проскользнуть незамеченной...

Настоятельница *(улыбаясь, с легкой иронией)*. Увы! Это дается лишь долгими усилиями, и слишком жаркое желание тут не облегчает дела... Вы очень высокого происхождения, дочь моя, и мы не требуем от вас забыть о нем. Отказаться от преимуществ такого происхождения не значит сложить с себя все обязанности, им налагаемые, и эти обязанности покажутся вам здесь труднее чем где бы то ни было.

Протестующее движение Бланш.

О, разумеется, вы горите желанием занять последнее место. Опасайтесь этого тоже, дитя мое... Стремясь спуститься как можно ниже, рискуешь перейти меру. А крайность в унижении, как и во всем прочем, порождает гордыню. И такая гордыня в тысячу раз изощреннее и коварней мирской, которая по большей части есть лишь пустое тщеславие...

Молчание.

Что вас толкает в наш орден?

Бланш. Ваше Преподобие велит мне говорить со всей откровенностью?

Настоятельница. Да.

Бланш. Хорошо. Меня манит подвижническая жизнь.

Настоятельница. Подвижническая жизнь — или некий образ жизни, который, как вам кажется (и напрасно), облегчает путь к подвигу, так сказать, подгоняет подвиг вам по росту?

Бланш. Простите меня, преподобная мать моя, я никогда не строила таких расчетов.

Настоятельница. Самые опасные из наших расчетов — те, которые мы называем иллюзиями...

Бланш. Наверно, у меня есть иллюзии. Но я только того и прошу, чтобы меня от них избавили.

Настоятельница *(с нажимом на этих словах)*. Чтобы вас от них избавили... Вам придется заниматься этим самой, дочь моя. Здесь у каждой слишком много хлопот со своими собственными иллюзиями. Не обольщайтесь мыслью, что первейший долг монахинь — приходить на помощь друг другу, чтобы украситься в очах нашего небесного Господина, как те девушки, что обмениваются пудрой и румянами перед балом. Наше дело — молиться, как дело лампы — светить. Никому не придет в голову зажигать лампу для того, чтобы она светила другой лампе. «Каждый для себя» — такой закон в миру, и наш закон немного на него похож: «Каждый для Бога»! Бедняжка! Вы мечтали об этой обители, как пугливый ребенок, которого няньки уложили в постель, мечтает в своей темной спальне о тепле и свете гостиной. Вы ничего не знаете о том одиночестве, в котором обречена жить и умереть настоящая монахиня. Ведь есть какое-то число настоящих монахинь, хотя гораздо больше — посредственных и дурных. Да, да! Здесь, как и повсюду, зло остается злом, и от прокисших сливок, хотя они и сделаны из доброго молока, тошнит не меньше, чем от тухлого мяса... О, дитя мое! Нежности не в духе нашего ордена, но я стара и больна, конец мой очень близок, и я могу себе позволить нежность к вам... Вас ожидают суровые испытания, дочь моя...

Бланш. Это не страшно, если Бог даст мне силы.

Молчание.

Настоятельница. Он будет испытывать не вашу силу, но вашу слабость...

Молчание.

Мирские прегрешения хороши тем, что их зрелище отвращает такие души, как ваша. Но те, что вы найдете здесь, вас обманут. Если все взвесить, дочь моя, то быть плохой монахиней — это, по-моему, плачевней, чем быть разбойником. Разбойник может раскаяться, и это будет для него как бы вторым рождением. Но плохой монахине рождения не предстоит, она уже родилась, родилась неудачно, и, если не случится чуда, она так и останется недоноском.

Бланш. О мать моя, я хочу видеть здесь только благое...

Настоятельница. Кто под видом милосердия закрывает глаза на грехи ближнего, тот зачастую всего лишь разбивает зеркало, чтобы не видеть в нем самого себя. По немощи нашей натуры мы распознаем собственные пороки сначала в других. Остерегайтесь поддаваться неразумной снисходительности, которая расслабляет сердце и затемняет рассудок.

Молчание.

Дочь моя, добрые люди недоумевают, для чего мы нужны, и в конце концов их вполне можно понять. Мы думаем, наша аскеза дает им доказательства того, что можно обойтись без многих вещей, которые им кажутся необходимыми. Но для вящей убедительности примера они должны твердо знать, что эти вещи нам так же необходимы, как им... Нет, дочь моя, наше заведение основано не для того, чтобы умерщвлять плоть и хранить добродетели, мы — дом молитвы, одна лишь молитва оправдывает наше существование, и кто не верит в молитву, может держать нас только за обманщиков или дармоедов. Если бы мы сказали это нечестивцам откровеннее, нас бы лучше понимали. Разве не вынуждены они признать, что вера в Бога присуща всем? И разве это не странное противоречие, что все люди верят в Бога, а молятся Ему так мало и так плохо? Они чтят Его только страхом. Если вера в Бога дана всем, разве не должно быть то же и с молитвой? Да, дочь моя, такова воля Божия; он не сделал молитву, в ущерб нашей свободе, потребностью столь же властной, как голод и жажда, но допустил, чтобы мы могли молиться один вместо другого. Так всякая молитва, пусть даже молитва бедного пастуха, стерегущего стадо, становится молитвой всего рода людского.

Краткое молчание.

То, что бедный пастух делает время от времени по движению сердца, мы должны делать день и ночь. Не потому, что мы уповаем молиться лучше, чем он, напротив. Простота души, тихая покорность величию Божию — у него это миг вдохновения, благодать, подобно озарению свыше; а мы посвящаем всю жизнь тому, чтобы этого достичь — или обрести вновь, если уже испытали когда-то. Ведь это дар детства, и чаще всего он с детством и умирает... Когда выходишь из детства, нужно очень долго страдать, прежде чем в него вернешься, как на исходе ночи встречаешь новую зарю. Вернулась ли я в детство?

Бланш плачет.

Настоятельница. Вы плачете?

Бланш. Я плачу больше от радости, чем от боли. Слова ваши суровы, но я чувствую, что и более суровые слова не могли бы сломить порыв, влекущий меня к вам.

Настоятельница. Его следовало бы умерить, а не ломать. Поверьте, это дурной способ вступать в Кармель — кидаться в него очертя голову, подобно несчастному, за которым гонятся грабители.

Бланш. Правда, у меня нет иного прибежища.

Настоятельница. Наш орден не прибежище. Не орден хранит нас, дочь моя, а мы храним наш орден.

Долгое молчание.

Скажите мне еще: выбрали вы уже для себя, хотя это и не очень вероятно, монашеское имя — на случай, если мы вас допустим к испытанию? Но вы, конечно, об этом еще не подумали?

Бланш. Подумала, мать моя. Я хотела бы зваться сестрой Бланш от Смертной Муки Христовой.

Настоятельница чуть заметно вздрагивает. Она как будто колеблется какое-то мгновение, губы ее шевелятся; потом ее лицо вдруг обретает спокойное и твердое выражение человека, который принял решение.

Настоятельница. Ступайте с миром, дочь моя.

Сцена II

Какое-то время спустя, перед запертой дверью внутри монастыря кармелиток. Бланш молча ждет вместе с капелланом. Ее должны принять послушницей. Дверь открывается, позволяя увидеть, что Община собралась. Все монахини в черных покрывалах, ниспадающих с головы до пояса. Когда дверь снова запирается, они откидывают покрывала. Настоятельница и мать Мария от Воплощения Сына Божия, ее помощница, берут послушницу за руки и ведут ее в сопровождении поющих монахинь к подножию статуи, изображающей Царя Славы: Младенца Иисуса в царской мантии, со скипетром и в короне.

Сцена III

Центральный коридор на втором этаже монастыря. В этот слабо освещенный коридор выходят все кельи. Звонит колокол — это знак гасить огни. Настоятельница закрывает приоткрытую дверь из кельи Бланш.

Настоятельница. По уставу дверь должна быть закрыта, дитя мое.

Бланш. Я... Я... Я думала... *(С призвуком наигранного оживления в голосе.)* Я просто ничего не видела в темноте, матушка.

Настоятельница. А что вам нужно видеть для сна?

Бланш. Мне... Мне... Мне не спится.

Настоятельница. Ночи в монастыре короткие. Хорошая монахиня, как хороший солдат, должна уметь засыпать когда надо. Те, кто молод и здоров, как вы, со временем приобретают такую привычку.

Бланш. Простите меня, матушка...

Настоятельница. Забудем эту детскую провинность.

Настоятельница уходит, закрыв дверь. Бланш медлит немного и наконец снова приоткрывает дверь. Настоятельница возвращается, замечает это, останавливается, потом идет дальше, не закрыв двери.

Сцена IV

В лазарете. Мария от Воплощения и Врач у изголовья настоятельницы.

Врач. Боюсь, что больше мы ничего не можем сделать... Вы слишком многого требуете от нас, мать моя. Я же не Господь всемилостивый...

Настоятельница смотрит на него и тут же отводит глаза. Она говорит укоризненным тоном и с какой-то ребячливой оживленностью, в которой сквозит плохо скрываемый страх.

Настоятельница. Неужто? Вы уверены? А я думала... Вчера я поела супу не только без отвращения, но почти с удовольствием, разве не так, мать Мария?

Мать Мария. Ваше Преподобие говорит правду...

Настоятельница. Откровенно говоря, я даже чувствую себя гораздо лучше, чем во время предыдущего приступа. Мне всегда становится хуже при наступлении жары, такая уж у меня особенность. Ваш предшественник, бедный покойный господин Ланнелонг, это хорошо знал. Вот разразится гроза, и вы увидите, мне сразу станет легче...

Врач переглядывается с матерью Марией от Воплощения.

Врач. Я только хотел сказать, что было бы неплохо не принимать

больше лекарств и предоставить природе поработать самой, не гнать мокро́ты... Quieta non movere [1].

Мать Мария. Да сохранит вас Бог для нас, мать моя!

Глаза настоятельницы неподвижно уставлены в пол, лицо ее мрачно. Наконец она произносит словно про себя.

Настоятельница. Предаю себя воле Его, на исцеление или на смерть.

Врач с матерью Марией уходят.

Сцена V

Коридор перед лазаретом.

Врач. Я сожалею, что подумал вслух в присутствии преподобной настоятельницы...

Мать Мария. Не сожалейте ни о чем. Если бы у вас было больше опыта с такими обителями, как наша, вы бы знали, что с полным спокойствием умирают монахини только двух разрядов: самые святые и самые негодные.

Врач. Но я полагал, что Вера...

Мать Мария. Укрепляет не Вера, а Любовь. И когда Супруг Сам приближается к нам, чтобы принести нас в жертву, как Авраам сына своего Исаака, надо быть либо самим совершенством, либо самой глупостью, чтобы не чувствовать страха.

Врач. Простите меня... Я думал, что в доме мира...

Мать Мария. Наш дом — не дом мира, сударь. Это дом молитвы. Те, кто посвящен Богу, собираются вместе не для того, чтобы наслаждаться миром, они стараются вымолить его для других... У нас нет времени наслаждаться тем, что мы отдаем.

Сцена VI

Близ галереи, у того места в монастырской стене, куда вделан вертящийся круглый шкафчик для поступлений извне. Бланш и совсем юная сестра Констанция от Святого Диониси забирают провизию и разные вещи, которые передает им монахиня, назначенная служить связной между монастырем и окружающим миром.

Сестра Констанция. Опять эти противные бобы!

Бланш. Говорят, что перекупщики придерживают муку и что в Париже не хватает хлеба...

Сестра Констанция. А вот и наш большой утюг, мы так по нему скучали! Смотрите, как хорошо у него починили ручку... Мы больше не услышим, как мать Жанна кричит, дуя себе на пальцы: «Нешто можно гладить таким утюгом!» Нешто! Нешто! Я каждый раз прикусываю себе язык, чтобы не засмеяться, но мне так приятно! Это «нешто» напоминает мне деревню и наших добрых крестьян в Тийи... Ах, сестра Бланш, за полтора месяца до моего поступления сюда там праздновали свадьбу моего брата. Собрались все крестьяне, двадцать девушек преподнесли ему букет под звуки барабанов и скрипок, и гремели залпы из всех мушкетов. Была большая месса, и обед в замке, и танцы весь день. Я танцевала до упаду, пять контрдансов, поверите ли? Эти бедные люди все любили меня безумно, потому что я была веселая и прыгала с ними вместе...

Бланш. Вам не стыдно так говорить, когда наша преподобная матушка...

Сестра Констанция. Ах, сестра моя, чтобы спасти жизнь нашей матушки, я бы охотно отдала свою жалкую жизнь, да, да, поверьте, я бы ее отдала... Но в пятьдесят девять лет давно уже время умирать, разве не так?

Бланш. Вы никогда не боялись смерти?

Сестра Констанция. Наверно, нет... Да, может быть... Очень давно, когда я не знала, что это такое.

[1] Не нарушать спокойствия *(лат.)*.

Бланш. А потом...

Сестра Констанция. Боже, сестра Бланш, жизнь казалась мне такой интересной! Я себе говорила, что смерть, должно быть, так же интересна...

Бланш. А теперь?

Сестра Констанция. О! Теперь я уже не знаю, что́ думаю о смерти, но жизнь мне по-прежнему кажется интересной. Я стараюсь как можно лучше делать то, что мне велят, но мне это интересно... Что ж, надо ли осуждать меня за то, что мне весело служить Господу? Можно очень серьезно делать то, что тебя забавляет, дети нам это доказывают каждый день... Точно так же можно делать весело скучные вещи...

Бланш *(резко)*. Вы не боитесь, что Богу надоест такое веселье и что настанет день, когда Он вам скажет, как святой Анджеле из Фолиньо: «Я возлюбил тебя не затем, чтобы ты смеялась»?

Сестра Констанция смотрит на нее с изумлением, ее детские черты искажены гримасой боли. Наконец она произносит.

Сестра Констанция. Простите меня, сестра Бланш. Я не могу избавиться от мысли, что вы нарочно сделали мне больно.

Молчание.

Бланш. Что ж, вы не ошиблись... Это потому, что я вам позавидовала.

Сестра Констанция. Вы мне завидуете! О, вот самые удивительные слова, какие я только слышала в жизни! Вы мне завидуете, а ведь меня надо бы высечь за то, что я так легкомысленно говорила о смерти нашей преподобной матушки... Смерть матери настоятельницы — это очень серьезная вещь... Мне не доводилось видеть, как умирают серьезные люди. Мой дядя, герцог де Лорж, умер в восемьдесят лет. Это все-таки была не настоящая смерть, это была красивая церемония, и все. Два моих старших брата погибли на войне, мой кузен де Люан — на оленьей охоте в нашем дампьерском лесу, а другой кузен, Жокур, по прозвищу Лунный Свет, утонул в Миссисипи во время американской войны... Все они умерли играючи, если можно так выразиться. У людей знатных всегда было так. То место, что мы занимаем в мире, нам дали не наши титулы и не изъеденные крысами пергаменты, а люди, для которых смерть была просто такой же игрой, как другие игры... О сестра Бланш, я так глупо говорила сегодня. Поэтому явите милость, помогите мне загладить мою вину. Давайте станем на колени и предложим наши две маленькие жизни в обме́н на жизнь Ее Преподобия.

Бланш. Это ребячество...

Сестра Констанция. Вовсе нет, сестра Бланш, я вправду думаю, что это озарение сердца.

Бланш. Вы смеетесь надо мной...

Сестра Констанция. Эта мысль пришла ко мне внезапно, я не думаю, чтобы в ней было что-то дурное. Я всегда хотела умереть молодой. Слишком большое несчастье — отдавать Господу жизнь, которой уже не дорожишь или дорожишь только по привычке, по жестокой привычке.

Бланш. Что мне до этой комедии?

Сестра Констанция. Я скажу... Так вот, как только я вас увидела в первый раз, то поняла, что молитва моя услышана.

Бланш *(яростно)*. Молитва о чем?

Сестра Констанция. О том... Но как вы меня сейчас пугаете, сестра Бланш... Вы так странно на меня смотрите...

Бланш подходит к ней ближе.

Бланш. Поставьте этот глупый утюг и отвечайте, прошу вас.

Констанция послушно ставит утюг на стол, черты ее красивого личика мучительно сведены, но сохраняют тем не менее выражение детской безмятежности.

Сестра Констанция. Хорошо... Я поняла, что Господь по мило-

сти своей не даст мне состариться и что мы умрем вместе, в один день,— где и как, этого я не знала и сейчас еще не знаю... Это то, что называют предчувствием, ничего больше... Вот теперь я вижу, вы так сердитесь на меня за то, что я придавала значение этой... этой...

Бланш. Этой безумной и глупой идее! Не стыдно вам думать, что за вашу жизнь можно купить чью бы то ни было?.. У вас бесовская гордыня... Вы... Вы... Я вам запрещаю...

Умолкает. Выражение боли и изумления мало-помалу уходит с лица Констанции, словно она начинает понимать, впрочем, не зная точно, что именно... Она выдерживает растерянный взгляд Бланш, которая в конце концов отводит глаза, и говорит тихо и грустно, с каким-то пронзительным достоинством.

Сестра Констанция. Я вовсе не хотела вас обидеть...

Сцена VII

Келья в лазарете. Мария от Воплощения у изголовья настоятельницы.

Мать Мария. Она несколько дней как замещает сестру ризничую. Она будет здесь через минуту.

Настоятельница в постели. Во время всей этой сцены ее манеры и жесты будут составлять странный контраст с испуганно-тревожным, почти безумным выражением ее лица.

Настоятельница. Будьте добры, приподнимите эту подушку.... Как вы думаете, позволит господин Жавлино, чтобы меня усадили в кресло? Мне очень огорчительно показываться моим дочерям распластанной, как утопленница, которую только что вытащили из воды. Ведь голова у меня в полном порядке... О, я вовсе не хочу кого-то обманывать! Но когда так постыдно не хватает мужества, нужно по крайней мере уметь держаться, чтобы не оказаться невежливой с теми, кто из милосердия готов судить тебя по внешнему виду.

Мать Мария. А я полагала, мать моя, что сегодня ночью ваши страхи утихли...

Настоятельница. Это была просто душевная дремота. Благодарение Богу! Я больше не вижу, как умираю. Считается, что «видеть, как умираешь»,— это только так говорится... Нет, мать моя, я действительно вижу, как умираю, и ничто не может отвлечь меня от этого зрелища. Разумеется, меня трогают ваши заботы обо мне, я хотела бы быть их достойной, но мне от них нет никакого облегчения, вы для меня только тени, едва отличные от образов и воспоминаний прошлого. Я одна, мать моя, совершенно одна, без всякого утешения. Ум мой в состоянии порождать ободряющие мысли, но это тоже лишь призраки мыслей. Они могут поддержать меня не больше, чем может насытить тень окорока на стене.

Молчание.

Скажите мне правду! Если б не эти мерзкие ноги, нечувствительные, неподвижные, мне казалось бы, что опасности нет... Сколько еще дней жизни дает мне господин Жавлино?

Мать Мария от Воплощения опускается на колени у изголовья кровати и бережно прижимает распятие к губам настоятельницы.

Мать Мария. Ваше телосложение из самых сильных, какие он видел. Он боится, что уход ваш будет долгим и трудным. Но Господь...

Настоятельница. Господь и сам стал для меня тенью... Увы! Я больше тридцати лет в монашестве, двенадцать лет настоятельствую. Я размышляла о смерти каждый час моей жизни, и вот теперь все это оказалось ни к чему!..

Долгое молчание.

Кажется, сестра Бланш де Лафорс очень запаздывает.

Молчание.

После вчерашней беседы она все так же решительно держится того имени, которое избрала?

Мать Мария. Да. Если вам будет благоугодно, она по-прежнему хочет именоваться сестрой Бланш от Смертной Муки Христовой. Мне кажется, вас очень взволновал этот выбор?

Настоятельница. В былые времена и я сначала сделала такой же. Нашей настоятельницей была тогда госпожа Арну, ей было восемьдесят лет. Она мне сказала: «Взвесьте ваши силы. Кто входит в Гефсиманский сад, больше уже не выходит оттуда. Вы чувствуете в себе достаточно мужества, чтобы оставаться до конца узницей Пресвятой Смертной Муки?»

Долгое молчание.

Это я ввела в нашу обитель сестру Бланш от Смертной Муки Христовой. Это дело меня заботит. Я хочу навести в нем порядок, прежде чем передать свои обязанности другим.

Молчание.

Из всех моих дочерей никто не беспокоит меня больше, чем она. Я думала поручить ее вашему милосердию. Но после всех размышлений и если будет на то воля Божия, я решила, что это станет последним актом моего настоятельства.

Короткое молчание.

Мать Мария...

Мать Мария. Да, преподобная мать моя.

Настоятельница. Исполните долг повиновения. Передаю в ваши руки Бланш де Лафорс. Вы ответите мне за нее перед Богом.

Мать Мария. Да, мать моя.

Настоятельница. Вам понадобится большая твердость суждения и характера, но это именно то, чего ей недостает и чем вы наделены в избытке.

Молчание.

Только как бы и вам тут не пришлось смирять какие-то движения вашей души.

Протестующий жест матери Марии.

О, я знаю, что говорю! Мнение о такой особе, как Бланш де Лафорс, к тому же нашей дальней родне, неизбежно будет подчиняться привычке думать по-мирски. Монашеская жизнь эту привычку может умерить, но не вовсе истребить...

Мать Мария (*поколебавшись, потом со всей прямотой*). Это чистая правда. Вы читаете в моей душе, как всегда. Сейчас, когда на нашу несчастную аристократию и даже на Его Королевское Величество повсюду клевещут, мне стыдно при мысли, что девица знатного происхождения может в каких-то обстоятельствах выказать малодушие.

Настоятельница. Да. Когда гроза разразится над этим домом, без сомнения, другим выпадет на долю светить общине добродетелями более высокими, чем наши. Но от нас она вправе ожидать хотя бы примера стойкости. И все же! С первой нашей встречи, как только она назвала имя, которое выбрала, Бланш де Лафорс для меня осенена знаком Пресвятой Смертной Муки. Пусть будет так и для вас! Ах, мать моя, в нынешнем моем унижении мне легче понять, что над бедными дочерьми Кармеля властвуют правила мирской чести, как Ветхий Закон был властен над Господом Иисусом Христом и его апостолами. Мы здесь не для того, чтобы его отменять, напротив, мы должны его превзойти и тем исполнить.

Стук в дверь.

Вот и она. Попросите ее войти.

Сцена VIII

Мать Мария от Воплощения идет к двери, сторонится, чтобы впустить Бланш, и уходит. Бланш опускается на колени у постели.

Настоятельница. Встаньте, дочь моя. Я намеревалась поговорить с вами подольше, но только что я вела беседу, которая очень меня утомила. Не смотрите на меня так, перед вами самое обычное зрелище. Дитя мое, в кармелитском монастыре жизнь и смерть монахини всегда должны отмечаться только небольшим изменением в распорядке дневных трудов и молитв...

Бланш. О матушка, не покидайте меня!

Молчание.

Настоятельница. Вы пришли к нам последней и поэтому дороже всех моему сердцу. Да, самая любимая из всех моих дочерей, как дитя, рожденное в старости, но и самая хрупкая, самая беззащитная. Чтобы отвести от вас беду, я охотно отдала бы свою бедную жизнь. О, конечно, я бы ее отдала....

Бланш снова падает на колени и рыдает. Настоятельница кладет руку ей на голову.

Теперь я могу отдать только свою смерть, такую бедную смерть...

Молчание.

Бог славится в своих святых, героях и мучениках. Но Он славится также и в своих нищих.

Бланш. Я не боюсь нищеты.

Настоятельница. О, бывает разная нищета, даже самая неприглядная,— вот ее-то вам и придется испить...

Молчание.

Дитя мое, что бы ни случилось, пребывайте в простоте. Почитать наши умные книжки, так можно подумать, что Господь испытывает святых, как кузнец испытывает железный брусок на прочность. Но ведь случается и другое — кожевник растягивает в ладонях кусок замши, чтобы проверить ее мягкость. Дочь моя, будьте всегда такой мягкой и послушной вещью в Его руках! Святые не ожесточались против искушений, они не бунтовали против самих себя — бунт всегда от дьявола. И главное, никогда не презирайте себя! Очень трудно презирать себя и не оскорблять при этом Бога в себе. Здесь тоже мы должны с осторожностью подходить к некоторым мыслям святых, не понимать их буквально. Презрение к себе приведет вас прямиком к отчаянию, запомните это предостережение, хотя сегодня смысл его для вас темен. И чтобы все сказать одним словом, которое не срывается больше с наших губ, хотя сердца наши от него не отказались: при любых обстоятельствах думайте, что вашу честь оберегает Господь. Господь взял на себя заботу о ней, в Его руках она сохранится вернее, чем в ваших. Ободритесь духом — отныне и навсегда. Прощайте, с Богом, благословляю вас. С Богом, милое мое дитя...

Сцена IX

Бланш выходит. Мать Мария от Воплощения возвращается с врачом.

Настоятельница. Господин Жавлино, дайте мне еще этого лекарства, прошу вас.

Господин Жавлино. Ваше Преподобие этого не перенесет.

Настоятельница. Господин Жавлино, вы ведь знаете, в наших обителях так заведено, чтобы настоятельница прилюдно прощалась с Общиной. Церемонию назначили на сегодня, на десять часов. Это по вашему указанию?

Господин Жавлино. По моему совету, не более того. Но если говорить откровенно, вот уже несколько часов, как мое искусство бессильно что-нибудь сделать для Вашего Преподобия, даже с точностью предугадать кончину.

Мать Мария. Церемонию, о которой говорит Ее Преподобие, нетрудно отложить.

Настоятельница. Да, конечно! До тех пор, когда я уже ни на что не буду годна... Нет, нет, мать моя. Я верю, Господь не покинет меня настолько, не допустит, чтобы я рассталась с моими дочерьми, не попросив у них прощения за такую смерть — столь не похожую на ту, пример которой я должна была им дать. Да, Бог смилуется надо мной... Мать Мария, попытайтесь убедить господина Жавлино. Это снадобье или другое, что угодно. Взгляните, мать моя: разве можно показать это лицо моим дочерям?

Мать Мария. Быть может, такое было у Господа нашего в Гефсиманском саду.

Настоятельница. Тогда хотя бы ученики спали, и Его видели только ангелы.

Мать Мария. Мы не заслужили чести через вашу кончину прикоснуться и приобщиться к тому, что в Пресвятой Смертной Муке было скрыто от глаз людских... О матушка, не беспокойтесь больше о нас! Заботьтесь отныне только о Боге.

Настоятельница. Кто я такая в этот час, я, ничтожная, чтобы заботиться о Нем! Пускай сначала Он позаботится обо мне!

Мать Мария (*почти резко*). Ваше Преподобие бредит.

Голова настоятельницы тяжело падает на подушку. И сразу же слышится хрип.

Закройте поплотнее окно. Наша преподобная матушка не отвечает больше за свои речи, но лучше, чтобы они никого не смущали... В саду в этот час пусто, но наши сестры вполне могут ее услышать из прачечной. (*Молоденькой монахине, которая закрыла окно и возвращается вся дрожа.*) Ну, ну! Сестра Анна, не вздумайте сейчас падать в обморок, как девчонка. Станьте на колени, молитесь. От этого вам будет больше пользы, чем от нюхательной соли.

Пока она говорила, настоятельница приподнялась на постели. Глаза ее неподвижно смотрят в одну точку, и как только она умолкает, нижняя челюсть у нее отваливается.

Настоятельница. Мать Мария от Воплощения! Мать Мария...

Мария от Воплощения вздрагивает.

Мать Мария. Преподобная матушка?

Настоятельница (*низким и хриплым голосом*). Я видела, что часовня наша опустошена и осквернена... О-о-о! Алтарь разбит, священные сосуды валяются на полу, на плитах солома и кровь... О-о! Бог оставил нас! Бог нас отверг!

Мать Мария. Ваше Преподобие не в состоянии сдержать свои речи, но я молю вас не говорить ничего, что могло бы...

Настоятельница. Не говорить ничего... Не говорить ничего... Что за важность мои слова! Я больше не хозяйка ни своему языку, ни своему лицу. Страх прилип к моей коже, как восковая маска... О! Отчего я не могу содрать ее ногтями!

Мать Мария. Ваше Преподобие должны понимать, что это бредовые видения...

Настоятельница. Бредовые! Бредовые! Вы видели когда-нибудь, чтобы бредили мне подобные? Ах, поверьте, у этого тела, что лежит здесь как куль с песком, хватит сил еще на много дней страданий.

Мать Мария. Не длите больше борьбу с природой.

Настоятельница. Бороться с природой. Разве я всю свою жизнь делала что-нибудь другое, кроме как боролась с природой? Разве я умею делать что-нибудь другое? И вот теперь я в западне. Несчастная! Я в стольких вещах отказывала моему бедному телу, даже в самых невинных удовольствиях. Неужели я теперь впервые уступлю этому измученному животному, которого уже не ощущаю?

Мать Мария. Ах, матушка, кто бы не сжалился над вами!

Настоятельница. Для начала надо бы мне самой сжалиться над собой!

Голова ее снова падает на подушку, и при этом слышится жалобный стон. Мать Мария склоняется над ней; увидев, что глаза ее закрыты, колеблется какую-то минуту, потом быстро подходит к другим сестрам. Пока она негромко говорит с ними, настоятельница медленно поднимает веки, но хрип ее не вовсе стихает.

Мать Мария. Предупредите сестер, что они не увидят сегодня преподобную матушку. В десять часов — рекреация [1], как обычно.

Глаза настоятельницы блуждают по комнате, хотя лицо ее уже словно сковано смертью. Мать Мария неожиданно оборачивается. Взгляды умирающей и живой скрещиваются. Хрипы настоятельницы понемногу становятся реже, потом вовсе смолкают — явно ценой огромного усилия. Долгое молчание. Потом настоятельница громко говорит.

Настоятельница. Мать Мария от Воплощения, именем Святого Повиновения повелеваю вам...

Сцена X

Декорация внезапно меняется. Бланш только что легла. Колокола звонят отходную. По монастырю разносятся ужасные крики. Это кричит настоятельница, у которой начинается агония. Бланш в испуге выходит из кельи и идет на свет. Сестры стоят на коленях у двери в лазарет. Видно, что настоятельницу поставили на колени в постели и поддерживают в таком положении, но что́ она говорит, не разобрать. Ее искаженное лицо поворачивается к Бланш; ясно, что она ее увидела, что она ее зовет. И почти в ту же минуту одна из монахинь подходит к Бланш.

Монахиня. Преподобная мать наша желает, чтобы вы подошли к ее постели.

Бланш стоит на месте словно окаменев. Монахиня почти грубо ее подталкивает. Она идет к постели походкой сомнамбулы.

Другой ракурс. Теперь видна Бланш рядом с настоятельницей. Всеобщий беспорядок. Многие монахини говорят одновременно. Мать Мария от Воплощения повторяет: «ЭТО НЕСЛЫХАННО... НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПОЗВОЛЯТЬ...» Умирающую настоятельницу все труднее поддерживать в коленопреклоненной позе. Две монахини встают с колен и идут на помощь своим подругам. Губы настоятельницы непрерывно шевелятся. Бланш, смертельно бледная, несколько раз к ней наклоняется, но она, очевидно, так взволнована, что не улавливает смысла, и стоящие поблизости сестры, перебивая друг друга, пытаются повторять ей те слова, которые смогли разобрать. Слышатся их голоса: «ПРОСИТ ПРОЩЕНИЯ... СМЕРТЬ... СТРАХ... СТРАХ СМЕРТИ...» Несмотря на все усилия, умирающая постепенно валится на постель, и столпившиеся вокруг нее монахини все больше суетятся. Бланш, которой удается наконец превозмочь волнение, произносит с трудом.

Бланш. Преподобная... мать наша... желает... желает...

Несколько монахинь что-то кричат. Она умолкает, растерянная, не зная, как продолжить, потом говорит — голосом, которому отчаяние придает толику уверенности.

Преподобная мать наша... желала... желала бы... *(Но тут она падает на колени, прячет лицо в складках простыни и рыдает.)*

Сцена XI

Часовня в монастыре. Настоятельница умерла, и тело ее в открытом гробу поместили посередине часовни, у решетки. Ночь. Часовня освещена только шестью свечами вокруг гроба. С каждой стороны — налой. Бланш и Констанция от Святого Дионисия бодрствуют у тела покойной.

Чтение Псалтири. Колеблющееся пламя свечей бросает странный свет на лицо настоятельницы. В какой-то момент Констанция оставляет Бланш одну у тела и идет за теми, кто должен их сменить. Бланш страшно; она убегает. У самой двери она сталкивается с матерью Марией от Воплощения, которая замечает ее испуг.

Мать Мария. Что вы делаете? Разве не ваш черед читать над гробом?

Бланш. Я... Я... Наше время уже истекло, мать моя.

Мать Мария. Что это значит? Кто-то уже пришел вам на смену?

Бланш. Я хочу сказать... что сестра Констанция пошла за ними... И я...

Мать Мария. И вы испугались и...

Бланш. Я не думала, что поступлю дурно, если дойду до двери.

---

[1] Перерыв для отдыха между занятиями.

Мать Мария (*в ответ на движение, которое делает Бланш, чтобы вернуться*). Нет, дитя мое, Бога ради! Не возвращайтесь туда, откуда вы ушли... Что не исполнено — то не исполнено, не думайте больше об этом. Как вы взволнованы! Ночь прохладная, я думаю, вы дрожите не столько от страха, сколько от холода. Я сама вас провожу в вашу келью.

Мы видим их у двери кельи.

Мать Мария. А теперь не задерживайтесь мыслями на этом мелком происшествии. Ложитесь, осените себя крестом и засыпайте. Я по всей форме освобождаю вас от всякой другой молитвы. Завтра ваш проступок будет причинять вам больше боли, чем стыда. Вот тогда вы и попросите прощения у Бога, не рискуя прогневить Его еще сильнее.

Бланш опускается на колени, чтобы поцеловать ей руку. Мать Мария от Воплощения отдергивает руку — может быть, излишне резко — и, затворяя дверь, делает слабый жест, прощальный или благословляющий.

Третья картина

Сцена I

День избрания новой настоятельницы. В монастырском саду Бланш и Констанция кончают выкладывать крест из цветов на расположенной под галереей могиле настоятельницы Круасси.

Сестра Констанция. Сестра Бланш, мне кажется, наш крест уже достаточно высокий и широкий. Могила нашей бедной матушки такая маленькая!

Бланш. Что мы теперь будем делать с теми цветами, что у нас остались? Сестра Жераль не возьмет их в часовню. Часовня кармелиток — не уличный алтарь в праздник Тела Господня, так она говорит.

Сестра Констанция. Что ж, тогда мы сделаем из них букет для новой настоятельницы.

Бланш. Не знаю, любит ли цветы мать Мария от Воплощения.

Сестра Констанция. Господи! Как бы мне этого хотелось!

Бланш. Чтобы она любила цветы?

Сестра Констанция. Нет, сестра Бланш, чтобы ее избрали настоятельницей. Я столько об этом молилась, Бог услышит мои молитвы, я уверена.

Бланш. Вы все верите, что Бог поступит по вашему желанию!

Сестра Констанция. Почему бы нет? Что делать, сестра Бланш, у каждого свое понятие о Боге, споры тут ни к чему. Есть ведь даже такие несчастные, кто в Него не верит, я их жалею всем сердцем, но... Не смею вам сказать...

Бланш. Вы ведь все равно скажете в конце концов, сестра Констанция... Так скажите лучше сейчас.

Сестра Констанция. Да, мне иногда кажется, что вовсе не верить в Бога — и то не так грустно, как верить в Бога-механика, физика и геометра. Пусть астрономы говорят что хотят. Я думаю, что Творение так же похоже на механическое изделие, как настоящая утка издали похожа на Вокансонову утку [1]. Но мир — не механическая игрушка, а Бог — не механик. Он и не школьный учитель с указкой, и не судья с весами в руках. А иначе нам следовало бы думать, что в день Страшного Суда Господь будет советоваться с теми, кого называют людьми серьезными, уравновешенными, рассудительными. Какая глупая мысль, сестра Бланш! Вы же знаете, что такие люди всегда считали святых безумцами, а святые — истинные друзья и советчики Божии... Так что...

Бланш. Так что?

Сестра Констанция. Так что, по-моему, да простят меня серьезные люди, Господь вполне может устроить избрание матери Марии просто

---

[1] Жак де Вокансон (1709—1782) — французский механик. Среди созданных им игрушек-автоматов — порхающая утка.

для того, чтобы порадовать такого жалкого червяка, как я. Конечно, это было бы безрассудно, но ведь Он совершил куда большее безрассудство, когда умер за меня на кресте!

Бланш. Я предпочитаю думать, что мать Марию изберут потому, что она более всех прочих того достойна.

Сестра Констанция. О! Хоть я и молода, но уже хорошо знаю, что блага и невзгоды скорее выпадают по жребию, чем распределяются по логике! Но может быть, то, что мы называем случаем,— это и есть Божия логика? Вспомните смерть нашей дорогой матушки, сестра Бланш! Кто мог подумать, что ей будет так трудно умирать, что она так плохо сумеет умереть! Словно в нужную минуту Господь Бог ошибся смертью, как в гардеробной дают одну накидку вместо другой. Да, эта смерть предназначалась для другой, она не по росту нашей настоятельнице, смерть эта ей мала, она не могла даже сунуть руки в рукава...

Бланш. Смерть для другой — что это значит, сестра Констанция?

Сестра Констанция. Это значит, что та, другая, когда придет ее смертный час, сама удивится, как легко она войдет в свою смерть, как ей там будет удобно... Может быть, она даже станет хвалиться: «Смотрите, как она мне идет, какие красивые складки у этого платья...»

Молчание.

Люди умирают не каждый за себя, но один за другого, может быть даже один вместо другого,— кто знает?

Молчание.

Бланш (*чуть дрожащим голосом*). Вот наш букет и готов...

Сестра Констанция. А если мы его сделали для матери Марии от Святого Августина?

Бланш. Что за мысль, сестра Констанция!

Сестра Констанция. Конечно, в другие времена никто бы и не подумал о госпоже Лидуан. Но теперь кое-кто из наших сестер говорит, что к матери Марии от Святого Августина муниципалитет будет благосклоннее, потому что ее отец торговал скотом в Комоне. Да, похоже, дела все хуже и хуже, сестра Бланш! А госпожа Лидуан считает, что надо идти на уступки.

Сцена II

Вся Община под звон колоколов собирается в зале капитула, чтобы принести обет повиновения новой настоятельнице. Это госпожа Лидуан, мать Мария от Святого Августина. Зала небольшая и сводчатая, как и все общие помещения в монастыре. На стене прекрасное распятие. Под распятием кресло настоятельницы. Вдоль стен скамьи, на которых рассаживаются монахини. Начинается церемония обета. Каждая монахиня преклоняет колена перед настоятельницей и целует ей руку. Новая настоятельница произносит короткую речь.

Настоятельница. ...Милые мои дочери, я должна вам еще сказать, что мы лишились нашей горячо оплакиваемой матери в ту минуту, когда ее присутствие было нам особенно необходимо. Уже ясно, что прошли те времена процветания и спокойствия, когда мы слишком легко забывали, что нас ничто не страхует от зла, что мы всегда в руке Божией. Что за времена грядут для нас, я не знаю. Я только надеюсь, что Святое Провидение пошлет нам те добродетели, которые люди богатые и могущественные часто презирают,— добрую волю, терпеливость, дух примирения. Они больше всего подходят таким бедным девушкам, как мы. Храбрость ведь бывает разная. Храбрость сильных мира сего не годится для маленьких людей, с ней они не могли бы выжить. Слуге ни к чему иные добродетели хозяина: они подходят ему не больше, чем тимьян и майоран — нашим домашним кроликам. Кто уверен, что ничем не оскорбил Господа, может многое перенести, чего бы это ни стоило его самолюбию. «Брехливая собака не кусается» — пустые слова, ненужные рассуждения. Мягкостью можно сделать больше, чем силой, и на унцию меда ловится больше мух, чем на кувшин уксуса. Повторяю вам: мы бедные девушки, собравшиеся,

чтобы молиться Богу. Будем же остерегаться всего, что могло бы отвлечь нас от молитвы, будем остерегаться даже мученичества. Молитва — это долг, мученичество — награда. Когда великий король при всем дворе делает знак служанке подойти и сесть с ним рядом на троне как возлюбленной супруге — лучше, чтобы служанка сначала не поверила своим глазам и ушам и продолжала протирать мебель. Прошу прощения, что говорю по-своему, попросту. Мать Мария от Воплощения, не попробуете ли вы сделать заключение к этой маленькой речи...

Замешательство. Но мать Мария не из тех, кто заставляет просить себя дважды.

Мать Мария. Сестры мои, Ее Преподобие вам сказала, что наш первый долг — это молитва. Но не меньший наш долг — повиновение, и его надо исполнять в том же расположении духа, то есть в полном отрешении от самих себя и от наших собственных суждений. Подчинимся же воле Ее Преподобия, и не только устами, но и сердцем.

Сцена III

Келья настоятельницы. Она получила письмо от монсеньора Риго, главы кармелитского ордена; в этом письме ей рекомендуется допустить послушниц к пострижению.

Мать Мария. Если Вашему Преподобию угодно, и по чистой совести, я бы не одобрила этого пострижения.

Настоятельница. Сестра Бланш — послушница, а монсеньор Риго рекомендует мне допустить послушниц к пострижению. Вот как стоит вопрос.

Мать Мария. Если Ваше Преподобие ставит его так, ответ на него предрешен заранее.

Молчание.

Настоятельница. Вам не кажется, что вы принимаете слишком всерьез невинное ребячество? Не в обиду вам будь сказано, мать Мария, но я всю свою молодость провела среди девушек, которые не считали себя опозоренными из-за того, что боялись привидений и даже мышей и крыс. Это им не мешало становиться потом неутомимыми работницами, отменными хозяйками и госпожами у себя в доме. А в ваших благородных семействах, если девушка немного боязлива, она чувствует себя так, словно у нее бородавка на носу. Похоже, репутация знатной особы — как нежная кожа, которая не выносит загара... Что нам-то за дело до такого жеманства? Мой чепец мне свидетель! Кармель — не рыцарский орден, насколько мне известно!

Мать Мария. Ваше Преподобие, быть может, вы сами не подозреваете, насколько вы правы. Бывает, что щепетильность в вопросах чести превращается просто в пустую безделушку. Но те девушки, о которых вы говорили, хотя и боялись мышей и крыс, были тверды характером, судя по тому, какими они стали позднее. А Бланш де Лафорс как раз твердости характера и недостает.

Настоятельница. Как вы можете так думать о монахине, которую преподобная мать наша держала за руку, умирая, и которую она препоручила вам?

Мать Мария. Что бы я ни чувствовала к Бланш де Лафорс, это не помешает мне сказать Вашему Преподобию, что в ожидающих нас испытаниях такой недостаток твердости может представлять опасность для Общины.

Молчание.

Настоятельница. Монсеньор желает этого пострижения...

Молчание.

Мать Мария. Не прислушаться к его желанию трудно, я согласна. Но в случае, если Ваше Преподобие примете такое решение, я хотела бы

получить право нынче же начать помогать делу особыми мерами покаяния....

Жест настоятельницы.

Разумеется, я бы всякий раз испрашивала позволения у Вашего Преподобия.

Настоятельница. О! Тут я полагаюсь на вас, мать Мария. Мы кажемся очень разными, пути у нас не всегда одинаковы, но мы всегда отлично понимаем друг друга, благодарение Богу... Опасения ваши справедливы, не спорю. Но если бы я занялась этой маленькой аристократкой, как теперь принято говорить, я бы сделала из нее настоящую кармелитку, одинаково пригодную и для часовни, и для прачечной, мудрую деву, которая никогда не теряет головы, даже в экстазе. Ведь этого и хотела от нас наша святая основательница, не правда ли?.. Полно! То сравнение, что я сделала,— не такое уж глупое, я знаю своих девочек. Во Франции не так уж долго надо скрести дочерей больших вельмож, чтобы обнаружить крестьянку, и самая жеманная герцогиня так же здорова телом и душой, как ее коровница...

Мать Мария. Ваше Преподобие, конечно, способны сделать из моей дочери то, что пожелаете; но, боюсь, у вас уже не осталось времени.

Сцена IV

Обряд пострижения Бланш в монахини в монастырской часовне. На сестрах длинные покрывала и белые накидки. Алтарь весь в цветах. Новая настоятельница и мать Мария от Воплощения ведут к решетке Бланш де Лафорс, тоже одетую в белое, с открытым лицом. Она получает имя сестры Бланш от Смертной Муки Христовой.

Сцена V

Монастырская приемная. Представитель муниципалитета и монастырский нотариус объясняют, что они должны приступить к описи имущества Общины, которое переходит в распоряжение Нации. В опись должны войти все земельные владения и приданое сестер. Тон чиновников безукоризненно вежлив; они просят извинить их за вторжение.

Сцена VI

Рекреация после этого визита и описи.

Настоятельница. Вы понимаете, что означает такой шаг властей. Я сказала бы, что нам грозит бедность, если бы бедность могла быть для нас угрозой. Что вы там говорите потихоньку, сестра Бланш?

Бланш. Преподобная мать моя, я говорила... я говорила... я говорила: «Тем лучше! Мы будем работать...»

Настоятельница. Если бы вы были на моем месте, доченька моя, вы бы знали, что самое трудное для такого дома, как наш,— это сносить бедность, не нарушая благопристойности. Не наше дело — убеждать зевак, что можно жить без пищи, как осел папаши Матье, который умер в тот самый день, когда собрался это доказать. И чем бы вы занялись, сестра Бланш?

Бланш. Мы могли бы устроить швейную мастерскую, преподобная мать моя...

Настоятельница. Посмотрим сначала, что у нас есть, прежде чем считать будущие доходы. Сестра Матильда, сколько у нас осталось провизии на зиму? Со смерти Ее Преподобия я толком и не заглядывала в кладовую...

Сестра Матильда. Преподобная мать моя, у нас мало что осталось. Морозы стояли до середины марта, а в последнее время перед смертью преподобная мать наша раздавала не считая. Считать — этого она не умела.

Настоятельница. Это я умею. Видите ли, дети мои, до сих пор мы слишком часто жили так, как живут люди в большом свете, где принято

швырять деньги на ветер. Что пользы помочь еще двум-трем нищим, если мы разорим наш дом и будущей зимой бедняки найдут здесь лишь запертую дверь?.. Мой чепец мне свидетель! Это точь-в-точь как старина Блез, который срубил яблоню, чтобы достать яблоко... Что ж, сестра Бланш, видно, надо вернуться к вашей швейной мастерской.

Бланш. Это будет так весело!

Настоятельница. У сестры Бланш чешутся руки при одной мысли, что она снова прикоснется к батисту и кружевам...

Сестра Матильда. Не в упрек вам будь сказано, сестра Бланш, это будет полегче, чем пилить дрова, как вот мы с сестрой Анной со среды...

Настоятельница. Ну, ну, дети мои, не так уж вам эта работа противна. Я же слышу, вы все время смеетесь.

Сестра Анна. Потому что нам все кажется, будто мы дома, преподобная матушка. Мы ведь почти что соседки будем, сестра Матильда и я. Она из Кормейля, а я из Блемон-сюр-Уаз.

Сестра Матильда. Чего уж там! Работы мы не боимся.

Настоятельница. Ну-ну, довольно, доченьки мои. Без хвастовства! Бьюсь об заклад, что в ваших краях девушки и повеселиться успевали. Ваш батюшка выкупил почти все земли у своего сеньора, и теперь маркиз де Манервиль много беднее своего фермера...

Сестра Бланш держится чуть поодаль. Одна из монахинь отделяется от остальных, подходит к ней и восклицает.

Сестра Гертруда. О Боже, преподобная матушка, сестра Бланш как будто плачет!

Она ведет Бланш обратно; Бланш пытается улыбнуться.

Сестра Матильда. Мы пошутили, сестра Бланш. Пилить дрова — это наше дело, нам оно аппетит нагоняет.

Настоятельница. Вот легкомысленные речи! Кто бы мог подумать, что мирской дух проникает всюду, даже сквозь стены Кармеля!

Сестра Марта. Среди нас нет ни буржуазок, ни аристократок.

Настоятельница. Фи! Добрые намерения и глупый язык!

Сестра Марта. Прошу прощения у Вашего Преподобия. Я только хотела сказать, что мы все — сестры. Разве все люди не должны тоже быть братьями? Разве крещение нас всех не равняет между собой?

Сестра Валентина от Креста. Братья необязательно равны между собой, сестра Марта.

Сестра Марта. Это так.

Сестра Алиса. Но дворяне — не старшие братья нам, сестра Валентина от Креста. Вы знаете старую поговорку: — когда Адам пахал и Ева пряла, где был дворянин?

Сестра Валентина. Позвольте, сестра Алиса! Говорят, наш прародитель прожил больше тысячи лет. Могу поспорить, что перед смертью он непременно должен был определить, кто из множества его детей будет пахать землю, а кто, числом поменее, будет ее защищать от разбойников. Так и родились дворяне.

Сестра Марта. Овцы давали шерсть задолго до того, как люди надумали обучать собак их стеречь, и тут нет ничего обидного ни для овец, ни для собак, ни для пастуха.

Сестра Алиса. Случается, что собака и полакомится овечкой...

Сестра Валентина. Если овцы избавятся от собак, разве будут они вернее защищены от волка?

Сестра Анна. Что ж, это верно, что дворяне воюют. Наш граф потерял троих сыновей на королевской службе, а покойному его отцу угодили из мушкета в поясницу, так его всего скрутило. Теперь мадемуазель осталась в девицах, потому что приданого нет. Уж как жалко смотреть на господина графа, когда он приходит к воскресной мессе в заплатанных штанах.

Сестра Алиса. Держу пари, что от этого он не меньше нос задирает.

Сестра Матильда. Если б он его повесил нынче, не больно бы это было кстати!

Сестра Марта. Что верно, то верно, сестра Матильда, надо быть справедливой. У моего папаши добро кой-какое тоже есть, но он такой же простой крестьянин, как другие. И все равно у него сердце разрывается смотреть, как у нас верх берут пьяницы да лентяи, которые на всю округу известны. В былые времена их и нанимали-то разве что в самую страду.

Сестра Валентина. Патриоты в одном только Бовуази сожгли девять замков.

Сестра Алиса. Все так, сестра моя. Но подумайте, что великие смуты похожи на мор, чуму или холеру. Тут отовсюду всякий сброд вылезает наружу, как улитки и слизняки при дожде. Но есть ведь и такие патриоты, кто почитает Христа. Говорят, в Вершене они пронесли крест Господень в торжественной процессии.

Сестра Валентина. После того как разграбили церковь и отбили головы статуям святых.

Сестра Алиса. Вершен — всего лишь глухая деревушка, и нельзя судить по тому, что там происходит.

Сестра Гертруда. Это правда, сестра Алиса, Вершен есть Вершен, но Париж есть Париж... А в Париже разве не присутствовал добрый наш король на том славном празднике, когда князь епископ Отенский служил на помосте высотой в двадцать футов? Разве господин наш капеллан не говорил нам тогда, что такого зрелища не видывали со времен римской истории?

Сестра Констанция (*взрываясь*). Да что нам за дело до греков и римлян? Или наши французы должны брать уроки у кого бы то ни было?

Сестра Гертруда. Как вы вдруг стали воинственны, сестра Констанция... Вы будете работать в мастерской сестры Бланш в шлеме на голове и с мечом на боку?

Сестра Констанция. Смейтесь, смейтесь, сестра Гертруда! Если бы мой пол и мое звание мне позволяли, я бы разделалась как следует с теми людьми, о которых вы говорите...

Сестра Гертруда. Когда вы их увидите поближе, сестричка моя...

Сестра Констанция. Мне до них дела будет не больше, чем рыбе до яблока.

Сестра Гертруда. Вспомните, сестра моя, как был наказан монсеньор святой Петр за то, что говорил, как вы.

Сестра Констанция. О, святой Петр... святой Петр... Во-первых, святой Петр не был ни французом, ни... (*Внезапно умолкает.*)

Сестра Гертруда. Ни кем еще?

Сестра Алиса. Говорите прямо, сестра Констанция...

Сестра Марта. Бьюсь об заклад, она собиралась сказать, что святой Петр не был дворянином.

Все смеются.

Сестра Анна. Ну-ка, как вы из этого выпутаетесь, сестра Констанция?

Сестра Марта. Это правда, да или нет?

Сестра Констанция (*не в силах лгать*). Это правда, я так подумала... (*Умоляющим голосом, со слезами на глазах.*) Но я так подумала не из гордости или презрения к кому-то... Я только хотела сказать, что коль святой Петр не был солдатом, он не должен был давать Господу слово солдата... Он был простой рыбак. Если бы он дал слово простого рыбака, он бы его сдержал.

Бланш. Хороший ответ, сестра Констанция!

Сестра Гертруда. А вы, сестра Бланш...

Очень недолгое молчание. Оно длится ровно столько, чтобы понять: в монастыре живет какое-то недоверие к сестре Бланш. Но одна из монахинь тут же говорит, чтобы рассеять общую неловкость.

Сестра Марта. А вы, сестра Бланш, что вы думаете о патриотах?

Это краткое молчание явно привело Бланш в смятение. Она побледнела, губы ее дрожат.

Бланш. Я... Я... Я думаю, что они не любят религию, сестра моя...

Сестра Марта. Может быть, они ее просто не знают?

Сестра Валентина. О! Вам свойственны большие иллюзии, сестра моя...

Сестра Марта. А вам — маленькие предубеждения, сестра моя...

Настоятельница. Довольно, довольно, дети мои! Стоило на десять минут отпустить поводья, как вы тут же, Бог мне прости, открыли заседание, как эти господа в парламенте. Пусть такой постыдный случай послужит уроком для тех, кто уже считал себя отрешившимся от мира потому только, что молится с охотой. Вы знаете, дети мои, люди думают, что мы совсем не такие, как они. Но с нашим святым уставом и с этой обителью — а они неразлучны, как душа с телом,— дело обстоит так же, как с королевским величием или с роскошными одеждами: они прикрывают иной раз убогость безобразного тела. Чем бы мы были, несчастные, без устава и нашей обители! Поэтому знайте твердо — я пойду на все, чтобы нас оставили жить здесь, согласно нашему призванию, даже если все вокруг заполыхает огнем. Дух нашего устава требует, прежде чем претерпевать насилие, сделать все возможное, чтобы его обезоружить. Как нет сражения без павших, так нет и мученичества без человекоубийства, и смиренная дочь Кармеля должна понимать: кроме тех случаев, когда нельзя поступить иначе, не оскорбляя Господа, принимать мученичество, быть может с риском для спасения души своих палачей,— значит, слишком дорого платить за славу для таких жалких служанок, как мы... Впрочем, к чему говорить о мученичестве? Об этом нет речи для нас, и я не хочу, чтобы наши головы распалялись от таких мыслей. Нас могут выбросить на улицу, вот и все. Мы в таком же положении, как те бедняки, что не смогли расплатиться с долгами к Троице и на Михайлов день [1] оказались без гроша в кармане. Так что поумерьте ваше пылкое воображение.

Сцена VII

Настоятельница вместе с матерью Марией от Воплощения. Звенит колокольчик. Какой-то шум, приглушенный толстыми стенами. Настоятельница и мать Мария переглядываются. Наконец входит одна из монахинь.

Настоятельница. Что происходит?

Монахиня. Там у калитки человек на лошади. Он хочет видеть преподобную мать настоятельницу.

Настоятельница. У какой калитки?

Монахиня. У той, что с переулка.

Настоятельница. Кто так старается проскользнуть незаметно, тот не может быть врагом. Взгляните, мать Мария.

Преподобная мать настоятельница встает, губы ее чуть заметно шевелятся. Но лицо ее остается невозмутимым. Мать Мария возвращается через минуту.

Мать Мария. Мать моя, это господин де Лафорс, который желает повидать сестру перед отъездом за границу.

Настоятельница. Пусть предупредят Бланш де Лафорс. Обстоятельства позволяют такое нарушение устава. Я хочу, чтобы вы присутствовали при их беседе.

Мать Мария. Если Ваше Преподобие позволит...

Настоятельница. Вы, мать Мария, и никто другой.

Сцена VIII

Монастырская приемная. Занавеска наполовину отдернута. Бланш с открытым лицом. За занавеской мать Мария от Воплощения; на лице ее густое покрывало.

---

[1] День архангела Михаила. Отмечается католической церковью 29 сентября.

Шевалье. Почему уже двадцать минут вы держитесь так — глаза в землю, едва отвечаете? Разве так нужно встречать брата?

Бланш. Богу известно, как я не хотела бы чем-то вас огорчать.

Шевалье. Без лишних слов — наш отец полагает, что здесь вы не в безопасности.

Бланш. Может быть, так и есть, но я чувствую себя в безопасности, и мне этого довольно.

Шевалье. Как отличается ваш тон от прежнего! Теперь в вашем поведении есть что-то принужденное, натянутое.

Бланш. То, что кажется вам натянутостью,— это просто с непривычки и от неловкости. Я еще не приучилась к блаженству жить счастливой и свободной.

Шевалье. Счастливой — может быть, но не свободной. Не в вашей власти одолеть природу.

Бланш. Как, жизнь кармелитки представляется вам согласной с природой?

Шевалье. В нынешние времена немало женщин, вызывавших некогда всеобщую зависть, охотно поменялись бы с вами местами. Я говорю жестоко, Бланш, но у меня перед глазами стоит наш отец, оставшийся один среди слуг.

Бланш *(с жестом отчаяния)*. Вы думаете, меня здесь удерживает страх!

Шевалье. Или страх страха. А такой страх в конце концов не лучше любого другого. Надо быть готовым к страху, как и к смерти, в этой готовности и есть настоящее мужество. Может быть, я говорю с вами слишком грубым языком, языком солдата? Бог свидетель, я всегда видел в вас невинную жертву самого жестокого, самого несправедливого жребия...

Бланш *(сдавленным голосом)*. Я здесь отныне — только бедная маленькая жертва Царя Небесного. Господь поступит со мной, как Ему заблагорассудится.

Шевалье. Я хоть и не доктор Сорбонны, но скажу, что так будет и здесь, и в любом другом месте.

Бланш. Нет, брат мой, здесь я более всего чувствую себя в Его воле.

Шевалье. Такая уверенность не освобождает вас от долга повиноваться воле отца.

Бланш. После пострижения я вышла из его воли. Теперь я обязана ему только сердечной любовью и уважением.

Шевалье. Бланш, только что когда я вошел, вы едва не упали в обморок, и мне показалось на секунду, что при свете этой скверной лампы я увидел все наше детство. Может быть, это из-за моей неловкости мы уже почти что фехтуем словами, как шпагами. Неужели моего зайчонка подменили?

Бланш. Его переменили. О, конечно, не в нежности к вам! Но это правда, что великий день моего пострижения стал словно днем нового рождения.

Шевалье. Если я правильно вас понимаю, это новое рождение освобождает вас от долга перед тем, кому вы обязаны своим первым рождением? О Бланш, довольно пустых словопрений! Подумайте, ведь наших родных и друзей разметало по свету; здесь никто не противится тому, чтобы вы вернулись к вашему отцу. Он может теперь рассчитывать только на вас.

Бланш. Разве у него не остаетесь вы?

Шевалье. Мой долг призывает меня в армию принца.

Бланш. А мой удерживает меня здесь. О! Зачем вы пытаетесь снова влить в меня яд сомнений? Я едва не погибла от него. Это правда, что я стала другой. Это правда, что Бог послал мне ту силу, тот дар Духа Святого, коего я недостойна, пусть так; но он все равно стократ драгоценнее земной храбрости, которой так тщеславятся люди.

Шевалье. Вы больше ничего не боитесь?

Бланш. Я знаю, что вы смеетесь надо мной. Но я и вправду ничего не боюсь. Там, где я обитаю, меня ничто не достигнет.

Молчание.

Шевалье. Ну что ж, прощайте, дорогая.

Она внезапно бросается к нему. При этих словах прощания она, пошатнувшись, хватается обеими руками за решетку. Голос ее меняется, как ни старается она придать ему твердости.

Бланш. О! Не прощайтесь со мной так, не сердитесь! Увы! Вы так долго дарили меня своим состраданием, что вам трудно сменить его на простое уважение, которое вы дарите не раздумывая любому из ваших друзей!

Шевалье. Бланш, теперь вы говорите жестоко.

Бланш. У меня к вам только любовь и нежность. Но я больше не зайчонок. Я дочь Кармеля, я буду страдать за вас, и я прошу вас думать обо мне как о боевом товарище. Ведь мы будем сражаться, каждый по-своему, и в моем бою свой риск, свои опасности, как и в вашем.

Она произносит эти слова с крупицей детской важности и неловкости, отчего они звучат еще пронзительней. Шевалье бросает на Бланш долгий прощальный взгляд. Бланш держится за решетку, чтобы не упасть. Мать Мария от Воплощения подходит к ней.

Мать Мария. Успокойтесь, сестра Бланш.

Бланш. О мать моя, я солгала? Разве я не знаю, кто я такая? Увы! Их жалость так меня измучила! Бог мне прости! Эта нежность разрывала мне сердце. Неужели я навсегда останусь для них ребенком?

Мать Мария. Довольно, пора идти.

Бланш. Я буду наказана за гордыню.

Мать Мария. Есть только один способ умалить свою гордыню: стать выше ее. Но чтобы достичь смирения, не надо распластываться, как большой кот, лезущий в крысоловку. Подлинное смирение — это прежде всего пристойность, уравновешенность. *(Она нежно поглаживает на ходу чуть сгорбившуюся спину Бланш.)* Держитесь с достоинством.

Сцена IX

К концу свидания появляется капеллан и приглашает шевалье отужинать, прежде чем пуститься в путь. Он приводит шевалье к себе и сам ему прислуживает за столом.

Капеллан. По правде сказать, господин шевалье, я думаю, что сейчас вашей сестре будет лучше здесь, куда Бог ее поместил.

Шевалье. У нас никогда не было в мыслях ее неволить. Кроме самой нежной привязанности, у меня к ней еще и то чувство, которое должен такой простой человек, как я, питать к существу, отмеченному судьбой. Она пришла в мир, осыпанная всеми дарами происхождения, богатства, природы. Жизнь была для нее словно наполнена до краев дивным питьем, но оно превращалось в горечь, как только она подносила его к губам.

Капеллан. Полно! Мы сказали об этом все, что нам нужно было сказать. Хлебните-ка лучше этого винца, оно чисто как золото и прозрачно как слеза. Вот и будет на посошок. Что вы теперь намерены делать?

Шевалье. Отправлюсь в путь до рассвета. Дорога до Вермона небезопасна. Но там у меня есть убежище, где я смогу передохнуть и послать весточку моему отцу.

Капеллан. Господин маркиз, наверно, очень беспокоится о вас?

Шевалье. Это я беспокоюсь о нем. Хоть он и стар, ничто не может поколебать его дух или изменить его привычки. Кажется, люди этого, рожденного для удовольствий, поколения, не отказывая себе ни в чем, научились обходиться без всего. Он смотрит, как события громоздятся друг на друга, будто сломанные деревья в ураган, и верит, что дождется тех времен, когда река вернется в свое русло.

Капеллан. Увы! Боюсь, как бы река прежде не разрушила берегов. Что вы найдете здесь из того, что отправляетесь защищать, господин шевалье, когда вернетесь?

Шевалье. Ба! Поток смывает только то, что преграждает ему путь. Чего вам здесь опасаться?

Капеллан. Сын мой, французы всегда сражались между собой толь-

ко ради чужой выгоды и чужого блага. Но им хотелось верить, что они сражаются за принципы. Поэтому всякая гражданская война оборачивается войной религиозной.

Шевалье. Они злобствуют только против знатного происхождения.

Капеллан. Вздор! Вас они боятся, но ненавидят они нас...

Сцена X

В монастырь явилась комиссия во главе со странным маленьким человечком с фригийским колпаком на голове. Мария от Воплощения его сопровождает.

Комиссар. Что означает эта комедия?

Мать Мария. Монахиня должна просто идти впереди вас и звонить в колокольчик. Таковы правила нашей обители.

Комиссар. Мы не знаем иных правил, кроме Закона. Мы — представители Закона.

Мать Мария. А мы — лишь смиренные служанки нашего закона. Этим объясняется моя настойчивость. Но коль скоро вы расположены требовать того, в чем вам отказывают, я больше не противлюсь.

Комиссар. Поторапливайтесь!

Мать Мария. Менее всего я хочу вас задерживать. От преподобной матери настоятельницы я получила приказ дать вам осмотреть наш дом.

Комиссар. Мы его осмотрим и без вас.

Мать Мария. Моя роль не в том, чтобы составить вам компанию, а в том, чтобы избавить вас от труда взламывать двери, которые я могу отпереть своими ключами.

Другой комиссар. Не спорь с ней, гражданин, это хитрая бестия, последнее слово всегда будет за ней.

Первый комиссар. Я попрошу тебя, гражданин, придерживаться выражений, соответствующих той миссии, что на нас возложена.

Мать Мария. Если вы действительно надеялись найти здесь золото и оружие, как пишется в ваших листках, разве не достаточно было перерыть вверх дном наши подвалы и чердаки? Зачем теперь ходить по кельям, где вы не увидите ничего, кроме тюфяка и налоя?

Первый комиссар. Возможно, мы увидим там и юных гражданок, которые заточены здесь своими семействами и имеют право на покровительство Закона.

Мать Мария отпирает первую келью. Она пуста. Затем другую, дверь которой запирается за ней. Слышатся голоса. Дверь снова открывается. На пороге стоит монахиня. Лицо ее трудно разглядеть сквозь длинное покрывало.

Комиссар. Я требую, чтобы с этим смехотворным маскарадом было покончено. Снимите покрывало.

Монахиня не двигается. Мать Мария мягко приглашает ее откинуть покрывало. Это очень старая монахиня, она никак не соответствует образу юной девушки, заточенной в монастырь семейством. Первый комиссар начинает нервничать.

Комиссар. Гражданка, отдайте ключи. Этот гражданин сам будет отпирать мне кельи. Ваше присутствие явно влияет на этих несчастных.

Карлик открывает дверь в келью Бланш. Как только его гримасничающая физиономия появляется в дверном проеме, Бланш издает душераздирающий крик. Вытянув перед собой руки, она отступает в дальний угол кельи и стоит вжавшись в стену, словно в ожидании казни. Мать Мария остается в коридоре. Лицо ее живо передает первый порыв, который она не в силах подавить,— чувство негодования и презрения к трусости Бланш. Дверь за комиссарами закрывается. Мать Мария явно заставляет себя не двигаться с места. Дверь снова открывается.

Комиссар. Гражданка, я требую, чтобы вы мне сказали, как давно заключена здесь эта юная особа.

Мать Мария. Я полагаю, сударь, что лучше вам самому спросить ее об этом.

Комиссар. Она как будто разучилась говорить.

Мать Мария. Вам не кажется, что вы напугали ее своим приходом? Вам не кажется, сударь, что в вашем облике и поведении есть от чего прийти в ужас?

Другой комиссар. Гражданин Монстреле, не попадайтесь на удочку. Юная гражданка сама все сейчас объяснит муниципалитету.

Мать Мария. Ордер на обыск не дает вам никаких прав на личность. Эта девушка выйдет отсюда только по своей доброй воле.

Она входит в келью. На ее лице, внешне очень спокойном, читается какая-то тревога, смешанная с жалостью.

Мать Мария. Сестра Бланш...

Комиссар. Я запрещаю вам продолжать.

Мать Мария. В вашей власти принудить меня к молчанию, но не вменить мне его в обязанность. Я представляю здесь преподобную мать настоятельницу и вашим приказам не подчиняюсь.

Другой комиссар. Чертова шельма! Рот ей не заткнуть, гражданин, но напомните ей, что у Республики есть машина, которая перерезает глотки.

Первый комиссар. Хватит! Я снова призываю вас держаться с достоинством, как подобает истинному представителю народа. *(Поворачивается к Бланш.)* Юная гражданка, вам нечего нас бояться, мы — ваши освободители. Скажите одно слово, и над вами будут больше не властны те, кто в стремлении поработить вас не побоялся оскорбить природу, узурпировав само священное имя матери. Знайте, что отныне вы под защитой Закона.

Мать Мария. Она прежде всего под моей защитой. Или вы думаете, что я позволю вам и дальше злоупотреблять страхом ребенка? Я постараюсь не пользоваться языком, который вам непонятен. Что́ нас собрало здесь и удерживает до самой смерти — этого вы не знаете, а если знали, то, конечно, забыли. Но может быть, есть еще слова, общие для нас с вами и способные проникнуть вам в душу. Так вот, сударь, знайте, что и в самой смиренной из дочерей Кармеля честь говорит громче, чем страх.

При слове «честь» Бланш поднимает глаза. Ее взгляд бродит от одного лица к другому, как у человека, который едва проснулся. Рыдая, она бросается в объятия матери Марии от Воплощения.

Сцена XI

Перед залой капитула, дверь в которую охраняют двое солдат. Сестры собрались под галереей; их вызывают в залу поодиночке для допроса. Прежде чем войти, каждая из них опускается на колени перед настоятельницей и испрашивает ее благословения. Когда черед доходит до матери Марии от Воплощения, она преклоняет колена, как и другие, затем входит внутрь. Первый комиссар небрежно развалился в кресле настоятельницы, другие комиссары стоят. Мать Мария также отвечает стоя.

Комиссар. Пока мы должны довольствоваться заявлением, которое сделала эта гражданка. Но не думайте, что на том дело и кончится. Я дам отчет муниципалитету о том, что видел.

Мать Мария. Отчеты вы должны давать своей совести, сударь. И ради нее я желаю вам поскорее найти себе другого противника вместо перепуганного насмерть ребенка.

Комиссар. Какого противника? Может быть, вас?

Мать Мария. Я не могу быть противником кому бы то ни было.

Комиссар. А я вам — противник.

Мать Мария. Едва ли это зависит от вашей воли, потому что ни по долгу, ни по склонности я вас своим противником не признаю.

Комиссар. Я знаю, вашей дерзости не переспорить.

Мать Мария. Мне довольно лишить вас повода к дерзости. Что до остального — вы можете радоваться мысли, что я полностью в вашей власти.

Комиссар. Вы говорите таким тоном только для того, чтобы снова подчинить себе эту душу, столь же слабую, сколь ваша тверда и непреклонна.

Мать Мария. Это правда. Вы не ошиблись.

Комиссар. Пока существуют такие люди, как вы, патриоты не будут в безопасности.

Мать Мария. А ведь мы просим всего лишь возможности жить свободно по тем правилам, которые для себя избрали.

Комиссар. Нет свободы для врагов Свободы.

Мать Мария. Наша свобода вам неподвластна.

Комиссар. К чему было брать Бастилию, если Нация терпит существование других бастилий, таких, как эта? Они еще омерзительнее, ибо здесь каждый день приносятся невинные жертвы не деспотизму, а предрассудкам и лжи. Да, здесь тоже Бастилия, и мы уничтожим это логово.

Мать Мария. Не забудьте и нас уничтожить всех до последней. Где есть хоть одна из дочерей Святой Терезы [1], там есть Кармель. Идемте, Бланш.

Бланш уже несколько минут смотрит на нее с каким-то наивным восхищением и беспредельной, детской доверчивостью. Она следует за ней как тень.

Сцена XII

Монастырская часовня. Капеллан в священническом облачении заканчивает мессу и выходит из алтаря. Он идет к решетке и просит сестер приблизиться.

Капеллан. Милые дети мои, то, что я должен вам сказать, для некоторых из вас уже не тайна, а остальных не удивит. Мне запрещено исполнять свои обязанности и оставаться здесь. Месса, которую я сейчас отслужил,— последняя. Дарохранительница пуста. Я повторяю сегодня жесты, а может быть, и слова наших первых отцов-христиан, наших отцов во Христе, при каждом новом гонении. Вы знаете, что в мирских делах, когда всякая надежда на примирение утрачена, последним прибежищем становится сила. Но наша мудрость не от мира сего. В делах Божиих последнее прибежище — жертвоприношение душ, посвященных Богу. Во все времена Господь неизменно зовет их к себе, но ныне Он словно зовет их по именам. День сей — великий день для Кармеля. Прощайте, благословляю вас. Воспоем вместе хвалу Кресту. *(Уходя, он задувает свечу в алтаре и оставляет дверцу дарохранительницы открытой.)*

Сцена XIII

Приемная. Бланш и капеллан по разные стороны решетки.

Бланш. Как вы будете жить?

Капеллан. Так же, как и сейчас,— изгнанником.

Бланш. Они говорят «вне Закона».

Капеллан. Бедное дитя мое, рыба не может жить вне воды, но христианин отлично может жить вне закона. Что охранял для нас закон? Наше имущество и нашу жизнь. Имущество, от которого мы отказались, жизнь, которая отныне принадлежит одному лишь Богу... Иначе говоря, закон не слишком-то и был нам нужен.

Бланш. Но если верить слухам, они убьют вас, если вас узнают.

Капеллан. Может быть, они меня и не узнают.

Бланш. Вы переоденетесь?

Капеллан. Да. Такой мы получили приказ. Дорогая сестра Бланш, у вас слишком пылкое воображение. У тех несчастных, что нас преследуют, больше злобы, чем хитрости. Вполне возможно, что я отделаюсь просто какими-то мерами предосторожности, к которым быстро привыкну, и вы тоже.

Бланш. Мы тоже? Вы нас не покидаете?

Капеллан. Нет, дитя мое. Успокойтесь. Я останусь неподалеку и буду приходить сюда как можно чаще. Это надо будет наладить, и мы обо всем условимся, мать Мария от Воплощения и я.

---

[1] Святая Тереза Авильская (1515—1582) — испанская монахиня и религиозная писательница, реформировавшая орден кармельской Богоматери в женской его части.

Молчание.

Бланш. О, что должна подумать обо мне мать Мария? Я вовсе недостойна ее доброты.

Капеллан. Мы всегда недостойны того, что нам дается, дитя мое, ибо все дары — только от Господа. Живите в мире. Я не нарушу тайны, если скажу, что по смерти нашей преподобной настоятельницы милосердие матери Марии осеняет вас — obumbrabit tibi — как сказано в псалме [1], упование ваше будет под ее крылами — sub pennis ejus sperabis. Я знаю, что мать Мария решилась отвечать за вас перед Богом.

Сцена XIV

Расставшись с ним, Бланш бежит к Марии от Воплощения.

Бланш. О мать Мария, это правда, вы действительно решились отвечать за меня перед Богом?

Мать Мария. Как вы можете так говорить? Каждый отвечает за себя, дочь моя. Но это правда, что преподобная мать настоятельница, умирая, поручила вас мне.

Бланш. Я для вас тяжкая ноша.

Мать Мария. И легкая в то же время. Ребенок никогда не бывает тяжкой ношей, но он требует много забот.

Бланш. Мне кажется, я больше не буду вам их доставлять. Мне так спокойно подле вас, матушка!

Мать Мария. Полагайтесь во всем только на Бога, дитя мое.

Сцена XV

В саду. Монахини собирают урожай. Констанция сидит на дереве и ест сливы.

Сестра Матильда. Тревога не отбивает у вас аппетита, сестра Констанция. Но так моя корзинка никогда не наполнится.

Сестра Констанция. Зачем нам такие запасы? Может быть, мы умрем раньше, чем эти сливы испортятся.

Сестра Матильда. А вдруг мы совсем и не умрем? У меня нет большого желания умирать, сестра Констанция!

Сестра Констанция. У меня тоже! Но если мы отдаем на волю Божию нашу жизнь и смерть, к чему заботиться о пропитании? У нас никогда больше не будет такой возможности полакомиться!

Сестра Матильда. Какой странный способ готовиться к мученичеству!

Сестра Констанция. О простите, сестра Матильда. В часовне, за работой, в час молчания я могу готовиться к этому иначе. А такой способ хорош для рекреации. Может быть, они оба годятся, почему бы нет? И потом, ведь дело мучеников — не есть, а отдавать себя на съедение.

Сцена XVI

Келья настоятельницы. Настоятельница показывает Марии от Воплощения декрет, запрещающий принесение монашеских обетов.
Настоятельница сидит. Мария от Воплощения читает декрет стоя.

Мать Мария. Нельзя поверить, чтобы правительство поставило себя в такое глупое положение, запрещая обеты!

Настоятельница. Поверим мы или нет, декрет, как видите, составлен достаточно ясно.

Мать Мария. Ваше Преподобие решили ему подчиниться?

Настоятельница. Да.

---

[1] Речь идет о псалме 90-м, в русском переводе звучащем несколько иначе, чем на латыни: «Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен».

Мать Мария. Значит, сестра Констанция и сестра Бланш не смогут...
Настоятельница. Именно так.

Молчание.

Мать Мария. Ваше Преподобие подумали о том, что мадемуазель де Лафорс таким образом лишается утешения и поддержки, столь ей необходимых?

Настоятельница. Я подумала об этом. Я не могу рисковать безопасностью всех моих дочерей ради мадемуазель де Лафорс.

Мать Мария. Быть может, это не ради мадемуазель де Лафорс, но ради последней воли покойной и ради чести нашей Общины.

Настоятельница. Слабость одной из нас — это всего лишь испытание и унижение. Мать Мария, я не хочу произносить ненужных слов, но вы говорите о чести так, словно бы мы не отказались давным-давно от мирской славы. Вы отлично знаете, что дочери Кармеля следуют за Господом своим в стыд и бесчестье Его Страстей.

Мать Мария. Но разве не должны они сперва разделить одиночество и страх Его последней ночи? Разве не будет ужасным несчастьем для нас всех, если дрогнет как раз та из нас, кто носит имя Пресвятой Смертной Муки? В битве честь нести знамя принадлежит храбрейшим. Мне кажется, будто Господь пожелал отдать наше знамя в руки самой слабой и, быть может, самой несчастной из нас. Не правда ли, это как знамение небес?

Настоятельница. Боюсь, что знамение это дано только вам. Это вы, дочь моя, будете принесены в жертву слабости, и презрение достанется вам.

Мать Мария. Я готова к тому всей душой.

Долгое молчание.

Настоятельница. Вы знаете, мать Мария, подобная церемония не может быть совершена в такой тайне, чтобы в городе, наводненном шпионами, о ней рано или поздно не стало известно. Малейшая нескромность будет стоить нам головы.

Мать Мария. Что может быть для нас желанней смерти?

Четвертая картина

Сцена I

Зала капитула. В ней торжественно собираются все монахини. Прежде чем объявить декрет, настоятельница вместе с сестрами читает молитву Святой Терезы Авильской:

Я Твоя, и в мире сем я для Тебя.
Что Ты повелишь мне?
Дай мне богатство или нужду,
Дай мне утешение или печаль,
Дай мне веселие или скорбь,
Жизнь сладостную и солнце незатененное;
Ведь я предалась Тебе всей душой,
Что Ты повелишь мне?

Настоятельница. Я должна прочесть вам декрет Учредительного собрания, запрещающий, впредь до особого распоряжения, приносить монашеские обеты:
«Декрет от 28 октября 1789 года. Учредительное собрание постановляет, что принесение монашеских обетов запрещается во всех монастырях обоего пола, и что настоящий декрет будет вынесен на королевское одобрение и разослан по всем трибуналам и всем монастырям».

Такая мера огорчительна для каждой из нас, но особенно жестоко она постигает наших сестер Констанцию и Бланш. Поэтому прежде всего я обращаюсь к вам двоим, милые мои дочери. Я прошу вас великодушно пожертвовать блаженством, которого вы ожидали. Вы в тайне сердца принесете Господу те обеты, что суровый приказ запрещает вам произнести

во всеуслышание. Что этот приказ несправедлив — не нам, бедным служанкам, о том судить. Наше призвание отнюдь не в том, чтобы противостоять несправедливости, а в том, чтобы ее искупать, платить за нее выкуп. А поскольку у нас нет больше иного достояния, кроме собственной жалкой жизни, мы сами и есть этот выкуп. Коль скоро мы не противостоим несправедливости, мы не имеем права и судить ее орудия. И в мыслях наших, и в наших молитвах мы не должны отличать тех, кто нас преследует, от других бедняков. Единственное их отличие — еще бóльшая бедность или, вернее сказать, самая крайняя нищета, какую только можно вообразить. Ведь они лишены благодати Божией до такой степени, что полагают себя Его врагами. Такой бедности не поможешь миской доброго супа, она нуждается в молитвах, а исконное дело Кармеля — поставлять людям молитвы отменного качества. Вот что должно удерживать нас в границах скромности. Полностью сознавая обязанности, налагаемые моим саном, я должна вам сказать, что не потерплю больше того возбуждения в умах, которое, как бы ни были возвышенны его причины, все же отвлекает нас от исполнения наших скромных обязанностей. Я знаю, в этом больше наивности, чем злонамеренности, но чтобы покончить с такими вздорными мечтаниями, нет ничего лучше, как показать их противоречия, чтобы не сказать — их смешную сторону. Как! Вы собираетесь молиться за грешников, то есть за их обращение и исправление, и в то же время вы хотели бы, чтобы они совершили самый тяжкий грех человекоубийства против тех, кто посвящен Господу? Поговорим начистоту! Кармелитка, желающая мученичества,— столь же плохая кармелитка, сколь плох тот солдат, который стал бы искать смерти, не исполнив приказа своего командира. Но довольно сравнений и аллегорий. По долгом размышлении, воля моя состоит в том, чтобы сия Община продолжала жить так же просто, как в прежние времена. До сих пор монастыри щадили, нет оснований думать, что в будущем случится иначе. Кроме того, что бы ни произошло, будем всегда рассчитывать только на то мужество, что Господь раздает ото дня ко дню, словно по грошику. Это и есть то мужество, которое нам подобает, которое лучше всего подходит смиренному нашему званию. Но быть может, просить у Него и такого мужества — значит заноситься слишком высоко. Лучше бы смиренно молить Его о том, чтобы страх не искушал нас сверх наших сил, чтобы он лишь смирял нашу гордыню, но не толкал на какие-то греховные поступки. Если смотреть из Гефсиманского сада, где в Пресвятом Сердце Господнем обожествилась вся скорбь человеческая, то разница между страхом и храбростью кажется несущественной, и то и другое выглядит просто роскошной безделушкой.

Сцена II

Монахини расходятся. Некоторые из них отправляются в сад, и там Бланш подходит к Марии от Воплощения.

Бланш. Мать Мария, неужели Ее Преподобие в такую минуту лишит нас утешения принести наши обеты тайно? Мы знаем, что если бы это зависело только от вас...

Мать Мария. Мне тоже остается лишь повиноваться.

Бланш. Но Ее Преподобие так высоко ценит ваше мнение...

Мать Мария. Мой долг — ценить ее мнение выше своего.

Бланш. Но наше пострижение...

Мать Мария. В тот момент мы были всего лишь под угрозой предстоящего закона. Сегодня мы под ударом закона действующего, и Ее Преподобие совершенно права, что не хочет без необходимости вызывать гнев наших врагов.

Бланш. Вы ли говорите такие слова, мать Мария? Неужто мы дошли до такого несчастья, что единственная наша надежда — проскользнуть незаметно, как заяц в нору?

Сцена III

Слышно, как поют «Карманьолу» под стенами монастыря и комиссары во главе поющей толпы врываются в ограду. Они взламывают дверь. Впереди них идет монахиня с колокольчиком. Они набиваются в ризницу, сваливают церковные облачения и священные сосуды в вертящийся шкафчик, который отломали от стены, и прикрывают все это занавеской с решетки. Они срывают с Царя Славы мантию и корону и бросают Его в угол. Настоятельница присутствует при грабеже, а Община в это время собралась в зале капитула и молится там во главе с матерью Марией от Воплощения. Все монахини под длинными покрывалами.

Мать Мария. Довольно, дети мои, надо успокоиться. Сейчас не может быть иной молитвы, кроме этой. Пребудем в единении с Господом.

Когда открывается дверь перед настоятельницей, они остаются неподвижны. Только одна голова испуганно оборачивается — это голова Бланш.

Настоятельница. Тихо! Я не позволю, чтобы мой дом походил на растревоженный муравейник.

Молчание.

Из всего того, что омрачает сегодня ваши сердца, сокрушайтесь только о святотатстве и молитесь за тех, кто его совершает. А похищенное золото и серебро — что за важность! Разве бедность — не первый закон нашего звания? И как бы мы ни были теперь бедны, нам еще далеко до Господа нашего, мы все еще не так бедны, как Он.

Волнение понемногу стихает.

Ну-ну! Не первый же раз грабят церкви и монастыри, во время войн это часто случалось.

Сцена IV

Келья матери Жанны от Младенца Иисуса, очень старой монахини. За окном идет снег. Мать Жанна кончает шить одеяние, очень бедное, для Царя Славы. Бланш помогает ей одевать статую.

Мать Жанна. Сестричка Бланш, вы знаете, что в рождественскую ночь нашего Младенца Иисуса носят по кельям. Я надеюсь, что Он дарует вам храбрости.

Сцена V

Рождественская ночь. Коридор монастыря, двери всех келий открыты. Настоятельница и Мария от Воплощения в сопровождении двух сестер с факелами носят Царя Славы из кельи в келью. Каждая монахиня преклоняет колена перед бедно одетой статуей, ставит ее на пол, молится на нее, затем возвращает ее настоятельнице, которая в свою очередь преклоняет колена.

Сестра Анна. Вот наш Царь Славы и стал снова таким же бедняком, как в Вифлееме.

Когда Младенца Иисуса приносят к Бланш, она вздрагивает и шепчет со слезами на глазах.

Бланш. О! Как Он мал! Как Он слаб!

Мать Мария. Нет! Как Он мал! И как Он могуч!

В ту минуту когда Бланш, стоя на коленях, склоняется к статуе, за стенами монастыря раздаются звуки «Карманьолы». Бланш вздрагивает и роняет Царя Славы; голова его разбивается о плиты пола. В ужасе, ощущая себя преступницей, Бланш восклицает.

Бланш. О! Царь Славы умер. У нас остался только Агнец Божий.

Сцена VI

Келья настоятельницы. Входит Бланш.

Настоятельница. Дочь моя, станем сначала на колени и прочитаем вместе молитву матери нашей Святой Терезы.

Настоятельница произносит каждую фразу молитвы, которую Бланш сразу же повторяет.

Настоятельница, потом Бланш.

Я Твоя, и в мире сем я для Тебя.
Что Ты повелишь мне?
Дай мне богатство или нужду,
Дай мне утешение или печаль,
Дай мне веселие или скорбь,
Жизнь сладостную и солнце незатененное...

Но Бланш меняет конец молитвы.

Настоятельница. Ведь я предалась Тебе всей душой,
Что Ты повелишь мне?
Бланш. Дай мне убежище или смертельный страх,
Что Ты повелишь мне?

Настоятельница смотрит на нее, недолго колеблется и наконец делает вид, что ничего не заметила. Они встают с колен. Настоятельница садится в кресло. Молчание, потом:

Настоятельница. Я полагаю, вы знаете, зачем я вас позвала?

Молчание. Бланш, не отвечая, опускает голову.

Разлука будет для матери не менее тяжела, чем для ребенка.

Молчание.

Я хотела бы все делать в согласии с вами или хотя бы в согласии с вашей совестью. Я не прошу вас отвечать на то, что я вам скажу; этот ответ вы после дадите Богу, в сосредоточенности молитвы. Дочь моя, ни вы, ни я больше не надеемся, что вам удастся преодолеть ваш смертельный страх...

Молчание.

Без сомнения, в другое время... или позднее... может быть...

Молчание. Бланш смотрит на настоятельницу с отчаянием, взгляд ее почти безумен. Очевидно, что мучительная тревога Бланш передается настоятельнице, хотя лицо ее этого почти не выдает. Но все-таки голос ее немного дрожит, когда она произносит:

Вы действительно думаете, что мы повредим вам, если отошлем обратно в мир?

Бланш молчит еще какое-то мгновение, потом делает огромное усилие, чтобы ответить.

Бланш. Я... Это правда, что я уже не надеюсь одолеть свою природу. Нет.. Я больше не надеюсь... О мать моя, повсюду в другом месте я буду влачить свой позор, как каторжник тащит за собой пушечное ядро. Этот дом — единственное место на земле, где я могла бы принести его Господу, как калека — свои смердящие язвы. Ведь, может быть, Бог хотел сотворить меня малодушной, как сотворил Он других добрыми или глупыми... *(Она разражается рыданиями.)*

Настоятельница. Успокойтесь. Я еще подумаю обо всем этом.

Бланш опускается на колени и целует руку настоятельнице. Та ее благословляет.

Сцена VII

Тайная служба на Страстную Пятницу в примыкающем к монастырю помещении, где собралась кучка верных. Ночь, мужчины стоят на страже. Женщины и дети. Бесшумно подходят монахини, одна из них готовит облачение. Священника еще нет. Снаружи доносятся условные крики... Появляется капеллан, дети целуют ему руки.

Капеллан. Покидая вас в первый раз, я надеялся видеться с вами часто. Но обстоятельства оказались совсем не таковы, как я предвидел. Могу сказать, что они делают мое служение ото дня ко дню все затруднительнее. Отныне каждая наша встреча будет происходить по милости Божией, мы должны всякий раз благодарить Его за нее, как за чудо. Что вы хотите! Во времена не столь мрачные почитание Царя Небесного с легкостью превращается в простой обряд, слишком похожий на те, что мы совершаем в честь царей мира сего. Не скажу, что Господь не приемлет таких почестей, хотя духом своим они ближе к Ветхому Завету, чем

к Новому. Но случается и так, что они Ему надоедают, простите мне подобное выражение. Господь жил и всегда живет среди нас как бедняк, и всегда наступает час, когда Он решает сделать и нас такими же бедняками, чтобы Его принимали и чествовали бедняки, по-бедняцки, чтобы Он снова обрел то, что столько раз познал на дорогах Галилеи,— гостеприимство нищих, их простой привет. Он пожелал жить среди бедных, Он пожелал и умереть среди них. Ведь не как сеньор во главе своих рыцарей шествовал Он к смерти, то есть к Иерусалиму, месту Его принесения в жертву, в те зловещие дни перед Пасхой. Он шел среди бедных людей, которые и не думали кому-то бросать вызов, а старались стать поменьше ростом, чтобы их не замечали как можно дольше... Ныне умалимся же и мы, не для того, как они, чтобы избежать смерти, но чтобы претерпеть ее, если придется, как Он сам ее претерпел, ибо поистине Он был, по слову Писания, агнцем для всесожжения. А теперь воспоем хвалу Кресту. *(Священник уходит, пообещав монахиням вернуться на Пасху.)*

Сцена VIII

Утро на Пасху. В монастыре ждут капеллана.

Настоятельница. Это был не господин капеллан?

Мать Мария. Нет, мать моя, и сейчас так поздно, что он, наверно, уже не придет.

Настоятельница. А наблюдает ли кто за переулком? Помните, как уже было однажды — он хотел войти через дверь прачечной, а она была закрыта на задвижку.

Сестра Гертруда. Сестра Антония там на страже с самого рассвета.

Сестра Анна. Говорят, они вчера вечером пришли за нашим булочником, стариком Тибо, и отвели его в муниципалитет.

Сестра Марта. Это его конкурент Серва на него донес.

Настоятельница *(сохраняя спокойствие)*. Знаю, знаю... Но с вечера пятницы господин капеллан переменил убежище.

Сестра Констанция. Возможно ли, чтобы люди в христианской стране позволяли так преследовать священников? Неужели французы стали такими трусами?

Сестра Матильда. Им страшно. Им всем страшно. Они заражают друг друга страхом, как чумой или холерой во время мора.

Сестра Валентина. Какой стыд!

Бланш *(словно против воли, бесцветным голосом, похожим на те, что слышатся во сне)*. Страх, может быть, и есть болезнь.

Легкий ропот, затем наступает молчание. Бланш словно просыпается, оглядывается по сторонам, ища взгляды своих подруг, но те отводят глаза. Впрочем, на лицах их больше замешательства, чем осуждения.

Мать Мария. Страха нет, люди просто воображают, что им страшно. Страх — это дьявольское наваждение.

Бланш *(тем же странным голосом)*. А храбрость?

Мать Мария. Храбрость тоже может быть дьявольским наваждением. Только другим. Каждому из нас случается бороться со своей храбростью или со своим страхом, подобно безумцу, ловящему свою тень. Важно только одно: чтобы все мы, отважные и малодушные, всегда были там, где угодно Богу, а в остальном полагались на Него. Да, нет другого лекарства от страха, кроме как кинуться очертя голову в волю Божию, как олень, за которым гонятся собаки, кидается в черную и холодную воду.

Сестра Констанция. Но ведь затравленный олень в конце концов оборачивается и начинает отбиваться от собак! Неужели не найдется добрых французов, чтобы стать на защиту наших священников?

Настоятельница. Это нас не касается.

Мать Мария *(обращаясь к другим монахиням)*. Ее Преподобие не имеет в виду, что нам запрещено этого желать.

Сестра Алиса. Зачем мы будем нужны в тот день, когда не станет священников и наш народ лишится Святых Даров?

Настоятельница. Когда недостает священников, появляются в избытке мученики, и так восстанавливается равновесие благодати.

Молчание. Видно, что мать Мария хочет говорить, но еще немного колеблется. Кое-кто из монахинь оборачивается к ней. И вот уже все глядят на нее, кроме Констанции и Бланш. Бланш так и не поднимает глаз, с выражением мучительной тоски. Констанция пытливо смотрит на нее.

Мать Мария *(внезапно произносит негромко и отчетливо, так, что угадывается сила сдерживаемой страсти)*. Мне кажется, устами Ее Преподобия глаголет Дух Святой.

Все встрепенулись. Молчание. Лицо настоятельницы по-прежнему невозмутимо, но чувствуется, что она собрала всю свою волю. Повисшая в воздухе напряженность выдает глубину расхождений между этими двумя женщинами.

(Все так же отчетливо.) Я думаю, что нечестивому режиму, притязающему отменить монашеские обеты, наша Община, вся целиком, должна ответить торжественным обетом мученичества.

Общее, хотя и сдержанное, одобрение. Две-три пожилые монахини опускают голову. Бланш медленно поднимает глаза и жадно смотрит на мать Марию от Воплощения.

Чтобы во Франции остались священники, дочерям Кармеля больше нечего отдать, кроме своей жизни.

Настоятельница *(холодно, после долгого молчания)*. Вы плохо расслышали меня, мать Мария, или плохо поняли. Не нам решать, появятся или нет со временем наши жалкие имена в требнике. Я не хотела бы уподобиться тем званым, о которых говорится в Евангелии, что они садятся на первое место, хотя может случиться, что Хозяин пира отошлет их на последнее [1].

Почтительное молчание матери Марии. На лицах некоторых молодых монахинь выражается разочарование и даже досада.

Ну-ну... «Мученичество» — это легко говорится... Но если с нами приключится несчастье...

Мать Мария *(словно против воли)*. Ваше Преподобие не может называть несчастьем...

Настоятельница. Я придаю этому слову его обычный смысл, я говорю на языке всех людей. Среди великих святых одним смерть была любезна, другим ненавистна, третьи и вовсе от нее бежали. Мой чепец мне свидетель! Если мы станем называть счастьем то, что все люди называют несчастьем, многого ли мы тем добьемся? В добром здравии желать смерти — значит питать свою душу призраком пищи, как тот помешанный, что кормится запахом жаркого.

Какое-то время она наблюдает за монахинями, особенно молодыми, глядя на них поверх очков. Все понурили головы. Взгляд и голос настоятельницы удивительно смягчаются.

Я должна была укрепить вас на ногах, дети мои. Вы уже не держались на земле, вы стали такими легкими, что стоило бы ветерку подуть вам в юбки — и вы бы улетели на небо и затерялись в облаках, как воздушный шар господина Пилатра [2]... А мне мои дочки нужны! Кем бы я была без них? Старухой невысокого ума и к тому же пустомелей, как вы только что убедились...

Молчание. Обстановка понемногу разряжается.

Мать Мария, Бог мне свидетель, я говорила не о вас. У меня не будет лучшего повода сказать то, что я думаю: вы в тысячу раз достойнее этого сана, чем я. Но пока он на мне, я буду поступать согласно своему разумению и своей натуре. Ибо я полагаю, что у Провидения были свои причины

---

[1] Евангелие от Луки, 14, 8 — 11.

[2] Франсуа Пилатр де Розье (1756—1785) — французский физик и воздухоплаватель, совершивший в 1783 году первый полет на воздушном шаре и погибший при попытке перелететь через Ла-Манш.

поставить во главе общины при столь тяжелых обстоятельствах такую простую и ничем не замечательную монахиню, как я.

Мать Мария. Вашему Преподобию известно, что для меня нет большей радости, чем держаться одних мыслей с вами.

Настоятельница. Если бы вы были на моем месте, для меня тоже было бы большим счастьем принести этот обет мученичества и принести его под вашим крылом...

Мать Мария. Ваше Преподобие можете быть уверены, что Община вся целиком...

Настоятельница. Не может быть «Общины всей целиком». В Общине всегда есть сильные и слабые, те и другие одинаково необходимы. И, памятуя о тех, кто слаб, я не могу дать вам согласия на то, о чем вы просите.

Две-три монахини невольно бросают взгляд на Бланш и тут же отворачиваются. Голова Бланш незаметно клонится все больше, но сама она как будто этого не сознает. Констанция очень бледна; она негромко произносит несколько слов.

(С нежностью.) Что вы говорите, сестра Констанция? Я охотно дам вам слово. Когда мудрые исчерпали свою мудрость, надо послушать детей.

Сестра Констанция. Ваше Преподобие мне приказывает?

Настоятельница. Да, это приказ.

Сестра Констанция. Я хотела бы попросить прощения у Общины. Я из тех слабых, о которых говорит Ваше Преподобие.

Настоятельница. Вы так в этом уверены?

Сестра Констанция. С позволения Вашего Преподобия...

Во время этого диалога Бланш понемногу поднимает голову. Произнося эти последние слова, сестра Констанция встречается взглядом с Бланш де Лафорс. Констанция запинается на мгновение. Чувствуется, что все сострадание к подруге не может заставить ее солгать; она выходит из положения с помощью двусмысленности, значение которой проясняется из ее первой беседы с Бланш в начале фильма. Она еще побледнела, но полна решимости.

С позволения Вашего Преподобия. Это правда, я не совсем уверена, что боюсь смерти, но я так люблю жизнь! Разве это не одно и то же?

Сестра Анна. Сестра Констанция не думает ни слова из того, что говорит...

Сестра Гертруда. Мы возмущены, сестра Констанция!

Сестра Констанция *(не подумав)*. Что мне за дело... *(Опомнившись, густо краснеет.)* Простите меня, сестра моя. Я имела в виду, что, говоря то, что сказала, я была заранее готова к вашему презрению, вот и все.

Настоятельница. Никто здесь и не думает вас презирать, сестра Констанция, наоборот, вы подаете нам пример. *(Молчание. Потом говорит с понимающей, почти сообщнической улыбкой.)* Но за презрением не стоит гнаться, точно так же как и за мученичеством. Всему свое время.

Сцена IX

Рабочая комната. Несколько монахинь заняты шитьем. Они обсуждают проповедь капеллана.

Сестра Валентина. Никогда не слышала подобной проповеди!

Сестра Алиса. Может быть, это потому, что вы никогда не слышали, как читает проповедь о Страстях священник, которому самому грозит смерть.

Сестра Клара. Смерть... Как трудно представить себе лицом к лицу со смертью Господина Жизни и Смерти.

Сестра Марта. На Масличной горе Христос уже не был господином ни над чем. Никогда скорбь и страх человеческие не поднимались так высоко, никогда больше они не поднимутся до той ступеньки. Они затопили в нем все, кроме той крайней точки души, где совершалось божественное приятие.

Сестра Клара. Он боялся смерти. Многие мученики смерти не боялись...

Мать Жераль. Не только мученики, но и разбойники тоже, сестра Клара. Говорят, Картуш [1] отпускал шутки до самого колесования.

Сестра Сен-Шарль. О, конечно. Ее Преподобие права. Есть героизм мучеников, и есть другой героизм, как есть золото и медь. Золото драгоценно, а медь — нет, но все-таки оба они металлы.

Сестра Клара. Мучеников поддерживал Христос, но Христу не помогал никто, ибо всякая поддержка и милосердие исходят от Него. Ни одно живое существо не вступало в смерть таким одиноким и безоружным.

Сестра Матильда. Самый невинный тоже грешен и смутно чувствует, что поэтому заслуживает смерти. Самый преступный отвечает только за свои преступления, а Он...

Сестра Екатерина. Самый невинный и самый преступный, не совершивший ни одного греха и отвечающий за все, пожираемый Правосудием и Неправдой одновременно, словно двумя разъяренными зверями...

Сестра Гертруда. О, сестра Екатерина, вы ледените мне душу...

Сестра Екатерина. А вы, сестра Гертруда,— как бы вы провели свою последнюю ночь, будучи приговоренной к смерти?

Сестра Гертруда. Боже мой, я думаю, такая возможность казалась бы мне столь прекрасной, что опасение упустить ее пересилило бы страх смерти.

Сестра Анна. А я хотела бы взойти на эшафот первой. Я поднялась бы к машине очень быстро, не глядя по сторонам, как у себя дома я карабкалась по большой лестнице, чтобы голова не закружилась.

Сестра Гертруда. А вы что сказали бы в эту минуту, сестра Констанция?

Сестра Констанция. Я? Да ничего!

Сестра Гертруда. Как, даже молитву бы не читали?

Сестра Констанция. Не знаю. Мой ангел-хранитель прочтет ее за меня. А с меня будет довольно умереть. *(Бросает искоса быстрый взгляд на Бланш.)* И потом, не стыдно вам вести такие разговоры?

Сестра Гертруда. Какой же тут грех? Лучше проводить время в болтовне, чем в воздыханиях.

Сестра Валентина. А вы, сестра Бланш?

Услышав свое имя, Бланш вздрагивает, словно очнувшись. Кусок ткани и ножницы, лежавшие у нее на коленях, падают на пол. Она их подбирает молча.

Сестра Фелисите. Что с вами, сестра Бланш?

Сестра Клара. Оставьте в покое Бланш де Лафорс. Разве вы не видите, что она задремала?

Сестра Фелисите. Бланш де Лафорс... Не обижайтесь, сестра Бланш, но лучше бы вас звали Бланш де Лафэблес [2]... А все-таки скажите нам, о чем бы вы думали, если бы вас посадили в тюрьму?

Бланш тщетно пытается придать своему голосу твердость.

Бланш. В тюрьму... Да, сестра Фелисите, я... я...

Сестра Фелисите. Ну говорите же!

Бланш *(тоном маленькой девочки)*. О Боже... Мне было бы страшно остаться совсем одной, без нашей матушки...

Монахини улыбаются и из милосердия отводят глаза. Сестра Констанция уставилась в пол, но чувствуется, что она борется с гневом. Внезапно появляется еще одна монахиня.

Сестра Антония. Сестры мои, мать наша желает с вами проститься.

Входит настоятельница, которую орденские власти вызывают в Париж. Она в светской одежде.

Сцена X

Монастырский сад. Рекреация. Как всегда, атмосфера очень веселая.

---

[1] Луи Доминик Картуш (1693—1721) — главарь шайки грабителей.

[2] По-французски Лафорс (la force) значит «сила», Лафэблес (la faiblesse) — «слабость».

Сестра Гертруда. Сегодня рекреация длится дольше чем обычно.

Сестра Екатерина. Вовсе нет. У нас есть еще добрых двадцать минут, сестра Гертруда.

Сестра Сен-Шáрль. С тех пор как уехала Ее Преподобие, мы никогда так не веселились. Что бы она о нас подумала!

Сестра Марта. Разве не сама Ее Преподобие посоветовала нам быть веселыми и беззаботными, пока Бог дает нам такую передышку?

Сестра Анна. Передышку! Так можно говорить о передышке и человеку, которого подвесили за ниточку на сто локтей над Соборной площадью!

Сестра Констанция *(смеясь)*. Но ведь мы, сестра моя, можем упасть только в лоно Божие!

Сестра Анна. О, сестра Констанция, вот благочестивые речи! Только почему вы их произносите смеясь?

Сестра Констанция. Потому что мне приятно об этом думать.

Сестра Анна. А когда наша матушка пришла с нами попрощаться, вы ведь тоже смеялись?

Сестра Констанция. Это сестра Алиса толкала меня локтем в живот. Но я и без того бы смеялась. Я смеялась, глядя на нашу матушку в таком чудно́м наряде.

Сестра Гертруда. И вам было не стыдно?

Сестра Констанция. Отчего мне должно быть стыдно? Мне показалось очень смешно, что злые люди ничего не могут сделать против бедных служанок Господних, только заставить их переодеться, как на карнавале.

Сестра Валентина. Они на этом не остановятся.

Сестра Констанция. А потом? Что они могут сделать такого, чего не делали Нерон или Тиберий? Разве постыдная смерть, которой предали Христа,— не самое невероятное переодевание? Они переодели рабом властелина Творения и пригвоздили Его к кресту, как раба. Земля с преисподней вместе не могли бы пойти дальше такого чудовищного и кощунственного озорства. Бросать людей на съедение зверям или превращать их в горящие факелы — разве это не наводит на мысль о жутком фарсе? Конечно, нас страдание и смерть всегда потрясают, но что могут означать эти гнусные кривлянья в глазах ангелов? Без всякого сомнения, ангелы смеялись бы над ними, если б умели смеяться...

Сестра Гертруда. Сестра Констанция так хорошо защищается...

Сестра Валентина. О сестра Гертруда, вы всегда слушаете ее с разинутым ртом.

Монахини смотрят на сестру Гертруду. Все смеются. Она действительно стоит с разинутым ртом, склонив голову к левому плечу и полузакрыв глаза, словно вся погрузилась в слух. Шум и смех длятся еще немного, потом постепенно стихают. Тишина. Издалека доносится звук колокола. Затем другой, поближе. Еще один. Монахини переглядываются.

Сестра Матильда. Набат!

Сестра Алиса. Пушка!

Сестра Анна. Как пушка? Почему пушка? Это большой колокол с часовни Сен-Максим.

Сестра Алиса. Невозможно, сестра Анна! Звук с другой стороны...

Теперь ясно слышно, что это пушка. Звуки труб. Топот марширующей толпы. «Са ира» [1]... Праздничные песни.

Сестра Клара *(не подумав)*. Похоже на праздник Тела Господня, как когда-то...

Сестра Сен-Шарль. О, замолчите! Замолчите!

Силы ее покидают. Слышатся нервные смешки. Теперь трубы заглушают все остальные звуки. Но после каждой их фразы наступает короткий промежуток тишины. В один из таких промежутков раздается колокольчик у ворот.

Сестра Матильда. Звонят в колокольчик!

---

[1] «Дело пойдет!» — *(франц.)* — название и припев популярной революционной песни.

Сестра Клара. Надо поскорее взглянуть на ворота из прачечной.

Сестра Анна спешит туда.

Осторожней, сестра Анна! Снимайте цепочку только в последнюю минуту.

Стремительно входит капеллан. Монахини его окружают. Одна из них поодаль следит за главным входом. Шаги марширующей толпы.

Капеллан. Я оказался между толпой и патрулем. У меня не было другого выхода, как зайти сюда.

Сестра Клара. Оставайтесь с нами, отец мой.

Капеллан. Я только подвергну вас опасности. Мне надо уходить. Когда процессия остановится на площади перед муниципалитетом, улицы будут свободны.

Сестра Констанция. Неужели нам всегда теперь остается только бежать или прятаться?

Капеллан. Во времена таких великих смут, как нынешняя, опаснее всего быть не преступником, а невинным или заподозренным в невиновности. Невинный вскоре заплатит за всех!

Сестра Екатерина. Ах, отец мой, бегите из этой страны!

Капеллан. Я подожду изъявления воли Божией. Оставаясь там, куда Он меня поставил, я могу совершить глупость, но не грех.

Сестра Клара. Что станет с Ее Преподобием?

Капеллан. Не знаю. Боюсь, что она не сможет вернуться к нам.

Трубы продолжают греметь, но слышно, что трубачи стоят на одном месте.

Сестра Матильда. Кажется, на улице уже никого нет, но как будто другая процессия движется со стороны собора. Верно, сестра Анна?

Сестра Анна. Да, старик садовник сейчас приходил за своим тряпьем. Он говорит, в городе полно пришлых, они сегодня расположатся на ночь на площадях. На всех перекрестках продают вино.

Сестра Фелисите. Слышите? Слышите?

Набат, который умолк было на минуту, звучит с новой силой. Теперь доносятся ружейные выстрелы.

Сестра Валентина. Боже мой! Еще несколько минут назад мы были так спокойны и безмятежны...

Сестра Марта. А ведь уже с утра в городе было очень шумно, сестра Валентина.

Сестра Валентина. Не больше, чем обычно. Вот уже столько дней этот город как помешанный! И вчера они всю ночь плясали на берегу. Нам отсюда было слышно пиликанье скрипок. А потом вдруг выстрелы, как петарды на Иванов день.

Сестра Марта. Верно, со временем уже ни на что не обращаешь внимания...

Сестра Фелисите. Слышите? Вот они снова.

Капеллан. Кажется, я упустил момент. Ну, все равно.

Сестра Клара. Благословите нас перед уходом.

Капеллан. Я хотел бы попрощаться с матерью Марией от Воплощения.

Сестра Анна. После трапезы наша мать Мария от Воплощения удалилась в свою келью, как обычно.

Сестра Клара. Сходите за ней, сестра Сен-Шарль.

Капеллан. Нет! Лучше не терять времени. Что с вами будет, дети мои, если они застанут меня у вас?

Он делает благословляющий жест. Монахини опускаются на колени. Он благословляет их и исчезает. И почти сразу же шум на главной улице усиливается. Кажется, что ее внезапно заполнила огромная толпа.

Капеллан перелезает через стену в соседний сад. Там есть шалаш, где хранятся садовые орудия. Священник укроется в нем до вечера.

Сцена XI

Шум возрастает до такой степени, что сестрам приходится кричать друг другу в ухо, чтобы что-нибудь услышать. На ворота монастыря сыплются удары.

Испуганные голоса. Не открывайте! Не открывайте!

Первый порыв монахинь — разбежаться по саду. Но понемногу они, одна за другой, замедляют шаг, словно устыдившись. Наконец они собираются у подножия статуи Пресвятой Девы. Почему — становится понятно, когда в дверях часовни, на невысокой площадке, вырисовывается силуэт матери Марии от Воплощения. Одна из досок в воротах поддается со зловещим скрипом. Мать Мария от Воплощения знаком подзывает сестру Констанцию, берет из своей связки ключ от ворот и отдает его Констанции.

Мать Мария. Отоприте, дитя мое.

Эти слова скорее угадываются по движению губ. Грохот теперь просто оглушающий. Мать Мария идет вперед не торопясь, ни слишком быстро, ни слишком медленно. Два-три революционера вваливаются через пролом, но им приходится при этом проделывать уморительные кульбиты, и на минуту они останавливаются в замешательстве перед неподвижными монахинями. Мать Мария спокойно берет ключ из рук Констанции и протягивает его одному из них. Ворота отпирают. Толпа врывается в монастырь. Мать Мария не делает ни одного движения, чтобы ее остановить, и тем не менее большая часть толпы возвращается назад. На очень бледном лице сестры Констанции едва заметная улыбка.

Комиссар. Где монахини?

Мать Мария. Они перед вами.

Комиссар. Наш долг — объявить им декрет о выселении.

Мать Мария. Это зависит только от вас.

Читают декрет: «Как постановило Законодательное Собрание на своем заседании 17 августа 1792 года: к первому октября нынешнего года все здания, занимаемые до настоящего времени монахинями или монахами, должны быть освобождены вышеназванными монахами и монахинями и пущены в продажу по требованию властей».

Комиссар. Желаете ли вы заявить какие-либо претензии?

Мать Мария. На что мы можем претендовать, если у нас больше нет ничего? Но нам необходимо раздобыть другую одежду, коль скоро вы нам запрещаете носить эту.

Комиссар. Согласен! *(Он заставляет себя зубоскалить, поскольку простота, с какой держится мать Мария, производит на него впечатление.)* Вы так торопитесь скинуть эти хламиды и одеться как все люди?

Мать Мария. Я могла бы вам ответить, что не мундир делает солдата. Но у нас нет мундира. В любой одежде мы всегда останемся служанками.

Комиссар. Народу не нужны служанки.

Мать Мария. Но ему очень нужны мученики, и это та самая служба, которую мы можем взять на себя.

Комиссар. Э, в наши дни умереть — это пустяки.

Мать Мария. Жить — это пустяки, вот что вы хотите сказать. Сейчас только смерть идет в расчет, потому что жизнь обесценилась до смешного, она стоит не больше, чем ваши ассигнации.

Комиссар. Такие слова могли бы вам дорого обойтись, если б вы их сказали кому-нибудь другому. Вы меня считаете одним из этих кровопийц? Я был ризничим в Шельской церкви, господин викарий — мой молочный брат. Но что поделаешь, с волками жить — по-волчьи выть!

Мать Мария. Простите меня, но я попрошу у вас доказательств вашей доброй воли.

Комиссар. Мне известно, что ваш священник прячется в сушильне.

Мать Мария. Я вам не верю.

Комиссар. Он со мной говорил.

Мать Мария. Что он вам сказал?

Комиссар. Что он перелез через стену в соседний огород, но там на него напали собаки, и ему пришлось вернуться сюда. Эти подробности вас не убеждают?

Мать Мария. Только наполовину.

Комиссар. Тогда я добавлю, что там прячется еще и молодая

монахиня, как она говорит, со вчерашнего утра. Мне показалось, что она умирает со страху.

Мать Мария *(уже ничего не скрывая)*. Благословенно имя Господне! Это, конечно, сестра Бланш. А я не знала, где ее искать... Благодарю вас за эту весть, сударь.

Молчание. Комиссар озирается вокруг.

Комиссар. Я уведу с собой комиссаров и патруль. Здесь останутся до вечера только рабочие. Остерегайтесь кузнеца Бланкара, он воспитывался у бенедиктинцев в Ретифе и говорит как священник. Это доносчик.

Уходит. Комиссары долго совещаются у ворот. Видно, что спор горячий. Наконец они уходят, забрав с собой патруль.

Сцена XII

На экране сначала виден монастырь, разграбленный, но уже свободный от непрошеных гостей. Рабочий, который уходит последним, задерживается на пороге, чтобы допить вино из горлышка, потом швыряет бутылку в стену. Кто-то соорудил подобие двери из сломанных досок, связав их веревкой.

Сцена XIII

Теперь Община собралась в ризнице. Видны приспособления, позволяющие спускать колокола. Кругом опустошение. Всюду солома, мусор, решетка на хорах наполовину выломана. Одна из монахинь на часах у двери. Горит несколько свечей. Весьма скромная одежда капеллана в пятнах грязи, обувь вымазана глиной, один рукав разорван и свисает с руки, но под ним виднеется очень тонкая и тщательно выглаженная сорочка.

Молчание.

Мать Мария. Напутствуйте их, отец мой, они давно уже готовы к решению, которое собираются принять.

Капеллан. Это не совсем укладывается в мои обязанности. Я полагаю, в вынужденное отсутствие Ее Преподобия будет уместнее вам самой обратиться к Общине. Мой непременный долг — всего лишь принять и благословить обет, который вы хотите принести, при условии, что это делается с полным знанием обстоятельств, по здравом размышлении и свободно.

Лицо матери Марии отнюдь не выражает недовольства таким ответом. Она по-прежнему держится необыкновенно просто и естественно.

Мать Мария. Дети мои, несколько слов для начала. Я знаю, что кое-кто из вас со вчерашнего дня беспокоится о нашей дорогой сестре Бланш. Мадемуазель де Лафорс не покидала нашей обители, и ей даже...

Сестра Бланш вздрагивает, черты ее выражают сначала радостное изумление, затем сомнение и снова тревогу.

...ей даже выпала честь провести это время при господине капеллане, в обстоятельствах, которые я не имею права открывать, даже если бы считала это нужным; иначе я могла бы повредить одному нашему другу или, во всяком случае, полезному помощнику. А теперь перейдем к тому, для чего мы собрались. Я предлагаю, чтобы все мы вместе принесли обет мученичества ради сохранения Кармеля и спасения нашего отечества.

Никакого энтузиазма в ответ. Монахини переглядываются между собой.

Я рада видеть, что вы принимаете это предложение столь же хладнокровно, сколь мне внушил Господь хладнокровно его сделать. Речь действительно идет не о том, чтобы отдавать наши бедные жизни, питая слишком большие иллюзии об их ценности. Ибо никогда не была так верна, как сегодня, старая мудрость: ка́к дарить значит больше, чем что́ дарить. Мы должны принести в дар наши жизни со всей пристойностью. Отдавать их с сожалением и даже с тайной грустью — это не будет нарушением пристойности. Наоборот, мы грубо и тяжко ее нарушим, если будем кружить себе головы громкими словами и красивыми жестами, как солдаты перед атакой пьют вино с примесью пороха.

Мать Жанна. Какие в точности обязательства мы берем на себя этим обетом?

Мать Мария. Разумеется, мы не обязуемся предпринимать какие-то резкие и неосторожные шаги. Они послужили бы только провокацией и вызовом тем, кто вполне способен выместить свою злость вместо нас на невинных. Но существуют законные способы избегать мученичества, и мы заранее запрещаем себе ими пользоваться, как больной, который отказывается от спасительного лекарства, чтобы его хватило на помощь другим.

Старая мать Жанна держит краткий совет с теми, кто сидит к ней поближе.

Мать Жанна. Мы полностью принимаем объяснения и уточнения, сделанные Вашим Преподобием. Но мы опасаемся, что они будут неверно поняты более молодыми членами нашей общины. Столь необычные обеты имеют тот недостаток, что они могут внести смятение в умы и даже раздор в души.

Мать Мария слушает молча. Она не торопится с ответом.

Мать Мария. Вот почему я всегда полагала, что решение о таком обете и по существу, и применительно к обстоятельствам должно быть принято единодушно. Если хоть одна из вас будет против, я тут же откажусь от своего предложения.

Сестра Констанция уже несколько минут наблюдает за Бланш де Лафорс, сначала украдкой, потом явно. Бланш выглядит очень усталой. Зрителю должно быть ясно, что отныне она будет игрушкой обстоятельств и в любом случае не посмеет открыто пойти против остальных.

Мать Жераль *(она глуховата, приходится кричать ей в ухо)*. В таком деле старшие должны бы говорить за младших и от их имени. Требовать разумности в двадцать лет — увы! Из этого получается обычно больше срама, чем чести.

Мать Мария. Мой замысел был, чтобы мы приняли это решение тайной подачей голосов. К примеру, господин капеллан мог бы выслушать наши ответы, и они были бы защищены тайной исповеди.

Лицо Бланш очевидно светлеет. Сестра Констанция не сводит с нее глаз.

Мать Мария *(пожилым монахиням)*. Вы этим полностью удовлетворены, матери мои?

Мать Жераль просит повторить ей эти слова и отвечает:

Мать Жераль. Во всяком случае, очень успокоены.

Капеллан. Достаточно, если вы будете по очереди проходить за алтарь.

Монахини встают. Среди них выделяется группка молодых монахинь. Одна из них незаметным кивком указывает на сестру Бланш и говорит тихонько:

Сестра Сен-Шарль. Держу пари, что будет один голос против.

Сестра Констанция стоит совсем рядом. Неясно, слышала ли она. Глаза ее опущены. Одна за другой монахини исчезают за алтарем и почти сразу же появляются снова. Это непременно должно происходить очень быстро. Когда появляется Бланш, на лице ее растерянное выражение, как у человека, который только что принял решение «орлом или решкой». Констанция провожает ее взглядом. Монахини рассаживаются по местам. Капеллан подходит к матери Марии и что-то ей тихо говорит. Мать Мария объявляет, по-прежнему сохраняя спокойствие.

Мать Мария. Один голос против. Этого достаточно.

Сестра Констанция бледна как смерть.

Сестра Сен-Шарль. Мы знаем чей...
Сестра Констанция. Это мой.

Все ошеломлены. Бланш плачет, закрыв лицо руками.

Господин капеллан знает, что я говорю правду... Но... Но... Теперь я заявляю, что согласна со всеми вами, и... я... я желаю... я хотела бы, чтобы вы мне позволили принести этот обет...

Молчание.

Молю вас, ради Бога всемилостивого.

Капеллан. Согласен. Присоединитесь к вашим подругам, сестра Констанция. Вы будете подходить сюда по двое. Сестра ризничая, откройте книгу Святых Евангелий и положите ее на налой.

Капеллан торопливо натягивает облачение. Мать Мария передает книгу одной из монахинь, которая начинает громко и монотонно читать отрывок из Мартиролога [1].

Сначала самые юные. Сестра Бланш и сестра Констанция, прошу вас.

Контраст между лицами Бланш и Констанции по-прежнему бросается в глаза. Они опускаются на колени рядом и предлагают свои жизни Богу ради спасения Кармеля и Франции. Нужно, чтобы в это время из города доносился какой-то шум — песни, топот, не важно,— но сильно приглушенный. Голос Бланш звучит очень отчетливо и напряженно, должно быть более или менее ясно, что силы ее на исходе. Когда она возвращается на свое место в глубине помещения, монахини стараются выстроиться по возрасту, согласно желанию капеллана. Видно, как в этой суете Бланш выходит из часовни и убегает.

Сцена XIV

Монахини в светской одежде, они покидают обитель с узелками в руках. Тем временем разграбление монастыря продолжается. Посреди всего этого возвращается настоятельница. Сначала она в окружении монахинь, толпящихся вокруг нее. Она спрашивает — неожиданно и без всякой задней мысли.

Настоятельница. Вы все здесь, доченьки мои? Я вас всех вижу?

Смущенные взгляды. Настоятельница не требует ответа. Чувствуется, что сейчас она спешит остаться наедине с матерью Марией от Воплощения. И вот они одни.

Настоятельница. Итак, вы решили принести этот обет?

Мать Мария. Я почти не надеялась вновь вас увидеть, по крайней мере в сем мире... Иначе...

Настоятельница. О, я вас не виню! Я только всегда боялась, что вы ошибаетесь, когда величие души влечет вас отвечать на исступление зла исступлением добра, словно два мощных голоса пытаются перекричать друг друга. Но именно тогда, когда зло делает больше всего шума, мы должны делать его как можно меньше — таковы обыкновение и дух нашего ордена, предназначенного для созерцания. Да, когда власть зла — которая, впрочем, есть не более чем призрак, иллюзия,— заявляет о себе особенно громко, тогда Господь снова становится младенцем в яслях, словно бы для того, чтобы ускользнуть от собственного правосудия, от настояний собственного правосудия и как бы обмануть его. И если все действительно происходило так, как вы мне рассказали, разве не может само нежное младенчество Господне, в лице нашей бедной дочурки Бланш, поплатиться за такое проявление героизма? Надеясь обеспечить свое спасение, не поставили ли мы под угрозу спасение Бланш? О, я только простая и недалекая монахиня. Но я всегда думала, что если сила — это добродетель, то такой добродетели не может хватить на всех, что сильные сильны за счет слабых и что во всеобщем искуплении со слабости будет наконец снято проклятие...

Мать Мария от Воплощения опустила голову. Долгое молчание.

Мать Мария. Как только это станет возможно, я буду просить у Вашего Преподобия разрешения отправиться в Париж на поиски мадемуазель Бланш де Лафорс.

Настоятельница. Я вам в том не откажу.

Молчание.

Хотя мне будет очень тяжело остаться одной в такую минуту.

Мать Мария опускается на колени перед настоятельницей.

Мать Мария. Я прошу у Вашего Преподобия прощения за свою вину. Да позволит мне Господь искупить ее такой ценой, чтобы от нее не пострадал никто, кроме меня.

[1] Сборник повествований о христианских мучениках.

Настоятельница благословляет и обнимает ее.

Пятая картина

Сцена I

Особняк Лафорсов. Двор пуст. Появляется какой-то человек. Это с а н к ю л о т: кокарда, фригийский колпак. Он проходит внутрь; в глубине видна лестница; он останавливается у дверей гостиной и негромко зовет: «Мадемуазель Бланш!» Ответа нет. Слышно, как он поднимается по лестнице.

Комната Бланш. Она слышит, что ее зовут, думает, что это ее отец, открывает дверь и выбегает. Увидев чужого человека, она издает такой же крик ужаса, как в начале фильма. Она бросается обратно к себе в комнату и запирается там. Человек пытается ее успокоить, стоя под дверью: «Откройте! Это я, Антуан, ваш кучер. Ваш отец арестован, надо идти его выручать».

Сцена II

Тюрьма Консьержери. Подвальная камера, в которой человек двадцать узников. Беспорядок. По камере бродят люди, у которых нервы напряжены до крайности, но они стараются не показывать этого и быстро берут себя в руки. Окошко выходит во внутренний двор, откуда доносится несмолкаемый шум, иногда усиливающийся настолько, что заглушает разговоры. Голоса, рокот барабанов, шаги, скрип колес. Ничего похожего на дисциплину нынешних лагерей смерти. Время от времени какой-нибудь революционер (или революционерка) садится на корточки у окошка, прижимается лицом к решетке и выкрикивает оскорбления или шутку.

Входит т ю р е м щ и к и выкликает узника.

Т ю р е м щ и к. Бывший граф де Гиш.

У з н и к *(с иронией)*. Маркиз, гражданин!

Т ю р е м щ и к. В моей бумаге сказано граф, а не маркиз.

Несколько человек прерывают разговор и вслушиваются. Остальные продолжают беседу.

У з н и к. Ты держишь свою бумагу вверх ногами, гражданин!

Т ю р е м щ и к. Ну так что ж! Секретарь в суде мне ее прочел, и пусть я не умею читать, черт побери, но я не глухой.

Маркиз де Гиш протянул было руку, чтобы взять бумагу, но потом пожимает плечами и говорит:

М а р к и з. Пусть так! Ты мне всегда казался честным малым. Положусь на тебя. *(Он подходит к молодой женщине, которая с приходом тюремщика прервала партию в карты и стоит с храброй улыбкой на губах.)* Милая Элоиза, прошу вас сохранить эти безделушки. Я их завязал в платок и клянусь, тут все, чем я еще владел в этом мире. В мир иной я унесу с собой только вашу доброту, мой ангел.

Молчание.

Мой младший брат хорошо посмеется. Мы с ним семь лет вели тяжбу за жалкую хижину, не стоившую и пяти тысяч ливров, и вот я оставляю ему все... Это потому, правда, что я не дорожил ничем... Прощайте, Элоиза. Я расцеловал бы вам руки, если бы здесь это не было смешно. *(Обращается к узнику с седыми волосами, партнеру молодой женщины по картам, который также прекратил игру.)* Гонтран, вы дадите за меня экю этому доброму малому и засвидетельствуете мое почтение маркизу де Лафорсу. Я вижу, он задремал и не посмею будить его ради такого пустяка. *(Элоизе.)* Прощайте, душенька моя.

Молодая женщина явно напряглась, но по-прежнему мужественно дарит его улыбкой — до самого конца, пока он не переступает порога. Тем временем седой узник вернулся на свое место.

Г о н т р а н. Вы сдадите карты?

Э л о и з а. Нет, сегодня мне не хочется играть.

Г о н т р а н. Как вам будет угодно. *(Собирает карты и, зевая, засовывает их в карман.)*

Элоиза по-прежнему стоит очень прямо, опустив глаза, но с гордо поднятой головой. Гонтран подходит к камину, у которого стоит юноша с черными от сажи руками. Снаружи шум усиливается. В камере люди тоже повышают голос. Беспорядочное движение.

Гонтран. Ну, молодой человек, как подвигается ваше дело?

Юноша. Я все подготовил для работы на нынешнюю ночь. Ах, если бы у меня были другие орудия, а не этот скверный напильник, мы бы сегодня вечером выбрались отсюда. Но отколупывать такой старой железкой по кусочку — это проклятье...

Гонтран. Проклятье — тратить столько сил, чтобы не умереть.

Юноша. Нет — чтобы жить. Не стыдно вам всем подставлять голову под топор, и пальцем не шевельнув?

Гонтран. А чего вы надеетесь добиться всерьез? По правде сказать, если бы и был один шанс из ста, что тебя вытащат отсюда за ноги, как барсука из норы,— я бы тысячу раз предпочел телегу смертников!

Юноша. Люди вашего поколения не любят жизни.

Гонтран. Мы играли ею, а вами играет она. Она принадлежала нам, а вы ей принадлежите. Вы не можете от нее оторваться, как от женщины, которая ни разу не разделась перед вами...

Другой тюремщик. Бывший маркиз де Лафорс.

Маркиз просыпается и, взяв понюшку, встает.

Сцена III

Трибунал заседает между двух охраняемых дверей. Допрашивают маркиза.

Один из судей. Тут человек требует этого бывшего от имени своей секции.

Другой судья. Пусть войдет.

Входит кучер, держа за руку насмерть перепуганную Бланш.

Кучер. Граждане судьи, юная и приятная особа, которая меня сопровождает,— дочь этого бывшего. Республика вырвала ее из рук священников, которые отняли ее у старика отца, чтобы упрятать навеки в темницу фанатизма и предрассудков... Юная гражданка пришла поблагодарить своих защитников и освободителей.

Трибунал постановляет освободить Бланш и ее отца.

Сцена IV

Особняк Лафорсов. Большая гостиная. Маркиз сидит в кресле. Бланш стоит на коленях рядом с ним, пряча голову в его коленях. Он ее успокаивает. Кучер разыгрывает хозяина дома и потчует своих товарищей, которые провожали маркиза и его дочь.

Сцена V

Компьень. Кармелитки в светском платье предстают перед муниципальными чиновниками.

Один из чиновников. Гражданки, мы оценили вашу законопослушность и ваши патриотические чувства. Но мы предупреждаем, что Нация отныне не сведет с вас глаз. Никакой жизни в Общине, никаких сношений с врагами Республики и непокорными священниками, оплотом папы и тиранов. Через десять минут вы по очереди будете входить в наше бюро, чтобы получить удостоверения, которые позволяют вам снова наслаждаться радостями свободы, под наблюдением и защитой Закона.

Уходит. Монахини, стоявшие в два ряда, сбиваются в кучку. Настоятельница и мать Мария вдвоем остаются поодаль. Настоятельница знаком подзывает одну из сестер. Это пожилая монахиня, которая в светском платье выглядит как всякая бедная женщина.

Настоятельница. Мать Жераль, надо непременно предупредить священника. Мы условились, что он отслужит сегодня святую мессу. Но теперь я вижу, что это было бы слишком опасно для него и для нас.

Мать Жераль уходит. Молчание.

Вы не согласны, мать Мария?

Мать Мария. Я полагаюсь на Ваше Преподобие во всем, с чем

я отныне должна быть согласна или не согласна. Пусть я была не права, поступив так, как я поступила. Но что сделано, то сделано. Как примирить дух нашего обета с такой осторожностью?

Настоятельница. Каждая из вас отчитается в своем обете перед Богом. Но я буду отчитываться за вас всех. И я достаточно стара, чтобы научиться держать мои счета в порядке.

Сцена VI

Смена декораций. Капеллан возвращается с матерью Жераль. Он подходит к настоятельнице. Оказавшись рядом с ней, он оборачивается и благословляет монахинь, опустившихся все вместе на колени.

Сцена VII

Снова перемена декораций. Теперь капеллан в маленькой комнате наедине с настоятельницей и матерью Марией от Воплощения.

Капеллан. Да, маркиз де Лафорс действительно был гильотинирован, мои сведения верны.

Настоятельница. Что мы можем сделать для Бланш?

Капеллан. Я хотел бы какое-то время подержать ее в деревне и дать ей набраться сил. Но бедная девочка не в том состоянии, чтобы помогать мне в этой затее. Как говорит моя племянница, сторожа в особняке обращаются с ней как со служанкой и следят за ней день и ночь. Рано или поздно ее постигнет участь ее отца. Нам не удастся спасти ей жизнь, но, может быть, мы убережем ее от постыдной смерти. Надо вернуть ее в Компьень.

Мать Мария. С разрешения Вашего Преподобия я отправлюсь за ней и привезу ее.

Капеллан. Вот записка к моей племяннице, актрисе Розе Дюкор. Это славная девушка, мы можем на нее положиться. Ей все известно. Если вам удастся привести Бланш к ней, самое трудное будет сделано. Я постараюсь с вами там встретиться.

Сцена VIII

Особняк Лафорсов. В комнате на втором этаже Бланш сидит на корточках перед очагом и стряпает. Слышно, как внизу открывается дверь, кто-то поднимается по лестнице, стучит в дверь и женский голос зовет Бланш. Бланш на цыпочках подходит к камину, достает с него ключ, пересекает комнату и выходит через дверь, противоположную той, в которую стучат. Пройдя через две-три комнаты, она приоткрывает дверь, позволяющую ей увидеть, кто там, самой оставаясь невидимой. Она узнает мать Марию от Воплощения, широко распахивает дверь, и мать Мария вздрагивает при этом звуке. Они обе входят через ту дверь, в которую стучала мать Мария, в комнату, где была Бланш.

Бланш. Это вы... *(Она смотрит на мать Марию со странным выражением робкой любви и недоверчивости.)*

Мать Мария. Да, я пришла за вами. Пора.

Бланш. Я не могу теперь уйти с вами... Но со временем... Может быть...

Мать Мария. Не со временем, а сейчас же. Через несколько дней будет слишком поздно.

Бланш. Слишком поздно для чего?

Матери Марии не по себе. Видно, что такое начало разговора ее огорчило и озадачило.

Мать Мария. Для вашего спасения.

Бланш. Мое спасение...

Молчание.

Вы хотите сказать, что там я буду в безопасности?

Мать Мария. Там для вас меньше риска, чем здесь, Бланш...

Бланш. Я не могу вам поверить. В такое время где я могу быть

в большей безопасности, чем здесь? Кому придет в голову меня здесь искать? Смерть бьет только по тем, кто наверху... Но я так устала, мать Мария! *(Она дрожит.)* Ох, мое рагу подгорело! Это из-за вас! *(Бросается на колени перед очагом, поднимает крышку кастрюли.)* Боже! Боже! Что со мной будет?

Мать Мария тоже становится на колени, быстро перекладывает рагу в другую кастрюлю. Потом засыпает огонь золой и ставит туда кастрюлю, понюхав ее содержимое.

Мать Мария. Не терзайтесь, Бланш, вот беда и поправлена.

Бланш рыдает.

Отчего вы плачете?

Бланш. Оттого что вы такая добрая. Но плакать мне тоже стыдно. Я хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы обо мне никто больше не вспоминал... *(С внезапной яростью.)* В чем меня упрекают? Что я делаю дурного? Я не оскорбляю Бога. Страх не оскорбляет Бога. Я родилась во страхе, я в нем жила и сейчас живу, все презирают страх, значит, это справедливо, что я живу и в презрении тоже. Я уже давно так думаю. Единственный человек, который мог бы помешать мне это сказать, был мой отец. Он умер. Они его гильотинировали несколько дней назад. *(Ломает руки.)* В его собственном доме, недостойная его и его имени,— кем я еще могу быть, кроме как жалкой служанкой? Вчера они меня даже ударили... *(С каким-то вызовом.)* Да, они меня ударили.

Молчание.

Мать Мария. Дочь моя, несчастье не в том, что кто-то тебя презирает, а только в том, что презираешь себя сама.

Снова молчание. Потом твердо, но очень просто и сдержанно мать Мария произносит.

Сестра Бланш от Смертной Муки Христовой!

На призыв матери Марии Бланш выпрямляется, словно против воли, и стоит осушив глаза.

Бланш. Мать моя?

Мать Мария. Я дам вам адрес. Запомните его хорошенько. Мадемуазель Роза Дюкор, номер два, улица Сен-Дени. Эта особа предупреждена. У нее вы будете в безопасности. Роза Дюкор... Номер два, улица Сен-Дени.

Пауза.

Я буду ждать вас там до завтрашнего вечера.

Бланш. Я не приду. Я не могу туда пойти.

Мать Мария. Вы придете. Я знаю, что вы придете, сестра моя.

В этот момент Бланш зовут для каких-то поручений. Бланш убегает, оставив мать Марию. Мать Мария скрывается.

Сцена IX

Бланш на улице. В руке у нее корзинка, из которой свисают листья салата. На улице какое-то оживление. Все ближе смутные звуки. «Са ира». Прохожие начинают разбегаться в разные стороны. Появляется колонна санкюлотов, вооруженных пиками и саблями; у того, кто идет впереди колонны, на конце пики человеческая голова. Несколько прохожих, и среди них Бланш, успевают только кинуться в какие-то открытые ворота и затворить их за собой. Они оказываются в небольшом дворике. Шум на улице усиливается. Укрывшиеся во дворе прохожие сначала недоверчиво оглядывают друг друга. Тут две старухи, молоденькая девушка, пожилой господин, бедно одетый, но явно из «бывших», и молодой человек, который, осмотревшись, перелезает через стену и исчезает. Оставшиеся понемногу успокаиваются. Бланш держится особняком. Одна из старух начинает разговор.

Старуха. Сдается мне, наши беды еще не кончились.

Пожилой господин. Правда, жизнь в Париже становится все труднее!

Вторая старуха. Ох, нигде она не лучше, сударь.
Первая старуха. А то так и хуже. Я вот из Нантера...
Вторая старуха. А я из Компьеня.

Бланш вздрагивает. Чувствуется, что она пытается побороть страх. Она говорит изменившимся голосом.

Бланш. Вы приехали из Компьеня?
Вторая старуха. Да, красавица моя. Я вчера приехала, телегу овощей привезла. У нас там дюжины две пакостников. Они все друг друга боятся и для куражу такой шум поднимают, словно их шесть сотен наберется. Позавчера они арестовали сестер кармелиток. *(Смотрит на Бланш, которая изменилась в лице, и говорит.)* У вас там что, родственницы есть?
Бланш. О нет, сударыня. Я вовсе никогда не бывала в Компьене. Я только неделя, как приехала в Париж с хозяевами из Рош-сюр-Ион. *(Она старается скрыть охватившую ее нервную дрожь. Черты ее выражают ужас и нечто похожее на отчаянную решимость. Собрав все свое мужество, она выскальзывает на улицу.)*

Пожилой господин сел на скамейку и разминает в пальцах табак. Две старухи переглядываются, качая головой.

Старуха. Чудна́я эта служанка, скажу я вам.

Сцена X

Бланш прибегает к Розе Дюкор. Она запыхалась и вне себя от волнения. Она бросается на стул и, обхватив голову руками, повторяет.

Бланш. Их надо спасти! Нельзя, чтобы их убили! Их надо спасти во что бы то ни стало! Боже! Боже! Нельзя, чтобы их убили!

Роза Дюкор и мать Мария хлопочут вокруг нее.

Мать Мария. Что вы хотите сказать?
Бланш *(прерывающимся голосом, в котором, однако, уже слышатся бунт и негодование.)* Я пошла за покупками на рынок... Как каждое утро... и вдруг... вдруг одна женщина мне сказала...
Мать Мария. Наши сестры в тюрьме?
Бланш. Да.
Мать Мария *(с глубоким чувством)*. Благодарение Богу!

Молчание. Губы матери Марии шевелятся. Можно догадаться, что она молится. Бланш по-прежнему прячет голову в ладони. Но когда мать Мария сказала «Благодарение Богу», она явно встрепенулась. Мать Мария трогает ее за плечо.

Сестра Бланш, мы должны ехать в Компьень.

Бланш поднимает голову.

Бланш. Это правда... О мать Мария, если есть хоть какое-то средство их спасти, мне кажется, на сей раз у меня хватит храбрости.
Мать Мария. Речь не о том, чтобы их спасти, но чтобы исполнить вместе с ними обет, который мы добровольно принесли совсем недавно.
Бланш. Как! Мы дадим им умереть, ничего не попытавшись для них сделать?
Мать Мария. Дитя мое, важно не дать им умереть без нас.
Бланш. Да чтобы умереть, они без нас обойдутся!
Мать Мария. От дочери ли Кармеля я это слышу?
Бланш. Умереть, умереть, у вас одно это слово на языке! Неужели вам всем никогда не надоест убивать или умирать? Неужели вы никогда не напьетесь вдоволь чужой крови или своей собственной?
Мать Мария. Мерзостно только преступление, дочь моя, а прине-

сенные в жертву невинные жизни эту мерзость смывают, и само преступление вновь заключается в круг божественного милосердия...

Бланш топает ногой.

Бланш. Я не хочу, чтобы они умерли! Я не хочу умирать!

Она убегает, и мать Мария не успевает ее удержать. В дверях Бланш сталкивается с капелланом, который издает радостное восклицание.

Капеллан. Дорогая сестра Бланш, это вы! Слава Богу!

Но Бланш, совершенно вне себя, кидает на него полубезумный взгляд, отталкивает его и исчезает.

Сцена XI

Капеллан. Что случилось с сестрой Бланш?

Мать Мария. Вы видели ее?

Капеллан. Она мне показалась необыкновенно взволнованной. Убежала, не сказав мне ни слова.

Мать Мария улыбается.

Мать Мария. Она пока еще бунтует, как ребенок. Но какое это имеет значение! Отныне ей некуда деться от нежной жалости Иисуса Христа.

Пауза.

Итак, я отправляюсь в Компьень одна.

Священник молчит.

Вы осуждаете меня?

Капеллан. Отнюдь нет. Я просто думаю, что следовало бы подождать и разузнать получше, что там происходит. Да, ваши сестры в тюрьме. Но это вовсе не значит, что их приговорили. Не отягчите ли вы их положение своим вмешательством?

Мать Мария. Если мы всегда будем поступать столь осмотрительно, отец мой, то еще немного — и что останется от нашего обета мученичества?

Капеллан. Мать моя, вы принесли этот обет в духе повиновения, и в духе повиновения вы должны его исполнить. Напишите вашей настоятельнице и спросите у нее, что вам следует делать.

Сцена XII

Тюрьма. Утро. Еще темно. Кое-кто из сестер сидит, прислонившись к стене. Младенца Иисуса поставили на колченогий стол. В изломанных яслях несколько увядших цветков. Стол покрыт небольшой белой косынкой. Единственная скверная свеча наполовину догорела. Монахини подходят в темноте по двое или по трое и опускаются на колени перед статуей. Слышатся вздохи, а может быть, это подавленные рыдания. Многие сестры кашляют. Холодный и тревожный рассвет. Чуть поодаль, в углу, справа от стола, настоятельница распростерлась в молитве. Сестра Констанция преклоняет колена перед Младенцем Иисусом и, вставая, вскрикивает от боли.

Сестра Валентина. Что с вами, сестра Констанция?

Сестра Констанция. Я спала у окошка, и теперь мне головы не повернуть. Бедная моя шейка... *(Смеясь, она потирает себе шею обеими руками.)*

Сестра Сен-Шарль *(отшатываясь)*. О сестра Констанция!

Сестра Алиса. Если ваши нервы в порядке, зачем щекотать чужие?

Сестра Констанция вдруг понимает, в чем дело, и вздрагивает в свой черед...

Сестра Констанция. О Боже, я... я...

Мать Марта *(чтобы положить этому конец, чуть повысив голос)*. А я совсем не спала. *(Тише.)* Наша бедная старенькая мать Жераль всю ночь храпела.

Сестра Гертруда. Это ее катар. Я-то хорошо знаю. Моя келья была рядом с ее.

Сестра Марта плачет.

Сестра Фелисите. Почему вы плачете, сестра Марта?

Сестра Сен-Шарль *(нервы у нее напряжены)*. Почему? Почему?.. А почему вы сказали «моя келья была»? Зачем говорить о нашем милом доме так, словно мы никогда туда не вернемся?

Настоятельница негромко хлопает в ладоши, монахини собираются вокруг нее. Едва светает.

Настоятельница. Дети мои, вот и прошла наша первая ночь в темнице. Это была самая трудная ночь, но мы все-таки ее пережили. К следующей ночи мы уже совсем свыкнемся с нашим новым положением. Впрочем, оно для нас не ново; это, в конце концов, только перемена декораций. Никто не может лишить нас свободы, от которой мы давно отреклись.

Сестра Клара. Она принадлежит Богу, но за Вашим Преподобием остается право пользования, которое мы вам свободно и добровольно вручили.

Настоятельница. Что вы хотите сказать, сестра Клара?

Сестра Клара. Я хочу сказать, что даже отрекшись от своей свободы, Ваше Преподобие сохраняет обязанность распоряжаться нашей и что, следовательно, вы не можете переложить целиком на Бога заботу о нашей судьбе.

Другие пожилые монахини. Это правда... Правда...

Ропот среди молодых монахинь.

Сестра Клара. Доченьки мои, в вашем возрасте повиновение, возможно, еще кажется мягкой подушкой, на которую надо только опустить голову. Но мы-то знаем, что повиновение, сколь ни кажется оно отличным от повелевания,— это тоже труд. Да, да, доченьки мои, уметь повиноваться так же трудно, как уметь повелевать. Повиноваться — не значит бездумно плестись следом, как слепой идет за своей собакой. Такая старая монахиня, как я, только и желает, что умереть в повиновении, но в повиновении сознательном и деятельном. Мы ничем не владеем в мире сем. Разумеется. Но тем не менее наша смерть — это наша смерть, никто не может умереть вместо меня.

Сестра Сен-Шарль *(она больше не может сдерживаться)*. Неужели мы должны вечно слушать разговоры о смерти? За что нам умирать? Ведь мы невинны!

Сестра Констанция. Замолчите, сестра Сен-Шарль...

Сестра Матильда. Мы ведь даже не уверены, что нас приносят в жертву из ненависти к вере. Может быть, мы платим за чужие грехи?

Сестра Сен-Шарль. Она права. Что нам до всей этой политики?

Настоятельница. Довольно, дети мои! Дайте мне сначала ответить сестре Кларе. Я знаю, что должна заботиться обо всех вас до конца, дочь моя, и вовсе не думаю от этого уклоняться.

Сестра Клара. Намерены ли Ваше Преподобие говорить одни от нашего имени перед трибуналом? А если нет, как далеко мы можем идти, не нарушая принесенного нами обета?

Сестра Анна. Да получим ли мы право защищаться? Или нас приговорят не выслушав?

Сестра Валентина. Разве это будет не позор для нас — спорить за наши жалкие жизни с убийцами священников и осквернителями храмов?

Настоятельница *(немного повышая голос)*. Оправдываться не стыдно, даже перед нечестивыми судьями. Оправдываясь, невинный больше защищает истину, чем себя...

Она замолкает на минуту. Тишина. Видно, что она молится.

Дети мои, вы принесли этот обет мученичества в мое отсутствие. Нужно было это делать или нет, но Бог не допустит, чтобы такое великодушное деяние послужило теперь единственно к смущению ваших душ. Что ж, я соглашаюсь с этим обетом, отныне я отвечаю за него перед Царем Небесным, я остаюсь и впредь, что бы ни случилось, единственным судьей в его исполнении. Да, я беру на себя ответственность за него, а вам оставляю его заслугу, поскольку я сама его не произнесла. Поэтому отбросьте всякую заботу о нем, дети мои. Я всегда отвечала за вас в этом мире, и я не расположена сегодня слагать с себя какие бы то ни было обязательства. Не тревожьтесь! Я сделаю все, что могу, чтобы спасти ваши жизни и ваши души, и в эту минуту, когда я чувствую себя больше, чем прежде, вашей матерью, ваши жизни и ваши души для меня почти одинаково драгоценны. Если я не права, Бог мне простит. В конце концов матери святых нечасто попадают в святцы.

Одна из молодых монахинь, закрывавшая лицо руками, подходит к настоятельнице и опускается на колени, чтобы поцеловать руку Ее Преподобия. Видно, как слезы еще струятся по ее лицу, на котором теперь выражение наивной, детской доверчивости.

Сестра Гертруда. С Вашим Преподобием нам теперь ничего не будет страшно.

Подходят и другие сестры. Одна из пожилых монахинь говорит.

Мать Жанна. Благословите нас, Ваше Преподобие.

Все они опускаются на колени. Затем разговоры возобновляются, но совсем в другом тоне. Оживление почти радостное.

Сестра Констанция. А что стало с сестрой Бланш?

Настоятельница *(она услышала)*. Мне об этом известно не больше, чем вам, доченька моя.

Сестра Констанция. Она вернется.

Сестра Сен-Шарль. Почему вы так в этом уверены, сестра Констанция?

Сестра Констанция. Потому что... *(Запинается в растерянности.)* Потому что... *(Заканчивает смущенно, но не в силах изменить то, что сказала.)* Я видела сон.

Все смеются.

Сестра Фелисите. Преподобная матушка, вы полагаете, нас будут судить сегодня?

Настоятельница. Не знаю.

Сестра Сен-Шарль *(очень наивно)*. А нас будут допрашивать одну за другой? Это будет долго?

Сестра Алиса. А если... если нас... нам позволят исповедаться?

Сестра Констанция, указав на молодую монахиню, которая побледнела и закрыла лицо руками, прижимает палец к губам.

Сестра Сен-Шарль *(пожимая плечами)*. Что ж! Мы ведь не плаксы девчонки! Боже! Если бы господин капеллан просто встретился нам на дороге — большего я бы и не просила.

Настоятельница. Ну, ну, дети мои, довольно фантазий, для них вовсе нет повода... я думаю, что по крайней мере самые молодые из вас выйдут отсюда невредимыми. Если эти люди не чудовища и если они хоть что-то знают о нашем святом уставе, кого они могут в чем-то обвинять, кроме меня?

Несколько голосов. Ничто больше не разлучит нас с Вашим Преподобием!

Сестра Клара. Видит Бог, я не хотела бы поменяться судьбой с нашей матерью Марией от Воплощения или с нашей сестрой Бланш.

Мать Жераль. Увы! Их, наверно, тоже арестовали...

Сестра Клара. Несомненно... Как мы смеем жаловаться, когда мы здесь все вместе!.. Как они должны нам завидовать! Насколько несчастнее нас они себя ощущают!

Сцена XIII

Трибунал выносит смертный приговор шестнадцати кармелиткам (включая мать Марию от Воплощения, осужденную заочно) «за устройство контрреволюционных сборищ, поддержание переписки с фанатиками и хранение противных духу свободы сочинений».

Сцена XIV

Монахини собрались во внутреннем дворике. Настоятельница обращается к ним.

Настоятельница. Дети мои, я всем сердцем желала вас спасти... Да, я хотела бы, чтобы чаша сия вас миновала, ибо я с первого же дня любила вас как родная мать, а какая мать по доброй воле отдаст своих детей в жертву даже Царю Небесному? Если я плохо поступала, Бог мне судья. Я такая, какая есть, вы — мое добро, а я не из тех, кто бросается своим добром. Но все это уже не важно, дети мои. Вот и пришел конец, нам остается только умереть. Благословенно имя Господне! Казнь, на которую мы пойдем вместе, Он превратил словно в последнюю службу в нашей милой обители. Дети мои, настал час напомнить вам о вашем обете. До сей минуты я хотела одна за него отвечать. Но теперь я могу взять из него лишь причитающуюся мне долю, да и ее я смиренно прошу именем нашей замечательной матери Марии от Воплощения, ибо это ее доля достается мне, недостойной. Дети мои, торжественно призываю вас к повиновению, в последний раз и навсегда, и да пребудет с вами мое материнское благословение.

Сцена XV

Актриса Дюкор приходит к себе домой, достает из-под плаща статую Младенца Иисуса и ставит ее на стол. Мать Мария от Воплощения преклоняет перед ней колена и молится.

Сцена XVI

У Розы Дюкор. Входит капеллан, потрясенный до глубины души.

Капеллан. Их приговорили к смерти.

Мать Мария. Всех?

Капеллан. Всех!

Мать Мария. Боже! *(Молчание.)* И...

Капеллан. Это будет скорее всего сегодня или завтра... Что вы делаете, мать моя?

Мать Мария. Я не допущу, чтобы они умерли без меня!

Капеллан. Что значит ваша воля в таком деле? Бог сам выбирает и отвергает, кого Ему угодно.

Мать Мария. Я принесла обет мученичества...

Капеллан. Вы дали его Богу, перед Богом вы и отвечаете за него, а не перед вашими подругами. Видно, Богу угодно вас от него отрешить, Он берет только то, что Ему принадлежит.

Мать Мария. Я обесчещена!

Капеллан. Я ждал этого слова! О, я его не осуждаю. Это предсмертный крик вашего естества. Вот та кровь, да, вот та кровь, которой Бог требует от вас и которую вы должны пролить! Вы бы с радостью отдали ту, что течет в ваших жилах, вы бы пролили ее как воду. Но с каждой каплей этой крови у вас отнимается больше, чем жизнь!

Мать Мария от Воплощения стоит с видом человека, собравшего последние силы, чтобы вытерпеть невыносимую пытку.

Мать Мария. Их последний взгляд будет искать меня напрасно.

Капеллан. Думайте только о другом взгляде, о том, от которого вы не должны отводить глаз.

Сцена XVII

Площадь Революции. Кармелитки сходят с телеги у подножия эшафота. В первом ряду густой толпы можно разглядеть капеллана во фригийском колпаке. Он шепчет отпущение грехов, неприметно сотворяет крестное знамение и исчезает. И сразу же сестры запевают Salve Regina, затем Veni Creator [1]. Они поют чистыми и очень твердыми голосами. Пораженная толпа смолкает. Видно только основание эшафота, на который сестры поднимаются одна за другой. Они продолжают петь, но, по мере того как они исчезают, хор становится все малочисленнее. Вот уже только два голоса, только один. Но в эту минуту с другого конца площади доносится новый голос, еще более чистый, более решительный, чем другие, хотя звучит он немного по-детски. И становится видно, что к эшафоту сквозь расступающуюся в изумлении толпу идет юная Бланш де Лафорс. На ее лице никаких следов страха.

Deo Patri sit gloria
Et Filio qui a mortuis
Surrexit ac Paraclito
In saeculorum saecula [2]

Внезапное движение в толпе. Кучка женщин окружает Бланш и подталкивает ее к эшафоту. Она скрывается из виду. И вдруг ее голос смолкает, как смолкли один за другим голоса ее сестер.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ»

ПРОЗА, ПЬЕСЫ, СТИХИ

1955
ЖАН-ПОЛЬ САРТР. Лиззи (пьеса), № 1.
РОЖЕ ВАЙЯН. Пьеретта Амабль (роман), № 1—4.

1956
АРАГОН. Стихи, № 1.
ВЕРКОР. Рассказы, № 4.

1957
ФРАНСУА ВИЙОН. Стихи, № 1.
ШАРЛЬ БОДЛЕР. Из «Цветов зла» (стихи), № 3.
АРМАН ЛАНУ. Майор Ватрен (роман), № 8—10.

1958
ЭММАНЮЭЛЬ Д'АСТЬЕ. Лету нет конца (главы из романа), № 8.

1959
ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ. Розы в кредит (роман), № 12.

1960
АРАГОН. Стихи, № 3.
ЖАК ПРЕВЕР. Стихи, № 3.
МОРИС ДРЮОН. Сильные мира сего (роман), № 4—6.
АРМАН ЛАНУ. Рассказы, № 8.

1961
МОРИС ПОНС. Ночной пассажир (повесть), № 1.
АНДРЕ СТИЛЬ. Обвал (роман), № 4, 5.

1962
ПЬЕР КУРТАД. Красная площадь (роман), № 6—8.

1963
АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. В лабиринте (фрагмент романа), № 1.
НАТАЛИ САРРОТ. Планетарий (фрагмент романа), № 1.
АНДРЕ МОРУА. Рассказы, № 4.
РОБЕР ДЕСНОС. Стихи, № 9.

1964
ЖАК ПРЕВЕР. Стихи, № 5.
ПЬЕР ДАНИНОС. Рассказы, № 5.
ПЬЕР ГАМАРРА. Пиренейская рапсодия (повесть), № 7.
ЖОРЖ СИМЕНОН. Бедняков не убивают (роман), № 8.

1965
ЭЖЕН ИОНЕСКО. Носорог (пьеса), № 12.

1966
ЖАН-ПОЛЬ САРТР. Дьявол и Господь Бог (пьеса), № 1.
ЭЛЬЗА ТРИОЛЕ. Великое Никогда (роман), № 7.
СЭМЮЭЛ БЕККЕТ. В ожидании Годо (пьеса), № 10.

1967
ЖОРЖ ПЕРЕК. Вещи (роман), № 2.
АНРИ МИШО. Стихи, № 9.

1968
АЛЬБЕР КАМЮ. Посторонний (повесть), № 9.

(Продолжение см. на с. 160)

[1] «Славься, Царица Небесная» и «Гряди, Дух Животворящий» — католические песнопения.

[2] Богу Отцу слава
И Сыну, из мертвых
Воскресшему, и Духу Святому
Во веки веков *(лат.)*.

КОЛЕТТ

Больной ребенок

РАССКАЗ

Перевод Н. ШАХОВСКОЙ

«Мадам Колетт уникальна. Она единственная в своем роде, и так будет всегда. Не принадлежа ни к одной литературной школе, упрямо «отлынивая от уроков», она удивительным образом соединила в себе все школы разом...

Величие мадам Колетт состоит в ее неумении проводить черту между добром и злом, что придает ей особую чистоту, которую грешно подменять чистотой нарочитой, искусственной, условной, не имеющей ничего общего с той поразительной чистотой природы, которую человек губит своими беззаконными законами и абсурдными вердиктами. Настоящая сельская жительница, мадам Колетт догадывалась, что то, что кажется нам в природе безумством, на самом деле содержит в себе тайный код, неправильная расшифровка которого ведет к трагическим и непоправимым ошибкам...

Стиль мадам Колетт пьянит. В нем мало соли, совсем нет жира, зато достаточно сладкого перца, чеснока, зелени; а порою в нем попадаются маленькие жгучие стручки, красные колпачки гномов, от которых горят губы... Мадам Колетт знала толк в хорошей кухне».

ЖАН КОКТО, 1955 г.

(Из речи при вступлении в Бельгийскую королевскую академию французского языка и литературы, куда Жан Кокто был избран на место, оставшееся вакантным после смерти Колетт).

Обреченный ребенок хотел повыше перелечь на подушке и не смог. Мать услышала его безмолвную просьбу и приподняла его. Снова, в который раз, ребенок, избранный смертью, ощутил у самого своего лица лицо матери, на которое, казалось ему, он и не смотрел: каштановые волосы, гладко зачесанные на висках, как у девочек былых времен, длинная, чуть припудренная, немного впалая щека, очень открытый разрез карих глаз — эти глаза были так уверены в своем умении не выдавать тревоги, что часто забывали за собой следить...

— Ты сегодня розовый, мой маленький,— сказала она весело.

Но в ее карих глазах по-прежнему сквозили страх и напряжение, хорошо знакомые мальчику.

Избегая двигать слабой шеей, мальчик повел вбок зрачками с широким райком цвета морской воды и важно поправил:

— Я розовый от абажура.

Госпожа Мама с болью взглянула на сына, в глубине души укоряя его за эти слова, разом стершие розовый цвет, который привиделся ей на его щеках. Он закрыл глаза, и видимость сна вернула ему облик десятилетнего ребенка. «Она думает, что я сплю». Мать отвернулась от бледного мальчика, осторожно, словно боялась, не почувствует ли он, когда оборвется нить ее взгляда. «Он думает, что я думаю, будто он спит...» Они иногда вот так подыгрывали друг другу в обмане: «Она думает, что мне не больно»,— думал Жан, а ресницы его дрожали от боли. Между тем Госпожа Мама думала: «Как он умеет притвориться, что ему не больно! Другая мать обманулась бы. Но я...»

— Нравится тебе запах лаванды, которой я опрыскала комнату? Правда, хорошо пахнет?

Ребенок без слов выразил согласие — привычка и необходимость беречь силы наделили его сводом маленьких знаков, мимикой тонкой и сложной, как язык животных. Его чувства изощрялись в волшебном и необычном применении.

Для него белые муслиновые занавески, когда около десяти утра в них ударяло солнце, издавали розовый звук, а переплет старинного «Путешествия к берегам Амазонки», потрепанный, из белой телячьей кожи, вызывал в воображении вкус горячих блинов... Когда ему хотелось пить, это выражалось тремя «кивками» век. Когда хотелось есть... что до еды, он о ней не думал. Другие потребности безвольного, исхудалого детского тела имели свой немой и стыдливый телеграфный код. Но все, что в существовании маленького смертника могло еще быть названо излишеством, удовольствием и игрой, хранило преданность человеческой речи, требовало точных и образных слов для голоса, мелодичного и словно созревшего в долгих страданиях, едва ли более резкого, чем голос женщины. Жан подобрал подходящие слова для шашек, для «солитера» с созвездием стеклянных шариков, для настольного крокета, для множества вышедших из обихода игр наборной работы, отделанных лимонным деревом и слоновой костью. Другой словарь, большей частью тайный, относился к швейцарскому пасьянсу — пятидесяти двум маленьким глянцевитым картам, окаймленным и тисненным золотом, как салонные панели. Дамы были в виде пастушек в соломенных шляпах, украшенных розами, а пастушки́-валеты держали посохи. Из-за бородатых, краснолицых королей с маленькими жесткими глазками помещиков-горцев Жан изобрел пасьянс, исключающий четырех мужиковатых монархов.

«Нет,— подумал он,— пахнет не по-настоящему хорошо. Это не та лаванда. Мне кажется, раньше, когда я еще ходил... Но я мог и забыть».

Он оседлал волну аромата, коснувшуюся его маленьких, бледных и запавших ноздрей, и был таков. Лежачая жизнь дарила его всеми усладами болезни, включая долю сыновней хитрости, в которой ребенок никогда себе не откажет, и он не выдавал себя ни единым намеком.

Верхом на душистом облаке он парил по комнате, потом это ему надоело, и он выскользнул через матовое стекло над дверью в коридор, увлекая за собой в своем полете толстую серебристую моль, которая чихала в кильватере лаванды. Чтобы оторваться, он сжал коленями бока облака с силой и сноровкой кавалериста, в которых отказано было в глазах людей его длинным безжизненным ногам полупарализованного ребенка. Вырываясь из своей неподвижной жизни, он умел скакать верхом, проходить сквозь стены; главное, он умел летать. Наклоняя корпус, как пловец, подныривающий под волну, он беспечно рассекал головой субстанцию, свойства и сопротивление которой хорошо знал. Он раскидывал руки, и достаточно было повести одной или другой, чтоб изменить направление полета, а легко спружинив поясницей — избежать удара в момент приземления. Впрочем, приземлялся он редко. Однажды он неосторожно спустился слишком низко, к самой земле, над лужайкой, где паслись коровы.

Так низко, что прямо перед его лицом оказалось прекрасное удивленное лицо белой коровы, ее изогнутые рога, ее глаза, отражающие летящего ребенка, как две выпуклые линзы, между тем как одуванчики, цветущие вровень с травой, подымались ему навстречу, разрастаясь, словно маленькие звезды... Он успел с разлета оттолкнуться от высоких рогов и отлететь задом наперед в воздух, и до сих пор помнил теплоту гладких рогов, их притупленные и словно благожелательные кончики. Лай мокрой от росы пастушьей собаки, которая бежала защищать свою корову, затихал по мере того, как летающий ребенок поднимался обратно в свое привычное небо. Жан очень ясно помнил, что в то утро ему пришлось крепко поработать своими руками-крыльями, прокладывая путь сквозь рассвет, голубой, как барвинок, спланировать над спящим городом и упасть в лакированную кровать, удар о которую причинил ему боль — боль упорную, жгучую в пояснице, ноющую в бедрах, такую боль, что он не сумел скрыть от зоркой нежности Госпожи Мамы две перламутровые дорожки слез...

— Мой мальчик плакал?

— Во сне, Госпожа Мама, во сне...

Облако приятного запаха быстро достигло конца коридора, ткнулось мордой в дверь, ведущую на кухню.

— Хо, хо! Хо, хо! Вот скотина! Ох уж эти полукровки, помесь лаванды с чабрецом! Чуть недоглядишь — расшибут тебе голову. Разве так проходят в кухонную дверь?

Он безжалостно стиснул коленями пристыженное облако и направил его в верхние слои кухни, в разогретый воздух, где сохло под потолком белье. Пригнувшись, чтоб пролететь между двумя полотнищами, Жан оторвал завязку от передника и продернул ее вместо мундштука в рот облака. Рот — не всегда рот, но узда — всегда узда, и неважно, что ею взнуздано.

«Куда бы нам отправиться? Нужно вернуться к обеду, а уже поздно... Давай быстрее, Лаванда, быстрее...»

Преодолев дверь черного хода, он устроил себе забаву — спускаться по лестнице вниз головой, потом попробовал скользить на спине. Лаванда, пугаясь того, к чему ее понуждали, артачилась. «Хо! Битюг горный!» — понукал мальчик и заливался смехом — он, который в своей затворнической жизни не смеялся никогда. В шальном спуске он мимоходом дернул за спутанную шерсть соседского пса — того, который, говорили, один выходит на улицу, «делает свои делишки», сам возвращается и скребется в хозяйскую дверь. От неожиданного прикосновения пес взвизгнул и прижался к перилам.

— Ты с нами, Рики? Я возьму тебя на круп.

Маленькой могучей рукой он подхватил пса и закинул его на пухлый воздушный круп Лаванды, которая, пришпоренная босыми пятками, опрометью скатилась по двум последним ступенькам. Но тут пса охватила паника, он соскочил с крупа и с воем побежал к себе наверх.

— Ты и не знаешь, от чего отказываешься! — крикнул ему Жан.— Я сам сначала боялся, зато теперь... Смотри, Рики!

Всадник и скакун устремились на входную дверь. К изумлению Жана, они столкнулись не с податливой преградой снисходительного дуба, плавкого железа, тяжелого засова, который говорил «да, да», мягко выскальзывая из пазов,— нет, им преградил путь непреодолимый заслон: твердый, чеканный голос, шепнувший: «...как раз задремал...»

Задохнувшись от удара, весь разбитый, Жан ощутил неумолимую жесткость словосочетания «как раз», Краз, Крас, рубящего, как топор. Рядом с ним слово «за...дре...мал» валялось, рассеченное натрое.

«За...дре...мал...» — повторил Жан.— «Вот и конец верховой прогулке, вот он, За...дре...мал, свернулся клубком! Прощай... Прощай...»

Ему недосуг было думать, к кому обращено это прощание. Время ужасно поджимало. Он страшился приземления. Неуклюжее облако споткнулось на все четыре ноги, которых у него никогда и не было; прежде чем распылиться прохладными капельками, оно, поддав несуществующим задом, сбросило Жана в лощину лакированной кровати, и Жан в который раз застонал от грубого толчка...

— Ты так сладко спал...— произнес голос Госпожи Мамы.

Голос — подумал мальчик,— в котором чередуются прямые и волнистые линии: линия прямая — линия волнистая, линия сухая — линия влажная... Но он никогда и не подумал бы объяснять это Госпоже Маме.

Во-первых, она бы не поняла, а во-вторых, надо избегать всего, что может обеспокоить Госпожу Маму.

— Ты стонал, родной,— тебе было больно?

Он знаком показал: «нет», покачав тонким указательным пальчиком, белым и ухоженным. Впрочем, боль утихала. Падать на эту маленькую, довольно жесткую кровать он, в общем-то, привык. А каких манер можно ждать от толстого неуклюжего облака, от этой надушенной деревенщины?

«В следующий раз,— подумал Жан,— оседлаю Ледяное Поле». Так именовался в часы смеженных век и экрана, просунутого между яркой

лампочкой и абажуром, огро-омный никелированный разрезальный нож, такой большой, что определение требовало не двух, а трех, иногда даже четырех «о».

— Госпожа Мама, вы не подвинете Ледя... то есть разрезальный нож под абажур? Спасибо большое.

Чтобы все как следует подготовить к следующей прогулке, Жан перекатил голову на подушке. На затылке его белокурые волосы были подстрижены очень коротко, чтоб не свалялись. Темя, виски и уши прикрывали вьющиеся локоны нежно-белокурого, чуть зеленоватого, как свет зимней луны, оттенка, гармонирующего с глазами цвета морской воды и белым, как лепесток, лицом.

«Как он красив! — шептали подруги Госпожи Мамы.— Поразительно похож на Орленка...» [1] Тут Госпожа Мама презрительно улыбалась, прекрасно зная, что Орленок, унаследовавший выпяченную нижнюю губу от своей матери-императрицы, позавидовал бы соразмерности и изящному изгибу губ с приподнятыми уголками, которыми мог похвалиться Жан... Она роняла свысока: «Возможно, есть что-то общее... да, пожалуй, в очертаниях лба... Но Жан, слава Богу, не чахоточный!»

Когда она затверженным движением сблизила лампу и разрезальный нож, Жан проверил, на месте ли блик на длинном хромированном лезвии, розовый, как снег на заре, с голубыми тенями — сверкающий мятный пейзаж. Потом уткнулся левым виском в подушку, послушал шелест капель и фонтанов, издаваемый белыми конскими волосинками внутри наволочки под тяжестью его головы, и прикрыл глаза.

— Но, мой мальчик, тебе пора обедать...— нерешительно сказала Госпожа Мама.

Больной ребенок сочувственно улыбнулся матери. Надо все прощать тем, кто здоров. К тому же он еще не совсем оправился после падения. «Успеется»,— подумал он и придал своей улыбке убедительности, с риском, что Госпожа Мама — как бывало с ней при виде некоторых улыбок, слишком совершенных, слишком безмятежных, которым она одна придавала скрытый смысл,— утратит самообладание и поспешно выйдет из комнаты, ударившись об дверь.

— Если тебе все равно, милый, я пообедаю одна в столовой после того, как ты покушаешь.

«Да, да, конечно»,— трижды согнувшись, ответил белый снисходительный пальчик.

«Мы знаем, знаем»,— добавили веки, окаймленные длинными ресницами, дважды мигнув. «Мы знаем, какая чувствительная дама эта Мама, у которой на глазах вдруг повисают две слезы, как два драгоценных камня... Бывают драгоценные камни для ушей... Серьги, у Госпожи Мамы серьги на глазах, когда она думает обо мне. Что же она, никогда ко мне не привыкнет?.. Какая неразумная...»

Когда Госпожа Мама наклонилась к нему, он поднял руки, сохранившие свободу движений, и, по заведенному ритуалу, повис на шее матери, которая выпрямилась, гордая своей ношей, поднимая худенькое тело слишком большого мальчика — хрупкий торс, за ним длинные ноги, сейчас безжизненные, но умевшие властно стискивать бока пугливого облака...

Потом Госпожа Мама полюбовалась своим прелестным немощным творением, сидящим, опираясь на жесткую подушку в форме пюпитра, и воскликнула:

— Ну вот! Сейчас тебе принесут поднос. Но пойду-ка я потороплю Мандору, она вечно опаздывает!

Она снова вышла.

«Она выходит, входит... Больше всего выходит. Она не хочет меня оставлять, но то и дело выходит из комнаты. Она уходит стереть свои две слезы. Она находит сотню предлогов, чтоб выйти из комнаты; если бы их ей вдруг не хватило, я придумал бы ей тысячу. Мандора никогда не опаздывает».

[1] Орленок — Наполеон II (1811—1832), сын Наполеона I и Марии-Луизы. Герой пьесы Ростана «Орленок».

Он бережно повернул голову, чтоб видеть входящую Мандору. Разве не было правильно и неизбежно, что пузатая, золотая, звучно отзывающаяся на малейший толчок, так стройно сочетающая прекрасный голос и глаза, блестящие, как драгоценное дерево лютни, эта дюжая служанка звалась Мандорой? «Если бы не я,— думал Жан,— ее до сих пор звали бы Анжелиной».

Мандора пересекла комнату; ее полосатая желто-коричневая юбка, задевая мебель, издавала глубокий виолончельный гул, слышный одному Жану. Она поставила поперек постели маленький столик на низких ножках, покрытый вышитой салфеткой, на которой стояла дымящаяся чашка.

— Вот и обед!

— Что это?

— Сперва фосфатин, а как же! Потом... Сами увидите.

На все полулежачее тело больного ребенка излился отрадный, крепкий карий взгляд, раздольный, утоляющий: «Какое оно хорошее, это темное пиво Мандориных глаз! Как она — она тоже — добра ко мне!.. Как все ко мне добры!.. Если б они немножко сдерживались...» Изнемогая под бременем всеобщей доброты, он закрыл глаза и открыл их на позвякивание ложек. Чайные ложки, столовые ложки, десертные ложки... Жан не любил ложек, делая исключение для странной серебряной ложечки, у которой был длинный витой черенок с узорчатым диском на конце. «Это чтоб крошить сахар»,— говорила Госпожа Мама.— «А другой конец?» — «Не знаю. Кажется, это была ложка для абсента...» И тут ее взгляд почти всегда обращался к фотографии отца Жана, мужа, которого она потеряла такой молодой — «твой милый папа, Жан»,— и которого Жан холодно обозначал словами — словами непроизносимыми, секретными — «тот господин, что висит в гостиной».

Кроме ложечки для абсента — абсент, абсида — Жану нравились только вилки, демоны о четырех рогах, на которые вздевались комочек баранины, конвульсивно изогнувшаяся жареная рыбка, кружок яблока с глазками-семечками, ломтик абрикоса — месяц в первой четверти — под сахарным инеем...

— Жан, голубчик, открой клювик...

Он повиновался — закрыл глаза и выпил лекарство, почти безвкусное, если не считать мимолетной, но не подлежащей оглашению приторности, маскировавшей худшее... В тайном словаре Жана это снадобье называлось «овраг с трупами». Но ничто никогда не вырвало бы у него, не бросило задыхающимися к ногам Госпожи Мамы такие чудовищные слова.

За этим последовал неизбежный фосфатиновый суп — плохо выметенный амбар с забившейся в углы старой мукой. Но ему все прощалось за то неуловимое, что витало над светлым отваром: некое цветочное дуновение, пыльный аромат васильков, которые Мандора покупала Жану пучками на улице в июле...

Маленький кубик жареного барашка исчез быстро. «Бегите, барашек, бегите, я приветствую вас, ступайте ко мне в желудок целиком: я не стану жевать вас ни за что на свете, ваше мясо еще блеет, и я не хочу знать, что оно розовое внутри!»

— Ты что-то очень быстро ешь сегодня, Жан!

Голос Госпожи Мамы падал сверху из сумрака, может быть, с лепного гипсового карниза, может быть, с большого шкафа... Особая благосклонность Жана даровала Госпоже Маме возможность достигать высей шкафа, климатического пояса свежего белья. Она забирается туда с помощью стремянки, скрывается за правой дверцей и спускается, нагруженная плитами высокогорного снега. Ее честолюбие ограничивается этими трофеями. Жан заходит дальше, выше, устремляется один к девственным вершинам, проныривает между двумя одиночными простынями, выныривает в складке аккуратно свернутого постельного комплекта — а какие глиссады, какие головокружительные спуски между строгими камчатными скатертями, по горе с морозными узорами и греческой каймой, как хрустят стебельки сухой лаванды, зернышки ее цветков, толстые сливочные корневища ириса...

Вот откуда он возвращается на рассвете, когда лежит в постели закоченевший от холода, бледный, обессиленный и хитрый: «Жан!.. Господи, опять он раскрылся во сне! Мандора, скорее грелку!» Жан втихомолку торжествует — успел, как всегда, вернуться вовремя — и отмечает на невидимой странице дневника, спрятанного в живом и трепетном уголке в боку, который он называет «сердечным карманом», подробности спуска, звездопад и оранжевый перезвон вершин, тронутых зарей...

— Я потому быстро ем, Госпожа Мама, что я проголодался.

Ибо он старый хитрец, и ему ли не знать, что, услышав «я проголодался», Госпожа Мама зардеется от радости?

— Правда, милый? Жаль, что на десерт я тебе приготовила только яблочное повидло. Но я попросила Мандору добавить для запаха лимонной цедры и палочку ванили.

Жан храбро бросил вызов Повидле, кислой провинциальной юной особе лет пятнадцати, питавшей к десятилетним мальчикам, как все девицы ее возраста, лишь высокомерное презрение. Но разве он не платит ей тем же? Или у него нет против нее оружия? Разве не бойко он ковыляет, опираясь на ванильную палочку? «Коротка палочка, опять коротка»,— ворчал он на свой неслышный манер...

Вернулась Мандора, и ее пузатая юбка с широкими полосами вздувалась со всех сторон, как дыня. При каждом ее шаге звучали — только для Жана: дзромм, дзромм — скрытые струны, которые были самой душой, богатой гармонией Мандоры...

— Вы уже скушали весь обед? Так быстро? Он пойдет обратно. Вы так не привыкли.

Они стояли у его постели — Госпожа Мама по одну сторону, Мандора по другую. «Какие они большие! Госпожа Мама в этом бордовом платьице не занимает много места в ширину. Но Мандора, кроме своего резонатора, еще расширяется за счет двух гнутых ручек, когда вот так подбочеинивается». Жан решительно разделался с повидлом — размазал его по тарелке, развез узорами по золотому ободку, и с обедом в очередной раз было покончено.

Зимний вечер давно наступил. Смакуя свои полстакана минеральной воды — воды тонкой, бегучей, легкой, которая казалась ему зеленой, потому что он пил ее из бледно-зеленого бокала,— Жан рассчитывал, что ему понадобится еще немного мужества, чтоб завершить дневной распорядок больного. Еще приготовления ко сну, кропотливые и неотвратимые заботы, требующие помощи Госпожи Мамы и даже — дзромм, дзромм — звучного и веселого участия Мандоры; еще зубная щетка, губка, ласковое мыло и теплая вода, обоюдные старания не замочить простыни; еще нежные материнские дознания...

— Мой маленький, ты не сможешь так спать: переплет большого Доре упирается тебе прямо в бок, да еще эти кучи книжек в постели — у них такие острые углы... Хочешь, я придвину столик?

— Нет, спасибо, Госпожа Мама, мне так очень хорошо...

По окончании туалета начиналась борьба с опьяняющей усталостью. Но Жан знал пределы своих сил и не пытался избежать ритуала, предваряющего ночь и чудеса, которые мог породить ее каприз. Он боялся только, как бы заботливость Госпожи Мамы не продлила день за пределы возможного, не разрушила вещественную декорацию книг, мебели, равновесие света и тени, утвержденные и соблюдаемые Жаном ценою последних усилий до крайнего срока — десяти часов. «Если она задержится, настоит, захочет поухаживать за мной еще, когда большая стрелка отклонится вправо от XII, я почувствую, что бледнею, все больше и больше бледнею, глаза вваливаются, я не сумею даже выговорить всех этих «нет-спасибо-Госпожа-Мама-все-хорошо-спокойной-ночи», которые ей совершенно необходимы, и... и это будет ужасно, она заплачет...»

Он улыбнулся матери, и величие, даруемое болезнью детям, которых она поражает, засветилось в пламенных извивах его кудрей, опустилось на веки, горько утвердилось на губах. То был час, когда Госпоже Маме

хотелось бы раствориться в созерцании своего творения, гибнущего и пленительного...

— Спокойной ночи, Госпожа Мама,— очень тихо проговорил ребенок.

— Ты устал? Хочешь, чтоб я ушла?

Он сделал еще усилие, широко открыл глаза цвета бретонского моря, выражая каждой чертой стремление быть красивым и бодрым, мужественно расправил ссутуленные плечи:

— Разве я похож на усталого мальчика? Смотрите, Госпожа Мама!

Она в ответ только шутливо кивнула, поцеловала сына и направилась к выходу, унося в себе перехваченные вопли любви, заглушенные заклинания, мольбы, чтоб болезнь ушла, освободила от оков длинные бессильные ноги, исхудалое, но не обезображенное тело, вновь дала оскуделой крови свободно бежать по зеленым веточкам вен...

— Я положила на тарелку два апельсина. Не надо потушить лампу?

— Я сам потушу, Госпожа Мама.

— Господи, где у меня голова? Мы не смерили вечернюю температуру!

Пелена тумана встала между гранатовым платьем Госпожи Мамы и ее сыном. В этот вечер Жан горел в жару с тысячью предосторожностей: тихий маленький огонек тлел в ладонях, ву-ву-ву — стучало в ушах, а виски охватывали горячие дуги...

— Завтра обязательно смерим, Госпожа Мама.

— Груша звонка у тебя под рукой. Ты уверен, что тебе не хочется, чтоб, когда ты один, здесь горел ночник, такой, знаешь, маленький ноч...

Последний слог оступился в складке темноты, и Жан рухнул вместе с ним. «И совсем ведь маленькая складочка,— упрекал он себя, падая.— На загривке, должно быть, огромная шишка. А между тем Госпожа Мама не заметила никакого падения. Она была слишком поглощена всем тем, что уносит отсюда по вечерам в подоле юбки: молитвами, замечаниями для врача, горем, которое я ей причиняю, не соглашаясь, чтоб со мной сидели по ночам... Всем, что она уносит в подхваченной юбке, и что вываливается через край и катится на ковер... бедная Госпожа Мама... Как бы заставить ее понять, что я не несчастен? Считается, что не может мальчик моих лет быть прикованным к постели, бледным, безногим, терпеть боль — и не быть несчастным. Несчастным... несчастным я был, когда меня еще возили гулять... На меня обрушивался ливень взглядов. Я весь сжимался, чтоб их досталось мне поменьше. Я был мишенью для града всяких «Какой хорошенький!» и «Какая жалость!». Теперь у меня только и несчастий, что визиты моего кузена Шарли, его ободранные коленки, его ботинки с шипами и это слово «бойскаут», полусталь, полукаучук, которым он меня крушит... И эта хорошенькая девочка, которая родилась в один день со мной и которую называют то моей молочной сестрой, то моей невестой. Она занимается танцами. Она видит, что я лежу, и вот подымается на цыпочки и говорит: «Смотри, как я стою на пуантах». Но это просто дразнилки. Вечером настает час, когда дразнилки засыпают. И тогда все хорошо».

Он погасил лампу и умиротворенно глядел, как воздвигается вокруг его ночное общество, хор красок и форм. Подождал симфонического вступления и полного сбора толпы, которую Госпожа Мама называла его одиночеством. Вытянул из-под локтя грушу звонка — лунной эмали игрушку для больных — и положил ее на столик у изголовья. «Теперь свети!» — приказал он.

Она не повиновалась сразу. Ночь была не настолько темна, чтоб нельзя было разглядеть качающуюся за окном верхнюю ветку каштана на бульваре, облетевшую, взывающую о помощи. Ее утолщенный кончик подделывался под чахлый розовый бутон. «Ну да, ты пытаешься меня разжалобить, твердя, что ты — почка будущей весны. Однако тебе известно, как неприступен я для всего, что говорит мне о будущем годе. Оставайся на улице. Исчезни. Сгинь! Как сказал бы мой кузен — проваливай...»

Его брезгливость восстала, лишний раз заклеймив этого кузена со ссадинами и синяками на коленках, его лексикон, уснащенный всякими «ну

прямо», «во дает», «слабó», «умора», а главное — «подумаешь!» и «понятно!», словно мысль и понимание могли не разбежаться в ужасе, со всех своих нежных лапок премудрых сверчков, от такого мальчишки, обутого в шипы и засохшую грязь...

При одном только виде кузена Жан обтирал пальцы платком, как от крупного песка. Ибо Госпожа Мама и Мандора, становясь между ребенком и неприглядностью, ребенком и грубыми словами, ребенком и низкопробным чтивом, приучили его понимать и любить лишь два вида роскоши: утонченность и страдание. Оберегаемый, не по летам развитый, он быстро овладел типографскими иероглифами, уходя в книги так же самозабвенно, как объезжал облака, покорял страны, вырисовывающиеся на полированных поверхностях, или окружал себя всем, что для подобных ему избранных тайно населяет воздух.

Он не пользовался серебряной авторучкой, украшенной его гравированными инициалами, с того дня, когда его беглый и взрослый почерк поразил удивлением и, можно сказать, оскорбил врача с холодными руками: «И это — почерк ребенка, мадам?» — «Да, доктор, у моего сына такой установившийся почерк...» И глаза Госпожи Мамы тревожно и виновато спрашивали: «Но это не опасно, доктор?»

Воздерживался он и от рисования, опасаясь, что какой-нибудь набросок подведет его, выболтает лишнее, ибо, попробовав как-то изобразить Мандору со всей клавиатурой ее внутренних созвучий, силуэт алебастровых часов на полном ходу — тряском галопе, пса Рики с руками парикмахера и с прической «под Орленка», как у него самого, Жан, испуганный схваченным сходством, предусмотрительно порвал свои первые произведения.

— Не хотите ли, мой юный друг, альбом и цветные карандаши? Это хорошее развлечение, как раз для вашего возраста.— На предложение, которое он счел выходящим за рамки медицины, Жан ответил только взглядом, сжатым ресницами — суровым мужским взглядом, смерившим врача-советчика. «Мой милый парикмахер — тот не позволил бы себе таких речей!» Он не прощал врачу вопроса, который тот дерзнул однажды задать в отсутствие матери: «А какого черта вы зовете вашу матушку госпожой?» Гневный взгляд мужчины и слабый мелодичный голос объединились, чтоб дать ответ: «Я не думаю, что черт имеет к этому какое-либо отношение».

Парикмахер, милый косец, иначе понимал свои обязанности и рассказывал Жану, как проводит воскресенья. По выходным он удил рыбу в окрестностях Парижа. Блистающим взмахом ножниц он показывал, как забрасывают подальше поплавок и наживку, и Жан жмурился от свежих брызг, разлетающихся колесом, когда рыбак победоносно выдергивает отягощенную лесу...

— Когда вы поправитесь, господин Жан, я возьму вас с собой на речку...

— Да, да,— соглашался Жан, не открывая глаз.

«Зачем им всем надо, чтоб я поправился? *Я и так* на речке. Что бы я делал с «вот-таким-с-мою-ладонь» голавлем или с «вот-таким-с-этот-нож» щуренком?

— Расскажите еще, милый парикмахер...

И он слушал про ночных бабочек, прилепившихся под аркой маленького моста,— импровизированную приманку, на которую был пойман «целый вагон» форели при помощи орехового прута, вырезанного из изгороди, и трех связанных вместе обрывков бечевки...

Под аккомпанемент бойкого и бодрящего чириканья ножниц начинался рассказ:

— Вы доходите до паршивенькой протоки, вот-такой-ширины-с-мою-ляжку, которая расширяется, пересекая луг. Видите две-три ветлы рядышком и молодую поросль: это и есть то место...

«Это и есть то место»,— повторял про себя Жан.— Я знаю, что это оно и есть...»

Вокруг двух-трех ветел Жан с первого же дня посадил высокие колючки желтого репейника, извлеченные из большого ботанического

атласа, и коноплю с розовыми соцветиями, заманивающими и усыпляющими бабочек и усталых детей. Чудовищная оболваненная голова самой старой ветлы, оплетенная белым вьюнком, корчит Жану гримасы. Всплеск рыбы вспарывает зеркальную кожу реки, еще всплеск... Милый парикмахер, возящийся с наживкой, оборачивается.

— Ишь, издеваются!.. Ничего, мои будут.

— Нет, нет,— уверяет Жан,— это я бросил в воду два камешка...

Поет лягушка, длится воображаемый полдень...

«Поет лягушка,— грезит Жан,— поет невидимкой на листе кувшинки, это ее плот... А плод — это если через «д», он круглый, висит на ветке и никуда не плывет...»

Косец белокурого руна, река и луг исчезали, как сон, оставив у Жана на лбу прозаический сладковатый запах, волнистый белокурый хохолок... Пробудившись, Жан слушал шепот в гостиной, долгое совещание вполголоса между Госпожой Мамой и доктором, из которого вырывалось одно слово и являлось к Жану, порхающее и кудрявое, слово «кризис». Иногда оно входило церемонное, женственное, убранное для раздачи наград — «х» на ушке, «и» на корсаже: Хризи, Хризи Благотвор. «Правда? Правда?» — настойчиво допытывался голос Госпожи Мамы. «Я сказал — возможно...» — отвечал голос доктора, нетвердый на одну ногу и спотыкающийся. «Возможно, благотворный, но риск...» Хризи Благотвор-Нориск, юная креолка из Южной Америки, такая изящная в своем белом платье с воланами...

Тонкий слух ребенка ловил еще одно имя, которое, несомненно, следовало держать в тайне. Имя неполное, не то Лио Мелита, не то Мио Лилит, и в конце концов он решил, что речь шла о девочке, тоже скованной болезненной неподвижностью, с такими же длинными бессильными ногами, о которой говорят потихоньку, чтоб он не ревновал...

Повинуясь полученному приказу, ветка каштана со своей вестью будущей весны потонула во тьме. Грушевидная сонетка, хоть Жан и повторил команду, не озарила своим опаловым, мягко очерченным световым кругом столик у изголовья и его ношу: минеральную воду, апельсиновый сок, разрезальный нож, таящий в себе альпийскую зарю, близорукие часы с толстым выпуклым стеклом и термометр... Ни одна книга не ждала выбора Жана на столике. Печатные тексты, каков бы ни был их формат и вес, закрытые — спали, распахнутые — бодрствовали в одной постели с больным ребенком. Многослойные напластования переплетов в изножье кровати иногда давили — но мальчик не жаловался — на ноги, иссушаемые скаредной жизнью.

Руками, сохранившими подвижность, он пошарил вокруг, подгреб к себе несколько книжек в бумажных обложках, растрепанных и теплых. Старинный том дружески боднул его из-под подушки. Валик из бумажных книжек примостился у худенького мальчишеского бедра, а нежная детская щека прижалась к столетнему переплету белой телячьей кожи. Под мышкой — Жан удостоверился, что он на месте — твердый излюбленный сожитель, толстый том, кряжистый, как булыжная мостовая, ворчун и силач, который находил кровать чересчур мягкой и обычно к утру оказывался на полу, на белой козьей шкуре.

Углы картонажа добрососедски вписывались в изгибы и впадины хрупкой фигурки. Преходящее неудобство помогало терпеть постоянную боль. Маленькие пытки, добровольно принимаемые от рогов белого тельца между ухом и плечом, отвлекали и смягчали муку, терзавшую то же место и несчастную худенькую спину с торчащими крылышками лопаток... «Что это у тебя? — говорила Госпожа Мама.— Похоже на ушиб. Не понимаю, откуда...» Мальчик добросовестно старался вспомнить, потом отвечал про себя: «Это... Ну как же, конечно... Это от того дерева, на которое я налетел... От крыши, на которую облокотился поглядеть, как загоняют овец... От грабель, которые упали на меня, когда я пил из фонтана... Хорошо еще, Госпожа Мама не заметила точку в уголке глаза, клевок ласточки, с которой я столкнулся в воздухе... Я не успел с ней разминуться, она была твердая, как серп. Правда, небо такое маленькое...»

Оживали голоса его ночей, ожидаемые, если не привычные, вариации, зависящие от снов, слабости, лихорадки, фантазий прожитого дня, казавшегося Госпоже Маме тоскливо неотличимым от стольких других. Наступивший сейчас вечер ничем не походил на вчерашний. Темнота богата несметными оттенками черного. «Черное сегодня совсем фиолетовое. До чего же болит... что же это болит? Лоб. Нет, что я говорю? Спина, как всегда... Да нет, это гиря, нет, две гири подвешены к бедрам, две гири в виде еловых шишек, как у кухонных ходиков. Да будешь ты светить или нет?»

Чтоб пристрожить эмалевую грушу, он оперся виском на белый кожаный переплет и вздрогнул — такой он оказался холодный. «Раз он ледяной, значит, я весь горю». Эмалевый плод на столике не источал ни малейшего света. «Что это с ней? И что со мной — вот ведь и входная дверь сегодня меня не пропустила?» Он протянул руку сквозь ночной, населенный воздух, не шаря, нашел темный плод. Капризно изменив источник, свет затеплился на круглой близорукой физиономии сферических часов. «А ты-то куда? — проворчал Жан.— Знай свое — показывай время».

Часы обиженно погасли, и Жан, убедившись в своей власти, удовлетворенно вздохнул. Но из отвердевшей грудной клетки вырвался только стон. И тут же ветер, который не спутаешь ни с чем, ветер, ломающий сосны, оголяющий лиственницы, сметающий и нагромождающий дюны, взревел ему в уши, и образы, недоступные заурядному сновидению, не преступающему завесы сомкнутых век, взбунтовались, захотели скакать на воле, разгуляться в безграничности спальни. Одни, странно горизонтальные, пересекались с толпой других, вертикальных, воздвигшихся единым махом. «Шотландские видения»,— подумал Жан.

Его кровать слегка подрагивала, сотрясаемая вздымающейся Великой Лихорадкой. Он почувствовал себя на три-четыре года младше, и страх, почти ему неведомый, подал голос. Он чуть не позвал: «Помогите, Госпожа Мама! Вашего мальчика уносят!»

Ни разу — ни в своих скачках, ни в изобильной вотчине самых причудливых звуков — горбатых звуков, несущих звонкие сосуды на головах, на жучиных спинках, острых звуков с мордочками лангустов,— ни разу, нигде Жану не доводилось видеть, выносить, создавать такую круговерть, которую слух, словно рот, смаковал, которую взгляд перебирал, измученный и завороженный. «Спасите, Госпожа Мама! Помогите мне! Вы же знаете, я не могу ходить! Я умею только летать, плавать, скользить с тучи на тучу...» Одновременно что-то неизъяснимое, забытое пробуждалось в его теле, далеко-далеко, на неизмеримом расстоянии, в самых мысках его бесполезных ног — беспорядочное движение разрозненных и заблудившихся муравьев. «Помогите, Госпожа Мама!»

Но другая душа, чьи решения не зависели ни от физической немощи, ни от материнских забот, властным знаком призвала к молчанию. Волшебная сила удержала Госпожу Маму за оградой, в юдоли, где она ждала в смирении и тревоге, пока не дорастет до своего маленького сына.

И он не позвал. К тому же неизвестные, фантастические пришельцы, уже приступали к похищению. Они возникали отовсюду, обволакивали его жаром и холодом, мелодической пыткой, цветом, как повязками, пульсацией, как гамаком,— и, повернувшись было, чтоб недвижно бежать к матери, он вдруг передумал и бросился, отдаваясь полету, сквозь метеоры, туманы, молнии, и они мягко подхватили его, сомкнулись за ним, распахнулись, и, вот-вот уже совершенно счастливый, неблагодарный и веселый, он заметил, что какой-то тонкий печальный звон, словно разбилось что-то стеклянное, отделяет его от блаженства, чье прекрасное имя ему еще предстояло узнать — емкое и золотое имя: смерть. Слабый звон, печальный и легкий, долетевший, быть может, с навсегда покинутой планеты... Звук, чистый и горестный, привязавшийся к умирающему ребенку, возносился так преданно, что напрасно ослепительное бегство стремилось от него оторваться.

Быть может, странствие было долгим. Но, свободный от ощущения времени, он мог судить только о его разнообразии. Часто ему казалось, что

его кто-то ведет, неразличимый и сам заблудившийся. Тогда он стонал, оттого что не может взять на себя обязанности кормчего, и слышал собственный стон попранной гордости — или усталости, такой усталости, что он сходил со своего курса, покидал кильватер веретенообразного шквала и, обессиленный, забивался в угол. Тут ему становилось не по себе в пространстве без углов, где не было материальной субстанции, имеющей углы, только ледяной поток темного воздуха, только ночь, в которой он был всего лишь маленьким мальчиком, потерявшимся и плачущим. Потом он оказывался на ногах, вдруг несметно умножившихся и превратившихся в ходули, которые секла хлесткими розгами режущая боль. Потом все исчезало, один слепой ветер свидетельствовал о быстроте полета.

Переносясь от знакомого материка к неведомому морю, он уловил несколько слов какого-то языка, к его удивлению, понятного:

— Меня разбудил звон разбитого бокала...

— Он пошевелил губами, мадам не думает, что он хочет пить?

Ему хотелось бы знать, как зовут этот голос. «Мадам... Что за мадам?» Но скорость уже сглатывала слова и память о них.

Как-то бледной ночью, остановившись с разгону, так, что застучало в висках, он подобным же образом поймал какие-то человеческие слоги и захотел их воспроизвести. Резкая остановка мучительно близко столкнула его с каким-то предметом, твердым, вещественным, вклинившимся между двумя благородными необитаемыми мирами. Предметом бессмысленным, в тонкую полоску, щетинящимся очень мелкими волосками и состоящим в таинственном союзе — это он обнаружил позже — с отвратительными мойюныйдругами. «Это же... сейчас... я знаю, это... ру-кав...» Тут он, крылатый, нырнул обратно в успокоительный хаос.

Другой раз он увидел руку. Немного шершавая, с белыми метинками на ногтях, она слабыми пальцами отталкивала дивную тигровую громаду, надвигающуюся с горизонта. Жана разобрал смех. «Бедная ручка, этой громаде она на один глоток — надо же понимать, такая громада, вся в черных и желтых полосах и такая умная на вид!» Слабая маленькая рука боролась, растопырив пальцы, и параллельные полосы начали растягиваться, расходиться и гнуться, как податливая решетка. Между ними открылся широкий зев и заглотил хрупкую руку, и Жану стало ее жалко. Эта жалость задерживала его, и он, рванувшись, устремился дальше. Но жалость он уносил с собой, чем-то схожую с неотвязным звоном бокала, разбитого когда-то, давным-давно. Начиная с этого времени, какие бы бездны ни укачивали бестревожного головокружения, его странствию стали мешать отзвуки, плач, беспокойство, похожее на попытки думать и вызванное неуместным умилением.

Сухой лай вдруг разорвал пространство, и Жан пробормотал: «Рики...» Издалека послышалось что-то вроде рыдания, повторившего: «Рики! Мадам, он сказал — Рики!» Другой голос пролепетал: «Он сказал Рики... Он сказал Рики...»

Какая-то маленькая сила, трепетная и жесткая, чью двустороннюю хватку он ощущал под мышками, хотела, казалось, поднять его вверх. Она нажимала, и Жан недовольно заворчал. Если б он мог передавать указания этой маленькой силе и ее твердым выступам, он бы объяснил ей, что так не обращаются с великим путешественником, что он привык к неосязаемым колесницам, неподкованным скакунам, к саням, пролагающим по радуге семицветные колеи... Что он ни от кого не потерпит принуждения, кроме... кроме стихий, чью мощь одна лишь ночь высвобождает и направляет... И что, к примеру, птичья грудка, которая, откуда ни возьмись, льнет к его щеке, не имеет никакого права... А впрочем, это не птичья грудка, потому что на ней нет перьев, только по краю она опушена длинной прядью... «Это могла бы быть щека,— подумал он,— если б во вселенной существовала другая щека кроме моей... Хочу заговорить, хочу прогнать эту... эту поддельную щеку... Я не разрешаю меня трогать, не разрешаю....»

Собираясь с силами, чтобы заговорить, он втянул ноздрями воздух. С воздухом вошло чудо, чародейство памяти — запах волос, кожи, кото-

рый он совсем забыл по ту сторону мира и от которого в нем забил бурный поток воспоминаний. Он закашлялся, борясь с этим половодьем, перехватывающим горло, утоляющим жажду, от которой пересохли уголки губ, соленой влагой переполняющим веки и милосердно затуманивающим приземление на жесткую кровать... В безымянной дали чей-то голос произнес, повторяясь бесконечным эхом: «Он плачет... Господи, он плачет...» Голос потонул в какой-то буре, из которой вырывались бессвязные слоги, всхлипы, призывы к кому-то присутствующему, невидимому... «Скорей, скорей, подите сюда!»

«Сколько шуму, сколько шуму»,— неодобрительно думал мальчик. Но все крепче и крепче бессознательно прижимался щекой к мягкому, гладкому, окаймленному волосами, и пил с него горькую росу, стекающую перл за перлом... Он отвернул голову, по пути обнаружил неглубокую ложбину — гнездо, свитое как раз по его мерке. Там, успев назвать его про себя: «плечо Госпожи Мамы», он и потерял сознание или, может быть, уснул.

Очнувшись, он услышал собственный голос, произнесший легко, чуть насмешливо: «Откуда вы взялись, Госпожа Мама?»

Ответа не было, но сладостный вкус апельсиновой дольки, скользнувшей ему в рот, принес чувство возвращения, присутствия той, кого он искал. Он знал, что она склоняется над ним в той покорной позе, от которой гнулся ее стан и затекала спина.

Тут же обессилев, он умолк. Но его уже осаждали тысячи забот, и он преодолел слабость, чтоб выяснить самое неотложное: «Госпожа Мама, вы сменили мне пижаму, когда я спал? Вчера вечером я лег в голубой, а эта розовая...»

— Мадам, это что-то невероятное! Он помнит, что был в голубой пижаме в первую ночь, когда...

Он оставил без внимания конец фразы, произнесенной толстым теплым голосом, и отдался на волю рук, стягивавших с него влажную одежду. Рук, таких же ловких, как волны, на которых он качался, невесомый, беззаботный...

— Он весь вспотел... Закутайте его в большой халат, Мандора, целиком, с руками.

— Отопление хорошо работает, мадам, не беспокойтесь. И я только что положила грелку. Надо же, весь мокрый...

«Знали бы они, откуда я вернулся... Будешь тут, пожалуй, мокрый...— думал Жан.— Хочется почесать ноги, или пусть стряхнут этих муравьев...»

— Госпожа Мама...

Он уловил, как бдительно замерли звук и движение, что и было ответом настороженной Госпожи Мамы.

— Пожалуйста, если можно... почешите мне ноги, а то эти муравьи...

Из глубины безмолвия кто-то прошептал со странной почтительностью:

— Ему чудятся муравьи... Он сказал «муравьи»...

Он попытался пожать плечами, спеленутыми слишком большим халатом. Ну да, он сказал «муравьи». Что такого удивительного в том, что он сказал «Рики» и «муравьи»? Греза несла его, утратившего вес, к границе яви и сна; вернуло его прикосновение ткани. Сквозь ресницы он узнал ненавистный рукав, совсем близко, синие полоски, мелкие шерстинки, и злость придала ему сил. Он отказывался смотреть, но раздавшийся голос разомкнул ему веки, голос, проговоривший: «Ну, мой юный друг...»

«Я не хочу его, не хочу!..— закричал про себя Жан.— Он, его рукав, его мойюныйдруг, его маленькие глазки — ненавижу, не хочу!» Он изнемогал и задыхался от негодования.

— Ну-ка, ну-ка... Что там у него? В самом деле, движение... Вот... и вот...

На голову Жану легла ладонь. Не имея возможности сопротивляться, он открыл глаза в надежде взглядом испепелить врага. Но обнаружил только сидящего у изголовья на стуле Госпожи Мамы славного, довольно грузного, довольно лысого человека, глаза которого, поймав его взгляд, увлажнились.

— Мальчик мой, мальчик... Вы правда чувствуете в ногах мурашки? Правда? Чудесно, чудесно... Не хотите ли полстаканчика лимонада? Ложечку лимонного шербета? Глоточек молока?

Рука Жана не противилась толстым, очень ласковым пальцам теплой ладони. Он что-то смущенно пробормотал, сам не разбирая, то ли он извиняется, то ли принимает шербет, питье, молоко... Бледно-серыми от слабости глазами, обведенными тенью, под темными бровями, он здоровался с маленькими, веселой голубизны глазками, моргающими, влажными, добрыми...

Дальше новое время распалось на череду бессвязных моментов, сна — глухого, то долгого, то краткого,— отчетливых пробуждений и смутных содроганий. Славный доктор растворился в празднестве шумов — кха-кхам, кха-кхам, в толстом довольном кашле, в «Мадам, в добрый час! Теперь мы вне опасности»,— шумов таких веселых, что Жан, если б не расслабляющая беспечность, спросил бы, что за радость приключилась в доме.

Необъяснимым образом пробегали часы, обозначенные вехами фруктов в желе и ванильного молока. Яйцо всмятку приподняло крышечку, открыв свой лютиковый желток. Полуоткрытое окно впустило хмельное дуновение, весеннее вино...

Милому парикмахеру еще не было дозволено возобновить свои визиты. Волосы, отросшие, как у девочки, падали Жану на лоб, на шею, и Госпожа Мама осмелилась завязать их розовой ленточкой, которую ее сын отшвырнул оскорбленным мальчишеским жестом...

За окном на ветке каштана с каждым днем набухали почки, похожие на розовые бутоны, а по ногам Жана сверху донизу сновали муравьи с маленькими кусачими жвалами. «Госпожа Мама, вот, я поймал одного!» Но ему удавалось ущипнуть только прозрачную кожу, а муравей скрывался в ветвистом дереве вен цвета весенней травы.

На восьмой день новых времен широкий солнечный шарф поперек кровати взволновал его сильнее, чем можно было вынести, и он решил, что этим вечером ежедневная лихорадка вернет ему то, чего он напрасно ждал целую неделю, то, что не допускали до него глубокая усталость и сон, однородный с черным покоем: безликих спутников, скачку, доступное небо, неуязвимость ангела в свободном полете...

— Госпожа Мама, пожалуйста, можно мне мои книги?

— Голубчик, доктор говорит...

— Не читать, Госпожа Мама, а чтоб они снова ко мне привыкли.

Она ни слова не сказала и с опаской принесла растрепанные книжки, корявую мостовую, белого тельца, мягкого, как человеческая кожа, «Помологию» с цветными щекастыми плодами, Герена, испещренного плосколицыми львами, утконосами, над которыми парят насекомые, огромные, как острова...

Вечером, отяжелев от волшебных лакомств, которые он поглощал с алчностью воскресшего ребенка, он притворился, что сон сморил его, пробормотал пожелания спокойной ночи — наскоро импровизированную лукавую и невнятную песенку. Дождавшись ухода Госпожи Мамы и Мандоры, он принял командование плотом из фолиантов и атласов и взошел на борт. Молодой месяц за веткой каштана возвещал, что почки по милости весны вот-вот развернутся в пальчатые листья.

Он без посторонней помощи сел в постели, таща на буксире еще грузные ноги, зудящие от муравьиной беготни. В глубине окна в небесной воде ночи купались вдвоем изогнутый месяц и неясное отражение мальчика с длинными волосами, которому он подал призывный знак. Он поднял руку, и другой мальчик послушно повторил его приглашающий жест. Слегка опьяненный могуществом и чудесами, он призвал сотрапезников жестоких и избранных часов — зримые звуки, осязаемые образы, моря, которые можно вдыхать, воздух, питающий и подхватывающий, крылья, при которых не надо ног, смеющиеся звезды...

Главное, он звал неистового маленького мальчика, который втайне буйно веселился, покидая землю, обманывал Госпожу Маму и, владыка ее горя и радостей, держал ее в плену сотни нежных притворств...

Он подождал, но ничего не произошло. Ничего не произошло ни в эту ночь, ни в следующую — больше ничего и никогда. Пейзаж с розовыми снегами исчез с никелированного ножа, и никогда больше Жану не парить в голубом, как барвинок, рассвете над острыми рогами и прекрасными выпуклыми глазами мокрого от росы стада... Никогда больше желтая и коричневая Мандора не зазвучит всеми струнами, гудящими — дзромм, дзромм — под ее просторным гулким платьем. Камчатные альпы, громоздящиеся в большом шкафу,— неужели отныне они отказывают ребенку, скоро совсем здоровому, в подвигах, которые разрешали немощному мальчику на склонах воображаемых ледников?

Время велит приниматься жить. Время отказаться умирать в свободном полете. Жан прощально машет своему отражению с ангельскими кудрями, которое возвращает ему этот знак из глубины ночи, земной и отлученной от чудес, единственной ночи, дозволенной детям, которых отпустила смерть и которые засыпают смирившиеся, исцеленные и разочарованные.

АЛЬБЕРТИНА САРРАЗЕН

Перелом

РОМАН

Перевод Н. МАВЛЕВИЧ

«Перелом» — первый роман автобиографической трилогии. Эта книга написана в тюрьме, где Альбертина Сарразен провела несколько лет и куда за проституцию и воровство попадала не один раз. Впервые это случилось, когда ей было шестнадцать лет и она убежала из последнего класса школы для трудновоспитуемых детей, в которую ее отдали приемные родители. Своих настоящих отца и матери она не знала. На выпускные экзамены Альбертина приходила под конвоем, блестяще сдавала их и возвращалась в тюрьму. Любимыми ее занятиями были игра на скрипке и чтение (Декарт, Паскаль — в числе излюбленных авторов). «Перелом» — за ним одна за другой последовали две другие книги — сразу стал бестселлером. Это история истинной любви на фоне тюремных воспоминаний, постоянного страха оказаться снова за решеткой, вынужденного возвращения героини к прежним занятиям. Книга написана с предельной искренностью, без излишней сентиментальности и без всякого снисхождения к самой себе. Некоторая «угловатость», свойственная стилю Альбертины Сарразен, на которую, возможно, обратит внимание читатель, лишь усиливает ощущение достоверности повествования. Критика единодушно прочила счастливую литературную будущность молодому автору. Но судьба распорядилась иначе. Альбертина Сарразен умерла тридцати лет от роду, не прожив и года после публикации последней книги трилогии.

Глава I

Небо отлетело вверх на десяток метров.

Вставать я не спешила. От такого удара и булыжнику впору расколоться, я сидела ошарашенная и ощупывала острые камни. Вдох, еще один — в голове постепенно оседали осколки разорвавшихся звезд, тишина обволакивала взрыв. Слабо светились в темноте торчавшие из земли камни. Наконец я оторвала от них руку, ощупала левое плечо, ребра, таз — как будто все ничего. Значит, цела и могу двигаться дальше.

Я встала. И, только грохнувшись со всего маху, руки вразлет, лицом в колючки, вспомнила, что не проверила ноги. Знакомые наставительные голоса просверлили тьму:

«Смотри, Анна, кончится тем, что ты себе ноги переломаешь!»

Я снова села, снова принялась за обследование. И на этот раз нащупала на уровне щиколотки какую-то шишку, которая надувалась и пульсировала под пальцами.

Сколько раз являлась я к тебе, тубиб [1], с постной миной и расписывала боли там, где, по моим расчетам, ты не мог меня проверить; сколько раз носила вам, сестренки, микстуру в постель, бодро топая резвыми ноженьками, и уж так завидовала вашим слабым желудкам. Теперь всё, теперь вы будете обхаживать меня, вы или другие, невелика разница, кончено дело: я перебила лапу.

За этой стеной мирно спят все мои подружки, я измерила ее глазами — милые вы мои, вот это высота! Я летела, парила, кружила — секунду? — целую вечность! Оттолкнулась от стены и от всех вас — и вот пожалуйста, приземлилась.

Еще сегодня днем я накачалась атропином и впрыснула в ляжку бензин. Роланда вышла на волю, а дожидаться, пока мы сможем встретиться, мне было невмоготу, вот я и ловчила, чтобы залечь в лазарет, там дни бегут быстрее, да и смыться оттуда легче.

— Вы вся зеленая! — воскликнула воспитательница на вечернем обходе.

— Наверно, об стенку вымазалась,— я отлично знала, что похожа на мертвеца, но притворилась, что не поняла, и стала озираться, будто проверяя, в чем у меня спина. Мы как раз красили стены в столовой: одну в желтый, две в зеленый и одну в голубой цвет, а подоконники — в этакий солнечно-рыжий.

— Да нет, вы, вы сами! У вас лицо зеленое! Вы нездоровы?

Но я не успела отведать ни одной порции лазаретного снадобья; даже не ступила на плавный спуск по ту сторону двери. Я предпочла сигануть из окошка. Дорога совсем рядом, надо как-то до нее добраться, чтобы хоть не под самой стеной меня подобрали!

До назначенного часа и места встречи с Роландой еще далеко, хочешь не хочешь — придется кандыбать до дороги с этой дурацкой шишкой... раз, другой, третий пробую наступить на пятку: ногу обжигает жестокая боль.

Не ходят ноги — поползу на четвереньках. Ползу метров двадцать, пробираюсь сквозь кусты, сбиваюсь, возвращаюсь к каменной россыпи.

Прошла еще вечность — никак не выберусь.

Нога не разгибается — заклинило в суставе, волоку ее, как гирю, держу на весу, а она цепляется за ветки и булыжники. Темень непроглядная. Все последние месяцы я глядела сверху на большую дорогу в бахроме кустов — казалось, до нее рукой подать, доберусь с закрытыми глазами; правда, я вроде не собиралась прыгать, но решимость подспудно зрела. Улыбаясь облепившим воспитательницу товаркам и сжимая скользнувшую в мой карман руку Роланды, я уже мысленно летела, приземлялась и вскакивала — гоп-ля! — веселая и свободная.

Не вынимая руки Роланды из своего кармана, я также влезаю к ней, чтобы ощутить, как ходят под пальцами — раз-два, раз-два — твои косточки, моя Роланда... Мы обе прыскаем в воротник. Вот и корпус, залитый светом коридор, и искушение замирает до завтра.

Ползу. Локти вымазаны землей, ободраны, сочатся кровью вперемешку с грязью, напарываюсь на колючки, больно, но все равно вперед — надо добраться хотя бы вон до того огонька: там у обочины, должно быть, дом...

Путь преграждает железная решетка. Натыкаюсь на нее. Откинуться на спину, закрыть глаза, разбросать руки, как хорошо. Найдут, схватят сонную — пусть. Только бы передохнуть, а там пусть снова унижают и мучают. Хотела на землю — вот и останусь на земле. Может, стена рухнет вдогонку и завалит меня.

Я снова на ногах — точнее, на коленях,— ползу вдоль ограды. Коленка — локоть, коленка — локоть, ничего, приноровилась потихоньку. А в голове прокручивается все назад: если бы начать сначала, без спешки, я бы не бросалась вниз, как ненормальная, а спустилась бы, цепляясь, пока можно, за выступы камней и прыгнула только тогда, когда под ногой не будет опоры. Да присмотрела бы для падения местечко помягче, потравянистей...

Добралась до виллы с фонарем у входа, ползу вдоль дома по тропинке, протоптанной в траве, локоть — коленка — локоть... и наконец передо мной дорога, блестящая, с желтой полосой посередине. На обочине металлический щит с козырьком — реклама бензина. Хватаюсь за него так, что он дребезжит, здесь и буду ловить попутку на удачу... Нет, Париж в другой стороне, придется перейти.

[1] Тубиб — врач — от арабского «табиб». Часто встречается во французском разговорном языке.

Шаг — в раскаленное железо, второй — в ватное марево, и я валюсь поперек желтой линии, дави кому не лень. Вот и грузовик — сейчас расплющит в лепешку и намотает на колеса, как раз до Парижа. Глазищи-фары катят прямо на меня.

В десятке метров машина резко сворачивает и останавливается. Скрип тормозов, клацанье дверцы, шаги. А я лежу, распластанная, с закрытыми глазами.

— Мадемуазель!

Чья-то рука неловко и тревожно тормошит, ощупывает меня.

— Если вам не трудно, помогите мне сойти с дороги... Поддержите, у меня, кажется, сломана нога.

Шофер довел меня до подножки грузовика, и я села на нее, спрятав в тень больную левую ногу. Не хочу смотреть. На правую падает свет придорожного фонаря, она вся в грязи, земля засохла на пальцах и толстой коркой налипла до расцарапанного, блестящего от крови колена. Я съеживаюсь, сую руки в карманы и сжимаю в кулаки — под пальто почти ничего нет, так что холод пробирает до костей.

— Можно сигарету?

Парень протягивает мне пачку «голуаз», дает огня. Вспышка осветила на миг его лицо — типичный ночной шофер: потная, лоснящаяся физиономия, щетина на щеках и пристальный с прищуром взгляд.

— Как это вас угораздило?

— Я... э, да ладно, что уж теперь... Вы знаете эти места?

— Еще бы, проезжаю три раза в неделю.

Я показываю вбок, где сквозь переплетенные ветки смутно виднеется в свете горящего перед виллой фонаря моя стена.

— Тогда вы, наверно, знаете, что находится вон там...

— Хм... Так это вы оттуда?

— Да, только что. Вернее, с полчаса или час тому назад... Еще не хватились. Пожалуйста, довезите меня до Парижа. Никаких неприятностей, обещаю. До Парижа, а там высадите, и я уж разберусь сама.

— Я бы вас выручил, но...— после долгих колебаний сказал водитель,— куда же вы с такой ногой...

— Неважно. Только довезите, и все. Что бы ни было, я вас не выдам. Честное слово, не выдам.

— Верю, что не выдадите. Но они и без вас докопаются, им это ничего не стоит... А у меня жена и двое детей, не могу рисковать.

Обеими руками я сжимаю больную щиколотку и пытаюсь спиной оттолкнуться от кабины и встать.

— Нет так нет, поезжайте. Только, прошу вас, не сообщайте ближайшему полицейскому посту. Забудьте об этой встрече, сделайте...

Я хотела сказать «сделайте милость», но запнулась — было довольно нелепо просить о милости человека, который подарил мне сигарету и десять минут отдыха.

— Погодите,— сказал он,— кое-что я все-таки для вас сделаю: попробую остановить другую машину, частную, может, вас и возьмут... что-нибудь сочиню...

Пусть делает что хочет. Я же хотела только одного: чтобы мне отрезали проклятую ногу и я смогла заснуть и спать, пока она снова не отрастет, а потом проснуться и посмеяться над жутким сном. Писала же мне недавно Сина: «Мне снилось, дружок, что ты упала с большой высоты, и неудачно, у тебя лилась кровь из ушей, а я ничем не могла помочь, только стояла и плакала... Проснулась, взглянула на твою фотографию и порадовалась, что это не на самом деле и скоро, как всегда по утрам, я увижу, как ты, свеженькая, сияющая, словно новая монетка, идешь по коридору с кастрюлей молока...»

Уж как мы с Роландой смеялись, когда это читали! Сина — моя прошлогодняя подружка, я бы ее уже давно забыла, если б она не засыпала меня мелко исписанными вдоль и поперек и сложенными в десять раз записочками, которые каждый день передавала через одну покладистую девчонку из обслуги... Сина! Мне до смерти надоели ее претензии, повелительные замашки, уверенность в мнимой власти надо мной, снисходительный материнский тон: ах ты, малышка, ах ты, моя умница...

Познакомились мы в поезде. Вагон разбился на две половины — мужскую

и женскую, мужчины пели, женщины молчали и ревели. Я, прижавшись к окну, смотрела, как удаляется Париж, затянутый тройной пеленой: грязного стекла, дождя и моих слез.

— Не надо плакать!..

Как можно тише шмыгнув носом и утирая глаза, я повернулась на голос. Он принадлежал женщине лет тридцати, с черными, похожими на маслины глазами и пучком каштановых волос, улыбка у нее была такой же ласковой, как голос. Слезы мои сразу высохли, я оглядела ее повнимательней, от косынки на голове до мягких тапочек. Из-под сиденья виднелась пара черных лодочек на каблучках — не слабо!

— Сколько? — спросила я.

— Сколько дали или сколько осталось?

— Осталось, сколько дали — не мое дело.

— Да нет, отчего же? Я не скрываю — всего семь лет.

— Надо же, совсем как мне... Мне мотать еще пять, а вам?

— Ну, это никогда не известно: могут скостить срок, могут заменить условным.

— Э,— говорю,— это все лажа. Я потому и реву — вернее, ревела,— что знаю точно: не увижу Парижа пять лет. Да еще эти кретины распелись! Хорошо хоть их высадят раньше нас.

Мы разговорились, познакомились: как зовут, сколько лет.

— Малолетка! — воскликнула Франсина.— Да как же...

— Нет, извините, совершеннолетняя, правомочная и дееспособная! [1] Со всех сторон: с юридической, с медицинской — все в ажуре. Не зря же меня держали как взрослую два года, прежде чем впаять пятерку. Конечно, мне не очень много лет, но там, куда нас везут, старух нет. Насколько я знаю, в тюремных училищах все не старше тридцати — тридцати пяти.

Утром пейзаж за окном поменялся, облез, померк — мы ехали на север. Около полудня поезд остановился — прибыли. Наконец-то сниму туфли! Взять в дорогу тапочки я не догадалась, а пока таскала тюремные сандалеты, совсем отвыкла от каблуков.

«Завяжите шнурки!» — слышала я каждый день два года подряд, так же как: «Ну-ка, сотрите тушь с глаз» и «Наденьте сейчас же комбинацию! Свитер на голое тело — это негигиенично»... Интересно, за что будут песочить теперь?

— Вам помочь?

Вот так-то, вместо приказов — просьбы, вместо окликов — вежливые советы. Наша орава высыпала на платформу, и женщины с ангельскими улыбками помогают нам тащить чемоданы, кое-как перевязанные свертки, набитые разным барахлом сетки.

— Давайте держаться друг друга? — предлагает Франсина.

Все складывалось как по заказу: мы попали в один поток, то есть все три месяца положенной новеньким изоляции к нам приходила одна и та же воспитательница. Мы болтали на прогулках через перегородки одиночных двориков или во время дежурств и уборок — на работу назначают по двое, и мы с Синой всегда работали на пару, в одну очередь.

По окончании испытательного срока всех распределяли по группам, мы мечтали об этом дне больше, чем о слишком еще далеком дне освобождения: все плохое останется позади, будем жить в группе, кругом светло и чисто, все опрятно одеты, накрахмалены... в общем, стайка юных пансионерок, овечек, херувимов.

О Сина, зачем эти блаженные мечты сменились грязной явью? Зачем тебе понадобилось мараться, вместо того чтобы оставить меня в покое, невинно утешаться в одиночку? Я заключала пари сама с собой: сколько раз смогу, и считала, ставила крестики. Что делать, молодость и праздность требовали утоления; ты все это знала, и мы вместе смеялись по вечерам, высунувшись из окошек, благо наши одноместные палаты — называть их «камерами» не разрешалось — находились рядом и не было решеток; иногда ты меня отчитывала... а потом сама, вместо дружбы, которая была мне так дорога, взвалила на меня свою любовь. Вздумала привить мне свои чувства, пересадить свое сердце...

В общем, Сина спала там, наверху, и видела сны, а тем временем недавнее ее

[1] Сироты и лица, желающие освободиться от опеки (как в случае с Альбертиной Сарразен), могли признаваться совершеннолетними ранее двадцати одного года.

видение сбылось почти в точности: ее милочка — «ушки мои любимые» и т. д.— расшиблась в кровь и медленно умирала у дороги, по которой мне уже не ходить ни с Синой, ни с Роландой, ни с другой, никогда больше не ходить. Скрючившись на подножке грузовика, я не представляла другого исхода, кроме полной неподвижности.

— В такое время машин мало,— сказал, подходя ко мне, водитель грузовика.— Как вы?

— Все так же, не хуже, не лучше. Ладно, поезжайте, я и так уж вас задержала. Все равно меня скоро хватятся и подберут.

Послышался шум мотора, водитель побежал навстречу. Я видела, как в свете фар он размахивал руками посреди дороги. До чего же быстро теперь ездят машины! Забрызгают его, беднягу! Я подвинулась поглубже в тень и закрыла глаза. Машина остановилась, хлопнула дверца, послышались шаги и голоса. Через полузакрытые веки я видела, как мой водитель что-то объяснял другому человеку, показывая то на обочину, то на меня... Тот стоял спиной к фонарю и казался густой, контрастной тенью, руки в карманах, поднятый воротник. Они стояли совсем рядом, но я почти ни слова не различала: плотный, как вата, туман, словно матовым стеклом отделял их от меня, я утопала в нем, погружалась в него, как в сон.

— Ну-ка, покажите ногу,— произнесла темная фигура.

Колено хоть и распухло, но кое-как разгибалось; поддерживая ногу за голень, я оторвала ее от подножки. Но, опуская вниз, неосторожно поставила на пятку и тут же ощутила такую страшную, отчаянную боль, что снова, уронив ногу, рухнула, в грязь и темень.

Человек наклонился и включил карманный фонарик, я увидела прямые светлые волосы и два розоватых пятна: кончик уха и ладонь. Потом он выключил фонарик и вместе с первым водителем пошел к своей машине. Пусть себе уходят. Мне все равно. Я снова потонула в глухой апатии. Дальше все произошло очень быстро.

Меня обхватили одной рукой под мышки, другой — под коленки, подняли и понесли; мелькнувшее только что лицо теперь плыло прямо надо мной, на движущемся фоне звезд и веток. Руки держали меня бережно и крепко; оторвавшись от грязи, я парила между небом и землей. Парень свернул с дороги на тропинку, сделал несколько шагов в сторону и осторожно опустил меня; постепенно я разглядела толстый ствол, траву и лужи около него.

— Сиди тихо, не отсвечивай и, главное, не трогайся с места. Я вернусь. Жди, сколько надо,— проговорил парень, склонившись надо мной, потом выпрямился и быстро скрылся. Вскоре заработали два мотора, грузовика и легковушки, скользнули фары, и я опять осталась одна, в темноте и тишине.

Застыла, не шевелясь. Если бы не боль, хорошо бы перебраться поближе к дороге. Уж очень далеко он меня унес — может не найти. Хотя бы на несколько метров, на несколько деревьев. Время есть: я знала, что до ближайшего города сорок километров, сорок туда, сорок обратно. У него в машине еще кто-то был, я слышала голоса: наверно, он хотел довезти и высадить пассажиров, а уж потом вернуться за мной. «Не отсвечивай...» Я усмехнулась. Растянувшись в мокрой траве, носом в толстые корни, я тихо промерзала. А где-то далеко, в щиколотке, бушевала боль, отзываясь пылающими всплесками на каждый удар пульса: там словно завелось новое сердце, не попадавшее в ритм с первым. Над головой, на ровной глади неба сплетались ветки, по дороге изредка проносились машины, все мимо, ни одна не остановится, не свернет на обочину. Плохо дело: если тот парень не вернется, искать и упрашивать другого благодетеля у меня уже не хватит сил, а утром, не дай Бог, меня тут и найдут. О ноге я теперь не беспокоилась: так или иначе ее вылечат. Боль освоилась в теле, разлилась по жилам тяжелой лавой, заполнив все уголки, стала тупой и ровной; только иногда то там, то здесь в плоть впивались острые иголки, заставляя вздрагивать и не давая заснуть. Я мусолила в кармане окурок сигареты, которую дал мне первый водитель,— вся моя добыча... В общем-то не так уж плохо — бычок, настоящий жирный бычок «голуаз», хочу — раскрошу, хочу — выкину. Папиросная бумага и спички остались там, наверху. Эх, Роланда, Роланда, у меня есть отличный бычок, а я не могу его выкурить...

Вдруг вспыхнула спичка. Блуждающий огонек, разгоняющий туман. Или это моя пылающая щиколотка освещает тропинку: искры взметаются столбом, пляшут и собираются в мерцающий конус, длинный факел; луч скользит поверх моей головы и упирается в дерево. Резкий скрип тормозов прорезал темноту, или только почудилось, и это холод звенит в ушах? Однако луч не исчезает, скользит по коре, вот и второй огонек, послабее, заметался по самой земле. Есть, меня нашли.

Свет погас, и ко мне подошли. Конечно, это он.

— Я ведь говорил, чтобы ты не трогалась с места!

А я, выходит, трогалась? Может быть. Я больше ничему не удивляюсь. Кажется, я смеюсь, обнимаю парня за шею...

— Ну-ну...— говорит он, отцепляя мои руки, и достает что-то из кармана куртки. Плоская фляжка и пачка сигарет. Спешить некуда: мы по очереди отхлебываем из фляжки, курим, и при каждой затяжке тлеющие сигареты выхватывают из темноты наши лица. Выпить и выкурить все, пока не кончится — а там, будь что будет. Кажется, я уже снова на что-то надеялась.

Парень достает еще какой-то сверток.

— Вот тебе брюки, свитер, а это эластичная повязка...

Действительно, я же почти голая. Сбрасываю свою хламиду и надеваю свитер. Но брюки... Как засунуть в штанину распухшую негнущуюся ногу, к которой невозможно притронуться? Нет, я снова надеваю тюремное пальто и спрашиваю:

— Как тебя зовут?

Мы обмениваемся именами, этого пока хватит, сейчас главное убраться подальше, все остальное — завтра утром. Сначала уехать, и побыстрее...

— Может, натянешь хотя бы повязку? Все-таки холодно.

— Ох, нет, ради Бога, не надо тревожить ногу. Лучше как есть, ничего страшного.

— Как хочешь. Я посажу тебя на мотоцикл, держись за меня. Если что не так — скажешь. Ты когда-нибудь ездила на мотоцикле?

— Раньше ездила, и очень часто, не бойся. Поехали скорей.

От выпитого коньяка внутри разгорелся длинный огненный язык. Скорчившись, чтобы получше согреться, и свесив ногу вдоль колеса, я обеими руками обхватила Жюльена за плечи.

Так началась моя новая жизнь.

Глава II

Я не раздумывала, когда оттолкнулась от стены и ухнула вниз; потом, когда сидела всю ночь, оцепенев и стиснув зубы, было не до того, чтобы как следует во всем разобраться; теперь же, очутившись в этой светлой кухне, в покое и тепле, я наконец поняла, как здорово влипла, и меня прошиб озноб. Стучали зубы, все тело, с ног до головы, сотрясалось, дрожала зажатая в пальцах сигарета, дрожал даже стул, на котором я сидела в закутке между плитой и мойкой. Тюремное пальто куда-то исчезло, на мне оказалась мужская пижама и черный вязаный свитер.

Меня усадили на стул, а на другой положили подушку и устроили на ней мои ноги; несколько человек хлопотали вокруг меня: мой ночной спаситель, другой мужчина, покрупнее, и миниатюрная женщина в летах. Я еще плохо различала слова, но по звукам и запахам догадалась, что варится кофе: булькала вода в кофеварке, капали капли из фильтра и пахло легкой горечью. Нога затихла, точно пес, что долго-долго выл в темном дворе и наконец, впущенный в дом, заснул у печки.

Длинный, по-докторски хмурясь, ощупал мою щиколотку, пожилая дама принесла бинты, пузырьки, поставила кипятить воду.

— Это моя мама,— сказал Жюльен.

Она смыла кровь и обмотала чистую ногу бинтами. Никто не удивлялся, не задавал вопросов, но делалось именно то, что нужно, и все, кажется, находили это совершенно естественным. После перевязки я все тем же манером, на руках Жюльена, перекочевала на второй этаж, на кровать в детской.

— Теперь постарайся уснуть,— сказал Жюльен, чмокая меня в щеку.— Утром я вернусь. И смотри, не высовывайся в окно.

— Мне до него и не дойти!

— Ах да. Ладно, спи. Завтра что-нибудь придумаем.

Он погасил свет и закрыл дверь, оставив узкую щель света.

Моя кровать, маленькая, на подростка, стояла посередине комнаты, справа и слева у стенок виднелись еще две: малышовые, низенькие и с бортиками. Я слышала невнятное бормотанье, радостные или испуганные попискиванья, то вдруг всколыхнется одеяло и снова — глубокое дыхание и посапывание спящих детей. Нас трое, трое детишек, а моя спеленутая нога похожа на большую куклу. Потихоньку, по сантиметру, я втащила ее на середину матраса, а правую, здоровую, согнула над нёй домиком, чтобы не давило одеяло. Тяжеленная гиря намертво приковала меня к матрасу, нога стала мертвой, глухой колодой, которой не было дело до меня и до всех усилий воли и мускулов.

Рано утром вошла улыбающаяся молодая женщина в красном пеньюаре поверх ночной рубашки. Подошла к окну, откинула шторы. У нее мое присутствие тоже не вызвало ни малейшего удивления. Потом она стала легонько тормошить клубочки в кроватках, приговаривая нараспев: «Пора вставать...» Мне так захотелось, чтобы и меня вот так разбудили, а я бы вскочила и спустилась на кухню к бутербродам и портфелям, вместе с этими симпатичными малышами, которым их мама велела сказать: «Здравствуйте, мадемуазель...»

Мне стало неловко: откуда ни возьмись свалилось к ним этакое чучело в большущей пижаме; и вообще я не умею разговаривать с детьми. С вымученной улыбкой я тоже приветствовала как взрослых семилетнюю мадемуазель и пятилетнего месье. Разве для меня, привыкшей совсем к другому, эта веселая детская, с разбросанными по полу игрушками и книжками, с голубыми обоями, с большим окном в бледное весеннее утро?

Прошло несколько дней. Каждое утро, когда ребята уходили в школу, Жинетта или Матушка приносили мне завтрак и горячую воду для умывания, я обзавелась самым необходимым: собственной расческой, зубной щеткой, ночными рубашками и бельем — все благодаря милостям Жинетты; здоровяк Эдди, муж Жинетты, принес с чердака старый радиоприемник, и его поставили около моей кровати, целый день, пока не улягутся малыши, я его слушала, а ночью мучалась бессонницей, перекладывала ногу так и этак и ждала рассвета.

Мытье было сущим наказанием: обтереться до пояса я еще кое-как могла, а дальше приходилось изворачиваться, выделывать самые невероятные телодвижения, примериваясь к стоящему на полу тазу, устраиваться, не опираясь на больную левую ногу и держа ее рукой на весу — от колена вниз она совсем отнялась,— да еще надо было вылить воду в ведро и изловчиться снова забраться на матрас. Вообще по большей части я старалась не тревожить ногу и ползала, ерзала по матрасу, опираясь на колено и на локоть.

И все-таки каждое утро я проверяла, как обстоят мои дела — пыталась ходить. Садилась на край кровати и вставала, осторожно наступая на больную ногу, пока не становилась на обе. Боль сначала ударяла всполохами, потом собиралась в плотный неподвижный ком, притихала. Тогда я осторожно отрывала от пола правую ногу. На этом попытка кончалась: левое колено шаталось, подгибалось, и я летела назад на кровать или вперед на пол. Что ж, отложим новое испытание до завтра, а пока — снова в горизонтальное положение.

Частенько я разматывала повязку и глядела, что под ней творится: в первые дни щиколотка и голень слились, и ступня служила основанием конусовидной опухоли, доходившей до колена. Ее украшали пятна сине-зеленых кровоподтеков; уколы и ссадины от колючек превратились в плотную сетку черных корок; попадались и занозы, которые я вытаскивала ногтями. Но скоро опухоль начала спадать, колено стало холодным, твердым и бескровным, как мрамор.

Днем я разгоняла хандру сентиментальными романами, которыми снабжала меня Жинетта, песенками по радио, початыми бутылками, которые любезно подносил Эдди; к тому же меня навещали, кто-нибудь из семейства присаживался на краешек кровати, и в разговорах незаметно проходило время. Или Жинетта, мурлыча себе под нос, пылесосила, двигала детские кроватки и отвечала на учтивые вопросы, которые давались мне со скрипом; при этом меня не оставляло

чувство неловкости: казалось, каждое слово и даже мое молчание выдают то, чего я не то чтобы стыдилась, но не слишком хотела афишировать. Я приучилась к любви между женщинами, научилась по-мужски оценивать женскую красоту, насмотрелась на мамаш, которые за привязанностью к детям прятали другие, позорные, далекие от материнства чувства; товарки, оставшиеся там, за стеной, отучили меня от простых и дружеских, пусть даже самых поверхностных отношений. Жинетта же была так не похожа на них, что это ставило меня в тупик.

Зато Жюльену я рассказала все — о прошлом, о будущем, на которое у меня имелись самые определенные планы: встану на ноги и отыщу Роланду. Он появился на третью ночь, я услышала его голос с радостным удивлением и легкой досадой: почему он не сразу пошел ко мне...

В ту ночь, вернувшись за мной и отыскав в темноте под деревом, он сказал: «Мама согласна,— и прибавил: — Только чтоб у нее не было неприятностей, если ты влипнешь».

И теперь он приехал к маме, а я тут сгорала от нетерпения...

Только когда Эдди с Жинеттой улеглись и уснули, Жюльен открыл дверь и вошел. Он скользил, как тень, не зажигая света и ни на что не натыкаясь. Подойдя ко мне, посветил фонариком сквозь ладонь и сел.

Я видела только его темную фигуру и освещенные руки: схватила одну и погладила снизу вверх, до закатанного на твердом-претвердом бицепсе рукава... Четыре года не прикасалась я к руке мужчины.

— Любишь белый ром?

На всякий случай я ответила «да», хотя никогда не пробовала.

Мы еле видели друг друга в слабом свете лежащего на ночном столике фонарика, разговаривали шепотом, чтобы не разбудить малышей.

Все эти четыре года, из ночи в ночь, мне снилась чья-то тень, я слышала чей-то голос, ощущала присутствие мужчины, которого я всю ночь звала, а утром с яростью отталкивала; большой, сильный, он называл меня «бедный цуцик-бродяжка», и я никак не могла его коснуться.

«Ей-богу, чего только не приснится»,— говорила я Роланде, и мы обе хихикали, привлекая любопытные или возмущенные взгляды добропорядочных мамаш и примерных жен.

Расклад был примерно такой: на десяток девок приходилось шесть детоубийц, рассказывала я Жюльену, и три дебилки; мы, остальные, держались тесной компанией.

Первые четыре месяца изоляции все вяжут арестантское белье, делают на плотной ткани образцы швов и приклеивают в тетрадки, чтобы было видно, кто что умеет. Вас взвесят, измерят, зададут уйму тестов и только потом запустят в группу. Всякие сношения между группами запрещены: у каждой своя столовая, своя комната отдыха, своя воспитательница. А в мастерских мы работали все вместе, каждый день болтали, успевали сдружиться... Представляешь, какая катавасия начиналась по вечерам: все вопят, перекликаются друг с другом. В одиночке я была по соседству с Синой. Утром воспитательница отпирала дверь. «Здравствуйте, Анна, как спалось?» А я ей: «Отлично, мамзель!» Потом она шла на кухню и торчала там. Тут-то и являлась Сина, помочь мне встать... ну, в общем, сам понимаешь... и все надо было в темпе, чтобы не опоздать на завтрак. Иногда, наоборот, я приходила будить Сину, но там было неуютно... в каждой одиночке над кроватью висела полка с ситцевыми занавесками — а как же, домашняя обстановка,— так вот, у Сины вся полка была заставлена карточками детей и мужа. Я предпочитала свой загон, где ни мужиков, ни детишек. Мы любили собираться у меня всей компанией, и все было хорошо, пока не начались все эти паскудные страсти-мордасти.

— А когда я сидел...— начал Жюльен.

Я так и знала: это его «не отсвечивай», бесшумная, крадком, походка, недаром мы с первой минуты поняли друг друга без слов. Жинетта, правда, сказала мне, что ее брат «домушник»,— скорее всего, чтобы я не комплексовала из-за своей отсидки, но я-то признала Жюльена задолго до ее слов. Есть особые приметы, видимые только своим: манера говорить, не двигая губами, изображая при этом или полную невозмутимость, или, наоборот, крайнюю озабоченность чем-то посторонним; привычка прикрывать сигарету ладонью, откладывать разговоры и дела на ночь — днем все под надзором.

Ром в бутылке убывал, под тихий шепот ночь шла к рассвету. Сесть рядом с Жюльеном я не могла, и нам обоим было удобнее, когда он сгребал меня в охапку, а я клубочком прижималась к его груди, на время забыв о боли.

— Терпеть не могу мужчин,— говорила я,— вернее, отвыкла, разучилась их любить. Вот глажу твою грудь, а ладони сами округляются. Ты такой жесткий, я рядом с тобой совсем раскисаю...

Жюльен заставил меня вспомнить, что такое мужчина.

— Не уходи, не уходи...

— Мне пора. Скоро проснется мама, а я ночую в ее комнате...

— Ну, пожалуйста!

— Ладно, еще чуть-чуть.

— Все равно я не сплю. Я тебя разбужу.

Не помню, чтоб я хоть раз спала с самого дня побега. Наверно, ночное забытье мешалось со сном, но и тогда ни на миг не прекращалось мелькание кадров-воспоминаний, не стихали в теле мерные удары отлично отлаженного живого молота. У него были свой ритм и своя цикличность: сначала одна горячая струя с шипением, словно вырываясь из дырявой трубы, наполняла щиколотку, потом начинали бурлить другие, пока не сливались и не прокатывались волной по всему телу. Или иначе: боль занималась в пятке, медленно вспучивалась, разрасталась, раздувалась пузырем, который, вспыхнув, лопался — я уже умела предугадывать этот момент,— так что искры обжигали ступню, добирались до кончиков пальцев и гасли. Тогда можно было перевести дух — между пузырями обычно бывала пауза. Хотя никогда раньше у меня не было переломов, но я явственно чувствовала в больном месте месиво из раздробленных костей и рваных мышц; только при большом умении и терпении можно было все привести в порядок. Если вообще можно...

Чтобы Жюльену было удобнее лежать, я повернулась на бок, приподнявшись на локте, и стала разглядывать в темноте его лицо. Фонарик выдохся, его красноватый глазок чуть теплился, словно горел где-то очень далеко. Волшебная ночь, крепкий ром, ласки Жюльена разбередили мне душу, и я, не выдержав, прижалась к Жюльену и разрыдалась без слез:

— Не хочу, не хочу...

Жюльен открыл один глаз:

— Что такое, малышка?

— Мне отрежут ногу... А я не хочу! Я... Ты что, не видишь, копыто насквозь гнилое! Оттяпают — и ходить не смогу.

Могла ли я чего-то требовать от Жюльена? А как же иначе? Он спас мне жизнь, спасет и ногу. Я знала: Жюльен найдет выход и сделает все, что нужно, надо только ждать. Терпеть, сжав зубы, и не скулить: в доме мама, детишки — эти нисколько не удивлялись, находя меня каждое утро и каждый вечер все так же лежащей посреди их комнаты, «доброе утро, мадемуазель», «спокойной ночи, мадемуазель», разве что хихикнут да перемигнутся, но никаких вопросов, никакого недовольства... Никто ничего не объяснял им, догадаться сами они не могли — еще малы, но мои глаза отражались в их понимающих глазенках, как в зеркале. Единственное, что я старалась скрыть от них,— это свою страшную, раздутую колоду.

— Еще несколько дней,— сказал Жюльен.— Потерпи. Я ищу тебе крышу. Найду — и мы тебя починим. Но пока слишком рано, и здесь слишком близко. Они прочесывают все, включая больницы.

Жюльен пропадал на несколько дней, потом появлялся среди ночи и снова испарялся утром.

Я уже ничему не удивлялась, ни о чем не спрашивала. Отрешилась от времени, от самой себя и безучастно принимала еду и питье, разговоры и радио. Все шло своим чередом: шш-шш — приготовься, сейчас лопнет пузырь; бум-бум — ребята пришли из школы, скоро Эдди принесет бутылку, и я высосу ее до дна, чтобы притупить боль до утра, до того часа, когда запахнет жареным хлебом и мне дадут гренки и большую чашку кофе.

Прошло еще две недели. Я бежала незадолго до Пасхи, она наступила, но никакого воскресения не было, не было вообще ничего: ни жизни, ни смерти. До встречи с Роландой оставалось еще несколько месяцев. Я рассказала про нее Жюльену, и теперь каждый раз, выпуская меня из объятий, он смеялся и говорил:

— Ну как, это не то, что с твоими подружками!

Или утешал:

— Не психуй, явишься, как обещала. В случае чего, я тебя доставлю.

— Хороша я буду на костылях!

— Подумаешь, посадим в машину... Но увидишь, через пару месяцев ты будешь скакать, как козочка. Тогда делай что хочешь,— прибавлял он,— и запомни, ты мне ничем не обязана. Наоборот, это я свинья, что стал с тобой спать.

— Вот еще, ты же меня не принуждал... И вообще, что за важность? Все равно ты мне как брат.

— Брат!.. Вот если бы я пришел к тебе с этим потом, когда ты была бы уже здорова и сама себе хозяйка, тогда другое дело. А так...

Через открытое окно лился легкий апрельский воздух, пронизанный пасхальным звоном; мы болтали и пили — Жюльен приехал рано, в кои-то веки, и сделал мне аперитив. С лестницы тянуло жареным мясом и пирогами, мне хотелось есть и пить, хотелось встать с опостылевшего матраса. И тут как раз Жюльен спросил, не хочу ли я пообедать для разнообразия со всеми вместе.

— Хотеть-то хочу, но... У меня нет шмоток...

— Подожди, я схожу спрошу у Жинетты, может, она что-нибудь даст...

И вот я готова к выходу в свет: смазала кремом пересохшую физиономию, напялила старый свитер и юбку, всунула единственную здоровую ногу в единственную тапочку. Жюльен отнес меня вниз, на кухню, и усадил за стол, между собой и матушкой. Стол был круглый и небольшой. Я передвинула стул и уложила свою запеленутую культю Жюльену на колени. Весь обед он придерживал ее рукой, слегка прижимая и покачивая, чтобы было не так больно. В сидячем положении болело по-другому: сломанный сустав зажимал сам себя, словно тисками, как будто давила скособоченная чугунная болванка. Но я смеялась и ела наравне со всеми: никакая нога, как бы она ни болела, не должна была испортить Пасху; под столом, в компании ног здоровых, она тоже здоровела. Перед сладким мальчуган, с важным видом и не поперхнувшись, затянулся сигарой Эдди. Эдди держал его на коленях; одной рукой обнимая мать, другой — Жинетту, которая, захмелев, трещала и хохотала без умолку. На блюде остались только куриные кости и горстка горошка; на столе, среди огрызков, рюмок и скомканных салфеток, ждал своей очереди торт. Но я еще не наелась, ведь это для меня первое угощение за несколько лет. Все это время была просто жратва, обыденное, привычное средство когда скоротать, а когда и выгадать часок-другой. Я была освобождена от вечерних занятий по школьной программе и, пока другие сидели на уроках, готовила ужин.

Курс домоводства пошел мне впрок: четверть часа — и со стряпней покончено. Оставалось еще полтора часа свободного времени. Тогда я вылезала из окна кухни и гуляла по верхнему двору или навещала подружку, которая, прикинувшись хворой, не пошла на уроки. И уж мы находили чем заняться.

Плохо ли: пока воспитательницы нет, хозяйничать на кухне, а когда она придет, заглянет в кастрюли: «Ммм, как вкусно пахнет! Что сегодня на ужин, Анна?» — улизнуть на этажи.

По воскресеньям воспитательница обедает за одним столом с подопечными. После мессы — немножко танцев, письма домой, а потом — наесться до отвала Анниного варева. Пообедали — и на прогулку, это полезно для пищеварения. Топаем, отдуваемся (ты топаешь, дружочек Роланда, а вот я уже не ходок!), отяжелев от плотной пищи, глядишь — уже ужин, а там еще поесть — и на боковую, слава Богу, одной неделей меньше.

Жратва — это святое, мы все старались при случае стянуть из кладовки сухари, придушить на птичнике парочку кур, пока не подошло время ежеквартального учета, сварить их, разделить на всех и слопать втихаря; посылки из дома тоже шли в общий котел. «Спасибо, мама, говорят, твои жареные голуби были недурны».— «Если ты передашь мне клубочек ниток, дорогая, я спущу тебе через окошко что-то вкусненькое — полакомишься».— «О, мадемуазель, моя кружка всегда неполная, кто-то у меня отливает, а я работаю, мне нужно молоко!»

Все одно и то же: жратва, скулёж, тоска, мерзость. Даже заготовленная для особых случаев «настойка» была не такой забористой, как это «вольное» винцо — я мигом захмелела. Захотелось вытянуться, взлететь, накатило сладкое

блаженство. Я пихала ногу Жюльена: пойдем наверх, оторвись от этих нескончаемых семейных разговоров, я здесь чужая.

До постели меня провожала целая свита: подвыпившие и потому преувеличенно серьезные домочадцы обступили мою кровать, разбинтовали ногу и по очереди ощупывали, пробовали согнуть и разогнуть. И тут я расквасилась: вот она, истина, все яснее ясного, из-за моей перебитой лапы не поздоровится нам всем. Жюльен не кинулся меня утешать, а я только распалялась: забери да забери меня куда угодно, хоть назад в тюрьму, иначе я потеряю ногу, и поскорее — важен каждый день.

— Скоро,— пообещал Жюльен.— И не клейся, пожалуйста, к парню за рулем, он мой приятель.

Куда девался мой нежный Жюльен? Почему он так жесток и насмешлив? Зачем все перечеркивает? Или думает, что я любила его не просто так, а из корысти, платила собой за то, что он для меня делал? Все наоборот: это для меня его любовь была наградой и счастьем.

...Наконец в одно прекрасное утро перед домом остановилась машина. С помощью Жинетты я влезла в брюки, запихала в пляжную сумку содержимое тумбочки. Я успела тут прибарахлиться, разжилась бельишком, мылом и снотворными таблетками. Их прописал вместе со свинцовой примочкой и соляными ваннами семейный доктор, которого однажды пригласили, когда я от боли совсем лезла на стену; он определил у меня «тяжелое растяжение».

Растяжение — это просто отлично, и неважно, что как-то не похоже на те, что случались прежде: опухнет, посинеет, поболит сильно, но недолго — денек-другой — и пройдет бесследно, бегай на здоровье. Пусть тяжелое, все равно растяжение есть растяжение, так дай же я их всех удивлю, спущусь сама по лестнице... ох! ничего подобного, опять грохнулась как миленькая. Коленка — локоть, копыто торчком, как перископ, да поскорей назад, на белый матрасик, чтобы не застали на полу раскорякой.

— Привет, ты готова? Прекрасно. Я за тобой.

Жюльен влетел вихрем, не глядя, чмокнул, подхватил меня под коленки и понес, надев на плечо пляжную сумку. Я повисла на нем, привычно обхватив шею, и окинула взглядом комнату: мой матрасик со смятыми простынями, таз с мыльной водой, детские кроватки, в которых еще спали малыши. Сквозь закрытые ставни пробивался солнечный луч.

— На улице тепло? — спросила я.

— Даже жарко. И полно машин — сегодня первое мая [1].

Проводы. Чашка кофе, теплые напутствия, поцелуи. За всеобщим оживлением угадывалось чувство невольного облегчения: слава Богу, теперь меня будут лечить, но неплохо и то, что я уеду отсюда... Моим хозяевам эти три недели, верно, тоже показались изрядно длинными.

Полиция, конечно, не стала бы искать меня здесь, но могла нагрянуть по Жюльенову душу — ему запрещен въезд в Париж и пригороды — и наткнуться на меня.

— Пусть только попробуют помешать мне навещать маму!

Вот почему Жюльен приезжал по ночам, когда полиция не тревожит мирных граждан, и смывался затемно. Меня укрыли на втором этаже, так что, если ищейки и заглядывали порой для порядку или перекинуться словечком по-соседски (у них не было ордера на обыск), Жинетта с матерью всегда могли с невинным видом предложить им осмотреть дом, а в крайнем случае — мало ли что: приехала кузина и сломала ногу. Правда, всего не рассчитаешь, и, как правило, когда хочешь все предусмотреть, обязательно перестараешься, и все летит к чертям.

Друг Жюльена оказался жизнерадостным, расфуфыренным пятидесятилетним толстяком, вовсе не похожим на видавшего виды матерого уголовника, каким я его себе воображала. Вообще моя голова была набита ложными представлениями: я слишком рано очутилась под замком, чтобы успеть что-нибудь увидеть в жизни, зато много читала, думала, фантазировала. Реальность на каждом шагу опрокидывала мои иллюзии, вот и сейчас, когда меня устраивали на заднем сиденье, где можно было лечь, я ждала захватывающего, опасного приключе-

[1] Первое мая во Франции — традиционный День ландышей.

ния... А на дороге было много машин, в машинах — полно народу: семейные прогулки, на обочине лотки с мясом, торгуют цветами, весенняя идиллия, День ландышей...

Жюльен болтал с приятелем. Я разглядывала его затылок, аккуратно обведенные кромкой стриженых светлых волос уши, выступающий из-под темно-синего костюма краешек воротника: гладко выбритый, румяный, весь в синем; приятель — такой же румяный, выбритый, тоже в синем, но седоватый. Верно, теперь меня так и будут перекладывать с кровати на автомобильное сиденье, с сиденья на кровать ничем мне не обязанные доброхоты, у которых, выходит, я оставалась в долгу.

Меня это тогда нимало не смущало, я только злилась, так как не могла высказать вслух, что вообще-то не люблю принимать чужие милости, предпочитаю брать сама, и не умею быть благодарной.

Глава III

— Ладно, Нини, не дуйся, откупорь-ка нам лучше бутылочку.

— Ясное дело, он рад-радешенек сбагрить нам свою обузу!..

Нини чернявая, костистая и худая, как щепка, безгрудая, с выступающими смуглыми скулами, маленькими острыми глазками. Женского в ней только завивка да наряд: узкое платье, туфли на толстых, но высоких каблуках. Похожа на марионетку. Как я поняла, до того как подцепить хозяина с хозяйским сыном и матерью в придачу, она была здесь служанкой.

Водитель — он согласился выпить глоточек: «Самую малость, меня ждет жена»,— Жюльен, переобувшийся в тапочки, Нини, ее Пьер и, наконец, я, обуза,— больше в ресторанчике никого не было. Ни одного посетителя. Пусто и мертво, дежурная обходительность ни к чему; с тех пор как заведение закрыли, любезная улыбка и услужливая поза Пьера, видно, валялись, отброшенные им, где-то среди пустующих столиков, под толстым слоем пыли. Из вылизанной и убранной по-деревенски столовой широкая арочная дверь с раздвинутыми занавесками вела в бар; я видела грязную стойку и захламленные полки: пустые бутылки, телефонные справочники рядом с утюгом и корзиной неглаженого белья, груды бумажек, папки, сборники нот... Все это не убиралось, то ли с досады на вынужденное закрытие, то ли в надежде на скорое открытие. В последнем случае достаточно было бы постелить скатерти да смахнуть пыль.

Обстановка производила странное впечатление не то наигранной бодрости, не то уныния; у меня, привыкшей к тесноте тюремных камер, закружилась голова от одного вида столь просторного помещения: примыкающая к бару давно не натиравшаяся танцевальная площадка, оркестровые подмостки с застывшими в черных футлярах-саркофагах инструментами, прислоненными к пианино или к сложенным в штабели скамьям.

В льющемся на танцевальную площадку через стеклянную крышу свете предметы вырисовывались четко, как под лучом прожектора. Наша столовая освещена не так резко, солнце проникало сюда сквозь листья и цветы: вся терраса уставлена горшками и вазами, заменившими столики, за которыми можно было выпить стаканчик на свежем воздухе; за террасой виднелись ворота, дорога, река.

— Здесь можно купаться? — спросила я, чтобы хоть что-нибудь сказать.— Когда живешь в двух шагах от воды, наверно, приятно с утра окунуться?

— Там сплошная тина,— ответил Пьер.— Правда, много раков. Ну, и клиентов приманивает: прокатиться на лодке или, вот, аккордеон послушать...

Не договорив, он взял свою шарманку, нацепил ее и, лениво растягивая мехи, стал наигрывать беглые арпеджио. Должно быть, ему было очень жарко: он сидел в одной майке, обтягивавшей его жирное брюхо, подмышки вспотели, лоб блестел.

— Вы играете?

Я добросовестно объясняю: когда-то училась на скрипке в провинциальной музыкальной школе, проходила сольфеджио, теперь давно не играла, потеряла форму, но...

— Слышишь, Жюльен,— перебивает меня Пьер, откладывая распяленный аккордеон, чтобы промочить горло — две капли ликера на стакан воды — мутновато-зеленоватое пойло раскаявшегося пьяницы,— притащи ей скрипку, пусть себе пиликает хоть целый день! Кстати, если попадется магнитофон, не забудь про меня, ладно? И «Солекс» для Нини...

Жюльен, развалившийся в кресле, вытянув ноги, промурлыкал «угу».

В свойском, понимающем тоне хозяев сквозила подобострастная корысть: тут было и уважение к профессионалу, и снисходительность к приятелю, которого пришлось выручить. Как-никак они согласились взять на себя заботу обо мне, зная все или почти все — Жюльен представил меня «малолеткой в бегах», не уточняя, откуда я сбежала: из тюрьмы или из дому,— значит, шли на риск. Пьер подчеркивал это при каждом удобном случае, намекая на возмещение прошлых и будущих убытков в случае моего неминуемого, по его мнению, ареста и его привлечения как сообщника.

— Знаете,— перебила я,— когда четыре года назад легавые... то есть...

— Вот пожалуйста,— бодро подхватил Пьер.— Давай-ка уговоримся сразу: у меня ребенок, и никаких таких разговоров при нем быть не должно.

— Но сейчас его здесь нет!

— Вы бы и при нем сказанули то же самое. Так что привыкайте: никаких «легавых», никаких «тюряг». Ясно?

Похоже, я опять угодила в клетку!

Впрочем, это лучше, чем расспросы. И я тут же зареклась про себя: ни слова сверх самого необходимого, пусть язык у меня отнимется, как отнялась нога, меньше будет хлопот.

Должно быть, превращению Нини из прислуги в хозяйку немало способствовали ее кулинарные способности: цыпленок так и таял во рту, мороженое, наоборот, не таяло, а торт был просто воздушный. Хозяева запивали еду минеральной водой из больших бокалов. Жюльен наполнил и наши, хотя за такую плату, кажется, можно было бы рассчитывать на что-нибудь покрепче.

Я пристроила ногу на перекладине под столом — в вытянутом положении она меньше ныла и не так часто дергало пальцы.

Да и не так сильно, раз — и все, к тому же можно заранее приготовиться, стиснуть зубы, не переставая улыбаться и глядя в одну точку. Мой вид вполне подтверждал заключение специалиста: «Тяжелое растяжение, но каких-нибудь пару недель, и...»

Уйдем мы когда-нибудь наверх или нет, Жюльен? Я объелась, меня разморило. Конечно, не худо бы поговорить с хозяевами, как полагается приличной гостье, расположить их к себе, да ведь мы наверняка не сойдемся, не поймем друг друга: я — мертвый груз, сданный им на руки, и мы не чаем, как бы поскорее избавиться друг от друга. Но только моя нога знает, сколько им предстоит держать меня.

— Хочешь спать, малышка? — шепчет Жюльен.

— Не очень, но мне надо...

Весь обед я робко ерзала на стуле, точно девочка, которую посадили за стол со взрослыми; если бы я могла встать, спокойно, достойно сказать: «Простите, я сейчас» — и непринужденно пройти в дальний конец танцзала, к дверце с неосвещенной, но ясно различимой надписью «Туалет».

Пришлось Жюльену великодушно отнести меня.

— Справишься сама?

— Не бойся, в дырку не свалюсь.

Между тем, я была недалека от этого: в уборной надо было присесть на корточки, что с одной ногой не слишком удобно. Я оперлась руками о стенки, но пальцы скользили по гладкому кафелю, пришлось опуститься всей тяжестью за здоровую пятку, да еще мешали спущенные трусики.

— Долго еще, Жюльен? — спросила я, снова обхватив его за шею.

— Еще немного — и пойдем отдохнуть, вот только глотнем кофейку. Что поделаешь, такие уж люди, потерпи! Но особенно напрягаться не придется: у тебя будет своя комната, приемник, еду будут приносить в постель, и беспокоить тебя никто не станет. Раньше у них тут было что-то вроде гостиницы...

— А теперь они сдают комнаты втихаря и втридорога. Я поняла. Можешь нести меня к столу, я буду паинькой.

Наконец после затянувшейся кофейной церемонии — рюмочку коньячка напоследок, да еще одну вдогонку — я, как новобрачная, впорхнула на руках Жюльена в наше новое жилище. Типичный номер в посредственной гостинице: облезлое, но глубокое кресло, холодная батарея, раковина с краном — горячей воды, естественно, нет,— кровать с цветастым, разумеется, не в тон с обоями, покрывалом, слишком высоко, как водится, подвешенное зеркало и пожелтевшие, заляпанные газетные листы на полках в шкафу. Я старательно разложила свои нехитрые пожитки: при ближайшем рассмотрении Жинеттины брюки оказались изношенными до дыр, ну да ладно, главное, занять место хоть чем-нибудь.

Курево и спички я положила на стул в изголовье и начала раздеваться. Жюльен закрыл дверь на ключ, лег на кровать, не снимая рубашки, и тут же уснул. Я заметила эту его способность мгновенно погружаться в сон, еще когда он делил со мной детский матрасик; бывало, скажет «спокойной ночи» и отключается, прежде чем я успею ответить. Тогда я принималась кончиками пальцев изучать его тело — ведь я ни разу не видела его толком, хотя только что оно снова на несколько минут было моим. Как же мало это значило, какой малой царапиной было на броне нашего — моего и твоего — одиночества.

Я прижимала ладонь к груди Жюльена и шепотом задавала ему разные вопросы, иногда он отвечал, иногда просто разговаривал во сне, а я, нагнувшись, вслушивалась и ужасалась разделявшим нас неизведанным пластам.

Однажды ночью Жюльен проговорил:

— Я вижу тебя... Ты бегаешь по лужайке в клетчатом сине-белом халате.

По будням мы носили в тюрьме халаты в синюю и белую клетку. Но Жюльен никак не мог видеть меня в этом наряде, а я ему не рассказывала.

— Но ты же никогда не видел, как я бегаю,— сказала я спящему. А проснувшись, Жюльен хохотал до слез:

— Это не мне, а тебе приснилось...

Что будет дальше, я не загадывала: может, очень скоро и очень быстро я вернусь в прежнюю колею, все пойдет так же, как там, за стеной, а эти две недели останутся в памяти как чудо, как вспышка нежданной нежности, как эскиз недописанной картины; я найду свою драгоценную подружку и буду делить с ней дни и ночи, пока все это не наскучит, не надоест и не исчезнет, словно пролистнешь странички дешевого буклета и возьмешь в руки другой такой же... А может... может, я долго-долго не покину рук Жюльена, неважно, останемся мы любовниками или нет, но нить, соединившая нас в ночь черных деревьев, будет тянуться и тянуться, становясь все прочнее и скручиваясь все туже,— нить от него ко мне и от меня к нему...

Впрочем, нет! Жизнь обрывает все нити, не пощадит и этой.

Впервые я не хотела знать, чем кончится и даже как будет развиваться то, что со мной происходило. Так хорошо сидеть в кресле раздетой и смотреть на спящего Жюльена; так бы замереть, пригревшись, и слушать ровное двойное дыхание; не разменяваться на слова, поступки, ибо все они лгут; только эта минута истинная, живая, и я хочу превратить ее в вечность...

Но время не желает стоять на месте, снова роятся в голове вопросы и желания; что ж, я встаю, опираясь о шкаф, чтобы преодолеть огромное расстояние в два метра, отделяющее кресло от кровати. Полпути ковыляю, оттопырив больную ногу — с пятки на носок, с пятки на носок, ни дать ни взять веселый би-боп на воскресной вечеринке,— а там бросаюсь рыбкой, руки вперед, чтобы уцепиться за край матраса. Подтягиваюсь к подушке и в упор разглядываю лицо спящего крепким сном Жюльена; не хватает жестокости разбудить его, а нежность и ревность так и разбирают: проснись или возьми меня в свой сон.

К ужину мы снова спустились в столовую. Время шло, скоро меня отнесут на место, уложат, поцелуют и оставят одну. Жюльену надо назад, в город, где он будто бы работал. Он вернется «очень-очень» скоро... Я чуть не плакала и закапала Жинеттин свитер яйцом; вздумалось же Нини подать на ужин яйца всмятку — тянучие, липкие,— терпеть не могу эти ваши яйца и вообще не хочу есть. Жюльен, не уходи так быстро, дай я хоть захмелею.

— Нельзя ли еще рюмочку этого чудесного коньяка? — умильно прошу я.

— Хм... не многовато ли вы пьете? — хмурится Пьер. Его сынишка тоже сидит за столом, и Пьер, как добрый папенька, печется о нас обоих. Конечно, я еще тот подарочек: хромая, угрюмая, оборванная, да еще и выпивоха. Я сжимаю рюмку: мой коньяк, горячий, прозрачный янтарь, мой покой и сон. Жюльен берет бутылку со стола и уносит меня наверх вместе с нею, а там ставит рядом с кроватью, чтобы я могла дотянуться. Ну вот, я уже не вижу Жюльена, не вижу и не увижу ничего до самого утра.

Прошла еще неделя. Восторг от поездки по залитой солнцем весенней зелени прошел. Май стоял холодный, знобкий, в комнате пахло сыростью. Я сидела, укутавшись в ничейную замшевую куртку: она принадлежала Жюльену, его приятелям, мне,— словом, кому понадобится. Оставаться в постели было нельзя. Первый день после ухода Жюльена я продремала в одиночестве, а вечером Нини принесла мне на подносе вкусный и такой обильный ужин, что его хватило бы не на одну, а на трех оголодавших девиц. Я и набила живот за троих, правда, не столько от голода, сколько от скуки. На другое утро на подносе красовались большая чашка кофе с молоком и тарелка с разложенными в кружок бутербродами. Нини угодливо спросила «как спалось?», включила радио и открыла окно.

Я уплела все под музыку и снова заснула.

Но днем явился Пьер, с пустыми руками.

— Обедать не собираетесь?

— Э-э... с меня вполне хватит одного раза в день, когда-то я так и жила и легко привыкну опять... Нет, спасибо, я лучше подожду и обойдусь тем, что принесет Нини.

— Ну вот что, это, конечно, прекрасно, но моя жена — не прислуга...

(Что верно, то верно, это у нее уже в прошлом.)

— ...и, по-моему, вы могли бы спуститься к общему столу. Я отнесу вас.

Конечно, такое блюдо, как вчера, нести тяжело, но все же легче, чем меня. Впрочем, я решила не перегружать мозги Пьера логическими выкладками и предпочла ответить, что доберусь до своего бифштекса самостоятельно.

Так что теперь, проглотив утренние бутерброды, я джазовым шажком подтанцовывала к умывальнику, мылась леденющей водой, одевалась и, кое-как застелив постель, усаживалась, вытянув ногу,— она затекала и болела все больше. До полудня я коротала время с помощью старых журналов, радиопередач для домохозяек и сигарет и истекала слюной. Без пяти двенадцать съезжала на заднем месте по лестнице и хромала через бар — уже прогресс: нога сама сгибалась в колене — на кухню. С тех пор как смели крошки после пира в честь прибытия, в столовой не накрывали ни разу.

Слабоумная и немая мать Пьера, сам Пьер, килограммами поглощавший «диетическую» пищу (горы салата, гигантские антрекоты, литры минеральной воды), Нини, жующая не отходя от плиты, где доходило следующее блюдо. Каждый сам по себе, неуютно и тягостно; я заталкивала в себя еду, утешаясь тем, что это единственная обязанность, с которой я в состоянии справиться. Придет время — посмеюсь, вспоминая об этих чудовищных порциях, но пока надо поскорее встать на ноги, начать ходить. Когда-нибудь все это станет отличной затравкой для веселья, но сначала пусть восстановится костная ткань, поэтому приходилось обжираться, безропотно поглощать кальций, который Нини подавала в виде молочного супа с вермишелью, приговаривая:

— Очень здоровая пища.

Запас кальция исправно накапливался, запас юмора тоже. А перелом... давно бы пора ему зажить, в чем же дело! Пусть неправильно, но кость должна уже срастись и хоть со скрипом, но выдерживать тяжесть тела. И потом, мне надоели нотации Пьера. «В жизни нельзя быть размазней, надо иметь силу воли»,— изрекал он, глядя поверх моей головы; надоели старые журналы и молочные супчики.

Нини дала мне мужской шерстяной носок, и я натягивала его поверх эластичной повязки, чтобы согреть синие, холодные, помертвевшие пальцы; после обеда она ставила на пол таз с горячей водой и растворяла в ней крупную соль, чтобы я отпаривала ногу; правда, тут у нее был и свой интерес: подержать меня внизу, пока она без помех пропылесосит мою комнату; но нога не желала оживать.

На седьмой день я оступилась и скатилась кубарем с лестницы. Встать даже и не пыталась — не все ли теперь равно! Так меня и нашла Нини: я сидела, обхватив щиколотку, зажмурясь и глотая слезы.

— Почему же вы меня не позвали? Очень больно?

— Да,— прорыдала я,— ужасно больно, и я больше так не могу, пожалуйста, Нини, сделайте что-нибудь, я же потеряю ногу!

— Звонил Жюльен,— сказала Нини,— он собирается заехать сегодня днем. Но мы не станем его дожидаться. Нельзя же вас так оставить — я вызову «скорую». Ну-ка, обопритесь на меня, вот так, а теперь ложитесь и лежите. Пьеру я потом сама все объясню.

Пьер в тот день, по его выражению, «ишачил» на заводе, так что в нашем распоряжении было добрых два часа. Я притворно отнекивалась:

— Но это так рискованно! И как я назовусь в больнице? У меня. никаких документов...

— Скажем, что вы моя сестра,— решила Нини.— Я вас вырастила и отвечаю за вас, идет? Не забудьте... не забудь говорить мне при санитарах «ты». Ну, я пошла звонить в «скорую».

Когда я собрала свои пожитки, раздалась легкая, кончиками пальцев, дробь в дверь.

— Входи, Жюльен,— уверенно сказала я: Нини твердо барабанила в дверь костяшками, Пьер поворачивал ручку и входил без церемоний. К тому же Пьер «ишачил»... «Не думай, Жюльен,— оправдывался он,— я не подался бы в работяги, не будь у меня жены и сына, мог бы делать дела не хуже тебя».

До прихода «скорой» нам хватило времени на любовь.

Глава IV

— Вы сегодня что-нибудь ели? — спросила сестра.

— Кофе с молоком и пару бутербродов.

Опять о жратве! Только и слышу. А лечить меня собираются?

— ...и я совсем не голодна,— добавила я.

— Тем лучше, потому что теперь придется поголодать, через час вам проведут медикаментозную подготовку.

— Что-что?

— Ну, подготовят для операционной. А пока я побрею вам ногу.

Молоденькая, изящная сестра говорила убедительно и участливо, а варварский медицинский жаргон применяла так же, как бритву: очень старательно, вкладывая во все, что делает, свеженькие знания и нерастраченное сострадание. Я бы с радостью предоставила ей выбрить все тело: наконец-то за мое лечение взялись всерьез. Но меня тут же прошиб страх, и я стала заклинать Господа, чтобы у меня не оказалось чего-нибудь уж слишком серьезного.

С кровати в карету «скорой» санитары перенесли меня на сидячих носилках, когда они ставили их, мягко и бережно, я ощутила легчайший толчок, как при остановке роскошного лифта: пум! — словно меня принимала не земля, а сто слоев мягкого бархата.

В приемном покое меня переложили на стол срочного рентгена: один санитар подхватил меня, другой поддерживал ногу. Нини стояла рядом, прямая, будто аршин проглотила, скорбно поджав губы и стараясь не выпускать моей руки; полно, дорогая «старшая сестрица», ваша ладонь так безучастна, будет уж ломать комедию! В регистратуре записали с ваших слов все как надо, ваше присутствие больше не требуется, ступайте домой.

Но Нини пристала к одному из белых халатов и с хорошо разыгранной тревогой в голосе атаковала его вопросами:

— Ну что, доктор? Это серьезно? Надеюсь, вы не оставите ее в больнице?

Лежа под резкой лампой, я приподнялась на локтях, чтобы расслышать ответ.

Заметив, что я смотрю ему в рот, врач взял Нини под руку и вышел с нею вместе. Долго еще мне валяться на этом нечеловечески жестком, железном топчане? Всюду торчали какие-то непонятные штуки: ручки, трубки, коробки, что-то урчало, звякало; эти звуки и прикосновение теплой, глянцево-серой

поверхности действовали одновременно и будоражаще, и успокоительно. Я перешла некий рубеж, начало дня осталось за глухой стеной, жесткий стол принял меня, как тихая гавань, сулил благостную передышку и надежду.

Вернулась Нини, одна, без врача. Строгое выражение на ее лице сменилось озабоченным:

— Может быть, придется отнимать...

Я не спрашивала — что. Тишина стала оглушительной, в горле застрял крик, я уставилась на свою несчастную ногу, мертвую, почерневшую; значит, ее отрежут и выкинут. Я вдруг остро поняла, как дорога мне каждая клеточка плоти, каждая капля крови; я вся — плоть и кровь, все мое тело — одна разделившаяся и до бесконечности размножившаяся клетка, так что лучше умереть, но остаться целой, чем дать себя расчленить.

Правда, мысли о смерти, об ампутации не проникали в глубь сознания, оставаясь чем-то далеким, чуть ли не забавным; точно так же, готовясь разжать пальцы и ухнуть со стены, я подумала: «разобьюсь насмерть», подумала, не веря. Вот и теперь угроза все еще казалась чем-то ненастоящим, известным с чужих слов, из чужого опыта; живым, реальным было другое: как совсем недавно я носилась почем зря, как еще сегодня утром меня ласкал Жюльен.

Да, но чем не реальность вот эта черная, гноящаяся культя? Уж ее-то я знаю не с чужих слов, она моя, и только моя. Я и сама списала и отшвырнула ее до всяких докторов, мое добро — что хочу, то и делаю, но им такого права давать не желаю. Хочу и держусь за свое гнилое копыто. Одно из двух: или пусть его починят, или я сгнию с ним вместе.

В палате стояло шесть кроватей, занято было только четыре.

— Можно мне сюда? — спросила я, указывая на ту, что была дальше всего от двери и ближе всего к умывальной.

Ну, наконец-то. Здесь я как все, не размазня, не мертвый груз: в этой палате ненормальными показались бы Нини и прочие здоровые люди, я же здесь на своем месте, подхожу по всем статьям, теперь я — больная с пятой койки, и моя раздробленная нога — в порядке вещей.

Более того, ради нее меня здесь и держат, она дает мне право на уход и улыбки сестер, ведь у меня не простой, а совершенно замечательный перелом, особая заслуга.

Сквозь простыни ногу припекало солнце. Ни разу, с самого побега, мне не было так тепло. Иногда, от коньяка или от ласк Жюльена, по телу прокатывалась горячая волна, но сразу же остывала, и снова меня облепляла холодная вата. А здесь согревал, скользя по одеялу, солнечный луч, ровным жаром дышала батарея — хорошо и почти не больно.

Постель была постелена по-особому: матрас с валиком в головах накрыт простыней, поверх первой простыни — вторая, сложенная пополам, вроде пеленки; сверху, на мне, простыня, одеяло, а на нем еще одна простыня, последняя, в синюю полоску, с больничным штампом: настоящий компресс. Подушек — две штуки, но стоит пожелать — дадут три, четыре, десять, на здоровье...

Я перевалилась на правый бок, чтобы взять сигарету с белого двухъярусного столика. Но едва успела закурить, как зашевелилась соседка на койке, стоявшей у противоположной стены перпендикулярно к моей,— молодая женщина, которая могла двигать только руками. Над головой у нее было укреплено зеркало; поворачивая его на шарнире, она могла, не шевелясь, видеть все происходящее в палате. Верно, не очень весело целый день лежать пластом и глядеть на собственную физиономию на потолке. Наведя зеркало на меня, она сказала моему отражению:

— Смотрите, чтобы вас не засекла старшая сестра, у нас тут не разрешается курить... особенно если вас должны взять в операционный блок.

— Извините, я не знала...

— Да нет, мне-то что: я и сама курю, да и остальные не боятся табачного дыма. Просто лучше это делать в часы посещений. Но сегодня вам из-за этого может стать плохо *после*...

— А когда часы посещений?

— С двенадцати до двух дня и с шести до семи вечера, а в воскресенье — с обеда до самого ужина. Простите за любопытство, но... Брюнетка, которая вас провожала, это что, ваша мама? Вы на нее похожи.

— Это моя старшая сестра,— сказала я не моргнув глазом.— Но она меня вырастила, и я считаю ее матерью.

Я не знала точно, куда задевались мои родители: умерли, уехали и бросили меня или тяжело заболели,— поэтому, чтобы дать исчерпывающие сведения о моем семейном положении, надо было дождаться Нини и уточнить у нее. В приемном покое я назвала свое настоящее имя и настоящий возраст: имя, потому что оно мне нравится, а возраст, потому что врачи все равно определили бы его по состоянию костей, я уже лет шесть, как перестала расти, рано развилась, а теперь могла и задержаться, так или иначе, до затвердения хрящей оставался еще не один год.

Интересно, придет сегодня Нини? Жюльен обещал позвонить ей попозже вечером. Хотя что телефон? Разве скажешь словами, кто мы друг другу. Но я жду звонка. Надеюсь, а на что, не знаю сама, даст Бог, со временем у нас получится... вот встану, начну ходить, и мы вдвоем — нормальная пара: парень с девушкой — пойдем по улице за руку или под руку, я пройду по улицам с Жюльеном, узнаю, куда ведут его улицы... А пока я откинулась на подушку и закрыла глаза. Остальные тоже отдыхали, упакованные в чудной постельный кокон, вспученный обручами, у некоторых в ногах висел еще и груз на блоке. Все лежали неподвижно, уткнув глаза в газету, вязание или в пустоту. Бездна тоскливого ожидания нависала над нами.

По коридору с мягким резиновым шорохом катились тележки, где-то играло радио, мелодия прорезала плывущую из окна лазурную тишину. Меня одолела зевота, больница укутала, успокоила меня, как старая нянька: ну-ну, ничего, уже все, где у нас бобо, подую — пройдет.

Но на дверь я все-таки поглядывала. Хоть бы пришла Нини. Мне хотелось видеть знакомое лицо, чтобы не терять связи со ставшим привычным миром; вступая в новый и теряя из виду родные берега, я чуть ли не с жалостью думала о своей покинутой берлоге, темноватой и холодной... не слишком ли здесь много света, все как на ладони: тень рассеется, и все узнают, кто я... Да полно, даже если в эту больницу каким-то чудом дошло извещение о розыске, проверку в ней устроили бы тут же, еще в то время, когда я жила у матери Жюльена. И вообще, я сестра Нини, записанная под ее фамилией, такой же безликой, как те, что стоят до и после в списках приемного покоя. Здесь настоящее имя — мой диагноз, мой перелом... астрагал — так, кажется, сказал врач? Жаль, нет под рукой анатомического атласа... этот самый астрагал заменяет и имя, и лицо, смотреть будут только на него.

Вошла старшая сестра, толкая перед собой столик на колесах, уставленный коробками с бинтами и пластмассовыми пузырьками с желтой, фиолетовой, бесцветной жидкостями... Описав вираж, она рулит прямо в мой угол.

— В какую половинку укол? — сестра приготовила шприц и окунула ватку в эфир.

— О, все равно!

— Поднимите рубашку и повернитесь.

Я поворачиваюсь, и рубашка с разрезом сзади сама откидывается, выставляя голый зад. Все последние годы приказ «разденьтесь!» предписывал скинуть все одежки до единой и предвещал строгий обыск; даже после многих месяцев в камере с ежедневным осмотром постели и лифчика надзирательницы с неослабевающей бдительностью обшаривали меня после каждого допроса у следователя. «Поставьте ногу на табуретку. Кашляните... Так». Поэтому, услышав здесь, в больнице, знакомое «разденьтесь!», я автоматически обнажилась совсем. Тюрьма въелась в меня: я обнаруживала ее в своих рефлексах: в привычке вздрагивать, таиться, повиноваться, в каждом движении и поступке. Да и нельзя разом сбросить все, что скопилось за годы скрупулезной муштры и постоянного притворства. Я обрела физическую свободу, но вдруг оказалось, что дух, дотоле мой единственный оплот, стал рабом укоренившихся привычек; напускное смирение переросло в самую настоящую робость; чего-чего, а уж нахальства я в тюрьме набралась, а вот поди ж ты, спрашивала позволения на простейшие вещи; и у матери Жюльена, и у Пьера поминутно повторяла «пожалуйста» да «можно я...» и все старалась держать руки на виду; а если вспоминала, что свободна, то становилась неловкой или неестественно развязной.

Все получалось неуклюже; желая освоиться, я делала промах за промахом; приобретенная опасливость и врожденная бесцеремонность служили мне одинаково дурную службу. К тому же я плохо ориентировалась в среде, куда ввел меня Жюльен, ведь в тюрьме я сталкивалась все больше с новичками, а не с настоящими блатными. Чтобы понравиться Жюльену и, ради него, его друзьям, я молчала с умным видом, скрывая свое невежество, или корчила из себя прожженную, искушенную девицу, выражалась языком героев детективных романов или мольеровских «смешных жеманниц». То и другое выглядело смешно и глупо.

В больнице же я могла наконец не стесняться своей «неопытности» — почти все в палате были в таком же положении: все-таки к травмам не привыкаешь, как к хронической болезни, так что мой астрагал извинял любую оплошность.

Весь этот поток мыслей нахлынул, едва старшая сестра — очень медленно и туго — ввела мне в ягодицу содержимое здоровенного шприца и снова прикрыла меня одеялом. Я принялась потирать место укола, чтобы поскорей разошлась новая боль — в бедре перекатывались острые бляшки и разливались струи свинца. Постепенно вихрь в голове затихал, как замедляется вращение барабана ярмарочной лотереи: мысли кружились все медленнее, раскачивались на месте, а стены и потолок плыли тяжелой лавой, воздух сворачивался в рыхлые хлопья, опадавшие на пол, глаза затягивались глухими бельмами... Только бы не закрылись совсем — тогда я пропала. Не хочу засыпать, хочу видеть все до конца. Как они собираются меня чинить: под общим наркозом или просто обезболить — в таком случае уже хватит. Я и так ничего не чувствую... Спросить бы. Слева лежит пожилая женщина; когда приходила сестра, она проснулась и с тех пор улыбается и смотрит на меня с участливым любопытством.

— Мадам...

— Да?

— Извините за беспокойство, но я...— начала я тоном «благонравной девушки», но больше почему-то ничего выговорить не могла: и вовсе не от робости перехватило горло, я не слышала сама себя, язык распух, не ворочался и не пускал слова, да они и сами распадались, не успев собраться во что-то связное, я забыла, что хотела спросить, все перемешалось, и...

— Не разговаривайте,— сказала соседка.— Закройте глаза и лежите спокойно. Наркоз подействует скорее, если вы расслабитесь...

Значит, меня усыпляют. Ну, уж нет: боли я наверняка не почувствую, но сколько хватит сил поборюсь со сном. Надо на чем-нибудь сосредоточиться: ага, вот этикетка на спичечном коробке. Какая-то провинция, вид и название. Э, да я разучилась читать, попробую угадать: у нас в колонии каждая группа носила имя какой-нибудь провинции, всего четыре группы, сестрички заперты, как рыбешки в садке, как спички в коробке... я не сплю, я не усну, не усну, не...

Глава V

...Смотрю на него умильно и говорю со слезой в голосе: «Доктор, мне так бо-о-льно, это просто пытка...» Ну, он и велел снять шину и заменить облегченной гипсовой повязкой. Она не такая тяжелая, но предохраняет ногу хорошо. Жюльен, солнышко мое...

Я дрожала от радости и готова была вытащить ногу из гипса, а что: напрячься да дернуть хорошенько — стряхнется, как сапог.

— Ты не представляешь, я просто с ума сходила все эти две недели... О Жюльен, наконец-то ты пришел...

— Малышка... Если б я знал, что все так серьезно. Нини сказала по телефону, что ты лежишь на вытяжении и все хорошо! А, оказывается, тебя оперировали, а я ничего не знаю!

Жюльен сидит рядышком, облокотившись на ночной столик и держа одну руку под одеялом на моем бедре.

— Но Нини не приходила уже три дня, а... это все было позавчера. Видишь, к твоему приходу я как раз начала воскресать. Ну, а в первую ночь ничего не могла с собой сделать и вопила от боли, пока не прибежала дежурная сестра. Кажется, мне ввели морфин. На другой день тоже было худо, и так всю ночь до самого утра: я притянула колено к подбородку и сжимала гипс изо всех сил, он

чуть не треснул... Зато сегодня утром полегчало, я снова увидела божий свет, и... и ты вот пришел.

Жюльен взглянул на часы.

— У нас еще целый час. Давай рассказывай. Все, что с тобой делали.

— Не стоит! — засмеялась я.— Да и вряд ли получится, ведь в самых интересных местах я спала. А так — что же, обыкновенная больничная канитель: утром приносят кофе, в одиннадцать и в шесть — жратву (почти как там, раньше), ну, потом всякие процедуры, перевязки, уколы. Честное слово, у меня зад болит больше, чем нога. Вот посмотри.

Я задрала полу рубашки: от уколов пенициллина-пролонга, которые мне делали трижды в день, все ягодицы были в синяках и корочках... В больнице каждый почему-то так и норовит выставить напоказ что-нибудь особенно противное: похвастаться швом пострашнее да подлиннее, гипсом потолще, гирей потяжелей. Вот и я, вместо того чтобы привлекать внимание Жюльена к своему лицу или к рукам — они у меня целые и невредимые,— сую ему под нос струпья и кровоподтеки на заднице, да еще жалею, что не могу продемонстрировать место, закрытое гипсом: судя по подтекам на пятке, там должно быть нечто похлеще.

Ну, а Жюльен... Рука его сегодня ласкова, но в ней нет горячности, это рука-сестра, явившаяся навестить больную. Я-то знаю: женщина для него все равно что гитара, штука удобная, но требующая чуткого обращения, она так беззащитна и так хочет петь. В любви Жюльен искусен и нежен, но не отдается ей надолго: согреет по-дружески, приголубит: «бедный мой мурзик-бродяжка», обнимет, прильнет так же бережно и легко, как гладит... не такая уж я хрупкая, Жюльен!

— Скоро попробую сесть...

До сих пор я еще не решалась: нога покоилась на подушке, подпертая с обеих сторон мешочками с песком. Утром я решила самостоятельно умыться и отказалась от услуг санитарки; она отошла к другим больным, а я принялась обтираться, смывая с кожи липкие, тошнотворные следы физической боли, запах хлороформа и испарины.

Нини мало-помалу пополняла мою экипировку, с тратами она не считалась — все равно платил Жюльен, и теперь у меня был роскошный пеньюар, запас сигарет на целый месяц, косметики — на год и даже пара кроссовок.

— Выйду отсюда в цветастенькой ночной рубашке и кроссовках.

— Погоди,— сказал Жюльен.— После операции прошло только два дня. К выписке я тебе достану тряпок сколько хочешь.

Уж он «достанет»!

— Шкафы будут ломиться, меняй наряды хоть десять раз на дню. Ну, а пока придется обходиться обносками, всему свое время.

Жюльен встал и оглядел палату: у каждой кровати заседал малый семейный совет. Когда приходят посетители, соседки забывают друг о друге, на это время каждая возвращается в свой домашний круг; родственники хлопочут, наводят порядок в тумбочках, поправляют подушки, украдкой распаковывают гостинцы: сладости или что-нибудь питательное; свои не выдадут, а больничное начальство знать ничего не знает.

Ко мне раза два-три в неделю приходила Нини, подкармливала, узнавала, что еще нужно; в остальное время я лежала в одиночестве — сирота сиротой. Чтобы соседки не донимали расспросами и не жалели, я углублялась в чтение или старательно дремала до самого часа Святого Термометра. Каждый день, ровно в четырнадцать часов, появлялась сестра с градусниками в стакане: «Пра-ашу покинуть палаты!» И, чтобы поскорее выпроводить гостей, тут же принималась раздавать всем стеклянные палочки, энергично встряхивая и проверяя каждую. «Температурку!» Больница вступала в свои права, чужим пора восвояси. Кто-то еще обнимался, кто-то поправлял напоследок цветы в вазе на тумбочке... Надоели, скорей бы уж все они расходились, а мои соседки снова превратились в прикованных к кроватям одиночек, пленниц, обреченных терпеть предписанное лечение и тупо дрыхнуть часами напролет.

— С соседками ладишь? Не слишком донимают расспросами?

— Будь уверен, не успеешь ты уйти, как у тебя начнут гореть уши. Вот эта дама рядом, как видишь, мать семейства, она же бабушка, тетя, свекровь... Около

ее кровати всегда набивается целый табор — не протолкнешься. Она слишком рано начала ходить, у нее неправильно срослась кость, и пришлось вставлять штифт. Да что там, мало ли кто по какой статье лежит?

— Ну, и что ты им рассказываешь?

— Толкаю целую телегу: дескать, была у сестры, играла с собакой, та рванула вниз по лестнице, на террасу — я придерживаюсь интерьера Пьеровой хибары,— а я, чтобы обогнать ее, выскочила из окна: «И главное, мадам, я ведь прыгала так каждый день — и хоть бы что!..»

Должно быть, я и в операционной выдала ту же басню — на обходе ассистент сказал: «Вот каково играть с собаками!»

— Кроме вас с Нини,— продолжала я,— меня никто не навещает, разве что заглянет кто-нибудь из персонала. Есть тут один молоденький медбрат...

Жюльен легонько дернулся, зрачки его потемнели.

— ...так вот, он обещал принести «кодак». Щелкнуть пару снимков на память, неплохо, правда?

— Ты в своем уме? Забыла, что твои портреты развешаны по всем полицейским участкам? Как маленькая, честное слово! И думать не смей, найди себе другую забаву.

Я обещала, но затаила обиду: лучше бы Жюльен завелся из-за фотографа, а не из-за фотографий... Подумаешь, фотографии!

— Я могла бы потом забрать у него негативы, если это, по-твоему, так важно.

— Знаешь, что бывает за укрывательство преступника? — вполголоса продолжал Жюльен.— Нини с Пьером, конечно, зануды, но они как-никак рискуют ради тебя, и ты должна помнить об этом все время, особенно когда раскрываешь рот.

Сколько можно меня воспитывать! Я не выдерживаю:

— Ладно, не учи ученую... Скажи лучше, кто ты такой?

— Что-что?

— Ну, кто ты мне: брат, сват или кто? Что мне говорить?

Жюльен просветлел, взял в ладони мое лицо, и мы долго-долго смотрели друг на друга, улыбаясь глазами. Жюльен наклонился... Поцеловал... Боже, как хорошо... О Святой Термометр, позволь сегодня моему гостю остаться здесь, около меня.

Отстранившись, Жюльен произносит с шутливой торжественностью, глядя мне прямо в глаза:

— Ты моя невеста!

Так я и говорю соседкам. Мадам Штифт и мадам Зеркальце поздравляют меня, умиляются нашей молодости.

— Вы чудесная пара...

— Представляю, какие будут детишки: кудрявые, в маму, и с отцовскими глазами... У вас такие красивые волосы!

— Прекрасная партия! Такой обаятельный, такой порядочный молодой человек!

— Он служит?

О да! У него очень хорошее место, приличный заработок. Чтобы оправдать редкие визиты моего жениха, я отправляю его в деловые поездки. И тут же прошу у мадам Штифт ножик разре́зать ленточку на коробке с пирожными, которую Жюльен оставил на тумбочке. Поскорее заткнуть кумушкам рты кремом!

Глава VI

Если не считать разносчиков газет и теплых рогаликов, которые проходят по палатам с утра, то весь день, до появления посетителей, мы видим только медиков разных рангов.

Помощник профессора со свитой практикантов делает обход каждый день, но что такое помощник — для нас он пустое место. Мы признаем только самого Бога Отца, того, кто освятил своим именем клинику, оживил нас своими руками или руками своих учеников, начертал своей божественной десницей план операции для каждой. Он изучил по рентгеновским снимкам, проникая взглядом буквально до мозга костей, нашу плоть, пока мы, не подозревая об этом исследовании,

бессильно лежали на кроватях; он один волен решать, отмерять, отрезать и приживлять, мы на эту кухню не допущены. Мы больше не хозяева своему телу, настанет срок — вернут целехоньким — о благодатная резвость! — но тайны этой метаморфозы мы никогда не узнаем.

Бог Отец обходит палаты два-три раза в неделю. В эти дни санитарка передвигает под кроватями наши баулы, выгребает скопившийся мусор и с особым, демонстративным тщанием промывает судна, укоризненно цыкая на нас. До конца обхода о судне и мечтать не приходится. Мы терпим, сжимая сфинктеры из последних сил; разглаживаем каждую складочку по краям простынок, подкрашиваем глаза и губы. Любовь к Нему объединяет нас, мы все стараемся принять позу поизящнее, достаем из тумбочек рукоделие или книжку в надежде привлечь его внимание: вдруг он соблаговолит заметить, кроме перелома, саму женщину, умеющую что-то делать, думать, вдруг хоть на миг оторвется от рентгеновских снимков и посмотрит ей в лицо, а то одарит улыбкой или словечком — тогда на смену болезни и неизвестности придут здоровье и уверенность.

Идет Главный: все бледнеют и краснеют; руки и ноги, больные и здоровые, в нейлоновых чулках и гипсовых панцирях — все замирает и раболепно ждет. Старшая сестра задвигает в угол тележку, проверяет, не дымит ли где-нибудь на тумбочке окурок, и занимает пост у ящика с рентгенограммами.

Это большой белый сундук на колесиках, с массивной крышкой, где лежат наши истории болезни. Старшая выуживает все шесть «паспортов» и развешивает по спинкам кроватей. По уходе Главного она опять сгребет их в сундук.

Лично я не знаю даже своей группы крови и была бы не прочь заглянуть в свою историю. Но как? Конверт совсем рядом, но старшая не выходит из палаты, карауля, когда появится в коридоре профессорская свита, и одновременно следя за каждым нашим движением. Сундук не закрывается на ключ, ведь мы все лежачие... Разве что подговорить кого-нибудь из посетителей? Подумаешь: ну, застукают меня, большое дело — поинтересоваться собственной историей болезни! Решено: улучу момент, когда Главный задержится у кровати напротив, отвлечет на себя общее внимание, тут-то я, пользуясь тем, что на меня никто не смотрит, и согрешу; успею перелистать и положить на место. Правда, я почти уверена, что все у меня — кардиограмма, анализы, снимки легких — было в полном порядке, как же иначе?

— У меня болит вот тут...

— У меня шалят нервы (или бессонница, или запор, или еще что-нибудь...)

— Доктор, посмотрите, это у меня не пролежень?

...Что бы вас ни беспокоило и ни пугало, у Эскулапа на все один ответ:

— Ну, это нормально!

Пусть мне кажется, будто кровать подо мною ходит ходуном или проваливается, пусть меня скрючило, мутит после еды, в горле ком и пальцы больной ноги торчат из гипса, как бледные сосиски,— все это нормально. Впрочем, неважно, нормально или нет, все фокусы моего злосчастного организма я готова сносить с покорностью и, пожалуй, даже с интересом.

Мне очень хотелось бы знать, как ухитрились сохранить мое копыто, уже приговоренное к усекновению, что за штуковину мне воткнули: пластик или железку, и не зашили ли в сустав какой-нибудь инструмент — может, это он по временам так жутко колет, пронзая меня сокрушительной болью. Каждая инъекция антибиотика напоминает о прививке БЦЖ — ничего больнее в детстве я не знала,— только во сто крат хуже, или о том, как в тюрьме я впрыскивала себе бензин, чтобы выйти из строя. «Если не получится,— говорила я Роланде,— подложу ногу под доску и грохну табуретом...»

Но все равно я довольна.

Иногда кто-нибудь из больных рискует обратиться к Царю и Богу:

— Профессор... месье...

Он не слышит. Только кто-нибудь из его присных сходит с орбиты и пресекает любопытство ничего не значащей и ровным счетом ничего не проясняющей, но оптимистичной фразой:

— Скоро ли вы начнете ходить? Ну, конечно, очень скоро. Потерпите немножко. Что вам сделали? О, все сделано прекрасно. Красивейшая операция, не правда ли, коллеги?

— О да,— хором подтверждает вся свита.

Я этим восторженным эпитетам не доверяю: чем прекраснее все обстоит, на взгляд медиков, тем серьезнее было и есть ваше положение. Профессионального подхода нам явно не хватает.

Не слишком ли долго Главный задерживается у моей кровати? Перебирает снимки, поворачивается к окну, чтобы посмотреть их на свет, и тут же белые халаты обступают его и отгораживают от меня; он что-то объясняет, но говорит так быстро, так тихо и так невразумительно, что я не могу выловить из потока непонятных слов свою ногу и теряюсь в отчаянии. Я тихо злюсь, обзываю его про себя пижоном; не может быть, чтобы прямо из операционной он явился в таких свеженьких перчатках и халате без единого пятнышка. Отрывистая речь, скупая улыбка — вылитый хирург из книжки.

Но однажды он со мной заговорил: я уже десять дней лежала на вытяжении: пятка проткнута спицей и укреплена под дугой с помощью блока и веревки с десятикилограммовой гирей на конце. С заправленной в железный каркас нижней половиной тела и опрокинутой верхней — изножие кровати приподняли — я застыла в позе канкана вверх ногами. Каково это мне, привыкшей спать на животе... Соседки утешали: вытяжение, конечно, штука неприятная, но по сравнению с операцией — пустяки, вам повезло, вставили спицу, значит, оперировать не будут. А я бы, пожалуй, предпочла операцию. Мне изрядно осточертело раздираться на дыбе. И вот на десятый день этой муки Главный обратил на меня свой взор.

— Сколько вам лет? — неожиданно спросил он, постучав по спинке кровати моим последним рентгеновским снимком.

Впрочем, мой ответ он пропустил мимо ушей и, оставив меня в полной растерянности, двинулся дальше вместе со своим роем.

— Пришлите мне родителей этой девочки,— бросил он старшей сестре, записывавшей все его распоряжения.

Когда пришла «сестрица» Нини, я накинулась на нее: надо было назваться моей матерью... ничего, по возрасту сошло бы... а так — где теперь взять родителей... Нини дала мне для успокоения банку клубники со сливками и, пока я поедала ягоды, отправилась на переговоры. Вернулась она сияющая.

— Все в порядке. Я дала письменное согласие, и вам все сделают, как только будут готовы анализы.

— Что сделают? — я почти кричала.

— Ваша... то есть твоя нога не срастается, мешают осколки, что ли... ну, в подробности старшая сестра не вдавалась, словом, на днях тебе сделают операцию.

Всю следующую неделю я принимала в постели визитеров: рентгенолога, кардиолога, лаборанток с пробирками,— поскольку перевозить мою кровать со всей упряжью было никак невозможно. Я послушно мочилась куда велели, голодала по утрам до их прихода — лишь бы не сорвалась операция.

Наконец на шестнадцатый день висения на вертеле меня с утра накачали нембуталом, и в полусонном состоянии я дожидалась, пока меня возьмут под нож. Теперь я уже знала, что делать, чтобы не отключиться до самого начала операции: надо дать сознанию постепенно гаснуть, гаснуть, но оставить теплиться маленький огонек, не думать, а просто медленно перелистывать в уме наплывающие цветные картинки, прикрыть глаза, ни на чем не сосредоточиваясь, ни во что не вникая. Утреннее копошенье в палате шло своим ходом, но доносилось до меня как бы издалека: скрипят тележки, звякают судна, снуют белые шапочки сестер, шесть сортов одеколона сливаются в размытый, отдающий мочой и лекарствами аромат.

Накануне мне удалили спицу, вымазали всю ногу чем-то желтым и увернули в упругий белый кокон. Помня наставления сестры (никакой косметики и сотрите лак с ногтей), я только чуточку подкрасилась — даже если умру, пред очи Господа Бога надо явиться в полной форме.

В десять часов санитары переложили меня на каталку, старшая сестра укрыла одеялом и подложила по белоснежной подушке под голову и под ногу, и вот, наконец, посылая кончиками пальцев прощальные поцелуи направо и налево, я поехала, точно королева в паланкине.

Длинными, гнетуще-безмолвными коридорами меня довезли до предопераци-

онной. Тут старшая сестра склонилась — ее лицо вдруг возникло передо мной крупным планом, и я успела заметить, как подобрели ее глаза за стеклами очков,— звучно чмокнула меня в щеку, сказала: «До скорого, деточка!» — и исчезла.

Я осталась одна в затопленном маревом белизны помещении. На краю каталки, у сдвинутых и вытянутых, как у покойницы в гробу, ног, лежала моя история болезни, но до нее было не дотянуться: край каталки — что край света; впрочем, эти бумажки мне теперь не нужны и даром; какая разница — я ведь мертвая: мертвые руки вытянуты вдоль мертвого тела; живая только стена: дышит и колеблется.

Блаженное забытье было прервано появлением ординатора, он замаячил в пустоте огромной гулкой тенью, извергающей громы слов и клубы дыма. Я прекрасно знала, что на самом деле он говорил бархатным голосом и покуривал свою любимую «голуаз», но в моем теперешнем восприятии все масштабы сместились.

— Ну что, детка,— проревел ординатор,— как самочувствие? В сон не клонит?

Я хотела ответить «нет», попыталась взглянуть на него осмысленным взглядом.

Но тут анестезиолог нажал на поршень шприца с пентоталом, и я умерла, оставив одну застывшую руку в резиновой лапе ординатора, а другую — на столике анестезиолога. Умерла под приятное стрекотание в висках, так и не дождавшись появления самого Бога.

Вознесение в операционный блок мне пришлось пережить трижды: после удаления раздробленной косточки осталось пустое место, которое никак не зарастало, так что мне продели еще две спицы, одну сквозь пятку, другую сквозь щиколотку, а четыре торчащих из гипса петли согнули клещами и стянули пластырем. Однажды, когда у старшей был выходной и ее заменяла другая сестра, я наконец добралась до своей истории болезни, приготовленной к обходу сразу после завтрака, и списала отчеты об операциях. Ну и словечки тут попадались: резекция, абразия, астрагалэктомия, артродез...

Жюльен бывал у меня нерегулярно, когда мог. Наступило лето, и он таскал фрукты и бутылки воды, бегал за мороженым для меня и моих соседок. Я возлежала на груде подушек и смотрела: белокурый пай-мальчик, широко улыбаясь, несет в растопыренных пальцах с полдюжины рожков мороженого. Вся палата у него в невестах — кроме меня. А вид у нас самый невинный и трогательный, держимся за руки и воркуем.

— Скорее бы ты возвращалась... Когда тебя увезли в больницу, я остался ночевать у Пьера и спал в твоей постели. Только вошел в комнату и сразу увидел тебя, вдохнул твой запах, ты еще была там...

Я прижималась к его плечу, пачкая крем-пудрой рубашку — пиджак он снял и повесил на дугу; чем меньше одежек, тем острее мы вспоминаем, узнаем друг друга... Каждое свидание — бездна надежды и безнадежности, нет для нас места на земле; наша участь — скитания, тюрьмы, и так всю жизнь, и всю жизнь одиночество.

— Скорей бы ты возвращалась...

— Но я не хочу на старое место!

— Придется... Пока не снимут гипс... Не забудь, что Нини — твоя сестра... Потом уж я подыщу что-нибудь другое... может, в Париже. Постарайся хоть примерно узнать, когда тебя выпишут.

— Кстати, Жюльен, ты узнал про «артродез»?

В прошлый раз я дала ему мои выписки и поручила их расшифровать.

— Да, это значит «фиксация». Нога не будет разгибаться.

«Могут отнять ногу», «Пришлите ее родителей», а теперь вот еще «фиксация». Черные капли заляпали белое плечо; чем больше я плакала, тем больше тушь разъедала глаза, а чем сильнее щипало, тем сильнее я плакала — чертова тушь! Мне больше никогда не подняться на цыпочки, прощайте, высокие каблуки. Я стану хромоножкой, а ты превратишься в костыль калеки, которая никогда не станет такой, как ты, верно, ждал и даже как была раньше... Будущее пошатнулось; похоже, теперь конец моей разудалой бесшабашности. А как я покажусь Роланде? Эх, Роланда!..

Мрачные мысли захлестнули меня, и, пока не истекло время посещений, я так

и просидела, уткнувшись в плечо Жюльена и тупо хлюпая носом. Жюльен баюкал, утешал меня, подтрунивал над моим горем. На свете тьма хирургов, дай время — найдем тебе самых классных... Глупышка, будешь скакать резвее прежнего.

На другой день я спросила врача, можно ли мне выписаться.

Он просмотрел мои контрольные снимки, откинул одеяло, согнул ногу в колене, ощупал пальцы — теперь они были нормального цвета и толщины, но все еще не слушались.

Врач был похож на какого-то зверя, переряженного мясником: из-под расстегнутого ворота рубахи выбивалась мохнатая шерсть, об ноги бился длинный фартук. Взглянув на меня, потом на бутылку «Монбазийака» на тумбочке, он улыбнулся:

— Вам тут не нравится? Неужели мама разрешает вам пить коньяк?

И прибавил:

— Думаю, вас вполне можно выписывать. Надо спросить у Главного, но, по-моему, можно... А снимать гипс придете на прием.

— И... я могу уйти... прямо сейчас?

— Вот этого я не знаю.

Скоро должен прийти Жюльен, он бы сразу меня и забрал... Я стала уламывать старшую сестру. Все знают, что сама она ничего не решает, не согласовав и не подписав у руководства, но перед нами любит разыгрывать важную персону.

В одиннадцать, протягивая мне тарелку с завтраком, она дает позволение:

— Я оформила вас на выписку, вечером можете отправляться. Заказать перевозку или вас заберут?

— Нет-нет, за мной заедут.

Пришла санитарка, собрала тарелки, поставила их на сервировочный столик посреди палаты, стряхнула в ведро объедки, протерла тряпкой пластиковый стол, голубой, как стены, как июнь в квадрате окна. Жаркие дремотные волны лились через подоконник, раскаляя его до потного блеска. Покидаю этот душный рай, кровать на солнцепеке, бегу на волю, выписываюсь из больницы.

Накануне приходил легавый, искал «несовершеннолетнюю с дорожной травмой». Он направился прямехонько к моей кровати, так что меня бросило в пот и чуть не отнялся язык, но не успела я досказать свою басню про собаку и окно, как он отошел. Потом я узнала, что девчонка, которую он искал, лежала в соседней палате: попала в аварию на мопеде и повредила коленный сустав. А я-то струсила! Нет, Жюльен прав: сестренку, вроде меня, которую каждый норовит засыпать вопросами — кто из сочувствия, кто из любопытства,— лучше уж держать при себе.

Так и слышу Пьера: «Да эта соплячка заложит нас всех за милую душу». Ладно-ладно, я возвращаюсь. Но на этот раз фокус не пройдет, теперь у меня есть формальный аттестат — астрагалэктомия и Жюльен, мой Жюльен, перед которым вы, за его бабки, готовы ходить на задних лапках... если что, заставит вас прикусить ваши ядовитые языки, а там уж я и сама себя в обиду не дам.

— Берешь меня?

Куда — понятно само собой, я научилась не произносить вслух ничего лишнего. Тюрьма, полиция, дело — если поначалу словечки вроде этих срывались у меня при Жюльене хотя бы шепотом, они звенели, будто оплеухи в провалах тишины, так что вся палата — пациентки и их гости — настораживалась и возмущенно оборачивалась в мою сторону. Миг — и все взлетит на воздух: меня опознают, схватят, линчуют... Однако ничего страшного не происходило, мне только показалось, никто не услышал, никто не шевельнулся. Никто, не считая Жюльена: его-то зацепило, по лицу пробежала судорога, скользнула тень, эх, Анна, опять оплошала... Что мне делать, чтобы угодить Жюльену? Как увязать то, что я вижу, с тем, что знаю о нем? Я привязалась к вору — буквально: привязана за ногу,— и все в его жизни для меня ново и странно... Жюльен — взломщик? Ничего не попишешь: монеты за мое исцеление добыты в опасных ночных набегах. Если нет страховки, каждый день в клинике обходится что-нибудь около десяти тысяч, да еще плата Пьеру, разные покупки... В общем, золотая нога. И все-таки я не млею от благодарности, потому что знаю, что и сама сочла бы своим долгом сделать то же самое, если бы холодной весенней ночью фары моей машины высветили на дороге человека, которому нужно было помочь вырваться на волю.

«Будь на твоем месте уродина или старуха, я бы все равно поступил так же...»

Знаю, милый, конечно. И это было бы куда благороднее. Но что делать, если меня угораздило в тебя влюбиться и если вдобавок такая же беда стряслась с тобой, неужели, по-твоему, надо ради надуманных дурацких принципов все испортить, от всего отказаться... Но это же чушь! Мы молоды, будем же по-братски нежны друг с другом и забудем, если хочешь, все, что было раньше.

— Эх, если бы не твой гипс,— стонал Жюльен.

Значит, решено: ты меня берешь.

...И снова мы у Пьера, то есть у себя, в нашей комнате. Я сижу на полу, Жюльен — на краю кровати. Мы не прикасаемся друг к другу, Жюльен только перебирает кончиками пальцев мои волосы. Страшно жарко. Мы лениво перебрасываемся словами, ведем сначала легкий и приятный разговор: о книгах, о кругосветных путешествиях, не выходя из камеры; потом о вещах более тягостных: об одиноких скитаниях, тщетных поисках... Я отреклась от себя прежней, умерла; в ту ночь, под черными кронами, я умерла и начала счет новой жизни, от прошлого осталось только розыскное дело... Фотографии, отпечатки пальцев — разве они живые? А это все, что уцелело, но... черт возьми, уцелело, и никуда не исчезнет. А теперь еще это несчастное копыто...

— Пока я на костылях, я могу показываться где угодно. А потом можно будет приделать фальшивый, съемный гипс.

— Ага, а для большей конспирации надо было бы, чтобы ногу тебе оттяпали, а мы бы вместо нее прицепили на кнопках чулок с тряпьем. Впрочем, чулок можно напялить и сейчас, прямо на гипс.

Я со скромной гордостью посмотрела на загипсованную ногу: она и правда недурна, гуашево-розовая, совсем новенькая, со свежим пластырем на спицах.

— Ну, уж во всяком случае, это лучше, чем было раньше.

От табака сохло во рту, но мы продолжали курить — просто по привычке. В качестве пепельницы Нини выдала нам плоскую стеклянную тарелочку из бара, и она быстро переполнилась.

— Постой, не стряхивай пепел на пол, а то завтра она опять будет нудить. Вот подходящая посудина.

Жюльен вытащил из-под умывальника биде на железных ножках. Туда мы и бросали пепел и окурки, все равно мы уже мылись, и теперь у нас уйма времени, жаркого, густого, стекающего по капле, по минуте, тихо, неспешно, под шелестящий шепот.

Глава VII

Запакованная нога тихо подживала, обещая стать во сто раз здоровее другой, по отношению к которой никогда не проявлялось столько заботливости. Я взяла у Нини вязальные спицы, я изводила по литру одеколона в неделю, таскала с кухни ножи — и все для нее. Внутри, под гипсом, страшно зудело. Я засовывала туда нож и чесала, а потом заливала спереди и сзади «Шипр» или «Лаванду». Пьер морщился: «Снова вы надушились!»

Разделавшись с завтраком, я обычно выбиралась на костылях наружу и устраивалась перед домом или за ним. Пьер уходил «ишачить», Нини занималась хозяйством, а я скидывала пеньюар и ложилась голышом, с закрытыми глазами, на солнышке. Пот стекал на траву, гипс плавился, давил ногу — и тогда я ковыляла в домашнюю прачечную, залезала в бассейн для стирки и погружалась в него, держа загипсованную ногу на бортике. Хочешь не хочешь, а приходилось сидеть враскоряку и следить, чтобы ни одна капля не затекла внутрь: спицы входили прямо в кость, не дай Бог, начнется заражение. Мыть пальцы тоже было нелегким делом: они ныли от малейшего прикосновения. Однажды утром я отодрала приклеенный вокруг спицы пластырь, заглянула под него и увидела металлический стержень, торчащий в багровой, шелушащейся, вздутой коже. Подергав, я расшатала спицу с одной стороны, с другой же она держалась, как влитая. Каково будет ее вытаскивать, подумала я и чуть не разревелась. Когда же все это кончится!

И не только мне так не терпелось. Нетерпение выражали и все остальные,

одни хотели, чтобы я поскорее начала ходить, другие — чтобы поскорее убралась восвояси, Пьер — тот был не прочь подбить меня на маленькую авантюру. Зачем, мол, дожидаться Жюльена?

— Ладно, сейчас вы должны быть недалеко от больницы — это ясно. Ну, а потом? Что вы собираетесь делать?

Пьер задумчиво растягивал свою гармошку — взгляд на меня, взгляд в самоучитель, арпеджио, музыкальная фраза. Он сидел в одних шортах, с пояса свисала засаленная подтяжка. На мне тоже только шорты и лифчик — в такую жару позволительно.

— Как — что? Начну ходить, а там уж разберусь.

— Ага. Пока что вы не ходите. Ладно... Жюльен, наверно, говорил вам, вы ведь знаете, что ради вас он рискует не на шутку. И все это обходится ему в копеечку...

— Не беспокойтесь, мы с Жюльеном сочтемся, это наши с ним проблемы.

— Ах, ваши проблемы! Вот как?

Пьер наяривал гаммы вовсю, пальцы его бегали по клавиатуре вверх и вниз — проворные, изящные, искусные пальцы, совсем не подходившие к студенистой, трясущейся от злости туше и перекошенной роже.

— Вы что, не видите, что ваш Жюльен не является уже десять дней? — взорвался он.

— У него работа!.. Да и незачем ему светиться и бывать здесь слишком часто, с его-то делами.

— Те-те-те!.. Гладко излагаете! Ну, а что, если его накрыли и он вообще больше не вернется? Это вам не приходило в голову?

Ой, приходило, Пьер, еще как приходило! Я только об этом и думаю. Каждый час, каждый миг думаю о Жюльене, ночами не сплю — все прислушиваюсь, будто заклинаю темную силу, подстерегающую беду... береги себя, Жюльен!..

— Жюльен всегда в конце концов возвращается,— говорю я, пристально глядя на тлеющую сигарету.

— Ну да, помню, как-то мы ждали его к обеду, а он задержался на два года.

— Ничего, на этот раз ему помогут. Я его не оставлю. Сначала, конечно, рассчитаюсь с вами. Но Жюльен платит за несколько дней вперед, так что долг небольшой, еще рано меня теребить. Я же размазня!

(Сам говорил!)

— Да бросьте вы! Положим, вы встанете на ноги — чудесно. Но вы же не захотите каждый день ходить на панель, как я — на свой завод. А вечером разбираться с клиентами, легавыми...

— ... и котами,— добавляю я в ответ на нарочито безразличный взгляд, который Пьер устремляет на мою грудь,— вижу, вижу, к чему он клонит. Когда его забегаловка была открыта, четыре комнаты на втором этаже сдавались, уж наверняка, не только туристам.

Нетрудно представить: вот Нини меняет ветхие салфетки, делает вид, что ищет сдачу в кармашке передника — о, благодарю, месье-мадам.

А Пьер за стойкой; в дни получки, когда каждый забежит в бар пропустить рюмочку, он сможет снабжать меня клиентами бесперебойно.

— Не забудьте, мои псы посторонних не впустят, без моего разрешения в дом никто не войдет. Хватит того, что пришлось назвать наш адрес в больнице... Надеюсь, больше вы его никому не давали?

— Я же сказала, что не собираюсь возобновлять никаких знакомств.

— Смотря какие знакомства... Я имею в виду кого-нибудь из больных, из персонала, мало ли...

Теперь моя очередь позлить его.

— Адрес был написан черным по белому на моем температурном листе, который висел на спинке кровати. Кто хотел, мог его записать, я ни при чем. Но все равно почту получает Нини, если что — пусть отошлет письмо назад.

Мне стоило больших усилий не прыснуть со смеху. Знали бы они, что я запустила лапу в их милый бардачок.

По воскресеньям Пьер с Нини уезжали на целый день, вместе с мальчишкой, а мамашу оставляли на меня. Они купили где-то загородный дом, чтобы провести в нем остаток дней, и теперь торопились все покрасить, обставить, огородить, загнать свой дансинг и перебраться туда окончательно.

В субботу вечером Нини готовит еду нам с мамашей — просто-напросто варит картошку и яйца, чистить я должна сама. «Проголодаетесь —в шкафу есть консервы». А в воскресенье рано-рано утром, когда первые солнечные лучи пробиваются сквозь ставни и я, оставив надежду дождаться Жюльена, собираюсь заснуть, она заглядывает ко мне в комнату:

— Мы уходим. Пожалуйста, никого не впускайте и не подходите к телефону. Пока, до вечера!

И уходит, прихватив ключи от комнат.

А я, пообещав не открывать и не брать телефонную трубку, засыпаю и сплю, пока не подходит время поить мамашу кофе. Ну, этой вообще только бы поспать да поесть!.. Целыми днями она просиживает на кухне, безмолвно и неподвижно сложив перед собой землистые, как у покойника, руки, оживляясь лишь при виде тарелок с горячей пищей, на которую она набрасывается как голодный зверь и сжирает, торопливо и неряшливо. Посидишь денек в такой компании — немудрено и спятить.

Единственное, что Нини не могла запереть, это дверцу холодильника, огромного, ресторанного, в котором поместились бы бычьи туши. В нем хранились бутылки. За спиной у мамаши я намешивала себе самые немыслимые коктейли. Труднее всего было унести стакан: руки заняты костылями. Приходилось ставить его на пол и подталкивать ногами метр за метром до самой террасы. Там, раздевшись догола, не считая гипса, я растягивалась на полу и потихоньку пропитывалась спиртом и солнцем.

К возвращению хозяев я успевала искупаться в прачечной, почистить зубы и встречала их свеженькая, трезвая и умирающая от жажды:

— Во рту пересохло — жарища дикая!

Пьер подбивал меня на надомную работу, а я, между тем, тайком попивала виски, припрятанное именно для таких интимных приемов.

— Мне-то что,— говорю я,— но что скажет Жюльен, если узнает, что стал котом.

— Ну, заладила: кот да кот... Это ведь все слова. А Жюльен будет только рад, он не любит оставаться в долгу... И потом, если я не ошибаюсь, вы с ним не женаты?

Деньги я буду зарабатывать, чтобы погасить долг, и только, иначе он, Пьер, и не взял бы их, а что касается Жюльена, если уж я вправду считаю его мужем, ему можно представить дело так, что он ни о чем не догадается.

— Что-что, а пудрить мозги женщины умеют!

Итак, приличия не пострадают: Пьер забирает то, что ему причитается. Жюльен знать ничего не знает, а я тружусь для пользы дела, в этом греха никакого нет.

Но мне на приличия наплевать, и я все рассказываю Жюльену.

И даже немного сгущаю краски.

— Дорого мне обходятся эти разговоры с Пьером, еще неизвестно, кто у кого в долгу...

Жюльен явился среди ночи. В прошлый раз Нини пришлось вскочить с постели и открывать ему, а утром, в одиннадцать часов, притащив нам поднос с завтраком, она раздраженно проворчала:

— Больше этот номер не пройдет, хватит с меня! Звоните сколько влезет, хоть до посинения... Я вам не прислуга! Без записки, без звонка, в два часа ночи заваливаться! Нет уж, извините, ровно в одиннадцать я запираю ворота и спускаю собаку — у нас так и было заведено, пока мы держали гостиницу.

Что ж, на этот раз Жюльен перелез через забор, приласкал пса и влез в окно первого этажа. Обычно я не запираю двери. Только если вечером у меня нервы на пределе и я злюсь, что сменила одну тюрьму на другую, я запираюсь на два поворота ключа — все-таки приятнее думать, что дверь своей камеры я закрываю сама. Если же вечер заканчивается вкусным ужином, желудки дружно перевариваают пищу, приправленную мирными звуками — посуда в руках Нини, шарманка Пьера,— вся компания размякает в сонном умиротворении, дверь остается приоткрытой: пусть хозяева, проходя ночью в туалет, заметят эту деликатную щелку, знак доверия. Но однажды утром я получила от Нини замечание: если дверь закрыта неплотно, отвисают петли, а кто будет платить за ремонт, уж не вы ли?

Что ж, я стала плотно закрывать дверь и в добрые вечера.

Жюльен вошел совершенно бесшумно, так что если бы я спала, то даже не проснулась бы. Но я не спала. Я никогда не сплю. Во всяком случае, я чувствую себя даже слишком бодрой, когда Жюльен приходит, ложится и тут же отключается. Я бы и рада быть такой же усталой и уснуть рядом с ним, а не тормошить его, не приставать к нему, сонному.

— Прости, котенок,— говорит он,— я сегодня еле живой...

Я сердито отползаю на самый край кровати и притворяюсь спящей — хоть бы и правда заснуть!.. Отчего я так хочу его, только его? Конечно, он облегчает мою боль, развеивает скуку, он моя радость, но... Если бы я могла двигаться, если бы рядом был еще кто-нибудь, выбрала бы я его или нет?

В эту ночь Жюльен был в форме.

— То-то Нини утром скроит рожу! Хочется пить, схожу-ка я на кухню. Тебе чего-нибудь принести?

— Угу. Стакан воды. На четыре пятых разведенной «рикаром».

Текут часы. Мы лежим не шевелясь, нагие, в испарине, вдыхая проникающий сквозь ставни прохладный воздух.

— У меня здесь есть рубашки? — вдруг спрашивает Жюльен.

— Да, я перестирала и перегладила целый мешок твоего барахла. Нини сказала, что раз я называюсь твоей женой, то должна заботиться о твоем белье.

— Нет, серьезно? Она заставила тебя ишачить? С твоей ногой?

— Ну, не ногами же я стираю. Ничего, я даже повеселилась. После стирки развесила белье в окне, а Нини стала разоряться: соседи, мол, догадаются, что у них кто-то живет, что это мне не зона и т. д. А я, что ни день, что-нибудь новенькое изобрету. Извожу их, как могу. Вчера раковину засорила, перепачкала простыни — в общем, пакощу по мелочам. Будем квиты. Слинять бы отсюда, а, Жюльен?

Но, оказывается, на Жюльена свалились новые заботы, объявился еще один тип в бегах, живет сейчас у матушки, и ему нужна крыша. Жюльен хотел пристроить его здесь. Для него и рубашки.

— Да они из-за меня уже на стенку лезут...

— Э, знала бы ты, сколько народу я им подкидывал! Они всегда так: повопят-повопят, но жадность сильнее, и в конце концов соглашаются.

— А что за женщин ты сюда водишь?

— Ага, уже наболтали... Да это все так, я их никогда и не помню... Какая разница, Анна, пойми, для меня есть только ты. Не верь никому и ничему, ты одна-единственная.

Больше я не спрашивала. Сегодня, сейчас на месте тех женщин лежу я, и эта ночь принадлежит мне одной. Может, они клянчили, скандалили, приказывали, но все ушло вместе с ними: подачки, уступки, покорность —все сгинуло, сегодня есть только я... А завтра... зачем думать? Завтра еще не наступило.

— Так вот,— продолжал Жюльен,— если я их уломаю, то сразу звоню домой —малый только и ждет сигнала, чтобы засвидетельствовать свое почтение и отрекомендоваться.

— Значит, ты останешься! Красота!

Пусть наступает завтра — теперь не страшно, я знаю, что будет. Жюльен с озабоченным видом сядет у телефона и станет что-то сосредоточенно обдумывать, и мне до него не достучаться, сколько ни порхай вокруг него на своих костылях. Я вроде гитары, которую, рассеянно тронув разок-другой, откладывают в сторону. Не могу же я мешать Жюльену думать, о чем он пожелает, и взваливать на себя уйму обязанностей и бескорыстных услуг, раз ему так хочется...

Пьер усмехается:

— Что, нынче опять день Жюльена-Заступника?

Жюльен твердит о солидарности. Пьер в ответ острит (надо признать, довольно удачно), и так часами. Каждый из них прав по-своему, да они и не пытаются переспорить друг друга, просто выкладывают, что думают. Мы с Нини, женщины, слушаем молча, она — не отходя от плиты, я — не выпуская сигареты.

Веселый будет обед! Да еще этот малый, как там его...

— Как зовут твоего приятеля?

— Он называет себя Педро, и это ему подходит. Но сейчас к нему надо обращаться «господин аббат».

— Это еще почему?

— На него идет охота, его обложили со всех сторон, вот он и вырядился попом — тем более что у него врожденные дурные наклонности, в частности к религии.

Вечером с нами за столом сидит молодой священник в новенькой, с иголочки, сутане. Педро. Знакомясь со мной, он сказал:

— Так это вы — Анна! Очень рад... Жюльен столько рассказывал о вас и о вашей... беде. Как ваша нога?

— Добрый день, отец мой. Благодарю вас, мне лучше.

Я отвечала довольно сухо: мне не улыбалось устраивать тут клуб беглецов на пару с этим Педро. Маслянистые глазки, вкрадчивая манера говорить — он весь напоминал глянцевый каштан. Тело, насколько позволяла судить широкая сутана, было довольно мускулистым, ладным, в нем угадывалась та же латинская гибкость, что и в голосе и жестах. Педро выдавал себя за приезжего «профессионала» с юга и разыгрывал этакого рубаху-парня: говорил много, бурно, перемежая речь многозначительными паузами. Но в его обращении сквозила нарочитость, а в голосе недоставало естественной, живой интонации.

Он всячески старался подать себя, но подавать, по-моему, было нечего, все как на ладони: красавчик, болтун, юбочник. Без маскарадной сутаны, в нормальной одежде, он все равно обращал бы на себя внимание: его внешность казалась мастерски наведенным гримом, даже щетинистые усики словно были приживлены искусственно.

Ему отвели комнату по соседству со мной. Наверх мы пошли все втроем, и Жюльен с Педро обсуждали что-то, все говорили и говорили, застряв на лестничной площадке, вместо того чтобы пожелать друг другу спокойной ночи и разойтись; поскольку мое участие в беседе ограничивалось междометиями и улыбками, то я пошла в спальню и стала раздеваться.

Ради Жюльена надо было понравиться Педро, и я старалась быть красивой, остроумной, кокетливой... заставить его забыть, что он видел и знал обо мне, стереть представление о немощной хромуше на костылях, малолетке... впрочем, похоже, он и сам не намного старше: года 24—25. Еще зеленый. Единственное его преимущество передо мной в том, что он мог ходить. Мог, но зачем-то цеплялся за Жюльена — ишь, пристроился, тащи его!

Я влезла в постель: придет Жюльен, я уступлю ему согретое местечко, а сама откачусь на холодную простыню. Беру книжку, поправляю на себе поношенную ночную рубашку.

Но вместе с Жюльеном заходит Педро и рассыпается в извинениях:

— Только два слова, Анна, и я оставлю вас...

Они стоят перед зеркальным шкафом и говорят невнятной скороговоркой, как на прогулке в тюремном дворе. Тарахтят взахлеб... ну, и долго вы еще будете торчать тут, около моей постели? Я усердно перелистываю страницы, внутри все кипит, они никак не наговорятся!

А все этот смазливый «аббат», прощелыга чертов!

Однако на другое утро мы с Педро засиделись за кофе. Мы поведали друг другу о том, что отреклись от своих приличных семей и пренебрегли приличным образованием, но, поскольку больше похвастаться было нечем и нельзя, не нарушив запрета, а блеснуть хотелось, то мы пустили в ход светские таланты. Улыбки, цитаты, тонкие намеки... Сутану Педро снял, теперь на нем были шорты с футболкой и теннисные туфли; перед завтраком он как следует размялся — домушник должен быть гибким,— проделал комплекс шведской гимнастики, с фырканьем и уханьем, а затем обливания и обтирания из котла в прачечной. Эх, не прохлаждаться мне больше в костюме Евы! Выбритый и благоухающий лосьоном Адам изгнал меня из прачечной, моего последнего рая.

Наконец Педро встал.

— Ну, ладно,— сказал он.— Я сегодня еду в Париж встретиться кое с кем из друзей. Вам ничего не нужно, Анна?

Он потянулся — омерзительный здоровяк, расставил свои ножищи и играет грудными мышцами.

— Спасибо, ничего или, пожалуй, привезите газет, если вам не трудно.

Педро стал снабжать меня чтивом. Он и сам много читал, в основном,

литературу, соответствующую его новой роли: «Дневник вора» [1], учебники по слесарному делу, а в метро «Основы криминологии» доктора Локара или «Юридический вестник». Ему довольно скоро надоело слышать насмешливое или благочестивое «отец мой», надоело, что ему почтительно уступают место в транспорте, надоел длинный душный подол сутаны, и он сменил ее на обычный летний костюм.

Несколько ночей подряд он пропадал до рассвета, и, должно быть, вылазки оказывались удачными, потому что он стал каждое утро менять рубашки. Белоснежная рубашка, серый костюмчик и шляпа в тон; ни ученые книги, ни папка под мышкой не спасут: Педро никак не примешь за студента-юриста. Свет ученья на нем не отражался, зато темные делишки так и просвечивали. Пьер немилосердно над ним насмехался за глаза и в глаза: «Твои рубашки незаменимы по ночам, ладно еще сейчас, а вот зимой, без луны, ты будешь прямо светиться в потемках. Рубашка вместо фонаря — и руки свободны, красота!»

Иногда Педро звонил Жюльену, и они договаривались о каких-то таинственных встречах. Возвращались вместе, под утро, и я получала усталого до горячечного блеска в глазах, взмыленного, запыленного и небритого Жюльена.

После такой ночи Педро делал себе поблажку и спал до самого обеда без зарядки. А мы с Жюльеном разговаривали: переутомление — я спала еще меньше обычного — перерастало в лихорадочную бодрость.

Пьер же, оставив смешки, рылся в добыче. Между тем я-то знала, что как раз теперь ему бы и веселиться: Педро сутки не было дома, значит, он не спал с его женой.

Я наткнулась на них случайно, и мне стало так же неприятно, как бывало в тюрьме, когда преспокойно открываешь запертую камеру — пардон, палату — и застаешь там двух подружек, которых, по их просьбе, закрыла на ключ снаружи третья.

Хорошо еще, что Педро с Нини не догадывались, что я про них знаю: мне от этого не менее противно, зато они могут сохранять ко мне нормальное отношение — приязнь или равнодушие,— а не задабривать и не запугивать меня, чтобы молчала.

В тот день стояла жуткая жара, так что часов до трех-четырех вылезать на солнце было невозможно; мы с Педро и Нини пожевали за обедом зелени, свежих овощей — и поскорее разошлись по прохладным, зашторенным спальням! Как славно я вздремнула на широкой кровати, залив под гипс одеколон и замотав пальцы больной ноги мокрой перчаткой! Часа в два мне захотелось окунуться, и я отправилась вниз.

К тому времени я виртуозно освоила свои деревяшки, ступала на костылях так же легко и мягко, как на ногах, могла на них плясать, кружиться, раскачиваться, как кукла-акробат, закрепленная на двух палочках: сдвинешь-раздвинешь — кувыркается. У меня три конечности, и я переставляю их ловко и четко: раз — живая нога, два, три — пара деревянных; вот и сейчас я шустро поскакала по ступенькам, перемахнула с пролета на пролет, сделав пируэт на пятке, и ворвалась в танцевальный зал. Дальний конец его был отгорожен барьерчиком — там располагался бар, а рядом, в углу, стоял диван, где в случае чего мог отлежаться хвативший лишку посетитель или переночевать оставшийся без комнаты гость, на нем вечно кто-нибудь пристраивался подремать или поболтать, а то лежали стопки белья — в общем, получалось отдельное помещение с диваном.

Я мягко приземлилась на гулкий пол. Добралась до дивана и вдруг увидела на нем Нини, безмятежно спавшую носом к стенке, натянув покрывало до ушей, а рядом, обратив ко мне голую спину — с идеально развитой мускулатурой! — стоял Педро и листал на стойке телефонный справочник.

Он обернулся, увидел меня, толкнул дверцы перегородки и подошел. Руки и шорты у него были в пыли.

— Лучше поищу этот номер на почте. Здесь слишком грязно.

— Еще бы,— сказала я самым невинным тоном,— за кулисами всегда грязно... А мы и живем тут, как за кулисами, особенно мы с вами.

Педро подобрал свою рубашку со швейной машины, что стояла впритык к дивану и, не взглянув на неподвижную спеленутую мумию Нини, вышел на террасу.

[1] Книга французского писателя Жана Жене (1910—1986). См. «ИЛ», 1993, № 1.

Я поскакала в прачечную: скорее под холодную прозрачную струю воды,— да, здоровы ребята, в этакую жарищу!

Не я проболталась Жюльену и не он мне, мы заговорили об этом не сговариваясь и оба покатились со смеху. А потом Жюльен сказал:

— Нет, каков бродяга! Я даю ему вписку, отсыпаю на первое время монет, учу уму-разуму... А он... Нет чтобы отчалить, как только раскачается, он норовит еще свить тут гнездышко! Забрасывает якорь!

— Но, милый, ему же просто нечего делать! Промышлять в одиночку он не может, ждет, пока ты возьмешь его за руку. Я уверена: эти его ночные походы — сплошной блеф, как и все остальное.

— Да мне все время приходится его то тянуть, то погонять... «Лезь, если башли нужны!», а он... Где это видано, чтобы мужик так трясся... Зато по женской части удалец хоть куда!

Оказывается, в одну из недавних вылазок Педро отдал Жюльену пятьдесят кусков из своей доли «на покрытие больничных расходов», но тот же Педро, по словам Жюльена, был бы не прочь пришить меня, как только я отсюда уйду, чтобы раз и навсегда обеспечить мое молчание и безопасность здешних хозяев, а точнее, убежища, где он залег.

— Ну, ясно, тут ему и стол, и дом, и постель с подстилкой. Согласна, это стоит шкуры какой-то пацанки вроде меня...

Кроме того, Педро великодушно предложил Жюльену разделить с ним Нини.

— Наверное, чтобы я ему не завидовал,— объяснил Жюльен.— А сам для разнообразия скоро начнет клеиться к тебе, вот увидишь. Нечего, говоришь, ему делать? Да ему не хватает дня на все его пакости, он их, небось, и во сне обдумывает. Смотри в оба, Анна, Педро палец в рот не клади!

— Ну, к этому ларчику ему ключа не подобрать, нечего и соваться! С погаными отмычками, которые он целыми днями вытачивает на верстаке Пьера. Пусть подкатывается к Нини, к кому угодно, только не ко мне — тут ему ничего не светит.

Но он сунулся, и очень скоро. Сначала долго ходил вокруг меня кругами, как волк — гладкий, вежливый волк,— действовал терпеливо, исподволь, забрасывал пробные камешки: что-нибудь, что, по его разумению, могло меня привлечь или возбудить: то забудет на виду какую-нибудь пикантную часть туалета, то попросит простирнуть нейлоновую рубашку, «самую малость, только освежить воротник и манжеты».

Я терла его одежки, вдыхала запах его одеколона, принимала его комплименты — хоть какое-то развлечение!

Слово «женщина» он произносил с трепетом восточного стихотворца.

— Но Анна у нас не женщина, а парнишка. Правда, Анна? Переодетый парнишка... У вас должна быть очень красивая грудь.— Тон безупречно дружеский, взгляд на мой вырез — почтительный, полный братского восхищения. Нини преспокойно убирала со стола. Ее энергичные, точные движения — живой укор нашей сытой лени: мы с Педро развалились на стульях, выпятив животы и вытянув отяжелевшие ноги. Грязные тарелки, огрызки исчезли со стола, и все более внушительный вид обретала стоявшая на мраморном столике, между мной и Педро, пепельница — зримый атрибут порока. Убрав посуду, Нини напустилась на капли и крошки, ее мокрая тряпка расписала стол размашистыми мыльными кругами. Потом Нини тщательно протерла места перед каждым из нас, вытряхнула пепельницу в ведро и снова красноречиво водрузила ее, сияющую, точнехонько между нами. Ну что, дескать, так и будете торчать тут на кухне целый день, занимать место и осквернять чистую пепельницу? Но вслух наша милая хозяюшка-служаночка ничего не сказала и продолжала работать, как автомат, натянуто улыбаясь на подначки Пьера.

— В двадцать лет,— сказала Нини, не глядя на меня,— у всех женщин недурная грудь. Особенно если они не рожали.

Нини не рожала, но не думаю, чтобы у нее когда-нибудь был хоть намек на грудь. И как только Педро не противно прижиматься к ее костлявому килю?

Наконец Педро сменил пластинку и попросил Нини принести бутылку шампанского.

— Это еще что за фокусы? Зачем вам шампанское?

— Чтобы пить,— пояснил Педро.— Когда много болтаешь, во рту сохнет. Как вы считаете, Анна?

Ну, промочить глотку я никогда не прочь. Нини послушно открывает холодильник: бутылка будет записана на счет Педро, и вообще желание клиента — закон. Если барину с барыней угодно нажираться в такую рань и в такую жару, пожалуйста. С постным лицом она поставила на стол бутылку и две рюмки, а сама снова взялась за посуду.

— Те-те-те, Нини! — воскликнул Педро.

Меня передернуло: работая под южанина, он чуть не каждое слово сдабривал звонким «те-те-те», «хо-хо», «э!», «ва!», будто пальцами прищелкивал.

— Нини сердится? Э-э, улыбнитесь-ка лучше. Достаньте еще одну рюмку и выпейте с нами.

— Пить? Мне? Вы же знаете, что я не пью. Мне нельзя — у меня сердце...

Так, значит, красные прожилки на скулах не от возлияний, как я полагала, а от сердечных спазмов. О, Педро, вы ведь не сделаете больно бедному сердечку Нини? Ладно, выпьем вдвоем, мое сердце может трепыхаться без всякого риска.

— Ах, Анна, Анна, вы никогда не теряете головы...

— Хватит того, что потеряла ногу!

Педро долго раскачивал пробку, наконец она подалась, выползла из бутылки и с хлопком вылетела в стеклянный потолок; золотистая струя зашипела, метко направленная в бокал. Этот ритуал я люблю гораздо больше, чем сам напиток, безвкусный, шипучий и бьющий в нос. Нини с брезгливой гримасой удалилась наверх, а мы рюмка за рюмкой распили всю бутылку.

Шампанское жаром разливалось по телу, но охладило голову; лицо Педро куда-то отступило, поплыло, померкло и почти исчезло; конечно, он там что-то говорит, жестикулирует, но меня это не касается, я далеко. Я снова замкнулась в круге своего «я», свернулась в нем, все линии извне — касательные, скользят, отскакивают и уносятся прочь — мне на все плевать. Я все слышу, все понимаю, отвечаю; может, язык у меня чуточку заплетается, но мысль ясная и четкая, вся собранная в одну-единственную крепко затверженную фразу, в которую я намертво вцепилась: «Смотри в оба, Анна».

Не волнуйся, Жюльен, я выхожу из игры.

— Подайте мне мои ходули, Педро. Мне до стены не доковылять. Наклюкалась за ваш счет. Теперь черед за мной. А пока пойду-ка я просплюсь.

— Позвольте, я отнесу вас.

— Ага, и останетесь... Нет, спасибо. Давайте костыли, я уж доберусь как-нибудь сама до своей постели.

У запасного дивана я делаю привал и... остаюсь на нем, глаза слипаются. Последнее, что я успеваю увидеть, проваливаясь в золотистое сонное марево, это нерешительно топчущийся около меня Педро. И все-таки, может, вспомнив о Нини, опуститься на диван он не посмел.

Глава VIII

Сегодня Жюльен забирает меня.

Опустевшая комната стала просторнее, и мы все время что-нибудь ищем — даже те вещи, которые раньше легко находили в темноте с закрытыми глазами, я вспоминаю:

— О, черт! Я же засунула все туалетные принадлежности на дно сумки. Дай-ка мне твою расческу.

Нини не найдет после меня ни окурка, ни горки пепла: пепельница отмыта до блеска, пол подметен, кругом пусто и чисто.

Мы будто выходим на волю из заточения. Жюльен в который раз заглядывает в шкаф и проверяет вещи.

— Снесу все вниз да заодно вытяну из Пьера свое барахло, инструменты, шмотки... Я сюда не скоро вернусь...

— Смотри, не прихвати напильники Педро.

— Чтоб ему пусто было, этому Педро! Хорошо, что у тебя котелок все-таки варит, не то был бы мне тот еще подарочек... Да ну их всех, иди ко мне, малышка...

Отъезд затянулся, и вечером мы сели за мраморный столик всей компанией. Пьер был страшно мил, так и стелился перед нами — когда Жюльен забрал свое добро, он понял, что птички взаправду улетают.

— Когда малышке надо будет снимать гипс, я заеду за тобой, Нини,— сказал Жюльен,— лучше, если она придет с сестрой. Дел-то всего на пару часов.

— Само собой, Жюльен,— горячо откликнулась Нини,— о чем говорить! Можете даже приехать накануне, переночевать у нас, чтобы с утра быть на месте, правда, Пьер? Для вас двери всегда открыты...

Жюльен отвечал на все учтиво, но уклончиво: «может быть», «посмотрим». Он еще не забыл, в каком состоянии застал меня вчера вечером: злая, скрючившись в кресле и запершись на два оборота, я обмозговывала план бегства. Тогда-то он и поспешил к моим новым хозяевам, чтобы приготовить все к нашему приезду.

Меня уже ждали: я не знала кто, но знала где — в Париже...

О, мой Париж! Я возвращаюсь к тебе, возвращаюсь раньше срока. Сина была права: рыдать не стоило.

По дороге, в такси, Жюльен рассказал, что моя новая хозяйка в прошлом проститутка, а муж ее в тюрьме, так что она живет одна, с дочкой.

Бывшая шлюха, зовут Анни... Какая она? Степенная матрона? Или вертлявая кукла? Я несколько оробела.

Оказалось ни то ни другое. Анни была вызывающе некрасивой, почти уродиной, хотя умела себя подать. В лице что-то лошадиное, сама тощая, дешевый халат с оборками висит на ней, как на вешалке; тапки огромного размера, впрочем, ноги, вроде бы, недурны. Ростом она не ниже Жюльена, правда, Жюльен как бы сжался, прикидываясь смущенным: так надо, его «обуза» становилась все тяжелее. Однако порог Анни я переступила сама, не как калека новобрачная на руках супруга. Сама, «на своих троих», поднялась по незнакомой, плохо освещенной лестнице следом за Жюльеном, тащившим чемоданы.

И вот мои пожитки уже стоят перед плитой, загромождая проход, а мы с Жюльеном чувствуем себя великанами в крохотной, игрушечной комнатушке.

— Садитесь в кресло,— предложила мне Анни,— вам будет удобнее. Хотите табуретку под больную ногу? И вы садитесь, Жюльен! Ей-богу, можно подумать, что вы у меня первый раз! Извините, у меня нечего выпить, Нунуш сейчас сбегает. Нунуш! — позвала она, высунувшись из окна по пояс и чуть не задевая ветки развесистого дерева, стоявшего, словно застывший взрыв, во дворе унылого, обшарпанного дома.

Нунуш не отзывалась.

— Опять ее понесло на бульвар,— сказала мать.

Жюльен порылся в пляжной сумке и извлек бутылку, помогавшую мне коротать ночи.

— У нас есть коньяк, не беда, что сейчас всего пять часов.

Анни достала рюмки, мы выпили, и она показала мне квартиру: не развернешься, всего две комнатушки. Ничего, в тесноте, да не в обиде, и, может быть, мы с Анни поладим лучше, чем с Нини в ее пустынных хоромах.

— Спать будете на кровати Нунуш, а она ляжет со мной. Для вещей я вам освободила полки в шкафу, пожалуйста, располагайтесь.

Я сидела на детской кроватке, отделенной от супружеского ложа проходом сантиметров в тридцать, разомлев от теплых, дружеских слов, и даже не сразу улыбнулась в ответ. Моя кровать упиралась в шкаф, шкаф — в подоконник, и, чтобы выглянуть в окно, пришлось протиснуться между ним и столом. Вдыхаю воздух Парижа... я вернулась, я в самом его сердце. Пусть побитая, проигравшая, но я здесь, впрочем, в тюрьме главным выигрышем мы считали волю. Я вернулась к тебе, Париж, собрала свои переломанные кости и готова начать жить и драться сначала.

По всей комнате как попало валялись игрушки, башмаки и одежда Нунуш — уютный домашний кавардак.

Я разложила по полкам свои вещи и вприпрыжку добралась до другой комнаты; все так близко и безопасно, опереться да потянуться, а костыли нужны будут только для улицы. Анни и Жюльен о чем-то болтали, а я притулилась к подоконнику и уставилась во двор с деревом; там стоял визг и гомон, играли в классики дети, на окнах пестрыми бельмами висело белье.

На сей раз мне предстояло изображать племянницу Анни, попавшую в аварию и приехавшую на поправку к тетке. Я «из провинции» — слово емкое, расплывчатое и неинтересное для парижан.

— ...да я не очень-то якшаюсь с соседями. Знают они о муже или нет, мне плевать, здравствуйте — до свидания, и все. Разве что госпожа Вийон, из крайней квартиры на нашем этаже... Ее дочки ходят в школу вместе с моей, ну, бывает, иной раз навестишь ее. Или она зайдет с мужем в воскресенье перекинуться в картишки, а так... с тех пор, как осталась одна, я почти не выхожу из дому — противно. Только в магазин, по субботам в тюрьму на свидание да еще сдать партию галстуков.

Какие еще галстуки? — думаю я.

Анни, не умолкая, берется за отложенную работу: вытягивает один из висящих на спинке кровати галстуков и мольтоновый лоскут из свертка на коленях, крепко зажимает один конец галстука под коленкой и крупными стежками прошивает его по всей длине, закрепляя мольтоновую подкладку. Потом отрывает нитку и разгибает ногу — готовый галстук падает на пол. Тут же вдевается новая нитка, достается новая заготовка. ...Интересно, сколько часов ей надо возиться с галстуками, чтобы получить то, что при старом ремесле она бы выручила за десять минут? Жюльен говорил, что Анни соблюдает что-то вроде обета верности... и все же... это добродетельное занятие плохо вяжется с ней: не те у нее повадки, не те разговоры.

Ну, да ладно... оставляю при себе свои догадки, а вслух заверяю Анни, что страшно рада заполучить такую тетушку. Она фыркает и продолжает работать иголкой, после каждого галстука затягиваясь сигаретой, которая лежит на большом спичечном коробке, рядом с початой пачкой, пепельницей, ножницами и стаканом — самое необходимое всегда под рукой.

Разгибается колено, подпрыгивает тапочка на носке, еще один галстук летит на пол, в кучу других.

В конце концов у меня закружилась голова, и мне стало стыдно сидеть сложа руки.

— Может, я могу вам помочь?

— Ого! — сказал Жюльен.— Вот что значит сила примера! Что, Анни, берешь работницу? У тебя есть вакансия?

— Сколько угодно... Смотрите: теперь надо вывернуть на лицо вот этим стержнем. А потом я их связываю дюжинами и складываю в чемодан...

— А утюжить?

— Я только проглаживаю швы, перед тем как сшивать. Окончательная утюжка — это работа моего зятя. Я промежуточное звено между двумя родственниками. Сестра мужа сшивает и подрубает на машинке, я прошиваю вручную и отдаю им обратно для отделки. Ну, они, понятно, берут себе побольше. Мне бы машинку — работала бы на себя.

(Значит: «достань» машинку, Жюльен!)

До самого ужина мы строили радужные и малореальные планы, сидя перед ворохом галстучных заготовок. Мужняя родня обирала Анни, это ясно, и она с чистой совестью могла позволить себе добывать приварок на стороне... если дело обстоит так, как я думаю... Ой, Анна, не строй гипотез!

— ...а они совсем обнаглели,— жаловалась Анни,— скажут, например, принести партию в три часа, а сами являются в пять, и сиди в этой их чертовой дыре, и наливайся анисовой. Кстати, схожу-ка я за бутылочкой, заодно приведу Нунуш. Что делать, должна же девчушка играть, а здесь у нас такая теснота.

Анни зашла в спальню и переоделась в платье. Сполоснула стакан, выплеснула воду в окно и достала из ящика стола кошелек. Но Жюльен остановил ее:

— Раз уж Анна все равно будет выходить на улицу, почему бы нам прямо сейчас не сходить всем втроем в бар?

— Как-нибудь в другой раз... Здесь спокойнее. Если мне бывает скучно, можно пройтись по коридору, послушать, что творится за дверями — так, от нечего делать. А бар — это когда уж совсем нечем поживиться.

Поживиться!

— Она вроде бы ничего,— сказала я Жюльену, как только мы остались одни.— Мне здесь нравится, и, по-моему, все будет хорошо... Она молодчина,

и вообще... Господи Боже! На сколько загремел ее дружок, на четыре года? Бедная Анни. И сколько ему еще осталось мотать?

— Только третий год пошел. Но... не страдай за Анни. Она, конечно, молодчина, но и себе на уме. Так что прикидывайся и дальше, что ничего не видишь, ничего не знаешь. Я ей отвалил монет за два месяца вперед: живи спокойно и ешь на здоровье. Анни будет тебе рассказывать байки: правду с враньем пополам — верь всему подряд. И... не очень-то шастай по Парижу.

— Клянусь: буду целый день сидеть и прошивать галстуки. Да здесь, по-моему, больше и нечем особенно заняться... Честно говоря, меня пугает дочка!

В эту самую минуту дверь распахнулась, и в комнату ворвалось патлатое, белокурое чадо — Нунуш. У буфета она затормозила и завопила:

— Привет, Жюльен! Как дела?

Ей было лет семь-восемь. Бледная, веснушчатая мордашка, на затылке мотается хвостик, вид вполне бывалый — она смахивала на зеленый абрикос, размягченный парниковым парижским солнышком. Разговаривала она бойко и по-свойски, со всеми на ты, этакая изящная, умилительная маленькая женщина. Пигалица вскарабкалась Жюльену на колени, обвила его шею руками, не очень-то по детски, и защебетала.

Вошла Анни со стаканом анисовки:

— Нунуш, отстань и слезай. Сходи лучше набери воды в коридоре.

— Не пойду!

— Кому сказано!

— Тогда и я буду с вами пить.

— Как же, как же!

В коридоре полилась из крана вода, в квартиру она не проведена. Моются и стряпают в нише-кухоньке; Анни показала мне, где стоит ведро, таз, куда положить мои туалетные принадлежности.

— Только, когда будете мыться, закрывайтесь на шпингалет, а то моя разбойница...

Да, похоже, наша скороспелочка — тот еще фрукт!

Глава IX

За неделю я проглотила все книжонки из серии «Интим» и «Двое», составлявшие библиотеку Анни, и не только начиталась, но и наслушалась «сокровенного». Галстучное дело мне определенно не давалось, а помогать Анни стирать или готовить я не могла — она об этом и слышать не хотела:

— И не думайте, с вашей ногой!

Оставалось только гулять по бульвару. Загипсованную ногу я тащила, как черепаха свой бронежилет, так же медленно и упорно. Шла в ажурной тени трепещущих под летним ветерком каштанов. А впереди маячил оазис перекрестка. Но до него я не доходила, на полпути поворачивала обратно, чтобы быть дома, как обещала, минута в минуту. Совесть служила сама себе хронометром. Когда Анни уходила сдавать работу, она могла задержаться на час, на два — это никого не касалось, другое дело я... Я все еще завишу от часов, от часовой стрелки, отмерявшей, когда я задерживалась, беспокойство окружающих меня людей, часы подобны бдительному оку тюремщика: уследят и удержат. Хотя, с тех пор как я поселилась у Анни, меня уже не так подмывало бежать.

— Еще рюмочку, Анна? Винцо совсем легонькое, всего десять градусов...

Мы с Анни засиживались после ужина за бутылочкой и трепались допоздна. Две скучающие женщины; ни любви, ни развлечений. У меня не было возможности, у нее — охоты. Мы с нею спаяны, связаны весь день общими заботами, узами повседневности: мы делали одну и ту же работу, ели одно и то же, нас связывала нить, которую мы часами тянули, она — справа налево, я — левша — слева направо, сидя лицом к лицу, будто зеркально отражаясь друг в друге. Мы обе шили, курили, напевали, иногда вздыхали или обменивались улыбками. Но куда больше роднили нас наши ночные посиделки. Производственная дружба отодвигалась в сторону, ее место — в рабочем чемодане, вместе со связками

галстуков; настоящая близость скреплялась глотками вина, колечками дыма за накрытым цветастой клеенкой и заставленным грязными тарелками столом. Нунуш сновала между нами, влезала на колени, смахивала крошки, вытряхивала пепельницу, слушала наше шушуканье и мотала на ус.

— Нунуш, спать! — повторяла, больше для порядку, Анни каждые четверть часа, начиная с восьми.

Эти «ушки на макушке» заставляли говорить обиняками: Анни желала, чтобы дочь оставалась «маленькой девочкой», рассказывала ей про Деда Мороза, аистов и капусту и чуть не подралась с госпожой Вийон, когда та, в целях сексуального воспитания, показала Нунуш, и также собственным дочкам, картинки в медицинской энциклопедии; в то же время ее нисколько не смущало, что девчонка полночи трется около нас — ничего страшного, выспится утром. Вот когда начнется школа... Да и что она поймет! «Твой папа в больнице, видишь же, я его навещаю по субботам, мама всегда говорит правду, больше никого не слушай, а если соседи будут тебе что-нибудь заливать, скажи им, что они жлобы, а мы деловые».

Вот такая педагогика. Причем — самое восхитительное — Анни была абсолютно убеждена, будто Нунуш верит в ее непогрешимость и авторитет, несмотря на все, что видит, слышит и примечает.

А Нунуш говорила мне:

— Смотри, Анна, чтобы твой муж не наделал глупостей, а то он тоже попадет в больницу. Да какой он тебе муж! Не смеши... Ты еще ребенок.

Если у меня получался удачный галстук, она пищала:

— Неплохо для ребенка, а, мам?

Невозможно было внушить ей, что я старше, чем она, не засыпаю в обнимку с мишкой и не играю в кукольную посуду.

Ее мишка не раз путешествовал в Санте [1] и обратно, а кукольная утварь встречалась в тюремных коридорах с мисками и кружками размером побольше: по субботам Нунуш ходила с мамой проведать «больного папулю» и всегда брала с собой какую-нибудь игрушку, чтобы он хоть полчасика поиграл с ней через решетку.

Я предпочитала оставаться дома, не из страха, а потому что только в это время могла хозяйничать в квартире. Шныряла по всем углам, без определенной цели и даже не из любопытства, а просто чтобы отыграться за неделю бесконечных «Анни, можно это... можно то?..» Я мыла голову и гляделась через открытую дверь каморки в зеркало на стене или на дверце шкафа, разгуливала нагишом, в одном тюрбане из полотенца, по пустым комнатам, забросанным галстуками и игрушками. А потом, чтобы сделать приятное Анни и рассчитаться за то, что совала нос куда не просили, натыкаясь то на стыдливый ком грязного белья в углу за плитой, то на заплесневелый, месячной давности, кусок сыра в буфете,— натирала пол, начищала до блеска донышки кастрюль, прибиралась — не слишком посягая на хаос, а только придавая ему более опрятный вид,— и наконец в доказательство того, что ждала хозяек с нетерпением, приносила конфет из бакалейной лавки, два двойных «рикара» из бистро и накрывала стол к их приходу.

А вот в кафе «У Марселя», что против тюрьмы, на улице Санте, я бы с удовольствием на часок заглянула. По субботам в этой забегаловке толкутся друзья заключенных, не допущенные на свидания, или друзья их родственников; всюду громоздятся сумки, свертки, приготовленные для передачи или, наоборот, вынесенные из тюрьмы, в одних — грязные, в других — чистые шмотки, а в каком-нибудь пакете, может, прячется пара штанов или пиджачок для побега века...

Эх, сидела бы и смотрела, как снуют туда-сюда люди с сумками и свертками, с радостными или заплаканными лицами. Впивала бы закулисную жизнь большой тюрьмы с тем же трепетом, с каким перебирала рубашки Жюльена.

Свойственники Анни тоже имели право на посещение и пользовались им неукоснительно, так что узнику, которому было разрешено всего одно свидание в неделю, приходилось выступать в роли супруга и брата одновременно. Жена, сестра, зять — я слышала только один колокол из этого перезвона, голос Анни, но и другие наверняка звучали так же надрывно, когда чисто, а когда и фальшиво. Долг перед братом, проклятия, ненависть к нему... А для доставки по назначению

[1] Парижская тюрьма.

всего этого букета разноречивых чувств имелось только одно транспортное средство, машина зятя.

В субботу в час дня кофе на всех готовила я: Анни, боясь испортить парадный вид, ни к чему не прикасалась до самого возвращения из тюрьмы. Все утро, час за часом, я наблюдала, как распустеха в домашнем халате и с накрученными на бигуди волосами превращалась в шикарную кокотку: узкая юбка с разрезом и туфли на шпильках превращали тощие ноги в стройные и пикантные; жакет с баской округлял бедра, скрашивал щуплый зад и костлявые бока. Волосы становились пышными и блестящими, губы — яркими и пухлыми, и зубы за ними вроде уже не казались такими крупными. Несколько взмахов щеточки с тушью — и глаза опушаются томной зеленоватой бахромой.

Игривые шутки зятька не отличались разнообразием, и если появлялось что-нибудь новенькое, то мишенью всегда была я. Он не имел на меня никаких видов, учитывая разницу в комплекции и обязанности, налагаемые родством, но глазки его так и бегали, выдавая самые грязные и примитивные мысли. Кофейно-черные близорукие глаза, в сущности, очень красивые, но сильно уменьшенные толстенными линзами. Пожалуй, и неплохо, что они прятались за очками — уж очень эти глаза не вязались с приплюснутым носом, втиснутым между ягодицами щек, сальной кожей, волосатыми руками — не то бык, не то огромный слизняк, не то тюлень в море «перно».

— Только языком молоть и умеет,— отзывалась о нем Анни.— Когда забрали Деде, я не могла сразу вернуться домой: квартира была опечатана, и потом, мне хотелось выждать, пока все немножко уляжется и забудется... Пришлось пару недель перекантоваться у них. Ну, скажу я вам...

За это время Анни насмотрелась на милую семейку во всей красе: муж жирный, скользкий, противно прикоснуться, жена — ненасытная прорва, жрет и жрет, а дочка Пат гробит себя на работе, в двадцать лет сутулая, с отвислой грудью.

Что до моих заработков, то, хотя я шила не слишком много и не слишком хорошо, на бутылку-другую хватало. Потихоньку покупала я и одежки, пуская Жинеттины обноски на тряпки.

— Мы, значит, не только выпить, но и расфуфыриться не прочь! — язвила золовка Анни.

Иногда нам с Анни приходилось вылезать из затрапезных халатов и отправляться на семейные обеды, для которых мы соорудили себе роскошные, не уступающие субботним, туалеты. Нас звали каждую неделю, но принимали мы одно приглашение из трех — таков негласный договор.

Дом золовки располагался на окраине, где кончаются мостовые, начинается грязь и тянутся чахлые садики. Мы добирались туда на нескольких автобусах, потом еще долго шли пешком, вдоль заборов и решеток. У меня разболелась нога, Анни на своих шпильках на каждом шагу спотыкалась. Нунуш тащилась вдоль канавы и ныла: «Мам, ну скоро?»

Наконец пришли! Дом сплошь, не считая окон и дверей, обшит светлым деревом, с этажа на этаж вьются легкие лесенки, а внутри — джунгли, галстучные дебри. Денежки на дом накапали с галстуков, недаром все семейство корпело над ними бессонными ночами и безрадостными днями в тесной двухкомнатной клетушке в квартале Тамль; кроили, шили, выворачивали, утюжили, скалывали и связывали без передышки. Галстуки переехали в новое жилище и по праву заполонили его, заменив драпировки, подушки и побрякушки. Только кухней они не овладели, поскольку, наряду с работой, вторым и не менее важным занятием хозяев было набивание брюха.

Отделка еще не завершилась: проходя в недоделанную ванную помыть руки, я заметила биде, обернутое в бумажные ленты, оно так и стояло нераспакованным в углу.

При всем внешнем радушии галстучной семейки меня во время семейных воскресных обедов держали на расстоянии. Я играла в садике с Нунуш, не участвовала в разговорах и скучала. Я чужая, я не причастна к их прошлому, настоящему и будущему, ведь мы с Анни только временно сотрудничаем в галстучном деле, пока не выйдет ее Деде, не вернется на службу в строительную компанию и не выстроит отдельные одинаковые хоромы для обеих наших пар —

для себя с Анни и для меня с Жюльеном. Только об этом мы и судачили с Анни, коротая вечера, но о чем говорить здесь, в гостях? Приходилось все воскресенье выслушивать нудную чужую болтовню, как бывало в тюрьме: сидишь, молчишь, улыбаешься и участливо киваешь, только вместо тушенки здесь подавали курицу с рисом, сладким перцем, горошком или картошкой.

«Перно», куриный жир, хмель, длинные разговоры — все смешивалось и давило на сердце, мне тяжело, одиноко, я так далека от этих людей. Их мое присутствие не стесняло. Когда же я смогу ходить, чтобы уйти без оглядки! Ну снова придет Жюльен, убедится, что все в порядке, заплатит очередной взнос, и нет его. Досада и разочарование, которые я старалась скрыть, чтобы не показаться неблагодарной, клокотали во мне: в книжках преступники были куда интереснее! С самого дня побега я жила в окружении настоящих «блатных», предвкушая что-то необычное, рассчитывая похвастаться при встрече Роланде своими подвигами: дурными знакомствами, жуткими приключениями. Но подходило к концу лето, развеивались мечты, чем-то расплывчатым стала представляться сама Роланда. Привет, это я пришла. Напьемся, наедимся, наговоримся и переспим, ну, а что делать завтра, что нам еще останется? Думаешь, теперь, когда я снова научилась иной любви, мне хочется ковыряться в твоем заду? Каждая минута — кирпич в растущей между нами стене. Пусть я пока блуждаю во тьме, но, если забрезжит для меня заря и откроется дорога к свету, я пойду по ней без твоей поддержки, Роланда... это из-за тебя, дрянь, я сломала ногу; рано или поздно, я бы все равно встретила Жюльена, лучше бы мне сейчас не вспоминать тебя с благодарностью и отвращением, не знаю, сохранилась ли у меня все еще тяга к женщинам, зато могу назвать одного мужчину, который мне по вкусу, и одну женщину, которая мне противна...

Жюльен, я люблю... люблю тебя!

Не стану много говорить, замкни мне губы поцелуями, но знай, Жюльен, я твердо поняла: настало время решиться, выбрать один путь и держаться его, хватит перебегать туда-сюда... Роланда, Жюльен... я разрываюсь надвое...

У нас в тюрьме было два воскресных развлечения: танцы и белот. Для меня карты — сущее наказание: как только объявляют козырь, я теряю всякий интерес к игре и только слежу за тревожными или невозмутимыми лицами игроков, за их руками — одни изящно мечут карты, другие — грузно припечатывают к столу. Но была у меня заветная карта, трефовый туз, «триумф» на языке гадалок; если этот клеверный листок выпадал несколько раз за вечер, это предвещало удачу. Да, вовремя я дала деру: гадание на трефовом тузе, бензин, мучительные сны, онанизм — все эти тюремные прелести вели прямиком в дурдом. Теперь же безумие с каждым днем отступало.

У Анни было три колоды карт, две из них старые и неполные, которыми Нунуш шлепала по воскресеньям в белот с куклами, сидя на полу, у ног взрослых, пока те разыгрывали кон за коном наверху, за столом. Стащить у нее трефовый туз — невеликий грех, она лишь копировала жесты картежников, а что чем крыть, неважно. Положу туз в конверт и отправлю Роланде. Если она все же явится на встречу, дело ее, а моя совесть будет чиста: я предупредила. Может быть, в назначенный день мне все же станет тоскливо, но только потому, что он приурочен к моему дню рождения. Ровно двадцать — что ни говори, не так-то весело разменивать новенький десяток, да еще зная, что на несколько лет придется вернуться за решетку — отматывать остаток срока, который я похерила ради тебя, Роланда; наше свидание было задумано как подарок, и вот я сама отказываюсь от него.

— Жюльен, ты придешь, когда мне стукнет двадцать?

— Конечно, если смогу... сходим с тобой в ресторан...

— Да ну, Анни приготовит не хуже. Надо только пригласить ее тоже. Не хочу никуда идти, лучше побудем вдвоем.

Мы с Жюльеном строили планы на будущее. Сначала все останется как есть. Он будет меня обеспечивать, а я чтобы ни во что не ввязывалась — и не спорь, раз я сказал! Но я мялась: сколько можно сидеть на чужой шее... Анни — мой налоговый инспектор, ни к чему дразнить ее дорогими покупками, поэтому, если Жюльен давал мне десять тысяч, я говорила, что получила пять, и из них две или две с половиной отдавала ей на аперитив и конфеты для Нунуш. Потом, когда я буду лучше ходить...

Гипс мне сняли в два приема. На первый, контрольный, визит я взяла с собой кроссовки и эластичный бинт; мне уже представлялось, как я пойду обратно, хоть с трудом, но наступая на ногу, повиснув на Жюльене, как новоиспеченная подружка. Задолго до назначенного дня мне снилось, что нога свободна, и я «ходила», цепляя пальцами простыню, а накануне, чтобы ускорить дело, решила сама снять свою колодку.

Первым делом попыталась, вооружившись большими, «галстучными», ножницами, разрезать гипс с двух сторон, от колена вниз — так, я видела, делают в больнице,— снять переднюю половину и осторожно, как торт-суфле из духовки, вынуть ногу из футляра... но — увы! — результатом получасовых усилий была щербинка глубиной в несколько миллиметров да горстка крупитчатой пыли на линолеуме, у ног Анни, где я устроилась, чтобы сподручнее было брать и отдавать ножницы: нет, видно, без пилы не обойтись.

Тогда мне пришло в голову растопить гипс: я окунула ногу в горячую воду, размочила свою колодку и стала разматывать бинты...

Открылось нечто столь безобразное, что я поскорей натянула носок и даже не стала пробовать наступать на ногу.

В амбулатории я получила хорошенький нагоняй и новый, «прогулочный», гипс. Я лежала на перевязочном столе и смотрела, как мою кеглю опять замуровывают.

— И постарайтесь не сдирать это,— сказал врач, закончив работу,— иначе встанете на ноги лет через десять.

Он проверил, достаточно ли плотной получилась пятка — толстый куб из быстро затвердевавшей марли. Тем временем сестра вытирала мне перемазанные гипсом коленку и пальцы.

Тогда моей несчастной ноге предстояло заново осваивать свое природное предназначение: шагать попеременно с другой и принимать на себя тяжесть тела... просто не верится, что столько времени я ходила, не задумываясь о том, как это делается! Скоро я познаю радость родителей, наблюдающих за первыми шагами своего чада, к которой прибавится гордость за себя самое: я больше не кукла на подпорках, хожу самостоятельно, без тягача и буксира... Жюльен ждал меня в коридоре, другие пациенты, рядом с ним, ждали своей очереди, а сестра в белом халате — обеденного перерыва. Я же дождалась — у меня наконец свободны руки, прощайте, месяцы боли и неподвижности, я стояла на пороге, улыбалась, мне хотелось побежать легко-легко, броситься к Жюльену, удивить его... но новая колодка оказалась тяжеленной, куда тяжелее костылей, и я не решалась... Жюльен сам подскочил ко мне, подхватил под локоть и повел, помогая каждому моему карикатурному шагу.

Дома Анни одолжила мне палку с резиновым наконечником, и я снова заковыляла на трех конечностях: тук-тук палкой, топ-топ ногой — и мурашки по телу.

Ну, а теперь?

Став спиной к зеркалу, выворачиваю шею, чтобы сравнить щиколотки, делаю несколько шагов до порога кухни: ничего подобного — не хромаю, не вижу и не чувствую никакой хромоты. Здесь не побегаешь, но прежняя упругость играет в мускулах; правда, скакать или стоять на одной ножке я не могу, но, если очень захочу, добьюсь и этого.

— Дай сюда сигарету, незачем курить на улице. Тебе что, очень хочется привлекать внимание?

Жюльен свежевыбрит, в крахмальной сорочке, прилизанные волосы все в полосочку от мокрой расчески — он не расстается с несессером и при первой же дневной передышке спешит к умывальнику и зеркалу. Сегодня утром он пришел бледный от усталости, с синяками под глазами, рухнул на мою кроватку, не раздеваясь, и заснул мертвецким сном, бесчувственный к моим робким поползновениям.

С тех пор как я стала больше двигаться и меньше лежать, ко мне вернулся сон и снова стало сладко пощипывать под веками к ночи, но чтобы вот так валиться замертво, чтобы сон вытеснял голод и жажду, чтобы он оглушал, парализовывал... Если что-нибудь нужно в спальне, никаких предосторожностей не требовалось: топай, стучи палкой, пихай кровать, пой, кричи, вопи — могучий Сон сильнее меня.

— Брось сигарету, слышишь?

Ей-богу, я начинаю жалеть, что ты проснулся; так было хорошо: лежал себе глухой и немой, а я могла делать с тобой что угодно — гладить, щипать, душить. Теперь же я твоя вещь, да еще такая неудобная, твой зайчонок, твоя малышка, ты повелительно смотришь и твердо, по-мужски, разговариваешь! Я знаю: как только мы выйдем на бульвар, твоя рука округлится и застынет, превратится в подставку, опору, твой шаг подстроится под мой, мы возьмем такси, поедем в бар...

— Чего-нибудь освежающего?

Мои родители «освежались» не чаще, чем раз или два в году, в привокзальном буфете, если куда-нибудь уезжали сами или водили по городу гостей и надо было дать отдых ногам и промочить горло. Для девочки — если можно, газировки. И я тянула свой лимонад, откинувшись на высокую спинку плетеного стула, глазела на публику за столиками, потом просилась в туалет, чтобы пройти мимо чистой, блестящей стойки с неоновыми огоньками, повертеть круглый, как яйцо, кусок мыла, надетый на никелированный штырь... Со временем закусочные сменились барами и дансингами: ночь за ночью я убивала в них свою скуку, пила, болтала и курила, пока утро не прогоняло прочь; иногда, если было не лень, ставила пластинку и танцевала.

Но никогда никого я не дожидалась у стойки дольше десяти минут. Была пунктуальна сама и требовала того же от других. Теперь же... что остается делать, когда Жюльен, бросив «я на минутку», исчезает на два часа? Только ждать, уставившись на дверь. А потом куда деваться? — снова в такси и назад, к Анни... Я жадно опустошаю стакан, заказываю еще один и запасаюсь новой порцией терпения. На другой день после этой прогулки единственными доказательствами того, что Жюльен мне не приснился, были ломота в висках да приятная тяжесть в бедрах... Жюльен ночевал у меня, на маленькой кроватке, а с Анни прощался еще вечером, чтобы не будить ее с утра. Я вскакиваю затемно, спешу согреть ему воду и сварить кофе, но, оказывается, зря: он уже умылся холодной водой, а кофе выпьет на вокзале; Жюльен переодел костюм, он подтянут, любовь и все такое вон из головы, пусть остается на горячей подушке,— он спешит, и я запираю за ним дверь. Ну, пока, чао, прости, я и так проволынил — не сорвалось бы дело.

И все — я одна, на целую неделю, а то и на две.

Иногда Жюльен может объявить:

— Зайчонок, я тебе изменил!

— Надеюсь, получил удовольствие? — улыбаюсь я в ответ.

Пока наш путь гол и солон, как пустыня; может, когда-нибудь мы ступим на волшебные тропы... Но еще столько надо расхлебать, отделаться от стольких людей и вещей; петельку за петелькой распускаю ткань, исподтишка торможу; ужасно противно «обрабатывать» вот так Жюльена, но он увяз в паутине ложных, скользких связей, отсечь бы, сколько можно.

Когда-то меня холили и лелеяли, я была здоровой, самостоятельной и дерзкой, все могла и все умела.

Теперь, безоружная, больная, нищая, я сама навязываюсь, сама цепляюсь за других; и никто не удерживает меня, потому что мне нечего дать, кроме себя самой, без прикрас, и надо много терпения и любви, чтобы во мне что-то открылось и забил родник живой воды.

(Окончание в следующем номере)

ПЬЕР ДАК

Объявления из газеты «Мозговая кость»

Перевод Н. БУНТМАН

От переводчика

Пьер Дак (настоящее имя — Андре Исаак, 1896—1977) — одна из самых колоритных личностей во французской юмористике. Чем он только не занимался! — рекламный агент, водитель такси, продавец мыла, коммивояжер... Когда же Дак в один прекрасный день вдруг остался без работы, он решил попробовать стать шансонье. Получилось. Публика, посещавшая такие парижские кафе, как «Рыжая луна», «Два осла», «Кукушка», была без ума от его скетчей и песенок.

В 1937 году Пьер Дак начинает работать на радио. Вскоре рождается удивительная передача «Погоня за сокровищем», о которой до сих пор вспоминают многие парижане: для того чтобы выиграть, нужно было первым приехать на определенную станцию метро, держа в руках самые невероятные предметы, список которых быстро объявлялся по радио: картофелину, английскую булавку, портативную швейную машинку, каску пожарника, счет за газ и электричество, крутое яйцо, автобусный билетик... В те дни, когда разыгрывался этот конкурс, на Елисейских полях образовывалась колоссальная пробка.

13 мая 1938 г. Дак создает юмористическую газету «Мозговая кость», просуществовавшую, к сожалению, всего до 31 мая 1940 года, когда уже было не до смеха.

Во время войны Пьер Дак эмигрирует в Англию, откуда обращается к французам по радио, пытается подбодрить их, выставляя в скетчах немецкие оккупационные войска в смешном виде.

Вернувшись в 1945 году во Францию, Дак пытается заняться прежней деятельностью — теперь его газета называется «Свободной костью», но успех нового издания не может сравниться со славой первого. Зато получили признание несколько написанных им юмористических книг. Были признаны и его заслуги перед Францией: он награжден орденом Почетного легиона, Военным крестом и медалью Сопротивления.

Пьер Дак умер на восемьдесят первом году жизни после попытки покончить с собой.

Завод резиновых изделий приглашает молодых людей без определенной профессии. Хороший заработок, растяжимый рабочий день.

Предприятию требуется жонглер, чтобы сбалансировать бюджет.

Киностудия приглашает крупного мальчика 6 лет на роль мелкого мальчика 9 лет для съемок в телесериале.

Отделу технического контроля перчаточной фабрики требуются рабочие, умеющие быстро и правильно считать до десяти для проверки количества пальцев.

Заводу хлебобулочных изделий требуется опытный горнист для подъема теста ровно в пять часов утра.

Предлагаю услуги

Циклоп, не смыкающий глаза, хотел бы устроиться ночным сторожем.

Пенсионер, бывший водитель бульдозера, возьмет работу на дом.

Лентяй-неумеха ищет прилично оплачиваемую синекуру с продолжительным отпуском, шестью библиотечными днями в неделю, оплачиваемым проездом в наземном транспорте и по железной дороге и предоставлением всяческих льгот. Предложения направлять в конверте с приложенной для ответа маркой.

Меняю

Кроликовую шубу под норку на норковую шубу под кролика.

Крупный промышленный комплекс на равноценный Эдипов.

Нескромные предложения на неприличные жесты.

Продаю

Оптовую партию специальных дезодорантов без запаха для выведения слишком стойкого запаха дезодоранта.

Недорого! Качественный динамит, только один раз бывший в употреблении.

Шкуры неубитых медведей любого размера. Обращаться за день до открытия охотничьего сезона.

Однокомнатную кв. 2 м² со всеми удобствами. 20 этаж без лифта. Ванная и туалет оборудованы по последнему слову техники. Гор. и хол. вода не поступает. Редкая возможность не шевелить ни ногами, ни руками. При удачном проникновении внутрь — потрясающий вид без окна, что придает квартире особое очарование. Требуется ремонт потолка 1,5 м (стремянку можно не приносить). Предлагать, начиная с 1 млн. франков.

По причине неправильно поставленного диагноза продается гроб в отличном состоянии.

Набор дуршлагов без дырочек. Можно использовать как кастрюли.

Набор кастрюль с дырками. Можно использовать как дуршлаги.

Сдвоенные ошейники для сиамских кошек.

119 подлинников Пикассо (без подписи).

Будильник в отличном состоянии (стрелки заклинило на 11.48). Цена договорная.

Детали новой машины (пробег — 457 км). Товар можно увидеть на шоссе № 7 у четвертого платана по левую сторону от развилки. Цена договорная (в зависимости от детали).

Бабушку в полном маразме в хорошем состоянии. Может быть использована для воспоминаний о франко-прусской войне, Всемирной выставке

1900 года и строительстве Панамского канала (продам в рассрочку). Без вставной челюсти и лежачую по 2,5 фр. за кг.

Уступлю недорого бомбу замедленного действия. СРОЧНО.

Служба знакомств

Каннибал познакомится с человеком, обладающим хорошим вкусом.

Бескорыстный молодой человек познакомится с очень некрасивой девушкой, даже если она богата.

Мужчина, страдающий сходящимся косоглазием, ищет подругу жизни, страдающую расходящимся косоглазием, чтобы правильно смотреть на вещи.

Краснокожий мужчина хотел бы соединить свою судьбу с бледнолицей женщиной, чтобы произвести на свет розового ребенка.

Пчела сочетается браком со шмелем. Медовый месяц гарантируется.

Интеллигентная дама незамедлительно отдаст руку и сердце первому мужчине, который вежливо ее об этом попросит.

Разное

Требуется лилипут для ухода за карликовыми породами деревьев.

Собака, слушающая голос своего хозяина, хотела бы сменить пластинку.

Директору разорившейся фирмы срочно требуется главный бухгалтер. С ним работавший.

20 мая около 16 часов у вокзала Монпарнас потерялся мужчина средних лет. Одет в серое пальто. Обращаться в собачий питомник № 2. Спросить немецкую овчарку Эльзу.

Лошади, страдающей ленью, требуется извозчик-пьяница, останавливающийся у каждой забегаловки.

Лиц, ставших свидетелями хулиганского поступка, совершенного в прошлое воскресенье на улице Мира человеком, находившимся в нетрезвом состоянии, который грубо оскорбил полицейского при исполнении служебных обязанностей, убедительно просим остаться неизвестными.

Президент страны поприсутствует на торжественном открытии памятника, школы или выставки. Оплата проезда и питание за счет приглашающей стороны.

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА. Опытные девушки. Для групп и автобусных экскурсий — большая скидка. Для студентов и военнослужащих — льготные абонементы.

Оказываем похоронные услуги. Новым клиентам — 10% скидка. Каждые ваши четвертые похороны — бесплатно!

Абсолютно ничего не нужно. Просьба не писать. Спасибо.

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ

Жиль и Жанна

ПОВЕСТЬ

Перевод ЕЛЕНЫ МОРОЗОВОЙ

В истории Франции, так же как в истории французской литературы, имя Жиля де Монморанси-Лаваля сира де Ре, богатейшего феодала и маршала Франции, навеки связано с именем Жанны д'Арк. Нет ни одного исследования, ни одного художественного произведения, посвященного жизни и мученической смерти этой прославленной героини, где бы Жиль де Ре, ее друг, сподвижник и товарищ по оружию, не появлялся рядом с нею. Между тем фигура этого исторического персонажа окутана самыми мрачными легендами, а совершенные им чудовищные злодеяния привлекают к нему не меньшее внимание, чем его военные подвиги.

Известно, например, что Жиль де Ре послужил для Шарля Перро прототипом Синей Бороды. Не исключено, что Лотреамон видел в Жиле де Ре прообраз героя «Песен Мальдорора» [1]. Не случайно в предлагаемой вниманию читателя повести Мишеля Турнье наряду с другими литературными аллюзиями можно обнаружить пассажи, в которых повторяются образы-символы из «Мальдорора»: зловещие фигуры двух мрачных всадников, пугающие жителей окрестных деревень. Тайне этого героя и преступника посвящена работа Жоржа Батая «Процесс Жиля де Ре». Совсем недавно на театральном фестивале в Авиньоне был показан спектакль по пьесе молодого прозаика и драматурга Энзо Кормана «Рана и нож», посвященной этому загадочному персонажу. Неиссякаемый интерес к личности Жиля де Ре не ограничивается рамками истории и литературы. В наше время во Франции существует Общество друзей Жиля де Ре, считающих, что вина его не доказана. В прошлом году по инициативе французского литератора Жильбера Пруто был организован судебный процесс, который на основе изучения документов инквизиционного суда, проходившего в Нанте, вынес вердикт о невиновности Жиля де Ре в преступлениях, которые ему приписывали. Это, впрочем, вряд ли изменит сложившееся веками отношение к этому человеку его сограждан.

Повесть Мишеля Турнье «Жиль и Жанна» познакомит читателей с новой версией феномена Жиля де Ре, основанной на фрейдистском толковании особенностей его личности в культурно-историческом контексте эпохи раннего Возрождения.

В конце той зимы 1429 года — а именно 25 февраля — судьбы их пересеклись в замке Шинон. Жиль де Ре был одним из многих бретонских и вандейских дворянских отпрысков, что встали на защиту дофина Карла, теснимого английской армией. От имени Генриха VI, короля Англии — который пока всего лишь дитя,— управляет назначенный регентом его дядя Иоанн, герцог Бедфордский. Он же правит в Париже, занимает Нормандию и осаждает Орлеан — ворота на юг Франции.

В Шиноне говорят много, действуют мало. Тамошние политики и военные, испившие полной чашей горечь поражений,— верят ли они еще в дело, которое защищают? Уверенности нет даже у самого дофина Карла, который к тому же из-за супружеских измен своей матери Изабо Баварской не осмеливается утверждать решительно, что он сын Карла VI. Общество блестящее, но бездушное, оно злословит, судачит, сплетничает и витийствует под сводами тронного зала, освещаемого огромным камином.

Но вот неожиданно приходит известие о странном посетителе. Двор надеется хоть на какое-нибудь развлечение. Юная девушка, шестнадцатиле-

© Gallimard, 1983

[1] См. «ИЛ», 1993, № 1.

тняя крестьянка, прибывшая из Марша, что в Лотарингии, утверждает, будто она послана Царем Небесным спасти Французское королевство. Дофин решил принять ее. Для придворных эта сумасбродка весьма желанна: забавы становятся редки в унылую пору изгнания. Карл же, взволнованный, обеспокоенный мрачными новостями, окруженный зловещими приметами, без сомнения, втайне лелеет слабую надежду, словно больной, покинутый врачами и готовый отдаться в руки знахаря.

В этот поздний час все устремляются в тронный зал. Более пяти сотен рыцарей, освещенных пылающим лесом факелов, неожиданно замирают, не отрывая глаз от двери. Они видят, как решительным шагом входит маленький паж, чей черно-серый костюм из грубого сукна представляет разительный контраст с их парчовыми камзолами, подбитыми драгоценным мехом горностая, и туниками из расшитого золотом шелка. Зеленые и ясные глаза, худое скуластое лицо, шапка темных волос, подстриженных в кружок, и плавная, словно у животного, походка, приобретаемая от привычки ходить босиком... Поистине это существо явилось из иного мира и так же резко отличается от толпы придворных, как молодой олень, попавший на птичий двор, от индюков, павлинов и цесарок.

Она настояла, чтобы Дофину прежде зачитали ее послание:

Я проделала сто пятьдесят лье среди рыщущих повсюду вооруженных банд, чтобы прийти к вам на выручку. Мне надо сказать вам много важного. Я сумею узнать вас среди всех.

Дворяне долго смеялись. Карл кисло улыбался. Между этой, так похожей на мальчишку, девчонкой, называющей себя посланницей Господа, и ненастоящим королем, сыном сумасшедшего рогоносца и шлюхи-королевы, начиналась странная игра в «спрячься и угадай».

— Она уверена, что узнает меня среди всех,— сказал Карл.— Что ж, согласен! Давайте испытаем ее. Пусть она войдет и среди всех собравшихся найдет Дофина!

Он встал и уступил свое украшенное лилиями кресло графу Клермонскому — тому самому, который был пленен Иоанном Неустрашимым [1] и освобожден при условии, что женится на дочери Иоанна, Агнессе.

Вот наконец и маленький паж с ясным взором.

Он ищет Дофина. Задерживается возле Клермона, затем, заметив Карла, идет к нему и опускается перед ним на колени. Как он узнал его? По тяжелому носу, по вислогубому рту, по бритому черепу, по кривым ногам? А Дофин не узнает ее. Он видит лишь юношу, стремящегося сойти за девственницу, за ясновидящую, утверждающую, что каждый день разговаривает со святыми из рая.

Однако маленький паж уже передает понемногу силу своей убежденности этому подобию короля. Одной лишь фразой он отмел все сомнения, витающие над Карлом, словно стая стервятников. *Я говорю тебе от имени Господа, что ты истинный наследник короны Франции и сын короля, и Он послал меня к тебе, чтобы отвести тебя в Реймс, где ты получишь венчание и помазание, если хочешь.* Такая убежденность не может пропасть впустую. Карл краснеет, и глаза его сияют от радости. Устами Жанны он признал себя Божьей милостью королем. Но теперь его очередь признать ее.

— Жанна из Домреми, ты называешь себя девой и посланницей Божьей,— произносит он.— Готова ли ты подвергнуться испытаниям, если я потребую их от тебя?

— Сеньор Дофин, приказывайте, Жанна повинуется,— отвечает она.

И он объясняет ей, что она так похожа на мальчика, что он хочет, чтобы ее осмотрели две почтенные матроны, присутствующие здесь: Жанна де Прейли, дама де Гокур, и Жанна де Мортемер, дама де Трев.

Бедная Жанна! Впервые она позволяет обнажить себя. Но это будет не в последний раз. В ожидании обе матроны стоят, выпятив грудь, словно

---

[1] Иоанн Неустрашимый (1371—1419) — герцог бургундский, глава проанглийской партии бургиньонов, боровшейся за власть с партией арманьяков, к которой принадлежал граф Клермонский. *(Здесь и далее — примечания переводчика, за исключением специально отмеченных примечаний автора.)*

огромные кобылицы в дорогих попонах. Их толстые пальцы, унизанные кольцами, ласкают друг друга, собираясь ощупывать девственный живот и всаднические бедра маленького пажа.

Следующее испытание — ответить на вопросы веры церковникам, клирикам и богословам, что соберутся для этого в славном городе Пуатье.

Так Жанна узнала Карла, который через нее узнал самого себя. Но чтобы в свою очередь признать Жанну, он ждет освидетельствования ее пола и ее души. Однако среди собравшихся есть один, кто узнал Жанну с первого взгляда, едва она вошла в тронный зал. Это Жиль. Да, он сразу же разглядел в ней все, что он любит, того, кого он всегда ждал: юношу, товарища по оружию и играм, и в то же время женщину, и в довершение святую в сияющем нимбе. Поистине небывалое чудо, что эти качества, такие редкие и столь малосовместимые, соединились в одном существе. И чудо это продолжается, когда он слышит слова Дофина, закрывающего аудиенцию:

— А сейчас, Жанна, я поручаю тебя своему кузену, герцогу Алансонскому, и своему преданному другу, сиру де Ре, которые позаботятся о тебе.

Отныне Дофин приказывает поселить Жанну в башне замка дю Кудрэ, приставив к ней женщин для услуг и пажа, Луи де Кута, ненамного моложе ее, ибо тогда ему было четырнадцать лет.

По утрам она присутствовала на мессе вместе с Дофином. Оставшееся время проводила вместе с Жаном и Жилем и нередко брала над ними верх в игре в мяч, в фехтовании, в метании копья и в стрельбе из лука.

Однажды, глядя, как она держится на несущейся галопом лошади, Алансон сказал де Ре:

— Не удивлюсь, если она в самом деле девственница. Никому и в голову не придет приблизиться к ней, разве только тому, кто привык иметь дело с мальчиками.

Такое предположение, казалось, оскорбило де Ре, и он живо возразил:

— Однако вы удивляете меня, кузен. Когда любят мальчиков, то и ищут себе для любви настоящего мальчика, а вовсе не чего-либо необычного. А в Жанне воистину есть нечто особенное, объясняющее, почему она девственница.

— И что же это?

— Разве вы не замечаете чистоты, излучаемой ее лицом? Всем ее телом! Плоть ее, без сомнения, целомудренна, ибо в ее присутствии невозможно даже помыслить о вольностях или непристойностях. Да, именно детская невинность и еще что-то, что я не знаю как назвать: некий свет не от мира сего.

— Может быть, небесный свет? — вопрошающе осведомился Алансон.

— Небесный — превосходно. Раз Жанна ни девушка и ни юноша, то совершенно ясно, что она ангел.

Они замолчали, наблюдая, как Жанна, улыбаясь и раскинув руки, балансирует на крупе несущегося во весь дух коня. И казалось, что она действительно парила на невидимых крыльях, в то время как конь под ней яростно бил землю своими коваными копытами.

О первых годах жизни Жиля наговорено много глупостей, его будущее переносят в прошлое и тем самым совершают общую ошибку. Зная, как он кончил, проще было представить его порочным ребенком, извращенным подростком, жестоким юношей. Нравилось измышлять приметы, возвещающие преступления зрелого возраста. При отсутствии каких-либо документов позволительно занять позицию, прямо противоположную традиционному постулату о «чудовище с самого рождения». И мы предположим, что до той роковой встречи в Шиноне Жиль де Ре был для своего времени славным парнем, не хуже и не лучше других, заурядного ума, но искренне верующим,— в тот век, когда повседневное общение с Богом, Иисусом, Девой Марией и святыми было делом обычным,— словом, его ожидала участь одного из множества грубых и неотесанных дворян-провинциалов.

Он родился в ноябре 1404 года в Черной башне крепости Шантосе, на

берегу Луары. Хозяин тех мест, Жан де Краон, его дед с материнской стороны, вел свои дела с такой алчностью и отсутствием щепетильности, что вызывал изумление даже в те суровые времена. Жилю исполняется одиннадцать лет, когда он в один год теряет отца и мать. Краон рвет завещание своего зятя, чтобы самому стать опекуном Жиля и управлять его имениями. Им владеет навязчивая идея — сочетать внука брачными узами с одним из самых больших состояний в округе. Таким образом, в тринадцать лет Жиль оказывается помолвленным с Жанной Пенель, четырехлетней сиротой, одной из самых богатых наследниц в Нормандии. Чтобы заключить эту сделку, Краону пришлось оплатить долги ее опекуна. Но парижский Парламент протестует: необходимо дождаться совершеннолетия девочки. Через два года провал другой, еще более выгодной операции, ибо речь шла о племяннице самого Иоанна V, герцога Бретани. И вот Жилю исполняется шестнадцать лет, когда его дед наконец-то с одного выстрела попадает прямо в цель. Добычу зовут Катрин де Туар, и ее владения в Пуату удачно соседствуют с землями баронства де Ре. Мало надежды, что ее отец согласится на этот союз,— в конечном счете кровосмесительный, ибо молодые люди состоят в отдаленном родстве,— но он сейчас воюет в Шампани. В конце ноября 1420 года Краон устраивает вооруженное похищение невесты. Жиля эта вылазка, скорее нелепая, нежели опасная, забавляет, равно как и ее романтические последствия: тайный брак вдали от владений супругов, пустые угрозы епископа Анже, вмешательство Римского двора, штраф, прощение, торжественное венчание в церкви Сен-Морий-де-Шалон.

Однако Жиль быстро убеждается, что ему нечего ждать от этой глупой бабы, ленивой и страдающей ожирением, не пригодной ни на охоте, ни на турнире, которая боится оружия, лошадей, дичи, всего. Он потратит девять лет, чтобы сделать ей ребенка, а потом отправит ее в замок Пузож и забудет о ее существовании. Явившись в Шинон, он находит в Жанне полную противоположность Катрин. Он видит в Деве пьянящий и опасный сплав святости и воинственности.

Ибо прибытие Жанны ко двору Дофина означает возобновление войны.

В Пуатье она чистосердечно ответила на вопросы богословов. *Наконец святые отцы пришли к заключению, что в ней не было ничего ни дьявольского, ни противного католической вере, и, принимая во внимание ту крайность, в которой находились король и королевство, ибо король и верные ему подданные пребывали в отчаянии и утратили надежду на чью-либо помощь, кроме помощи Господа, король вполне мог воспользоваться ее услугами.* Так пишет Жан Барбен, адвокат Парламента.

Итак, Жанна имеет полную свободу действий и начинает с того, что отправляет послание англичанам: пусть они убираются за Ла-Манш, возвращаются туда, откуда пришли, иначе им не поздоровится. Вот таким образом она впервые заявляет о себе перед ними. Так подтверждаются ходившие повсюду слухи о ведьме, что будто бы очаровала лжекороля из Буржа. Damn the witch! [1]

Все съезжаются в Тур, где спешно идут приготовления к сражению. Дофин собирает армию. Жанне изготовляют белые доспехи и стяг с изображением Спасителя, восседающего на небесах и благословляющего цветок лилии, который протягивает ему ангел. Ее голоса повелели ей взять старинный меч, зарытый неизвестно кем за алтарем церкви Святой Екатерины де Фьербуа. Во Фьербуа спешно посылают гонца. Он выкапывает из земли меч, заржавленный, но в превосходном состоянии.

Во всей этой суматохе, где смешались политика, подготовка к военной кампании и христианская вера в чудо, Жиль остается верным другом, сведущим и усердным. Это мужчина и профессиональный воин. Он повинуется Жанне, словно тело подчиняется душе, как она сама подчиняется своим «голосам». Иногда под вечер, когда после вечерней зори в лагере наступает

---

[1] Будь проклята эта ведьма *(англ.)*.

тишина и они остаются вдвоем, они говорят о голосах. Жиль — как Жанна, как большинство мужчин и женщин того времени,— живет в мире, где естественное спокойно уживается со сверхъестественным. Но его опыт и природная склонность рассказывают ему больше о демонах и злобных духах, чем о святых и ангелах-хранителях.

— Как и ты, я верю, что мы живем, окруженные ангелами и святыми,— говорит он ей однажды ночью.— Я также верю, что всегда найдутся дьяволы и злые феи, желающие заставить нас ступить на путь зла. Но от тебя, Жанна, я слышал, что они разговаривали с тобой и что все твои поступки вдохновлены сверхъестественными голосами, которым ты внимала.

— Что до дьяволов и злых фей,— отвечает она,— так до сих пор я их не встречала. Но кто знает, что приберегло для меня будущее!

Воспитанный в сыром полумраке крепости, Жиль с трудом пытается вообразить себе ее деревенское детство, распахнутое навстречу всем ветрам.

— Но тебе-то известно, что в глухих чащах и косматых пещерах, чьи своды заросли мочковатыми корнями, водятся карлики и лемуры, наводящие порчу,— настаивает он,— ты же бродила там со своим стадом.

И верно, Жанна вспоминает:

— Неподалеку от селения Домреми, где я родилась, растет дерево, которое называют Деревом дам. Это огромный бук, ему много сотен лет. Весной он прекрасен, как лилия, и ветви его опускаются до самой земли. Некоторые зовут его Деревом фей. Возле него есть ключ. Больные лихорадкой пьют воду из этого ключа и вылечиваются. В мае месяце девушки и парни из Домреми украшают ветви Дерева дам гирляндами. Подле ключа они расстилают скатерть и едят все вместе. Затем они играют и танцуют. Я тоже ходила туда со своими подружками, но никогда не видела и не слышала ни карликов, ни иных дьявольских тварей.

Кроткое чистосердечие ее слов завораживает Жиля, но не убеждает.

— А все-таки Дьявол и его прислужники существуют. Я чувствую иногда их легкое прикосновение, они нашептывают мне в уши жуткие вещи, которых я не понимаю, и мне страшно, что однажды я смогу их понять. Ты же тоже слышишь голоса.

— Да, в первый раз мне было тринадцать лет. И голос прозвучал летом, около полудня, в саду моего отца. Я услышала голос, который шел со стороны церкви. Сначала я очень испугалась. Но затем я узнала в нем голос ангела, голос Святого Михаила. Он сказал мне, что ко мне придут Святая Екатерина и Святая Маргарита и я должна выполнить все, что они мне скажут, потому что они будут говорить со мной по велению Господа.

— Что же приказывали тебе эти голоса?

— Сначала они велели мне быть послушной девочкой, и тогда Бог мне поможет. Затем они говорили со мной о великой скорби, охватившей Французское королевство, и наказали идти на помощь моему королю.

— Сказала ли ты хоть слово об этих видениях своему кюре?

— Нет, одному только Роберу де Бодрикуру, капитану города Вокулёр, а также моему королю. Голоса не приказывали мне молчать о них, но я очень боялась говорить из страха перед бургиньонами и также из страха перед отцом, который помешал бы моему уходу.

— Как же ты смогла, не поднимая шума, уйти из Домреми?

— Я пошла к своему дяде Дюрану Лассару, нотаблю из Дюрей-ле-Пети, что неподалеку от Вокулёра. Я сказала ему, что хочу отправиться во Францию к Дофину, чтобы помочь ему получить венчание и помазание, потому что было написано, что Францию погубит женщина [1], а спасет невинная девушка. И Дюран проводил меня к Бодрикуру.

— А что сказал капитан Бодрикур твоему дяде Дюрану?

— Добрый Робер приказал дяде надавать мне пощечин и отвести меня домой к отцу.

— Что он и сделал.

---

[1] Имеется в виду Изабелла Баварская, недостойная мать дофина Карла *(прим. автора)*.

— Что он и сделал. Но спустя шесть месяцев я снова была там, и на этот раз Бодрикур дал себя убедить. А жители Вокулёра подарили мне мужскую одежду, которую я с тех пор ношу. Еще они купили мне лошадь за двенадцать франков.

— А что же твои голоса?

— Они не покидали меня, вразумляли и ободряли.

Жиль, владелец огромного состояния, не знающий иных, чем насилие и хитрость, способов достижения целей, зачастую ничтожных, поражен, видя, как столь хрупкое и бесхитростное создание преодолевает все препятствия, заставляет всех скептиков поверить в свой грандиозный замысел.

— Итак,— заключил он,— есть Дерево фей, оно молчит, и есть голоса, идущие со стороны церкви, они наставляют тебя. Мне кажется, Жанна, что у каждого из нас есть свои голоса. Голоса злые и голоса добрые. Я всего лишь маленький бычок, родившийся в Черной башне крепости Шантосе. Меня воспитал дед, Жан де Краон, знатный вельможа и в то же время настоящий разбойник с большой дороги. Голоса, которые я слышал в детстве и юности, всегда были голосами зла и греха. Жанна, ты явилась спасти не только Дофина Карла и его королевство. Спаси юного сеньора Жиля де Ре! Сделай так, чтобы он услышал твой голос. Жанна, я не хочу расставаться с тобой. Ты святая, Жанна, так сделай святым и меня!

И началась война.

В пятницу 29 апреля 1429 года Жиль и Жанна вступают в Орлеан, встречаемые неистовствующей толпой «со множеством факелов и ликующей так, словно все эти люди увидели Господа, сошедшего к ним с небес», пишет очевидец.

В среду 11 мая они возвращаются в Лош к Дофину, дабы официально объявить об освобождении Орлеана и убедить его отправиться в Реймс получить помазание. В субботу 18 июня англичане разбиты при Пате и их командир Джон Талбот взят в плен. Осер, Труа и Шалон присоединяются к Дофину и посылают людей сопровождать его и почтить его помазание.

Собор Богоматери в Реймсе — колыбель французской монархии. Святой Сосуд, содержащий неисчерпаемый елей, хранится в церкви Святого Реми. Сам Реми получил его в 496 году от птицы, спустившейся с небес, чтобы совершить помазание Хлодвига, первого христианского короля [1]. Чести доставить Сосуд в согласии с тысячелетним ритуалом удостаивается Жиль де Ре. Церемония происходит 17 июля 1429 года. Жанна стоит по правую сторону от Дофина, Жиль — по левую. Будущий король преклоняет колена на ступенях алтаря. Ему подобало бы находиться в окружении 12 пэров королевства, но иные отсутствуют, иные изменили ему. Вот, к примеру, герцог Алансонский заменяет герцога Бургундского, принявшего сторону англичан. Архиепископ священнодействует. Дева гордо держит свой стяг. Алансон посвящает Дофина в рыцари. Архиепископ совершает помазание и коронует нового короля. Тут Жанна бросается к ногам Карла, обнимает его колени и прерывающимся голосом произносит: «Любезный король, вот и свершилась воля Господа, который хотел, чтобы ты отправился в Реймс и получил там корону, дабы все узнали, что ты и есть единственный настоящий король».

Но следом за торжествами идут сплошные неудачи, поражения и паскудства. Несмотря на горячий прием, оказываемый добрым народом своему королю всюду, где бы тот ни проезжал, Карл не слушает уговоров Жанны, призывающей его выступить на Париж, и снова погружается в привычное для себя состояние апатии. Дипломатическая болтовня позволяет тянуть время, все ожидают сентября, чтобы наконец начать наступление на столицу королевства. В конце концов седьмого числа двенадцать тысяч арманьяков под командованием Жиля и Жанны, с тачками и телегами,

[1] Французские короли, начиная с Филиппа Августа (1179) и до Карла X (1825), были помазаны в Реймсе. Имеется три исключения: Генрих IV, помазанный в Шартре; Наполеон, помазанный в Париже, и Людовик XVIII, который вообще не был помазан *(прим. автора)*.

груженными вязанками хвороста и фашинами, предназначенными для заполнения рвов, атакуют ворота Сент-Оноре и Сен-Дени. Жанна требует, чтобы осажденные сдались:

— Во имя Иисуса, сдавайтесь нам побыстрее и покоритесь королю Карлу!

С высоты укреплений ей отвечают градом снарядов и потоком брани:

— Развратница, скотница, бесстыдница! Если бы арманьяки были мужчинами, ты бы не болтала повсюду о своей девственности!

Прошли первый, сухой ров. Второй ров необычайно широк, пятьдесят футов, и весь наполнен поднявшимися водами Сены. Жанна первой оказывается на краю рва. Она ступает в воду, пробуя дно древком знамени, чтобы определить, где лучше переправиться. Если потребуется, туда можно будет столкнуть повозки с хворостом. Те, кто наводит переправу, делают свое дело, осыпаемые дождем стрел и дротиков. Неожиданно в ногу знаменосца Жанны впивается короткая стрела. Подняв забрало, он наклоняется к ране. И, получив вторую стрелу прямо в лоб, падает навзничь. Жанна подхватывает стяг, но она также ранена чуть выше колена. Несмотря на отчаянные протесты девушки, сир де Гокур уводит ее. Она не желает уходить с поля боя:

— Надо было идти вперед и перебраться через рвы! Париж был бы наш.

Гокур сообщает ей, что Алансон и Клермон выбиты со свиного рынка, где они поначалу завладели ситуацией. Ей самой придется позаботиться о своей ране. Солнце клонится к закату. Завтра бой возобновится.

— Завтра, опять завтра! Вот уже который месяц мы ждем завтра. Но я-то знаю, что должна все делать быстро. Дни мои сочтены. Мне остался один год, не больше.

Вытянувшись на походной кровати в своей палатке, она даже не смотрит на раненую ногу, на эту гадкую рану, откуда ей на колено бежит струйка крови. Она лишь жалеет о потерянном дне:

— Отступить, когда все было за нас! Город был бы уже взят.

Палатку заполняют любопытные и хирурги, все готовы ухаживать за ней. Она гневно отталкивает их:

— Уходите! Уходите все! Для выздоровления мне не надо ни мазей, ни жира сурка, ни териака. Господь и его святые позаботятся о моей ране.

Врачи покинули палатку. Однако один человек остался сидеть на высоком барабане ландскнехта. Это Жиль. Наступает долгая тишина. Наконец он нарушает ее.

— Ты все еще в пылу сражения,— говорит он.— Ты не чувствуешь своей раны. Но уже через час тебе понадобится все твое самообладание. Ты будешь мучиться. Станешь мучиться всю ночь.

— Я буду мучиться, если того пожелает Господь. Радость и страдание исходят только от Бога. Что ты здесь делаешь?

Жиль смотрит на нее и неопределенно улыбается.

— Смотрю на тебя. Подле тебя я согреваю свое сердце.

— Ты принимаешь меня за жаровню?

— В тебе есть огонь. Наверное, он от Бога, но, может быть, и от Дьявола. Добро и зло всегда рядом. Из всех тварей Люцифер был больше всех похож на Господа.

— Мне кажется, что ты слишком много рассуждаешь для обыкновенного рыцаря. Однако твои товарищи считают, что у тебя ума не больше, чем у бычка-двухлетка.

— Это правда. У меня в голове никогда не бывает больше одной мысли. Я не книжник и не философ, я даже с трудом пишу и читаю. Но после твоего появления в Шиноне двадцать пятого февраля этого года единственная мысль, удерживаемая моей бедной головой, зовется Жанна.

Внезапно Жанна испытующе смотрит на него.

— Не пытайся ухаживать за мной, молодой бычок. Жанна не из тех, кому наемники задирают юбки где попало!

Жиль встал и опустился перед ней на колени.

— Не бойся, Жанна. Я люблю тебя за то, что ты такая. Орлеанская дева. Девушка-мальчик, вызволившая Францию и добившаяся помазания короля. Добрый товарищ по оружию, мчавшийся на врага вместе со мной под Пате. Эх! Ну и наподдали мы тогда этим годонам [1]!

При этом напоминании Жанна не может сдержать улыбку.

— Но больше всего я люблю тебя за чистоту, чистоту, которую ничто не может омрачить.

Опустив голову, он видит ее рану.

— Дозволишь ли ты мне единственный раз поцеловать тебя? — Он наклоняется и надолго прижимается губами к ране Жанны.

Затем, выпрямившись, облизывает губы.

— Я причастился твоей крови. Навеки соединился с тобой. Отныне, куда бы ты ни шла, я последую за тобой. На небо или в преисподнюю!

Жанна вздрагивает и встает.

— Прежде чем отправляться на небо, я хочу двинуться на Париж!

Словно в ответ на ее слова в палатку врывается офицер.

— Король приказал сообщить вам, что сыграли отбой. Свита короля покинула Монмартрские холмы и отступила в Сен-Дени. Завтра они отойдут к берегам Луары.

Жанна не хочет верить своим ушам.

— По наведенной переправе мы на рассвете можем начать наступление ниже острова Сен-Дени. У Монморанси там есть свои люди. Мы на блюдечке преподнесем королю Франции его столицу!

Но это всего лишь мечты. Офицер извещает Жанну, что через два часа переправы не станет. Ее разбирают по приказу короля.

Жанна удрученно молчит. Увы, вот уже полгода, как она знает своего государя, его отступничество, его маленькие измены, которые, накапливаясь, все больше и больше походят на самое настоящее предательство.

— Боже мой,— вздыхает она,— ну почему Карл так упорно стремится воротиться в свою затхлую дыру!

Жиль, впрочем, едва ли расслышал эти плачевные новости. Ни Париж, ни слава короля Франции его не волнуют.— Я последую за тобой везде, Жанна,— повторяет он,— на небо и в преисподнюю!

И настала осень, а потом зима. Жанна, знающая, что ей дан только год — и не больше,— томится от тоски при ничтожном дворе, витающем в эмпиреях. Ее разлучают с Алансоном, отправленным в Нормандию. Жиль таинственно исчезает. Жанна следует за двором из одного замка в другой: в Бурж, Сюлли, Монфокон-ан-Берри. Пытаясь обмануть себя, она находит выход для обуревающей ее жажды деятельности, осаждая Сен-Пьер-ле-Мутье, а затем Ла-Шарите-сюр-Луар. В первом случае — успех, во втором — поражение. Король осыпает ее милостями. Он дает ей деньги, возводит в дворянство, освобождает от налогов жителей Грё и Домреми. И наконец, трагедия в Компьене.

Она вступила в этот город 23 мая 1430 года в сопровождении трех-четырех сотен бойцов, намереваясь дать бой герцогу Бургундскому, готовящемуся напасть на нее. Утром 24-го ей сообщают, что возле городских стен завязалась потасовка. Жанна бросается в самую гущу и пускается в погоню за обратившимся в бегство отрядом бургиньонов. Она не слушает своих людей, умоляющих ее не рисковать и не рваться в глубь вражеской территории. Когда она наконец поворачивает назад, уже слишком поздно. Пути к отступлению отрезаны. Она яростно бьется, прорываясь к подъемному мосту. Капитан городка, Гийом де Флави, видя превосходящие силы приближающихся бургиньонов и англичан, отдает приказ поднять мост и закрыть ворота. Какой-то лучник хватает Жанну за плащ из золотой парчи и сбрасывает ее с коня. Блистательная авантюра окончена. Она продолжалась менее полутора лет. Начинается крестный путь: слезы, грязь и кровь, конец которым кладет костер в Руане, в среду 30 мая 1431 года.

[1] От англ. Goddamn — проклятие. Годонами французы называли английских завоевателей.

Тем временем Жиль удалился в свои вандейские поместья. Ему наплевать, что, признавая его заслуги, король наградил его жезлом маршала Франции. Ни политика, ни война его не трогают. Его интересует только его собственный неведомый путь, начавшийся в день его встречи с Жанной. Однако после поражения под Парижем состоянию благодати, в котором жила Жанна и которое она разделила с ним, похоже, пришел конец. Злая мука терзает его, ведь теперь он неразрывно связан с ней и, если понадобится, последует за ней в преисподнюю. Пока же он тешит свою тоску, поступая, как король, как большинство сеньоров того времени: в сопровождении многочисленной свиты он переезжает из замка в замок. Землепашцы и дровосеки с изумлением взирают на пышный кортеж, сплошь из офицеров и прелатов, за которым следует караван внушительного вида повозок. Нет, это не отряд, идущий на войну. Это всего лишь сеньор де Ре в сопровождении свиты и домашнего скарба переезжает из Шантосе в Машкуль и из Тиффожа в Пузож. Владения сира де Ре столь обширны, а замки столь многочисленны, что он может путешествовать от одного к другому очень долго, уверенный, что еще не скоро вернется туда, откуда начал свой путь.

Но однажды переезды прекращаются. Молва, передаваемая из уст в уста, долетела из Компьеня в Вандею и впилась в возбужденный мозг Жиля. Перед глазами возникла картина: Жанна сброшена с коня каким-то лучником, вцепившимся в ее шелковый плащ. На поверженную Жанну накидывается свора бургиньонов.

Жиль не может больше оставаться вне игры. Где сейчас находится французский двор? В Сюлли-сюр-Луар, в замке Жоржа де ля Тремуйя, который, будучи в большой милости у Карла, всегда завидовал славе Жанны. Жиль устремляется туда, но сначала испрашивает аудиенции у Иоланды Арагонской, тещи короля. Это настоящая знатная дама. С маршалом Франции, осмелившимся предпочесть унылое одиночество своих песчаных равнин придворным интригам, она разговаривает с игривой непринужденностью. Кокетничает.

— Сеньор де Ре! Какая приятная неожиданность! Вас не видно уже больше года. Как раз вчера вечером мы говорили о вас. Решили, что вы скрываетесь в одном из ваших лесов, словно кабан. Что же вы делали все это время? И что вытащило вас из вашей норы?

— Сударыня,— отвечает Жиль,— меня вытащили из норы плохие известия о Жанне.

«Ну вот мы и добрались до сути,— думает Иоланда.— Ох, уж эта мне неотесанная парочка!»

— Бедная маленькая Жанна! — громко вздыхает она.

— В Руане против нее начали гнусный процесс и сделали все, чтобы ее погубить.

— Этот несчастный поход на Компьень! — сокрушается теща короля.— Но вы же знаете, Жанна затеяла его без приказа Карла, с людьми, которых она сама набрала. Карл больше не хотел доверять ей командование. Посудите сами, маршал де Ре, какая-то пастушка, выполняющая волю небесных голосов!

— Однако именно по зову этих голосов она освободила Орлеан и помазала Карла в Реймсе,— решительно и абсолютно бестактно напоминает Жиль.

— Конечно, конечно, но политика не может основываться на чудесах. Под Парижем Жанна потерпела поражение. Слушая свои голоса, она не слышала ни советов, ни приказов. Помните, она сказала, что надо быстрее приступать к делу, потому что ей отведен всего лишь год. Что ж, год истек!

— Сударыня, когда Карл был помазан в Реймсе, Жанна стояла по правую сторону от него. Я был по левую. Теперь Жанна пленница англичан, жаждущих ее смерти. Я приехал спросить короля, что он намеревается сделать для ее спасения.

Иоланда очень раздосадована. Решительно, в мирное время военачальники особенно несносны! А этому маршалу лучше бы вообще не выбираться из своих вандейских лесов.

— Карл очень занят,— ворчит она.— Боюсь, как бы не пришлось разочаровать вас...

Он упорствует, настаивает:

— У меня есть деньги, люди, кони. А главное, я действительно хочу спасти Жанну.

Иоланда огорченно вздыхает:

— Жанна сама себя приговорила. Вам придется нелегко!

Следующая сцена показывает нам Жиля у короля. Он нашел юридическое обоснование, которое, видимо, считает неоспоримым:

— Сир, Жанна осуждена Пьером Кошоном, епископом Бове. Епископ Бове подчиняется архиепископу Реймскому, а именно вашему советнику монсеньору Реньо. В силу своих прав монсеньор Реньо должен потребовать от подчиненного ему Кошона передачи материалов дела.

В ответ — неопределенный жест Карла, смотрящего в окно и ласкающего белую левретку.

В отчаянии Жиль спускается по замковой лестнице. Он во дворе. Ему подводят коня. Он готов вскочить на него, как вдруг замечает одинокого старого солдата. Жиль вглядывается в его лицо. Какая радость! Это Лаир, его старый товарищ. Они крепко обнимаются.

— Куда держит путь маршал? — спрашивает Лаир.

— Маршал возвращается к себе в нору,— отвечает Жиль.— Здесь нет ни одной живой души, слышишь, ни одной!

— Ни одной?

— Ни одной, готовой помочь мне вызволить Жанну из рук англичан. Я просил королеву-мать: уши не слышат, взоры блуждают, уста лгут. Никого!

— Никого? Ну а я?

— Ты?

— Да, я, маршал! Поехали вместе. Жанна не удивится, увидев вместе своего доброго товарища Жиля и своего старого Лаира. «Наконец-то, вот и вы! — скажет она.— Я ждала вас. Вы, может быть, еще и развлекались по дороге?»

Жиль ведет неожиданного союзника в таверну.

— Нет, нет, мы не станем развлекаться по дороге,— говорит он.— Годоны захватили всю Нормандию. Мы не можем напасть на них в лоб. Надо действовать хитростью. Просочиться через их оборону с горсточкой преданных людей.

Лаир предлагает две роты бывалых солдат. Сам он в декабре 1429 года отобрал у англичан Лувье. Городок остался за французами, его там знают, любят. Оттуда они и двинутся на Руан.

Весна 1431 года была одной из самых холодных и влажных, как записано в хронике. Маленькое войско де Ре и Лаира медленно продвигается по деревням, опустошенным войной и чужеземными захватчиками. Куда ни глянь — разрушенные дома, трупы лошадей, летает воронье. Временами приходится прятаться, пропуская английский отряд. Когда враг не слишком многочислен, они нападают на него, но тогда потери неизбежны и — невосполнимы. Хотя несколько стычек и были удачны, отряд де Ре и Лаира поредел. И вот перед ними Руан, подступы к которому надежно охраняются. Надо рассредоточиться, действовать скрытно, переодевшись. С одним лишь спутником Жилю удается проникнуть в город. Медлить более нельзя: прошел слух, что Жанна, приговоренная к сожжению на костре, будет казнена на этой неделе. Израненному и оборванному Жилю не приходится переодеваться, чтобы сойти за бродягу. Затерявшись в толпе, с сердцем, раздираемым ненавистью и горем, он присутствует при приготовлениях к казни. На вершине столба, возвышающегося среди вязанок хвороста, он различает табличку, перечисляющую шестнадцать статей обвинения, выдвинутого против Жанны: *Жанна, назвавшаяся Девой, лгунья, злоумышленница, самозванка, колдунья, богохульница, лжепророчица, гордячка, нечестивица, хвастунья, идолопоклонница, изуверка, распутница,*

одержимая дьяволом, вероотступница, раскольница, еретичка. Смеха ради ее увенчали картонной митрой, которая все время падает ей на лицо. Костер слишком высок, и палач не может задушить ее с первыми языками пламени, как он это имеет обыкновение делать из христианского милосердия. Так что Жанна будет терпеть нечеловеческие мучения до самого конца. Как только первые языки пламени дотягиваются до нее, она кричит: «Иисус! Иисус! Иисус!» — и этот крик не умолкает до самого последнего вздоха, искаженный страданием и агонией. Когда все кончено, бальи [1] приказывает палачу показать тело, дабы никто не усомнился. И все видят, как в клочьях дыма со столба свисает несчастная дохлятина, наполовину обуглившаяся, с лысым черепом, с вытекшим глазом, с головой, болтающейся над вздувшимся туловищем; а над городом плывет тяжелый запах горелого мяса.

Потрясенный Жиль убегает. Он мчится по улочкам, перелезает через стены, перепрыгивает через ямы, ковыляет по полям. Падает, поднимается, раздирает лицо о кусты ежевики, тащится по колдобинам, бежит дальше, и в его голове неумолчно гудит дьявольская литания обвинений, выдвинутых против Жанны, прерываемая воплями казненной: «Иисус! Иисус! Иисус!..»

Он падает, зарывшись лицом в черную землю. И лежит там, словно мертвый, до первых лучей зари. Тогда он поднимается. Но всякий, увидевший его, понял бы, что в нем что-то изменилось, и лицо его стало лицом лжеца, кровопийцы, богохульника, распутника, дьяволопоклонника. Но это еще не все. Побежденный, раздавленный, он три года скрывается в своих вандейских замках. Превращается в гусеницу, укрывающуюся в собственном коконе. Но вот злокачественное перевоплощение свершилось, он отбрасывает бесполезную оболочку, и вскоре ангел, порожденный адом, расправит свои крылья.

Смерть Жана де Краона, дедушки и опекуна Жиля, случившаяся в Шантосе 15 ноября 1432 года, сделала внука наследником огромного состояния и открыла перед ним полную свободу действий. Отношения между стариком и мальчиком были сложными, ибо долгое время старый разбойник видел в своем наследнике излишне робкого ученика, а когда наконец разглядел, какая бездна неумолимо влечет к себе душу молодого человека, понял, что по сравнению с ним сам он выглядит довольно бледно. Тем не менее он решил воспользоваться властью, на которую дает право предсмертное ложе, и высказать свое последнее напутствие.

— Сейчас ты обязан выслушать меня,— сказал он Жилю,— ибо я скоро уйду навсегда.

— Я слушал вас все детство и всю юность,— ответил тот,— и не уверен, что вы всегда были для меня хорошим советчиком.

— Не будь неблагодарным. Конечно, я был настойчив, сколачивая свое состояние...

— Настойчив, жесток, коварен и совершенно бессовестен,— добавил Жиль.

— ...свое собственное состояние,— повторил Краон, не давая себя смутить.— Но раз ты являешься моим единственным наследником, это состояние также и твое. Сейчас ты очень богат, мой внук. После моей смерти ты будешь несметно богат. Ты станешь хозяином Блезона, Шемийе, Ла Мот-Ашара, Амбриера, Сент-Обен-де-Фос-Лувена, владений, доставшихся тебе от отца. По материнской линии ты унаследуешь Бриоле, Шантосе, Энгранд, Ла Бенат, Ле Лору-Ботро, Сенеше, Бурнеф и Ла Вульт. Наконец, благодаря женитьбе на наследнице Туаров, на которой настоял именно я, у тебя есть Тиффож, Пузож, Шабанэ, Гонфоланк, Савенэ, Ламбер, Грес-сюр-Мэн и Шатоморан. Поистине, внучек, ты стал одним из самых богатых сеньоров.

Жиль не слушал его скучных перечислений.

---

[1] Королевский судебный чиновник в средневековой Франции.

— Вы прекрасно знаете, что хозяина из меня не выйдет,— сказал он.

— Зато ты умеешь тратить лучше чем кто-либо. Но ведь это в порядке вещей, не так ли? Внуки проматывают накопленное дедами.

— Вы, кажется, забыли,— напомнил Жиль,— что я служил иному господину, нежели вы, точнее, другой госпоже, не знаю, как правильнее сказать.

Краон же, напротив, прекрасно знал:

— Ты говоришь о девке-парне, прозванной Девой, что была осуждена Церковью и сожжена в прошлом году в Руане? Ты всегда заводил скверные знакомства!

На рассуждения деда, перечислившего его владения, Жиль отвечал длинным речитативом о двуликой Жанне:

— Жанна святая, Жанна непорочная, Жанна победоносная со стягом Святого Михаила! Жанна — чудовище в облике женщины, приговоренная к костру за колдовство, ересь, раскол, изменение пола, богохульство и вероотступничество,— произносил он словно вызубренный урок.

— И ты, чудак, болтаешься между небом и преисподней. Как бы мне хотелось иметь наследником какого-нибудь бравого вояку, пьяницу и насильника, безмозглого, как свинья!

— Я поклялся последовать за ней, куда бы она ни шла, на небо или в ад.

— Вот она и отправилась на костер для колдунов! Ты пугаешь меня, внучек, да хранит тебя Господь от избытка святости. Что до меня, то, конечно, меня можно упрекнуть в том, что я был неразборчив в выборе средств, умножая свое состояние, но я убивал лишь тогда, когда того требовали мои личные интересы. А эти святоши убивают без всякой корысти! Думаешь, они остановятся? Алчность в тысячу раз менее губительна, чем фанатизм. И получается, что моя алчность скоро поставит огромные средства на службу твоему фанатизму. Я с ужасом спрашиваю себя, что из этого может получиться!

Первыми ответ на этот вопрос получили вилланы из поместья Машкуль-ан-Ре. Жиль основал там коллегиальную церковь, посвятив ее невинно убиенным младенцам. Ничто не казалось ему ни излишне вычурным, ни слишком дорогим, чтобы почтить маленьких мальчиков, убитых по приказу царя Ирода. Восемьдесят человек: настоятель, певчие, архидиаконы, викарии, богословы, казначеи, коадьюторы — получали превосходное содержание, отправляя службы за упокой младенцев. Убранство и сокровищница церкви могли посоперничать с любым собором. Церемонии и процессии, шествовавшие по деревням, отличались помпезностью, ошеломлявшей очевидцев. Золото, пурпур, беличий мех, шелк, кружева, парча были достойной оправой для дароносиц, подсвечников и епископских посохов, вздымавшихся над головами. Каноники были в своих высоких шапках, певчие надевали островерхие колпаки, и даже лошади, покрытые роскошными попонами, словно прелаты, расточали вокруг себя запах фимиама.

Но особое внимание хозяин здешних мест уделял церковному хору. Исходя из личных пристрастий, а также потому, что лучше всего почтить ангелочков, вознесшихся после резни в Вифлееме, могут своими чудными голосами певцы, не достигшие половой зрелости, Жиль неустанно выискивал юных певчих для своей церкви и проверял их голоса и прочие стати. Действительно, мало было иметь чудный голос, требовалось, чтобы при божественном голосе они были столь же прекрасны и лицом, и телом. От песнопений же, которые их заставляли разучивать, Жиль хотел только одного: чтобы они брали его за душу. Разве это так уж много, когда речь идет о том, чтобы помянуть грандиозную бойню младенцев, родившихся одновременно с Иисусом?

Это было еще не все. Некоему весьма известному художнику он приказал расписать стены часовни фресками, воспроизводящими сей кровавый эпизод из Евангелия от Матфея. Мастер не поступился ни единой мелочью, и его работа была тем более выразительна, что, согласно сакральной

традиции того времени, он одел персонажей так, как одевались его современники: мужчины, солдаты, женщины и дети,— и поместил их в селение, которое, конечно, изображало Вифлеем, но где каждый мог узнать дома из коммуны Машкуля. Таким образом, вилланы, рискнувшие зайти в часовню, запросто могли поверить, что на стенах нарисованы они сами, и не только они, но и солдаты из замка, и даже их сеньор де Ре в облике жестокого царя иудеев. И пронзительные голоса маленьких певчих волновали Жиля особенно глубоко, когда он смотрел на ангельские личики этих детей, светящиеся на фоне страшной картины кровавой бойни. Не в силах удержать слезы, он рыдал от нахлынувших чувств, уперевшись головой в колонну, взывая со стоном: «Смилуйся, смилуйся, смилуйся!»

И так как жалость, охватывавшая его в эти минуты, стала просто непереносимой, у него зародились сомнения, и однажды он сообщил о них своему исповеднику, преподобному отцу Эсташу Бланше.

— Отец мой,— обратился он к нему,— является ли жалость христианским чувством?

Бланше был человек прямодушный и искренне верил, что на все вопросы веры и морали существует простой и ясный ответ.

— Разумеется, разумеется, сын мой, ведь жалость — сестра милосердия, а оно, как известно, состоит в ближайшем родстве с любовью к ближнему.

Жиль осушил слезы и на минуту задумался.

— Сестра милосердия и ближайшая родственница любви к ближнему, согласен, и все же это совершенно особое чувство. Жалость, которую испытываю я, это...

Бланше рванулся на помощь своему духовному сыну, собравшемуся, по-видимому, признаться в наболевшем:

— Смелее, сын мой, доверьтесь во всем вашему исповеднику и вашей Святой Матери Церкви.

— Пожалуй, в чувстве жалости меня смущает то, что оно пробуждает во мне безграничное сладострастие.

При этих словах Бланше почувствовал, что теряет почву под ногами.

— Безграничное сладострастие? Объясните же, сын мой!

— Мне жалко малышей, которых убивают. Я плачу при виде их нежных, трепещущих тел. И в то же время испытываю несравненное удовольствие! Страдающий ребенок — что может быть более трогательным? Как прекрасно маленькое окровавленное тельце, хрипящее и корчащееся в предсмертных судорогах!

И Бланше действительно не знал, что ответить, когда Жиль, схватив его за руку, нагнулся к нему, словно чтобы поведать важный секрет, и спросил:

— Так как же, отец мой, жалость дана нам Богом или Дьяволом?

Двусмысленно, временами просто рискованно положение исповедника! Он всего лишь толмач, переложитель слова Господа перед лицом кающегося. Уши его, внемлющие откровениям грешников, наделены особым слухом. Обязанность сохранять в глубочайшей тайне услышанное — вопреки давлению, соблазну, угрозам и посулам, даже пыткам — также порождена сим двойственным положением. Как только исповедник выходит из исповедальни, как только он снимает свою епитрахиль, он становится обыкновенным человеком, бедным грешным человеком, как все остальные. А ему не только нельзя предать огласке только что услышанное, но вовсе следует о нем забыть, встречаясь со своими подопечными в обыденной жизни, где те вновь становятся его добрыми приятелями, слугами или господами. Но все же, все же... уши его — плоть его, они услышали и запомнили!

Признание Жиля при сопоставлении с кое-какими слухами и некоторыми мельком увиденными сценами вполне могло бы все разъяснить исповеднику. Но Эсташ Бланше отказывался соотносить то, что он слышал на исповеди, с тем, что доносили до него мутные волны мирской жизни.

К тому же он чувствовал, что, признай он ужасную истину, неотступно витающую вокруг него, ему непременно придется что-то решать, так что он предпочитал как можно дольше — но сколько дней это еще продлится? — исполнять, зябко поеживаясь, привычные обязанности раздатчика милостыни и домового священника.

Все началось с маленьких певчих, которых надо было найти и отобрать для церковноприходской школы пения. Мало-помалу Жиль так пристрастился к подобного рода поискам, что продолжал их сверх церковных потребностей, сверх всяческой меры, доходя до того, что отказывал себе в охотничьих утехах — а ведь некогда они занимали основное место в его жизни,— дабы загонять лишь одну, избранную дичь, столь необычную и столь восхитительную. А так как он был неутомим и служили ему столь же неутомимо, то вскоре вокруг него составилась группа загонщиков и выжлятников, рыскавших по лесам и полям. Из уст в уста передавались невероятные истории. Мрачные и жестокие сцены становились частью народных преданий.

Например, рассказывали, как на фоне грозового неба возникает черный силуэт всадника, мчащегося во весь опор по лугам и лесам. Он пересекает деревушку: обитатели спасаются и запираются в своих жилищах. Какая-то женщина стремительно бежит за мальчуганом, хватает его и уносит в дом. Всадник закутан в широкий плащ, полы его развеваются вокруг лошадиного крупа. Со звонким топотом он проносится по подъемному мосту замка. И вот он, расставив ноги, уже застыл на пороге оружейного зала. Раздается голос сеньора:

— И где же?

Всадник распахивает плащ. В него вцепился ребенок. Он падает на землю, неловко пытается подняться.

— Браво! — раздается голос.

Или вот еще: сеньор и его свита медленно едут через убогую деревню. Изумленные крестьяне таращатся на них. Крестьянам швыряют горсть монет, и они дерутся, подбирая их. Некоторые подходят поцеловать руку или ногу Жиля. Отряд едет мимо стайки ребятишек, копошащихся в пыли. Жиль плотоядно смотрит на детей, придерживает коня. Делает знак своему слуге Пуату. Концом кнута указывает ему на одного из мальчиков:

— Этого!

Пуату переспрашивает:

— Этого белокурого, с мячиком?

Жиль выражает нетерпение:

— Да нет же, дурак, того рыжего бездельника!

На следующий день в деревне видят всадника, дающего деньги вилланам. Рыжий малыш здесь, со своим узелком, необычайно счастливый оттого, что уезжает. Ребенку помогают забраться на круп лошади, и та пускается с места в галоп. Мать с плачем крестится. Отец пересчитывает деньги.

Поговаривали также о некоей колдунье по имени Перрин Мартен. Но ее прозвали Ла Меффрей (наводящая страх). Проходя по деревне, она, словно зверька, манила ребенка сдобной булкой или куском сала, завлекая его в безлюдное место. Там мальчугана поджидала засада, его связывали, затыкали рот, заталкивали в мешок и увозили.

Однажды случилось, что малец не захотел, чтобы его увезли, да вдобавок у него были быстрые ноги. Когда родители продали его людям Жиля, он сбежал из отцовского дома. Его ищут, но тщетно. Разъяренный и разочарованный, Жиль бросается в погоню со сворой собак. Какое упоение — вернуться к прежним охотничьим забавам, но загнать уже не зверя, а человека! Впрочем, все происходит как в классической травле, собаки поднимают добычу в ее логове, гонят в сеть, она петляет, собаки бегут по ее следам, и вот уже от подножия бука, в ветвях которого притаился ребенок, разносится заливистый лай.

Самая страшная из этих историй, рассказываемых вполголоса, позднее вошла в сокровищницу французских волшебных сказок.

Начинается она в жалкой хижине семьи дровосека. Внутри копошатся семеро детей: три пары близнецов и малыш-последыш, такой хилый, что ему даже имени нет, кличут просто Мальчик. Печать скотской тупости, налагаемая нищетой на тех, кто не свят, лежит на лицах родителей. Торчащий живот жены обтянут засаленным передником. Муж с усмешкой ласкает это брюхо:

— Уж я-то тебя знаю, небось опять готова состряпать нам парочку щенков!

Жена отпихивает его:

— Тогда вместе с этими станет девять. А ты разоряйся больше, скажи еще, что ты вообще здесь ни при чем.

В ответ раздается самодовольный смешок самца:

— Тебя только облапишь, а ты уж и понесла, новая парочка сосунков.

— Да, а ты попробуй потом всех прокормить,— напоминает жена.

— Эти уже большие. Пусть сами о себе заботятся.

— Мальчику шесть стукнуло.

— Господь Бог, что послал их нам, обязан похлопотать за них. Или же пусть забирает их обратно!

— Эй, ты, оставь Боженьку в покое!

Вскоре вся семья отправляется промышлять в лес. Мелкое и крупное зверье, замершее в тревоге, наблюдает за ними из-за кустов и деревьев. Тропка вьется, петляет. Вот наконец и небольшая поляна. Привыкнув обходиться в лесу без слов, отец с хриплым ворчанием раздает корзиночки, а заодно и оплеухи тем, кто осмелился заявить, что уже устал. Затем дети расходятся в разные стороны собирать грибы и чернику. Когда последний ребенок исчез из виду, мужчина делает знак матери, которая отвечает ему протестующим жестом. Он властно берет ее под руку и уводит с собой. Через некоторое время дети возвращаются на поляну. Они смертельно устали и голодны. Страшно, отовсюду доносятся крики лесного зверья — сов, лис, волков. Они сбиваются в кучу у подножия огромного дерева. Самым храбрым оказывается Мальчик. Он оглядывается в поисках тропинки.

— Я залезу на дерево,— говорит он наконец.— Помогите мне. Сверху я, может быть, увижу свет.

Братья помогают ему вскарабкаться по стволу. Скоро глаза его, привыкнув к сумеркам, видят перед собой бескрайний лес, верхушки которого кудрявятся словно стадо баранов. Однако далеко-далеко на горизонте он замечает черный массивный силуэт крепости. Одинокое окошко отбрасывает красноватые блики света. Это замок Тиффож. Мальчик кубарем скатывается с дерева.

— Мы спасены,— заявляет он,— там стоит огромный замок, а в нем свет. Пошли!

Дети, следуя за Мальчиком, углубляются в лес. Скоро они выходят к воротам замка. Стучатся в маленькую дверцу. Она отворяется словно по волшебству. Ребятишки входят гуськом. Дверь за ними затворяется.

Спустя некоторое время Бланше ощутил некое беспокойство, ибо весь его дом приходского священника заполнил разлившийся в атмосфере запах горелой плоти. Он вышел и увидел, как клубы черного дыма, исторгаемого трубой самого большого в замке камина, стелются над хозяйственными постройками, принесенные весьма редким в этих краях восточным ветром. Зловоние, исходящее от обуглившегося мяса, столь определенно подтверждало его опасения, что он решил без промедления пойти к Жилю и потребовать у него объяснений. Он долго искал его в покоях и огромных залах замка. Ему пришлось забраться на маленькую террасу, расположенную рядом с лиходейским камином. Жиль был там. В жутком возбуждении, он походил на человека, одержимого мрачной навязчивой идеей.

Как только он заметил Бланше, он бросился к нему и схватил его за плечи.

— Отче, отче, откуда этот запах? Что это за запах? — вопрошал он,

тормоша священника.— Конечно, вам-то он ничего не напоминает. Вас не было в Руане. Но скажите же, так пахнут дрова или святость?

Затем он закрыл глаза и изменившимся до неузнаваемости голосом, сорвавшимся в рыдания, принялся повторять:

— Иисус! Иисус! Иисус! Иисус!

На следующий день Бланше, погрузив дорожный скарб на трех мулов и взяв с собой слугу, пустился в путь. Поручение, доверенное ему Жилем после той бредовой ночи, явилось для него облегчением. Очень далеко на юге, а именно в Тоскане, по слухам, творились настоящие чудеса. Ученые, художники, философы сумели объединить свои усилия и знания, дабы приблизить новый золотой век, который вскоре установится для всего человечества. Так пусть же Бланше на месте порасспросит об этих новшествах! А может, он сумел бы привезти в Вандею вещь, мысль или даже человека, способного отвлечь сеньора де Ре от его черных фантазий?

Бывший скромный семинарист из Сен-Мало был ослеплен и шокирован тем, что ему довелось увидеть в знаменитой Тоскане середины пятнадцатого века. Без сомнения, он представлял себе, что значит богатство. Сир де Ре, от имени которого он четыре года раздавал милостыню, был одним из самых богатых сеньоров Французского королевства. Но вандейский край отличался неслыханной, вопиющей бедностью, ибо было очевидно, что сеньор бесстыдно выжимал из него все до капли, дабы кормить свою дьявольскую свиту. Совсем иначе выглядела Флоренция в тот, 1439 год. Там богатыми слыло бессчетное множество людей, даже простой народ чуть ли не жонглировал флоринами. Золото лилось рекой. Особенно поразили Бланше ремесленники, которые, похоже, производили только предметы роскоши. Напрасно искал он скромных торговцев поношенными вещами — он находил лишь портных, хлопочущих над изготовлением княжеских одежд. Кузнецы не ковали ни железа, ни стали, но, словно напоказ, только серебро и золото. Плотники возводили леса для постройки роскошных дворцов. И так во всем, даже на лотках у булочников не найти было ни хлеба, ни лепешек, а лишь пирожные с кремом и медом. Неужели возможно, что все эти люди — вплоть до последних оборванцев — были богаты?

Тем временем его вид, выдававший в нем чужестранца, и явная растерянность привлекли к нему внимание весьма сомнительных личностей из той породы двуногих, которые только и ждут удобного случая, чтобы с наступлением темноты снять с вас платье, предварительно обшарив ваши карманы. И случай им представился: не зная города, Бланше сбился с дороги и оказался в тупике. Он повернулся и хотел идти назад. Три личности подозрительного вида преградили ему дорогу и обратились к нему на своем невразумительном наречии. Бланше показалось, что его возмущенно упрекают за то, что он ненароком забрел в эти места. На своем языке он начал извиняться, но трое проходимцев окружили его и, схватив за руки, принялись обыскивать. Бланше не знал, какому святому молиться. Если он позовет на помощь, не сочтут ли грабители за лучшее прикончить его, дабы заставить замолчать? Так он и стоял, скованный страхом, когда раздался властный голос и шесть грязных и цепких рук, выворачивавших его карманы, взметнулись, словно стая спугнутых сорок. Изысканно одетый незнакомец, расставив ноги и скрестив на груди руки, стоял, загораживая выход из тупика. Позади него маячили двое вооруженных слуг. Прозвучало еще несколько фраз на нижнетосканском наречии, и мошенники, собиравшиеся беззастенчиво обобрать Бланше, исчезли в ночи. Незнакомец подошел ближе.

— Спасибо, сеньор,— пробормотал Бланше,— вы спасли мне жизнь. Меня зовут Эсташ Бланше, я аббат.

— Стало быть, вы француз,— подытожил незнакомец.— Меня зовут Франческо Прелати. Я к вашим услугам, можете называть меня Франсуа Прела. Шантрапа, прицепившаяся к вам, всего лишь ничтожные

мошенники. Слишком ничтожные, чтобы убивать. Они покушались только на ваши деньги. Впрочем, возможно, ваш костюм пробудил в них желание похитить его в качестве реликвии. Эти каналья обожают реликвии. Вы ужинали? — без какого-либо перехода задал он вопрос.— Если нет, то я от всего сердца приглашаю вас на ужин, и вы расплатитесь за него из того кошелька, который мне посчастливилось вам сохранить.

И, не дожидаясь ответа, он повлек за собой Бланше, который никак не мог прийти в себя от случившегося. Так как новый знакомец беспрерывно говорил, аббат быстро узнал о нем довольно много. Ему было двадцать лет, и он родился в Монтекатини, в Луккской епархии. Он был клириком, в духовный сан его посвятил епископ Ареццо, а во Флоренции он изучал поэзию, геомансию и алхимию. В настоящее время он состоял в свите епископа Мондови, знал Флоренцию, как свой карман, и обладал умением и способностью приручать сомнительную породу людей, постоянно беспокоящих жителей простонародных кварталов города. В этом аббат только что убедился на собственном опыте. Спустя несколько минут они вместе вкушали в местной траттории изысканный ужин за счет скромных сбережений Бланше, спасенных бесцеремонным молодым клириком. Расплатившись, тот принялся любовно поглаживать кошелек святого отца, а затем расхохотался:

— Не забредайте больше так неосмотрительно в городские тупики! Видите, как нам пригодился ваш кошелек!

Из чего Бланше заключил, что у молодого человека не было ни лиара, и про себя подивился, что столь хорошо одетый юноша, да еще в сопровождении двух слуг, оказывается, не имеет средств к существованию.

Они расстались, договорившись встретиться завтра. Последующие дни они провели вместе. Прела стал наставником и покровителем простодушного француза, который постепенно оказался полностью под его влиянием. Прела раскрывал перед ним красоты и тайны этого города, бывшего в то время одной огромной строительной площадкой, где над сооружением дворцов и церквей трудились архитекторы, художники и скульпторы.

Триумфальным возвращением из Венеции Козимо [1] началась эра Медичи. Но кто же были эти Медичи? Прежде всего денежные люди, банкиры, поднаторевшие в различных незаконных операциях, ростовщики, ссужавшие деньги под проценты и векселя. Их энергия должна была принести Тоскане невиданное доселе процветание. Бланше даже посчастливилось принять участие в церемониях, роскошь которых ослепляла всю Европу. 6 июля под председательством Козимо собрался экуменический собор, где присутствовали папа Евгений IV, император Восточной Римской империи Иоанн VIII Палеолог и Иосиф, патриарх Константинопольский. Эти трое духовных и светских князей, отягощенные золотом, обоняющие фимиам и мирро, прошествовали по улицам города до самого Собора. Сей необычайной пышности кортеж напомнил народу о шествии волхвов в Вифлеем. Именно с этого времени во Флоренции началось особое поклонение волхвам, запечатленное на полотнах Беноццо Гоццоли и Фра Анжелико.

— Так в чем же суть эпизода с волхвами из Евангелия от Матфея? — рассуждал Прела.— Заметьте, что в отличие от пастухов, кладущих перед яслями молоко, хлеб и шерсть, то есть скромные и полезные дары, волхвы дарят Младенцу Иисусу мирро, ладан и золото, то есть предметы, обладающие неизмеримо большей стоимостью, но бесполезные и олицетворяющие бесцельную роскошь.

И так как Бланше попытался протестовать, он поспешно добавил:

— Впрочем, потом Иисус напомнил о значимости этих великолепных излишеств. Вспомните: в доме Симона прокаженного Мария Магдалина смазывает ему голову очень дорогим душистым маслом. Апостолы возмущены подобной расточительностью, но Иисус сурово одергивает их: разве почести для Сына Божьего могут обходиться слишком дорого?

И, увлеченный этой мыслью, Прела с жаром продолжал:

[1] Имеется в виду Козимо Старший Медичи, изгнанный из Флоренции в 1433 году. Вернулся обратно в 1434 году.

— Имейте золото, золото и еще раз золото, и все остальное будет дано вам в избытке: гений и талант, красота и благородство, слава и наслаждения, и даже, что само по себе невероятно, бескорыстие, великодушие и милосердие!

— Эй, полегче, довольно! — запротестовал Бланше, задыхаясь от возмущения.

— И не забудьте про науку, достойный отче, науку, открывающую все двери, все сундуки, все денежные сундуки...

— Я и так ослеплен тем, что вижу вокруг, какой вам прок еще и оглушать меня подобными сумасбродными речами? Бедность не порок, черт возьми!

— Бедность — мать всех пороков.

— Прела, друг мой, вы богохульствуете!

— Если бы я запер вас в клетке со львом, вы бы предпочли, чтобы зверь был сыт или голоден?

— Конечно, лучше было бы, если бы он был сыт,— согласился Бланше.

— Так и люди ничем не отличаются от львов, от прочих животных, от любых иных живых существ. От голода они свирепеют. А что такое бедность, если не голод?

— А как же жертвенность, преданность, самоотверженность?

— Этим добродетелям я отвожу то место, которое они заслуживают: ничтожное.

— Ничтожное?

— Именно ничтожное. Возьмите тысячу сытых, привыкших хорошо есть горожан, вполне благожелательно относящихся друг к другу. Заприте их в пещере без еды и питья. Заморите их голодом! Они тут же преобразятся. О, если вам повезет, может, и найдется среди них святой, чей дух вознесется над плачевной участью тела и который пожертвует собой ради товарищей. Всего один на тысячу, да и то если вам повезет. Что до остальных девятисот девяноста девяти...

— Да, что же остальные девятьсот девяносто девять?

— Эти достойные горожане, почтенные и доброжелательные, станут ужасными мерзавцами, способными на все, вы меня слышите, отче, на все, чтобы утолить голод и жажду!

— Послушать вас, так можно подумать, что вы уже проводили подобные опыты.

— А вы что, считаете, что во время войн, голода и эпидемий в этом трудно убедиться?

— Похоже, эта страшная истина вас радует.

— Нет, отче, она меня не радует. Но видите ли, мы, флорентийцы, открыли лекарство против сей гнойной язвы: золото. Богатство — универсальное лекарство против нравственных ран человечества. Ангел добра, если таковой явится на землю, дабы исцелить все раны души и тела, знаете, что бы он должен был сделать? Он должен был бы стать алхимиком и производить золото!

Быть может, причина была в том, что численность людей, живущих в этой провинции, намного превосходила население Бретани или Вандеи? Бланше казалось, что нигде он не видел столько кладбищ, оссуариев и виселиц. Тоскана была красива, и богат был город Флоренция, но смерть подстерегала вас за каждым деревом, на каждом повороте дороги. За всю свою жизнь Бланше не встречал болезней столь отталкивающих и людей, столь изощренно изуродованных рукой палача. Неужели придется признать, что вокруг фонтана чудесных изобретений, забившего в обновленной Тоскане, непременно должен кружиться рой падали, мертвой или живой?

Прела и об этом имел свое собственное мнение:

— Я удивляюсь, отец Бланше, что подобной бесспорной истине пришлось дожидаться, пока вы доберетесь до Тосканы, дабы наконец стать доступной вашему уму. Чему только учат в семинарии Сен-Мало? Разумеется, смерть — это оборотная сторона жизни, и нельзя отвергать одну, не

отвергая другую. Видите ли, серьезная ошибка античных философов, ученых и художников заключается в том, что они отворачивались от смерти. Они желали знать только жизнь. С точки зрения анатомии греческие статуи безупречны. Каждый мускул живет своей жизнью, каждая кость на своем месте. Но греческие скульпторы изучали и наблюдали только живое тело. Ни в Афинах, ни в Риме никто никогда не вскрывал трупов, чтобы посмотреть, что там внутри, как устроено тело, как оно работает.

— Греки лепили статуи богов, богинь, героев и мифологических чудовищ,— заметил Бланше.

— Совершенно справедливо! Но боги вечны, мы же смертны. Им дана лишь жизнь, им неведомы посулы смерти, в тени которой мы пребываем с самого рождения, и чем больше мы живем, тем тень эта становится гуще. И не забудьте, вы — христианин! Иисус умер на кресте. Его тело было положено во гроб. Множество святых погибли мученической смертью: Откуда же этот суеверный страх перед мертвым человеческим телом, ведь оно является главным объектом поклонения вашего культа!

— Иисус воскрес на третий день. Святые мученики избраны для вечной жизни. А чего ждете вы от этих трупов, в которых ковыряетесь с такой страстью? — спросил Бланше.

— Чтобы они отдали нам свой секрет — секрет жизни. Наши хирурги научились вскрывать животы и разбираться во внутренностях. Оссуарии, пыточные камеры и виселицы обрели наконец какой-то смысл. Надо, отец Бланше, иметь мужество погрузиться во мрак, чтобы принести оттуда свет.

Бланше вздрогнул и отвел взгляд.

— Вы пугаете меня. В вашей дерзости есть нечто дьявольское.

Определение явно пришлось Прела по душе.

— Дьявольское? Почему бы и нет? Существование Дьявола вполне оправданно. Вы справедливо напомнили мне, что Иисус воскрес. Но я в свою очередь напомню вам, что сначала он спустился в подземное царство теней и три дня пребывал среди мертвых.

— Человек не вправе сравнивать себя с Христом! — возопил Бланше.

— А Жанна? Что вы сделали с Жанной?

— Она умерла на костре.

— Может быть для того, чтобы, преобразившись, в урочный день снова появиться среди нас,— загадочно прошептал Прела.

Когда Прела и Бланше вошли во дворик дворца Медичи, там уже толпились люди. Здесь только что поставили последнее творение Донателло, самого знаменитого скульптора того времени, и ценители искусства, ученики академий и несколько любопытных праздношатающихся, окружив недавно отлитую статую, обсуждали ее. Речь шла о бронзовом Давиде, хрупком и трепетном мальчике Давиде, чудесным образом победившем филистимлянина великана Голиафа. Прела медленно обошел статую и принялся наблюдать за Бланше, который лишь отдувался и пожимал плечами.

— Так, значит, это и есть современное искусство? — ворчал тот.— Да нет, я не вижу того, что... что... да, конечно...

— Неужели вы не видите его хрупкой прелести, правда немного вычурной? — выразительно спросил Прела, восхищаясь произведением искусства и одновременно досадуя на невежественного собеседника.— Не видите этой восхитительной, дразнящей позы, переданной с неподражаемым изяществом, этих разведенных бедер, что вполне оправданно, ибо левая нога Давида стоит на огромной отрезанной голове Голиафа? Этих тонких рук, напоминающих ломкие ручки вазы, правую руку, обхватившую меч, и левую, держащую камень? И этого нелепого наряда, этого шлема, увенчанного лавровым венком, и этих поножей, доходящих до колен, тогда как все остальное тело оставлено обнаженным? Впрочем, вы же понимаете, что современность этого произведения искусства в другом. Она в чрезмерной, почти чудовищной анатомической реальности этого тела. Мальчик потупил взор. Возможно, он разглядывает свой собственный пупок. Во всяком случае, лицо его, полускрытое краями шлема, привлекает внимание зрителя

к его пупку. Но прежде всего приковывает взгляд грудь Давида с детскими, прекрасно прорисованными грудными мышцами, закругленная выемка грудной клетки, маленький выпуклый, чуть выпяченный живот, ребяческий член, лежащий меж нежных бедер. И это чувственное и ликующее тело с улыбкой выставлено напоказ. Никогда еще бронза не являла нам плоть во всей ее наготе.

— Поразительно,— прошептал Бланше.— Вы говорите об этой скульптуре как влюбленный и как профессор анатомии одновременно. Тогда напрашивается вопрос, где же ценитель искусства.

— Но в этом-то и суть нового искусства, достойный отче! — воскликнул Прела, уводя его из внутреннего дворика дворца Медичи.— Да, мы упразднили дистанцию, необходимую для восприятия произведения искусства. Что же остается? Остается любовь плюс анатомия. Мы, тосканцы, перестали быть художниками и скульпторами. Мы — влюбленные, любовники... для которых существует скелет. И не только скелет: мускулы, нутро, кишки, выделения.

И, повернувшись к Бланше, он с диким смехом проорал ему прямо в лицо:

— И кровь, добрый мой отче, кровь!

Между тем как Прела истолковывал Бланше возрождающуюся Италию, тот вспоминал темные и дождливые леса Вандеи и сопровождаемое непредсказуемыми приступами жестокости мрачное состояние духа своего господина Жиля де Ре.

— Самые волнующие минуты своей жизни он провел подле Девы Жанны,— рассказывал священник.— Целый год они сражались бок о бок. Это они освободили Орлеан, разбили англичан при Пате и помазали короля Карла в Реймсе. А затем случилось несчастье. Жанна ранена под Парижем. Жанна попадает в плен перед захлопнувшимися воротами Компьеня. Жанна осуждена Церковью. Жанна сожжена заживо по обвинению в колдовстве. С той поры Жиль де Ре с диким неистовством предается всевозможным бесчинствам. Окружает себя причудливой роскошью. Ест, словно волк. Пьет, как осел. Пачкается, как свинья,— еле слышно закончил Бланше.— Я хотел бы вырвать его из этой берлоги, где он валяется в грязи и в отчаянии бьется головой о стену. Я ищу... Ищу того, кто бы вернул ему смысл... как бы это сказать... высший смысл... высшее измерение, которое он утратил, потеряв Жанну.

Прела слушал его со страстным вниманием, прикидывая, какую роль смог бы он сыграть в этой судьбе.

— Так вы говорите, что зло вселилось в него после того, как он потерял Деву Жанну? — спросил он.

— Да, но на деле он потерял ее дважды. В Компьене двадцать третьего мая, когда она попала в плен. И год спустя, тридцать первого мая, когда ее как ведьму сожгли на костре в Руане. Ах, эта безумная поездка в Руан! Я сделал все, чтобы отвратить его от нее. У него не было ни одного, ни единого шанса освободить Жанну. Вернувшись, он был не просто побежден. Много хуже. Я едва узнал его. Словно ужасная казнь Жанны запечатлелась навечно на его лице. Оно больше не было лицом человека.

Под маской равнодушия Прела скрывал радость и хищное любопытство, которое внушал ему рассказ Бланше.

— Не было лицом человека, говорите? Как интересно! Лицо... какое же лицо?

— Я уже сказал вам: звериное. Дикая, остервенелая личина оборотня. Но, несмотря на это, вполне можно было утверждать, что внешне он не изменился, что он сохранил свой былой облик.

— Объясните.

— Плоть его не изменилась. У него не было ни шрамов, ни иных повреждений. Нельзя было даже сказать, что он постарел. Нет, изменилась его душа. И изменение это исказило черты лица. Лицо, помеченное безнадежностью.

— Так это смерть Жанны довела его до такого отчаяния?

— Отчаяния? Да, несомненно. Он отчаялся, но не опечалился. И это, может быть, и есть самое худшее. То, о чем я вам говорил: нет выхода, некуда стремиться, нет высшей цели в жизни. Но не подумайте, что он вздыхает и рыдает! Как бы я хотел, чтобы он вздыхал! Я бы хотел, чтобы он рыдал! Увы, нет, он смеется, он рычит, словно хищный зверь. Подхлестываемый своими страстями, он рвется вперед, словно разъяренный бык. Видите ли, он полон сил. Он силен... Очень силен. Надо бы найти применение его силе, направить ее, освободить, воодушевить! Франсуа Прела, сумеете вы сделать это?

Бланше с надеждой вперил взор в своего товарища, отвечавшего лишь загадочной улыбкой.

Воистину бедный Бланше запутался в сети противоречий, отчего нещадно мучился. С каждым мгновением зрелище этой новорожденной, но сомнительной цивилизации все больше завораживало и одновременно отпугивало его, равно как и речи Прела навязывали уму его неприемлемые, но очевидные сущности, проистекающие из доказательств весьма своеобразных, однако безупречных. И так во всем, включая нововведения в области искусства — такие, как перспектива в рисунке и в живописи, которая удивляла и тревожила его. Ему чудилось, что плоское изображение, благонравное и по-детски простодушное, внезапно, как бы повинуясь некой магической силе, вспучилось, раздулось, искривилось и, словно одержимое злым духом, устремилось за грань дозволенного. Глядя на фрески или склонившись над гравюрами, он ощущал себя на краю головокружительной бездны. Эта воображаемая пропасть манила его, и он с трудом удерживался от искушения броситься в нее очертя голову. Прела, напротив, плавал, словно рыба в воде, в этой новой стихии, порожденной искусством, наукой и современной философией.

— Вскрыть оболочку вещей, чтобы посмотреть, какие фантомы там таятся,— рассуждал он.— Самому стать таким фантомом... Используя перспективу, рисунок не только мчится за горизонт, но и приближается, дабы умчать за собой зрителя. Теперь вам ясно, отче? Дверь открыта на все четыре стороны, но вы-то уже переступили роковой порог. Вот что значит перспектива!

Бланше не соглашался:

— Прела, вы опять пугаете меня своим злоречием! Можно подумать, что это доставляет вам удовольствие. Кажется, я взял на себя непосильную, страшную ответственность, пригласив вас в Тиффож...

Однако он без устали думал о своем несчастном господине и необходимости его излечения. И не находил иного лекаря, кроме Прела.

— После казни Жанны,— рассказывал он,— маршал словно одержим ее призраком. Я слышал, как ночью он бродил по рвам вокруг замка и звал ее. В надежде вновь обрести ее он заглядывает в лица всех юнцов, встречающихся у него на пути. Эти обреченные поиски увенчались безумствами в Орлеане восьмого мая тысяча четыреста тридцать пятого года. Шестью годами раньше Жанна освободила город от англичан. Жиль пожелал устроить и оплатить пышное празднество, должное отметить это событие. Он приказал написать *Мистерию об осаде Орлеана,* двадцать тысяч стихов, которые должны были представить пятьсот актеров в невиданных доселе декорациях. Ради этого спектакля в Орлеан прибыл король Карл и весь его двор. Жилю этот праздник обошелся больше чем в сто тысяч золотых экю. Однако не подумайте, что это безумное предприятие было затеяно из любви к пышным торжествам, потребности выставить себя напоказ! Те, кто судил о нем таким образом, слишком плохо знали Жиля. Нет, это было не так, все было... гораздо хуже.

Бланше замолчал и сощурился, словно восстанавливая в памяти мистерию, чтобы подобрать к ней ключ.

— Да, все было гораздо хуже,— продолжил он,— ибо замысел родился в уме, больном от неутолимой страсти. Слушайте же,— заговорил он, вцепившись в руку Прела и в упор глядя на него.— Этот пышный и разори-

тельный праздник был для Жиля всего лишь *приманкой*. В том смысле, как понимают приманку охотники. Богатым жертвоприношением, чтобы заставить — да, именно *заставить* — блуждающую душу Жанны вернуться и воплотиться в того юнца, кто станет исполнять ее роль.

— В юнца? — удивился Прела.— Вы, разумеется, хотели сказать, в девушку!

— Нет, я сказал правильно: именно в юнца. Ибо Жиль постоянно общался с подростками. О, впрочем, Жанна так походила на мальчика, что для исполнения ее роли просто не имело смысла искать девушку. Итак, он набирал мальчиков. Они стекались сотнями, привлеченные огромным вознаграждением, обещанным избраннику. Каждое утро повторялся один и тот же жуткий спектакль. Появлялся Жиль в крайнем возбуждении. Вероятно, за ночь он убеждал себя, что чудо должно случиться именно сегодня. Как сумасшедший бегал он вокруг толпы ожидавших его подростков, чаще всего кудлатых и изголодавшихся, реже изящно одетых и прекрасно воспитанных. Когда претенденты были слишком далеки от взыскуемого идеала — а среди них нередко попадались бородатые, увечные, слабоумные,— Жиль свирепел, избивал несчастного и прогонял пинками. Иногда он останавливался, словно видел то, что невидимо другим, брал за плечи какого-нибудь мальчика, долго в упор смотрел на него, но потом почти всегда отталкивал с отвращением и разочарованно, горько вздыхал. Наконец пора было решать. Жиль удалился, заперся у себя, не желая больше ни во что вмешиваться. Все его чудовищные усилия были напрасны. Жанна не явилась. Ее не будет на этом небывалом празднике, устроенном только для нее. Распорядитель сам выбрал актера, который, клянусь честью, достойно вышел из положения. Жиль даже не взглянул на него.

— Так, значит, Жанна не явилась,— повторил Прела.

— Нет, как же, явилась,— быстро возразил Бланше.— По крайней мере, Жиль был в этом убежден какое-то время. Речь шла об одной девушке, называвшей себя Девой и утверждавшей, что ей удалось избежать костра. Однако не забывайте, что Жиль был в Руане тридцатого мая тысяча четыреста тридцать первого года и собственными глазами видел привязанный к столбу обгорелый труп Жанны. Но ему все равно! Желание увидеть Жанну живой столь властно, что он не считается с очевидностью. Впрочем, эта женщина действительно была очень похожа на Деву, ибо родные братья Жанны признали ее, а граждане Орлеана осыпали дарами.

— Жилю не было дела до фактов,— промолвил Прела.— Он искал боготворимый образ. Он нашел его. При чем тут факты?

— Вы никогда не видели сеньора де Ре,— удивился Бланше,— но из моих рассказов уже поняли его образ мыслей. Что же будет, когда вы познакомитесь с ним!

— Мне думается, что я разгадал сердце и душу сира де Ре,— согласился Прела.— Но продолжайте. Что стало с этой второй Жанной?

— Она бесстыдно вышла замуж за некоего сира Дезармуаза. У них родились дети. Тем не менее она была хорошей наездницей и владела мечом. Жиль доверил ей отряд и поручил освободить Ле-Ман, как она, по ее словам, когда-то освободила Орлеан. Но прежде ей надо было получить согласие короля Карла. Тут-то все и лопнуло. Карл ловко задавал ей различные вопросы, она запуталась в ответах и наконец призналась в обмане. Это новое разочарование — словно удар хлыста для Жиля!

Так беседовали они, бродя по берегам Арно, по улочкам старого города, по крепостным стенам, нависшим над выжженными летним солнцем полями, и постоянно спорили — маленький кюре из Сен-Мало, вырванный из благочестивого сумрака своей веры, и отрекшийся от сана священник, поклонник восходящего солнца.

— Вольно вам рассуждениями своими искушать мой разум,— говорил Бланше,— сердце мое остается свободным, и оно восстает против этой богатой и жестокой Тосканы, этой Флоренции, переполненной

чудесами и покрытой отвратительными болячками. Как мне хочется поскорее вернуться во Францию, с ее простодушной верой и грубыми нравами!

В ответ на подобные высказывания Прела лишь презрительно хохотал:

— Полно, полно, отец Бланше. Вы же прекрасно знаете, что отныне уже ничто не будет для вас по-прежнему, как было перед вашим путешествием. Вы слишком много видели, слишком много слышали. Прежний «человек готики» умер. Для вас началось новое время. Хотите вы того или нет, вы вкусили от плода познания и не сможете забыть его вкус. А вот и доказательство: вы спорите со мной по любому вопросу, но тем не менее везете меня с собой в Вандею к сеньору де Ре!

— Я везу вас потому, что не могу поступить иначе. Жиль де Ре утратил всякую надежду. Он послал меня в Тоскану на поиски спасителя. Я нашел вас, и надежда, что вы сможете помочь ему, не покидает меня. Но вы сами видите, как мне страшно. Вы излучаете ослепительное сияние, но я не знаю, исходит этот свет с небес или из преисподней.

После подобных слов Прела тут же принимался рассуждать на свою излюбленную тему:

— Свет неба и адское пламя гораздо более близки, нежели нам кажется. Не забывайте, что Люцифер — Светоносец — изначально был одним из самых прекрасных ангелов. Из него сделали Князя тьмы, абсолютное Зло. В этом-то и состоит ошибка! Человек, созданный из праха и одушевленный дыханием Господним, нуждается в посреднике между собой и Богом. Разве может он напрямую обратиться к Создателю? Ему необходим посредник, который стал бы его союзником в том зле, что он творит и замышляет, но при этом также имел бы свой ход на небо. Вот почему человек испытывает потребность посоветоваться с колдуньей, просит помощи у мага, вызывает на тайные свидания Вельзевула.

— Так вот, значит, какова она, ваша современная наука! Она питается кровью и нечистотами! Принимает в долю Дьявола, утверждая, что жертвует на благотворительность! Любая наука отвратительна, Прела!

— Напротив! Любая наука прекрасна! Невежество — вот худшее из зол.

— Есть тайны столь грозные, что разглашение их уничтожило бы несчастного, зашедшего слишком далеко в своем любопытстве.

— Знание дает власть. Если ум в состоянии познать истину, то он сумеет и обуздать ее.

— Есть силы, превосходящие возможности человеческого существа. Чрезмерная власть приводит к безумию. Кто такой тиран? Это государь, которого свело с ума его собственное могущество.

— Потому что этот государь был невежествен. Каждому уровню власти должен отвечать некий уровень знания. Страшна лишь безграничная власть, оказавшаяся в руках человека с ограниченным умом. Сильная рука, служащая слабой голове, способна на любое насилие, любое преступление.

От этих слов Бланше неожиданно помрачнел и потухшим голосом произнес:

— Руки слишком сильны, голова слишком слаба... Вы только что изобразили ужасный портрет моего господина Жиля де Ре. Ибо у этого исполина, хозяина двадцати замков, маршала Франции, сердце малого ребенка. Я вижу, как он идет мне навстречу и протягивает свое сердце, умоляя простить его преступления.

При последнем слове Прела вздрогнул.

— Его преступления? Черт побери! Ну, это уж вы хватили, достойный отче!

Бланше почувствовал, что наговорил лишнего.

— Я упомянул о преступлениях... в качестве метафоры. Не подумайте только, что я собираюсь выдавать тайну исповеди!

Но не таков был Прела, чтобы пропустить мимо ушей это прекрасное трепещущее слово.

— Кто говорит о разглашении тайны исповеди? — весело произнес

он.— Отнюдь, но раз преступления существуют, мы вытащим их на свет! Посмотрим, как зашевелится клубок готических змей в лучах жаркого солнца Флоренции.

Наконец они тронулись в путь. Путешествие из Флоренции в Вандею продолжалось около ста дней. От утомительной дороги у Прела сохранилось воспоминание о бескрайнем и тревожном лесе. До сих пор этот горожанин знал только оливковые деревья, редкими рощицами произрастающие на тосканских холмах. Вступив в галльский лес, он почувствовал, что внезапно окунулся в неведомую ему растительную стихию, где среди гнилостных испарений не было места человеку. Появление редких дровосеков с черными лицами, на которых зияли дыры испуганных глаз, лишь усиливало гнетущее чувство, охватившее обоих путешественников в лесной чаще. Впрочем, Бланше делал все возможное, чтобы избегать любых встреч, особенно в местах, наводненных разбойниками и бандами мародеров.

Темный массивный силуэт Тиффожа, неожиданно возникший на иссеченном облаками небе, наконец заставил вспомнить о том, что в этом бескрайнем лесу, колышущемся словно сбившееся в кучу стадо баранов, обитают люди. Прела предстояло узнать, что та часть человеческого рода, среди которой отныне предстояло ему жить, была создана по образу и подобию окружающего ее лесного безмолвия.

Встреча состоялась в парадной зале замка. Бланше, никогда не видевший Жанны, не мог предположить, что Прела был поразительно похож на нее. Издали Жиль решил, что стал жертвой галлюцинации. Флорентиец шел к нему, словно озаренный сиянием, отчего фигура его выделялась с поистине сверхъестественной четкостью, тогда как те, кто сопровождал его, словно тонули в тумане.

— Жанна, Жанна, Жанна! — с исступленным восторгом прошептал Жиль.

Но когда Прела остановился в трех шагах от него, наваждение прошло. Однако восторженное очарование осталось. Какое удивительное счастье — это сходство, и как оно желанно, естественно, необходимо!

— Добро пожаловать в Тиффож, Франческо Прелати,— произнес он.— Вот уже много лет я жду кого-нибудь и уже начал отчаиваться. Может быть, я ждал именно тебя. Будущее покажет, и незамедлительно.

Прела преклонил колено, чтобы поцеловать руку Жиля. Тот поднял его.

— Итак, значит, ты прибыл из Флоренции, проехал шестьсот лье, чтобы добраться до меня. Какой показалась тебе Вандея?

— Если в Тоскане царит вечная весна,— ответил Прела,— то про Вандею можно сказать, что здесь правит вечная осень.

— Согласен,— кивнул Жиль,— климат юга, несомненно, более приятен, нежели климат наших окраин, где чувствуется воздействие океанических ветров.

— Я говорю не только о климате,— пояснил Прела.— Конечно, жители Флоренции открывают настежь окна, чтобы видеть весеннее цветение природы. Но они так же широко открывают глаза, чтобы увидеть зрелища, до сей поры запрещенные. Их уши внимают истинам, доселе неслыханным.

— Если ты сумеешь приобщить меня к этим зрелищам и этим истинам, я действительно поверю, что ты тот, кого я ждал.

Именно тогда Бланше счел нужным вмешаться. Он прошептал несколько слов на ухо Жилю.

— Мой исповедник волнуется,— сказал Жиль.— Он советует мне спросить тебя: какова цена твоих истин?

— Такова, какой они заслуживают,— без запинки ответил Прела.— Они бесценны!

И тут они с Жилем расхохотались, а при виде глубоко удрученной физиономии Бланше веселье их удвоилось.

То ли в честь новоприбывших, то ли по причине кануна дня Святого

Жиля, то ли просто по прихоти хозяина здешних мест в Тиффоже в этот вечер было устроено некое подобие бала. Музыкантов было много, но играли они лишь на волынках и серпентах, так что музыка, хотя и громкая, была незатейлива и монотонна. Гостей беспрестанно обносили вином и мясом, коих было в изобилии, так что общество быстро захмелело и развеселилось, чему немало способствовал жаркий, поистине адский огонь, разведенный в огромном камине, несмотря на относительно теплую погоду. Отсутствие женщин было наименее странным на этом балу. Прела знал, что супруга и дочь сеньора де Ре уединенно жили в Пузоже. Он больше удивлялся внушительному количеству гостей, прибывших на этот непонятный праздник, среди которых было много совсем зеленых юношей, но не было ни одной девушки. Он не знал здешних танцев, по-видимому народных, в которых партнеры кружились, сжимая друг друга в объятиях, но понял, что большинство их должно было исполняться парами из кавалеров и дам, и роль последних беззастенчиво исполняли мужчины — и отнюдь не самые юные,— которых, казалось, лицедейство очень забавляло, и они украшали себя лентами, накладными волосами и шлейфами. Он с пристрастием наблюдал за местным двором, столь отличным от того, который он оставил во Флоренции. От этого двора исходило ощущение силы и непристойности, соблазнительное и отталкивающее одновременно. Сквозь клубы дыма он видел, как мощные челюсти с выщербленными зубами рвали мясо, а глотки истошно вопили и гоготали; руки, утопавшие в кружевах и унизанные драгоценностями, однако жирные и исцарапанные, вцеплялись в мясо или в руки соседей; обжигающие взгляды без единой мысли настойчиво и жадно останавливались на нем.

Были ли существа, окружавшие его, подлинными людьми, или же все они в большей или меньшей степени породнились с медведями, волками и прочими зверями вандейского леса? Лисьи глаза, кабаньи морды, барсучьи бороды, заросшие волосами грудные клетки, в которых запутались золотые цепи и нательные кресты, сотни диковинных примет: носы с вывернутыми ноздрями, остроконечные шевелящиеся уши, и это тявканье, эти вопли, подобные крику оленя, эти шепелявые звуки, заменявшие по мере приближения ночи человеческую речь и взрывы смеха,— да, все на этом балу напоминало о звериной непорочности лесных тварей. Все, вплоть до резкого запаха водоплавающей дичи, источаемого этой толпой и напоминавшего о близости прудов и болот, где среди болезнетворных испарений кишит жизнь.

Небо начинало бледнеть, когда Прела пожелал удалиться в отведенные ему апартаменты. Но, не зная расположения комнат, он, поблуждав немного, оказался в просторной кухне. Это мрачное закопченное помещение было вполне под стать пиршественной зале. На низких столах были свалены в кучу разрубленные мясные туши, остовы телят, целые косули, высились пирамиды свиных голов. Отвратительного вида матрона, круглая, словно башня, с лицом Медузы Горгоны, хлопотала среди котлов и вертелов, размахивая огромным кухонным ножом. Но больше всего Прела поразили дети, целый выводок оборванных полуголых мальчуганов, невообразимо грязных, но прекрасно сложенных и смешливых, словно амурчики, которые, не обращая внимания на разложенные на столах остатки бойни, жрали, вырывая друг у друга куски.

Как заставить этих неотесанных людей служить моим возвышенным замыслам? — спрашивал себя Прела, добравшись наконец до своей комнаты и растянувшись на огромной кровати под балдахином.

Осень окрасила бурым цветом буки и черным — пашни, выпотрошенные крестьянским плугом, швырнула в небо охапку серых туч, мгновенно разметанных ветром и дождем. В сопровождении небольшого отряда Жиль вместе с Прела объезжал свои владения. Привыкший к тишине ризниц, полумраку трактиров и благоуханию будуаров, флорентиец открывал для себя болота Бриера, песчаное океанское побережье, остров Иё. Он задыхался от шквальных полуденных ветров, пьянел от величия пустынного

края, сурового и негостеприимного. Он узнал, что Дьявола и Господа Бога можно услышать не только в тишине часовен, их голоса равно могут грозно звучать в яростных штормах, проносящихся над морской гладью. Это было время тайных слез и покаяния, но приливы и отливы все так же встречали зарождающуюся луну, а затем и полный ее диск, и пришла пора негодующей ярости и мрачных откровений.

В тот день всадники с трудом преодолели дюны, поросшие чахлым дроком и утесником. Перед их взорами мелькали лишь копыта коней, разрушавшие наметенные пирамиды сухого песка. В воздухе рокотал голос далекого океана. Ехали молча, встревоженные его незримым присутствием, завороженные глухим шумом волн, от дыхания которых на губах оседали соленые брызги. Так бывает при приближении смертного часа: будничная жизнь наша кажется неизменной, но потусторонние голоса уже поют нам в уши свою скорбную песнь, отчего повседневные хлопоты становятся смешными и ничтожными.

Наконец они забрались на вершину последней дюны. У ног их простирался песчаный берег, где ветер крутил клочья пены и морских водорослей, а чуть дальше яростно бился океан, белый от пенных барашков. В безмолвном созерцании застыло мрачное лицо Жиля, замерло измученное лицо Прела, заледенело испуганное лицо Бланше. Каждый по-своему слушал океанский зов. Франсуа Прела обретал ключ от этой обездоленной земли, который он искал с самого своего приезда. Неясные предчувствия сменялись воспоминаниями о том, как он был изумлен, впервые увидев этот бескрайний галльский строевой лес с прямыми, словно столб дыма, деревьями, где изредка было можно встретить угольщика с черной маской вместо лица, эти жаркие и задымленные кухни замка, и особенно огромный камин в пиршественной зале, в котором сгорали целые стволы. Вот он, этот инструмент, это оружие, которое наконец обрел флорентиец. А у ног его колыхалась бескрайняя водная равнина, взбаламученная грозой, край лагун и болот, захлестываемый океанским прибоем, где род человеческий погряз в пороках и унижении. Огонь и вода. Чтобы вытащить эту провинцию и ее обитателей из трясины, флорентийская алхимическая наука прислала сюда самого проницательного из своих зачинателей...

Теперь он понимал суть своей миссии: дотронуться пылающей десницей до гноящейся раны здешних мест, чтобы заставить их пробудиться, восстать из бездны. Так недужная корова одним прыжком вскакивает на ноги при прикосновении раскаленного железа. Спасти Жиля огнем!

Итак, Бланше не делал большой ошибки, полагая, что в избавлении, которое Прела должен был принести его господину, есть нечто дьявольское. Именно так тосканский искатель приключений понимал свою роль подле вандейского ратоборца. Однако священник не мог и вообразить, по каким зловещим тропам должно прийти это избавление. Жиль, потрясенный казнью Жанны, уподобился животному. Прела предстояло пробудить его к иной жизни. Но для того, чтобы укрепить в его влечении к Дьяволу, ибо после шестнадцати статей обвинения, предъявленных Жанне, Жиль был убежден, что Дьявол призвал его. О том, что Прела и не помышлял отвратить своего господина от его лихой участи, свидетельствует короткая сцена, разыгравшаяся как-то раз ноябрьским вечером в селении Эльван.

В этот сумеречный час два одиноких всадника резко выделялись своим роскошным облачением среди похожих на тени вилланов, жавшихся к стенам хижин. Один из них окликнул их, преградив путь. Чтобы побыстрее избавиться от навязчивого просителя, Прела вызвался переговорить с ним. Привлеченный детским визгом, смехом и шушуканьем, Жиль двинулся дальше. Он направил коня в темную улочку, остановился в нерешительности и, услышав снова визг, а затем топот убегающих ног, поехал в сторону доносившихся звуков.

Тем временем Прела, освободившись, пускается за ним. Он также следует за детскими криками. Однако все быстро стихает. Чтобы стук копыт собственной лошади не мешал ему, он спешивается и привязывает ее

к какому-то забору. Так он выходит на маленькую площадь, где, словно на карауле, стоит полуразрушенная статуя, в которой уже трудно определить, Святая ли это Дева или Венера.

Жиль здесь, окруженный маленькими оборванцами, взирающими на него в мертвом молчании. Так смотрят птицы, завороженные взглядом змеи. Жиль держит мальчика лет семи-восьми, прижав его к себе. Рука в тяжелой рыцарской перчатке опускается на голову ребенка, затем перчатка отбрасывается, и рука сжимается на хрупкой шее.

В этот миг раздается голос Прела:

— Сеньор Жиль!

Жиль похож на сомнамбулу, чьи грезы внезапно нарушены. Он непонимающе оглядывается. Отпускает ребенка, тотчас же растворяющегося среди других детей, и те убегают с громкими воплями, то ли испуганными, то ли победоносными.

Некоторое время оба мужчины молча смотрят друг на друга. Затем Прела вполголоса произносит:

— Да, я знаю, я все понял...

Выражение лица Жиля становится угрожающим. Тогда Прела заливисто смеется и, бесцеремонно схватив его за руку, увлекает за собой.

— Я все понял и говорю вам: браво! Браво, сеньор Жиль! Но умоляю вас, не стоит это делать впустую! Я хочу сказать: просто для удовольствия. Вернее... не только для него одного.

Они находят лошадей и садятся в седло, и пока они не скрылись из виду, звучат красноречивые рассуждения Прела:

— Знаете, кто был человек, только что остановивший нас? Священник... именно священник. Отлученный, проклятый, гонимый церковью. Увы, бедняга слишком любил женщин, спиртное, игру, деньги. Но священник — он и есть священник и пребудет таковым вечно. Ему было дано право святить облатки и отпускать грехи, и никто не может отобрать у него этого права. Так вот, он предлагал нам свои услуги: вызывание темных сил, напускание порчи, черные мессы. Не кажется ли вам, что это всегда может пригодиться?

Они погружаются во мрак, откуда, словно сквозь сон, доносятся тяжелые слова:

Смерть... жертва... есть некий внеземной мир, лучезарный, который... могущество и слава...

Отныне флорентиец использовал любую возможность, дабы убедить своего хозяина в том, что от неба его отделяет лишь огненная завеса и только алхимическая наука сможет помочь ему пройти сквозь нее.

— Огонь,— говорил он ему,— самый злобный из всех тиранов, но самый лучший из всех слуг. Надо лишь суметь приручить его.

Чтобы приручить огонь, в просторном помещении под крышей замка он устроил алхимическую лабораторию. Разумеется, там были горн с вытяжным колпаком, кузнечный мех, наковальня, плавильня с литейными формами и тиглями, но предметом особых его забот был тонкий и хрупкий арсенал перегонки: кубы, перегонные кубы без шлема, реторты, змеевики, черпаки и самое главное — величественная химическая печь с отражателем, где пламя столь размеренно, что напоминает саму жизнь.

Там, под кровлей из розовой черепицы, обласканной серебристыми лучами луны и крыльями сов, они проводили ночи напролет. Прела все время говорил вполголоса, так что Жиль никогда не знал, обращался ли он к нему, шептал ли молитвы или же магические заклинания. Флорентиец строил свои эксперименты, исходя из двойственного естества огня, который есть жизнь и смерть, чистота и вожделение, святость и проклятие. Он утверждал, что небесный странник — так именуется взыскующий алхимик — достигает одного из полюсов лишь затем, чтобы тотчас же обратиться к другому, в силу игры природы, основанной на постоянном изменении сущностей: избыток холода вызывает ожог, страстная любовь переходит в ненависть. И это изменение может быть как доброкачествен-

ным, так и злокачественным. Грешник, низвергшийся в преисподнюю, но не утративший веры, мог выйти оттуда, облеченный невинностью. Костер, где сжигали ведьм, не был наказанием или способом избавиться от про́клятого существа — подобно смертному приговору, вынесенному мирским судом. Это было очистительное испытание, предназначенное спасти душу, которой угрожала серьезная опасность. Святая Инквизиция мучила и сжигала, проявляя поистине материнскую заботу о заблудшем.

Слушая такие рассуждения, Жиль постоянно вспоминал костер в Руане и Жанну, корчившуюся в огне.

— Она спасена! — утверждал Прелати.— Святые сопровождали ее от Домреми до собора в Реймсе, где она познала величие вместе с новым королем Франции. Затем они покинули ее, и она упала с пьедестала, воздвигнутого для нее в миру. И падала все быстрее, все ниже, в самое пекло: вот костер, вот обугленный остов, вот чернь, смакующая непристойные подробности. Это была крайняя степень злокачественной мутации, отсюда должно было начаться благое изменение. Пламя очистило ее от шестнадцати обвинений, выдвинутых против нее, Жанна прошла сквозь огненную завесу, отделявшую ее от небесных кущ. Отныне слава ее засияет еще ярче. В один прекрасный день ее реабилитируют, а судьи будут посрамлены, хотя они и были всего лишь послушными орудиями судьбы. Потом ее причислят к лику святых и, как знать, может быть, даже канонизируют [1]. Но испытание огнем явилось тем стержнем, без которого поворот был бы невозможен.

Отныне Жиль понимал, что, если он хочет следовать за Жанной, надо спуститься в преисподнюю, куда он начал свой путь еще до прибытия флорентийца.

— Баррон ждет вас,— нашептывал ему Прела,— Баррон призывает вас. Придите к нему, но не с пустыми руками. Именно его неутоленная жажда плоти придает определенный смысл тем жертвам, для которых вы собираете всех этих детей. Их плоть должна быть вашим ключом к раскаленным вратам Ада!

И он растолковывал Жилю, что давний вкус Баррона к плоти берет свое начало издалека, ниспослан свыше. Разве еще в самом начале Библии не рассказывается, как Яхве отверг злаки, предложенные ему Каином, и с удовольствием угостился козлятами и ягнятами Авеля? Не значит ли это, что Бог испытывает отвращение к овощам и обожает мясо?

И флорентиец разражался безумным хохотом.

— Несчастный! — возмущался Жиль.— Ты богохульствуешь! И что это ты там говоришь о детях?

— Что я говорю о детях? — восклицал Прела.— Да то, что Яхве в конце концов надоели все эти зверюшки, которыми люди его закармливали. И однажды он обратился к Аврааму. Он сказал ему: возьми твоего маленького сына Исаака, убей его и поднеси мне его нежное и белое тело! Разумеется, в последнюю минуту явился некий ангел и остановил руку Авраама, когда тот уже приставил нож к горлу Исаака. Тогда игра не удалась, но партия была лишь отложена. Явился Иисус, и уж этого-то ребенка Яхве не упустил! Бичевание, распятие, удар копьем. Небесный отец посмеялся над ангелами.

От таких шуточек Жилю становилось не по себе, и он повторял:

— Несчастный, ты богохульствуешь, богохульствуешь!

Выражение лица Прела являло саму невинность. Он вовсе не собирался оскорблять Господа, он всего лишь цитировал Священное Писание.

— Судите сами, сеньор Жиль,— добавлял он,— если Яхве любит свежую и нежную плоть детей, то Дьявол, который является подобием Бога, несомненно, разделяет эти вкусы. А как же может быть иначе?

Он придвигался к нему совсем близко, доверительно брал под руку и шептал на ухо:

— Принесите в жертву Баррону Исаака! Поднесите ему плоть

[1] Реабилитированная в 1456 году, Жанна причислена к лику святых в 1909 году и канонизирована церковью в 1920-м *(прим. автора)*.

умерщвляемых вами мальчишек. Тогда, вместо того чтобы вместе с ними запятнать себя грехом, вы спасете себя и они спасутся с вами. Вы сойдете, как Жанна, на самое дно огненной геенны и выйдете оттуда, как и она, в сверкающих лучах света!

И вот день за днем, ночь за ночью под кровлею Тиффожа начали твориться такие ужасы, какие не в силах представить себе даже самое разнузданное воображение. Хозяин и слуга — но кто был ведущим в этой проклятой игре, кто подчинялся ее правилам? — создали вокруг себя пустоту, и, кроме двух подручных, Анрие и Пуату, обегавших деревни и усердно навещавших лабораторию, никто не знал, что там творилось. Однако зловещая молва ширилась, и в день Святого Николая [1] некий нездешний дворянин проник в их тайну.

Жиль и Прела священнодействовали над перегонными сосудами, когда на чердак ворвался солдат замковой охраны. Прела бросился к нему, чтобы помешать ему увидеть происходящее в лаборатории.

— Негодяй,— закричал он,— ты поплатишься головой! Ты что, не знаешь, что вход сюда категорически запрещен?

— Сеньор,— оправдывался солдат,— это отец Бланше прислал меня. Отряд. К замку движется многочисленный и хорошо вооруженный отряд. Меньше чем через час они будут здесь.

— Ладно, проваливай,— проворчал Прела, выталкивая его за дверь.

Удрученным взором он окинул комнату, уставленную колбами, похожими на огромные мыльные пузыри, заполненные растворами и готовые улететь в потусторонний мир. Затем схватил железный прут и принялся бить реторты, стеклянные банки, перегонные кубы. Жиль решил, что он сошел с ума.

— Ты что делаешь? Разве настал конец света?

— В определенном смысле да,— ответил Прелати.— Необходимо все уничтожить. Все должно исчезнуть.

И он бил и бил. Ртуть серебряным ковром растекалась по выложенному плитками полу. Страницы колдовских книг, чернея, корчились в пламени горна.

— Но что же все-таки случилось?

Прелати остановился и перевел дыхание.

— Увы, сеньор Жиль, я хорошо знаю, что за отряд скачет к Тиффожу. Еще неделю назад я приказал своим людям следить за его передвижением, надеясь, что он проедет мимо нас. Но нет, как видите: через час они будут здесь. Ничто не остановит этих несравненных господ придворных.

— Господа придворные?

— Дофин Людовик, будущий Людовик Одиннадцатый, если я правильно посчитал. Ему всего лишь шестнадцать, он хил телом, но успел прославиться своей хитростью. Он уже строит козни против своего отца, короля Карла.

Дофин Людовик сделал своей резиденцией замок Монтегю. Формально король отправил его в Пуату, поручив покончить с бесчинствами вояк, не смирившихся с заключением мира, на самом же деле он решил удалить его от двора.

— Этот тощий кот корчит из себя святошу,— продолжал Прелати.— Он увешал себя образами и ковчежцами. Его длинный нос знает только два запаха: запах святости и запах костра.

Спустя некоторое время Дофин в сопровождении Жиля и его свиты осторожным шагом обходит замок. Похоже, здешний воздух, который он вдыхает, кажется ему весьма подозрительным. Он останавливается перед камином, где дымятся клочки пергамента и остатки костей.

— А это что такое? — удивляется он.— Почему, когда мы подъезжали к Тиффожу, изо всех труб вовсю валил дым?

Жиль пытается увести его, но он упорствует и принимается разглядывать осколки реторты.

---

[1] В декабре 1439 года *(прим. автора)*.

— В этих стенах пахнет серой...

— Монсеньор, это пар, употребляемый для уничтожения паразитов,— спешит ответить флорентиец.

— Неужели паразитов? — переспрашивает Людовик, бесцеремонно разглядывая Жиля, Прелати и их людей.

И он семенит дальше, продолжая осмотр и словно размышляя вслух:

— Однако как много паразитов во Французском королевстве. Но их не так-то просто уничтожить, даже парами серы. Есть, конечно, паразиты особого рода, которые уничтожают самих себя своим собственным ядом. И не надо им мешать.

Когда королевский кортеж в молчании удаляется, постепенно скрываясь из виду, слышны только хриплые крики галок, кружащих вокруг башни. Но Жиль и его товарищи знают, что отныне над ними нависла смертельная угроза.

Считалось, что именно набег Жиля де Ре на Сент-Этьен-де-Мерморт стал причиной его ареста и последующего процесса. Разумеется, так, если исходить из элементарной и поверхностной логики, согласно которой у каждого действия есть своя причина и у каждой причины свое следствие. Но истинная подоплека таилась в самой его жизни.

Замок Сент-Этьен-де-Мерморт был за гроши куплен у него Жоффруа ле Фероном. После этой продажи у Жиля осталось горькое чувство. Узнав, что новый хозяин, еще не выплатив полностью свой долг, уже притесняет крестьян, опаздывающих с уплатой податей, он страшно разгневался. В воскресенье 15 мая 1440 года, в Троицын день, Жиль со своими людьми ворвался в замок, отбросив старого кастеляна, ставшего у них на пути. Нет, Жоффруа здесь нет. Зато его брат Жан служит обедню в замковой церкви. Жиль устремляется туда, отрывает священника от алтаря, швыряет на землю и грозит задушить его. В конце концов он связывает его по рукам и ногам и увозит с собой. Эта грубая расправа изрядно обескуражила его сторонников.

Вот молитва, прочитанная Франческо Прелати сразу после этих событий:

Сеньор Баррон, ты видишь, что я ничем не пренебрег, помогая этому человеку подняться на верхнюю ступень твоей лестницы. Чтобы обратить его ярость в рвение, а низменные вожделения в стремление достойно предстать перед твоим августейшим ликом, я покинул свою родную Тоскану. И я был уверен, что мне это удалось: ведь отныне он умерщвлял мальчиков не ради животной страсти, но единственно с целью принести их останки тебе в жертву! И вот пожалуйста! Полюбуйтесь на него, он только что совершил насилие над священником, служащим мессу, и, презрев его одежды, увел в плен, сам не зная зачем! То ли из-за горсти экю, то ли из-за двух-трех повешенных вилланов! Сеньор Баррон, я сожалею, разочарование мое велико, так что скорее всего мне придется предоставить сира де Ре его печальной участи, кою кует он своими собственными руками...

Вот так в последующие недели Жиль остался в полном одиночестве, и в тот день, 14 сентября 1440 года, когда отряды, прибывшие из Нанта, осадили замок Машкуль, он был в нем совершенно один. Потерянный, с всклокоченными волосами, хозяин замка, скорчившись, сидел возле стены в пустой зале главной башни, когда зазвучали трубы и нотариус Робен Гийоме зачитал вызов в суд:

Мы, Жан Лаббе, капитан, выступающий от имени монсеньора Иоанна V, герцога Бретани, и Робен Гийоме, нотариус, выступающий от имени монсеньора Жана де Малеструа, Нантского епископа, повелеваем Жилю, графу де Бриенну, сеньору Лаваля, Пузожа, Тиффожа, Машкуля, Шантосе и прочих владений, маршалу Франции и королевскому наместнику Бретани, немедленно открыть ним ворота замка и признать себя нашим пленником, дабы затем предстать перед судом, церковным и светским, по обвинению в колдовстве, содомии и убийстве.

Ответом была тишина, нарушаемая лишь криками ворон, ссорившихся

между собой из-за останков полуразложившейся туши, брошенной в ров, окружавший замок. Снова раздались звуки труб, дабы вызов был прочитан второй, а затем и третий раз.

Наконец Жиль встал и, словно сомнамбула, бросился бежать по пустынным коридорам замка, выкрикивая имена своих товарищей: Прелати, Бланше, Анрие, Пуату... Не было никого. Все бежали. Тогда он взял себя в руки, прекратил взывать и плакать. Он оделся, вооружился и, распахнув натужно громыхнувшие тяжелые ворота замка, вышел в полной парадной форме маршала Франции. Его вид был столь внушителен, что случилось недоразумение. Люди Жана де Малеструа, решив, что сир де Ре нападает на них во главе целого отряда, в беспорядке бежали. Но что за наваждение! Он один. Перепуганные солдаты окружают его. Он вручает свою шпагу командиру отряда. Ему подводят коня. Почтительно помогают подняться в седло. Кортеж трогается в путь, но кажется, что это Жиль ведет людей, он их начальник и сеньор.

Отряд прибывает в Нант, к герцогскому дворцу, его встречают слуги и отводят Жиля в Новую башню, где для него приготовлена комната. Он снимает доспехи, облачается в белую одежду кармелита и, преклонив колена на скамеечку для молитв, обхватывает голову руками и погружается в размышления.

Для Жана де Малеструа, Нантского епископа, канцлера герцога Бретани и председателя суда, который должен собраться через несколько дней, начинается самое суровое испытание, кое когда-либо ожидало его на его поприще. Он перечитывает свое письмо, положившее начало этому беспрецедентному процессу:

Доводим до сведения, что во время посещений нантского прихода Святой Марии, где нередко подолгу проживает Жиль де Ре, а также иных окрестных приходов до нас дошли слухи, а затем и жалобы, равно как и многие донесения людей достойных и добропорядочных, свидетельствовавшие о том, что мессир Жиль де Ре, рыцарь, хозяин здешних мест и барон, наш подданный и нам подсудный, вместе с несколькими своими подручными зарезал, убил и зверским богопротивным способом погубил множество юных невинных отроков, предаваясь с ними противоестественному сладострастию и пороку содомии, вызывая и заставляя их вызывать ужасных демонов, приносил жертвы этим демонам, заключал с ними сделки, а также совершил многие другие отвратительные преступления, находящиеся в ведении нашей юрисдикции...

Арест Жиля де Ре и суд над ним, случившиеся в ту осень 1440 года, повергли в великое волнение весь город Нант. Простолюдины с пристрастием обсуждали дела господ. Будут ли допрашивать обвиняемого? Чернь просто мечтает об этом, но не верит: знатные господа не станут пытать своего! Допросы хороши для народа. А маршал Франции, без сомнения, выйдет сухим из воды, может быть, даже еще более могущественным.

Для мелкой сошки из торговцев и судейских процесс за версту отдавал деньгами. Огромное состояние, замки, земли — словом, вся эта богатейшая добыча была совершенно осязаема, не то что какие-то истории с колдовством и зарезанными мальчишками, которые вытаскивали на поверхность для вида, скрывая основное! Разбой высокого полета, поистине королевская пожива, и к ней устремились самые крупные хищники здешних мест! Пока же враги де Ре трепетали, заполучив такого пленника. Молва даже сочинила сказочку: «Кролики поймали волка и посадили в клетку. Боже мой, что же делать, что делать! Нельзя же выпустить его!»

Наверху же власти предержащие озабоченно хмурятся. Наконец Иоанн, герцог Бретани, и епископ Жан де Малеструа берут на себя ответственность за этот поистине исторический процесс.

— Видите ли, монсеньор, более всего меня удручает неизбежность сравнения этого процесса с процессом Девы Жанны.

— Не вижу ничего общего между ними,— заявляет Малеструа, но слова его звучат неубедительно.

— Жиль де Ре был верным соратником Жанны. Девять лет назад Жанна взошла на костер по обвинению в колдовстве. А что грозит сеньору де Ре сегодня?

— Я не слишком опережу события, если скажу, что он также рискует взойти на костер по обвинению в колдовстве,— предполагает Малеструа.

— Вот видите!

Оба мужа молча опускают головы, подавленные столь очевидным сходством. Затем, четко проговаривая каждое слово, герцог заключает:

— Процесс Жанны был изначально неправедным и ложным, его затея была преступной. Я хочу, чтобы процесс Жиля де Ре был безупречен, чтобы на нем восторжествовали ясность и правосудие. Я рассчитываю на вас, монсеньор!

Процесс начался в четверг 13 октября и завершился во вторник 26 октября. Тринадцать дней, в течение которых Жиль де Ре явил себя в трех обличьях — или следовало сказать под тремя масками, а может, вовсе речь шла о трех разных душах, обитавших в теле одного человека?

Сначала все увидели знатного сеньора, надменного, беззастенчивого и необузданного. Потом всего лишь за одну ночь он утратил всяческую надежду и, словно раненый зверь, по-детски стал цепляться за всех, кто, как ему казалось, мог поддержать его и спасти. В конце концов на него вновь нахлынули воспоминания о Жанне, и он отправился на казнь как должно христианину, смирившийся и просветленный.

В первый же день при слушании сорока девяти статей обвинительного заключения Жиль бросился на фискала Жана де Блуэна и епископа Жана де Малеструа словно разъяренный бык. На вопрос Малеструа: «Что вы можете сказать по поводу предъявленного вам обвинения?» — он ответил:

— Мне нечего сказать по поводу обвинения, зато я много чего могу сказать о тех, кто его предъявил. Сеньор Малеструа, епископ Нантский, и вы, брат Жан де Блуэн, и вы, брат Гийом Мериси, и вы там, рассевшиеся, словно стая зловещих птиц на жердочке, справа и слева от их преосвященств: я такой же христианин, как и вы, и так же, как вы, имею право поручить себя суду Господа нашего, и я утверждаю и клянусь Богом, что вы не настоящие судьи. Вы стервятники! Не мои преступления интересуют вас, и даже не я сам, но мое состояние, только оно одно. Мои земли, мои замки, мои леса, мои деревни, мои сундуки и золото, которым, как вы думаете, они набиты. Если бы я был беден, разве бы я оказался здесь, разве меня обвинили бы в каких-то убийствах и ересях? Нет, если бы я был беден, то сейчас был бы свободен как воздух, потому что всех вас, присутствующих здесь, преступления и ереси интересуют не больше, чем прошлогодний снег. Дело ведь не в них. Речь идет о других вещах, более серьезных, чем преступления и ереси. Речь идет об огромной добыче, чей запах алчно вдыхают ваши трепещущие ноздри. Спеша обобрать меня, вы по уши увязли в грязном болоте интриг. Воспользовавшись подставными лицами, вы уже выторговали себе не один мой замок, да еще на баснословно выгодных условиях. Нет, вы не судьи: вы мои должники. Я не обвиняемый: я ваш заимодавец. Когда меня не станет, вы будете драться за мое достояние, словно собаки, вырывающие друг у друга кишки и требуху убитого оленя. Так нет же! Я не признаю вас. Я взываю к высшей власти. Вон отсюда! Убирайтесь!

Яростные нападки столь знатного дворянина, как сеньор де Ре, озадачили судей. В их рядах поселилась растерянность. Наконец один из них встал, за ним тотчас последовали остальные. Ошеломленные случившимся, они робким шагом, гуськом покинули зал суда...

Следующее слушание состоялось через два дня, в субботу 15 октября. То, что произошло в этот день, может понять лишь тот, чья вера в Господа так же неколебима, как была непреклонна вера Жиля де Ре. Точно так же,

как Жанна — как большинство мужчин и женщин того времени,— он чувствует себя на равных с небом, и Церковь — его мать. Впрочем, именно это он и заявляет с самого начала заседания:

— Я христианин, слышите, христианин! Я был крещен, как и вы, а значит, очищен от первородного греха, возвращен под десницу Господню. Могу добавить, что накануне своего ареста я исповедался и получил отпущение из уст отца Эсташа Бланше. Так что, господа мои судьи, я стою перед вами чист и светел, словно новорожденный агнец.

Но он имеет дело с теологами, которые значительно искушеннее и сильнее его. Дабы спутать его мысли, Жан де Блуэн прибегает к изощренной казуистике:

— Ты утверждаешь: я христианин. Но никто из нас не христианин. Никто не может похвастать тем, что он истинный христианин, если только он не сам Христос. Мы по мере сил лишь стараемся стать таковыми. Ибо истинный христианин — это недостижимый идеал.

Казуистика. Сила будет говорить устами Жана де Малеструа:

— К тому же ты умолчал о своей принадлежности к нашей святой католической Церкви, хотя как раз тут ты не ошибся, сеньор де Ре! Ибо если ты и был в лоне нашей Церкви, то знай же, что отныне ты к ней больше не принадлежишь.

— Я больше не принадлежу к Церкви?

— Да. В силу указа об отлучении, принятого вчера здесь при единодушном согласии всех присутствующих. Ты отлучен, Жиль де Ре, выброшен во мрак из лона Церкви.

Отлучен? Слово как громом поражает Жиля. Отлучение хуже смерти, потому что за ним следует вечное проклятие. Без покровительства Церкви душа не может восторжествовать над кознями Дьявола.

Жиль испускает гневное и горестное рычание:

— Я? Отлучен? Вы не имеете права! Церковь — моя мать. Я взываю к матери своей! Я имею право на ее внимание, на ее помощь, на ее теплоту. Я не сирота. Не брошенный ребенок. Я погибну, отлученный от материнской груди. Помогите! Помогите!

И все видят, как он устремляется к судьям и, заливаясь слезами, бросается в объятия Малеструа.

Прерванное слушание возобновляется после полудня. Успокоившийся и преобразившийся Жиль заявляет о своем подчинении суду:

— Я признаю полномочными судьями на моем процессе епископа Жана де Малеструа, фискала Жана де Блуэна и его помощника Гийома Шапейона, кюре прихода Святого Николая, равно как заседателями на нем Гийома де Малеструа, епископа Манского, Жана Прижана, епископа Сен-Брие, Дени Лоэри, епископа Сен-Ло, и Жака де Понкоэдика, официала Нантского собора. Я смиренно прошу у них прощения за оскорбления и обидные слова, в ослеплении сказанные мною в их адрес.

После такого заявления, сделанного тихим и монотонным голосом, судейские колпаки, митры, кардинальские шляпы и скуфейки зашевелились и склонились друг к другу: господа судьи совещались. Затем Жан де Малеструа объявил:

— Во имя Господа, твои судьи даруют тебе прощение, коего ты просишь.

— Значит, отлучение снято? — пожелал уточнить Жиль.

— Указ о твоем отлучении, коим покарали тебя, отменен. Ты снова принят в лоно нашей матери Церкви.

Последние слова епископа, казалось, вернули его к жизни. Он встрепенулся и с высоты своего роста окинул взором присяжных, сидевших напротив, словно нанизанные на вертел каплуны.

— Со своей стороны,— произнес он,— я признаю абсолютную достоверность чудовищных свидетельств, имеющихся против меня. В показаниях свидетелей, сделанных устно или письменно, нет ни единой подробности, которая бы не заслуживала доверия. С тех пор как Христос умер на

кресте, взяв на себя все грехи мира, ни одно существо не было отягощено столькими преступлениями. Поистине я самый омерзительный человек, который существовал когда-либо. Вина моя безмерна.

В этом признании было столько гордыни, что судьи почувствовали себя еще более униженными, нежели накануне, когда Жиль осыпал их градом оскорблений. Малеструа наклонился к Блуэну.

— Он приравнял себя к Сатане! — шепнул он ему.

— Вот почему,— продолжал Жиль,— я заклинаю вас без сожалений и проволочек приговорить меня к самому тяжкому, какое только существует, наказанию и убежден, что за мое нечестие оно все равно будет слишком легким.

Но в то же время я умоляю вас молиться за меня, и если милосердие вам не чуждо, любите меня, как мать любит самого несчастного из своих детей.

Отныне Жиль, одеревенелый и неподвижный, словно статуя, присутствовал на бесконечном шествии свидетелей, каждое слово которых камнем падало на его голову. Сначала это были родители юных исчезнувших жертв, как-то:

Николь, жена Жана Юбера из прихода Сен-Венсан:

У меня был сын по имени Жан, четырнадцати лет. В Нанте, когда там пребывал сир де Ре, к нему подошел некто по имени Спадин, проживавший вместе с указанным сиром де Ре. Этот Спадин дал ребенку каравай, который мальчик принес домой, сказав, что сир де Ре пожелал оставить его у себя. Мы ответили, что не возражаем. После чего ребенок уехал вместе с этим Спадином и больше никогда не появлялся. Мой муж, Жан Юбер, ходил в замок Ласюз, чтобы узнать у Спадина о судьбе маленького Жана. Первый раз Спадин ответил ему, что он ничего не знает. Второй раз он отказался говорить с Жаном Юбером.

Жан Дарель из прихода Сен-Северен:

Больше года назад, когда я был болен и лежал в постели, Оливье, которому тогда шел восьмой год, играл с другими детьми на Рыночной улице. Был день Святого Петра, Оливье домой не вернулся, и больше его никто никогда не видел.

Жан Феро и его жена:

Два года назад, в день Святого Иоанна Крестителя, Реньо Донет, теперь уже покойный, нанялся к нам для обучения ремеслу булочника, и сын его, двенадцати лет, приходил помогать ему сажать хлебы в печь. Но мы не раз замечали, что когда мальчик узнавал, что в город приехал сир де Ре, он бросал хлебы и убегал из пекарни в дом вышеназванного сира де Ре. Но мы не знаем, что он там делал. И вот однажды, мы точно не помним когда, мы увидели, как он ушел, и с того самого дня мы больше ничего о нем не слышали.

Андре Барр, сапожник, проживающий в Машкуле:

Еще на Пасху я услышал, что пропал сын моего друга Жоржа Ле Барбье. Последний раз его видели, когда он собирал яблоки возле замка Машкуль. Некоторые соседи предупреждали Жоржа Ле Барбье, чтобы он поостерег сына, потому что его могли схватить возле замка, ибо ходили слухи, что в Машкуле ели маленьких детей.

Жанна, вдова Эмери Эделена, проживающая в Машкуле:

У меня был сын восьми лет, он ходил в школу, был очень красивый, очень чистоплотный и очень способный. Он жил со своей бабушкой возле замка Машкуль. Он пропал, и я не смогла узнать, что с ним стало. Примерно в то же самое время пропал и сын Руссенов, и еще сын Жедонов. А недели две спустя пропал также сын Масе Сорен. Так как многие слышали мольбы о помощи, то решили, что мальчики были отданы в качестве выкупа за

мессира Мишеля де Силле, схваченного англичанами, которые потребовали за него двадцать четыре ребенка мужского пола.

Тома Эзе и его жена, проживающие в Машкуле:

Мы люди бедные, а потому в Троицын день послали одного из наших сыновей, десяти лет, просить милостыню в замок. Мы больше его не видели и не имели никаких известий о нем, кроме одного: дочка соседа, которая в тот же день просила милостыню в замке, рассказала, что сначала хлеб раздали только девочкам, а потом какой-то слуга сказал мальчикам, что если они пойдут с ним, то получат еще и мясо. Она видела, как те пошли.

Перон Лоссар, проживающая в Ла-Рош-Бернар:

Два года назад в сентябре месяце сир де Ре, проездом из Ванна, остановился в гостинице Жана Колена, что напротив моего дома. Так получилось, что один из слуг сира де Ре, по имени Пуату, заинтересовался моим сыном, которому было десять лет и он ходил в школу. Пуату попросил меня разрешить мальчику поехать с ним. Он пообещал одевать его, прекрасно кормить и позаботиться о его будущем. Я ответила, что мальчик еще мал и я не стану забирать его из школы. На что он сказал, что сам станет посылать его в школу, а мне заплатит четыре ливра. Я разрешила сыну поехать с ним. Он отвел его в гостиницу Колена. Назавтра, когда сир де Ре выходил из гостиницы, я подошла к нему, чтобы замолвить словечко за своего ребенка, бежавшего рядом с ним. Он мне ничего не ответил, но обратился к Пуату, сказав, что тот сделал отличный выбор и этот мальчик прекрасен как ангел. Они купили у Колена маленькую лошадку для моего сына, и скоро все уехали. С тех пор, несмотря на все мои старания, я не могла получить известий о сыне.

Скоро все узнают, что же случилось с детьми. Допрос Этьена Корийо, по прозванию Пуату, и Анрие Гриара, эконома сира де Ре, прольет свет на то, что творилось за стенами Тиффожа, Шантосе и Машкуля.

— После того как сир де Ре передал замок Шантосе во владение господину герцогу Бретани,— рассказывает Пуату,— он захотел съездить туда в последний раз вместе со мной. Прежде чем отправиться в Шантосе, он привел меня к себе и приказал поклясться никогда не рассказывать о том, что я там увижу.

— И все-таки сейчас ты нам расскажешь, что ты увидел в Шантосе.

— В замковой башне были ссыпаны детские кости.

— Скольких детей?

— Надо было очень быстро сложить все в сундуки и увязать веревками. Я не мог их сосчитать. Но, судя по черепам, от тридцати шести до сорока шести.

— И что вы сделали с этими костями?

— Мы перевезли их в Машкуль, в спальню сира де Ре, и там сожгли в камине. Прах был разбросан во рвах, окружающих замок.

— Что происходило в спальне сира де Ре в Машкуле?

— Туда мы — Силле, Анрие и я сам — приводили сиру де Ре детей.

— Видел ли ты, что сир де Ре делал с ними?

— Да. При помощи этих детей сир де Ре утолял свои плотские вожделения, для чего брал свой кол...

— Замолчи! Ни слова больше!

Фискал Жан де Блуэн встает. Он снимает свой плащ и накрывает им распятие, висящее на стене позади него.

— А теперь, Пуату, продолжай!

— ...он брал свой кол, то есть свой мужской член, и возбуждал его, чтобы тот встал, а затем втыкал его ребенку между ляжек, но вовсе не туда, куда природа назначила девочкам.

— Разве крики детей, подвергавшихся подобным надругательствам, не поднимали тревогу?

— Чтобы избежать этих криков, сир де Ре завязывал на шее ребенка

веревку и подвешивал его на крюк. Тот задыхался, но он не давал ему умереть, развязывал его, возвращал к жизни, осыпал ласками, клялся, что все было сделано без злого умысла, а всего лишь из желания развлечься. Когда же ребенок окончательно успокаивался, он перерезал ему горло и во время агонии утолял свою похоть.

— Как убивали детей?

— Иногда сир де Ре убивал ребенка своими собственными руками. Иногда он приказывал Анрие или мне убить его. Мальчишке отрезали голову или перерезали горло, а иногда, словно кролику, разбивали голову палкой. Сам сир де Ре пользовался мечом, который он любовно называл избавителем.

По знаку фискала судебный исполнитель приносит меч, о котором идет речь, и показывает его судьям.

Допрос Анрие Гриара позволял выяснить различные подробности. Сначала фискал пожелал узнать, не удалось ли спастись некоторым детям после того, как они побывали в лапах сира де Ре.

— Из осторожности, а также чтобы заставить детей молчать, он убивал их,— уточнил Анрие.— Я не раз слышал, как он хвастал, что самое большое наслаждение — это убить или зарезать ребенка, а потом смотреть, как он кончается в муках, и все это для того, чтобы утолить свое вожделение.

— Кто-нибудь из детей пережил преступные ласки сира де Ре?

— Нет, за единственным исключением. Когда сиру де Ре не хватало для разврата свежих жертв, он брал юных певцов из хора своей церкви. Но с ними он не был столь жесток, ибо страстно любил музыку.

— А что вы делали с телами и одеждой?

— Тела складывали в камин, наваливали вязанки хвороста и поддерживали огонь до тех пор, пока они не превращались в золу, которую потом разбрасывали по земле и по воде вокруг замка. Одежду также сжигали, но не сразу, а постепенно, избегая излишнего дыма, который мог бы вызвать любопытство посторонних.

— Не использовались ли трупы детей для каких-либо целей?

— Иногда глаза, сердце и руки складывали на поднос. Наполняли кровью таз. Эту жертву подносили Дьяволу, желая таким образом заслужить его милость. Но случалось также, что сир де Ре отрезал головы у нескольких трупов и расставлял их на камине. Потом он звал нас и вынуждал вместе с ним взирать на этот разделочный стол, заставляя говорить, какую из голов мы находим самой красивой. Когда самая красивая голова бывала сообща избрана, он брал ее в руки и целовал в губы.

Кульминацией процесса должен был стать допрос Франческо Прелати. Его вид, манеры, одежда, речи — все отличалось присущими ему дерзостью и изысканным вкусом. В этом не было притворства. Разумеется, он знал, что никакой расчет, никакой обман, никакая подлость не могли вызволить его из столь безнадежного положения [1]. А может, он просто был не способен быть не кем иным, кроме как самим собой. Его надменность проявилась с самого первого ответа. Фискал Шапейон спросил, действительно ли его зовут Франческо Прелати.

— Называйте меня Прела,— потребовал обвиняемый.

— Франсуа Прела,— послушно повторил Шапейон,— вы родились двадцать три года назад в Монте-Катини, в епископстве Луккском, в Италии. Вы были посвящены в духовный сан епископом Ареццо, однако вы стали изучать поэзию, геомансию, хиромантию, некромантию и алхимию.

Это, *однако,* заставило Прелати иронически улыбнуться, но все же он согласился с судьей.

---

[1] Приговоренный к пожизненному заключению, Прелати бежит и в качестве мага поступает на службу к Рене Анжуйскому. Тот назначает его капитаном в Ла Рош-сюр-Йон, куда он привозит своего давнего приятеля Эсташа Бланше. Однако в 1445 году он был осужден и повешен за то, что украл печать казначея Бретани и воспользовался ею *(прим. автора).*

— Около двух лет назад, когда вы проживали в доме епископа Мондови в квартале, где обитает флорентийская чернь, вы встретили некоего аббата Эсташа Бланше, представившегося исповедником и посланцем сира де Ре. Он спросил вас, согласны ли вы помочь ему в деле спасения указанного сира де Ре. Вы согласились.

— Душа пребывала в погибели, я почел своим долгом устремиться к ней на помощь,— звучно произнес Прелати.

— Подобная забота с вашей стороны удивляет нас, но еще удивительнее узнавать, что, дабы, как вы говорите, помочь этой душе в погибели, вы не взываете ни к Господу, ни к святым, но обращаетесь к Сатане, Баррону, Велиалу, Вельзевулу, словом, призываете всю адскую нечисть!

— Они одни еще могли что-то сделать для сира де Ре.

— Объясните.

— Отец Бланше предупреждал меня. Однако, обнаружив, до какого мерзостного состояния дошел сир де Ре, я ужаснулся.

— И вы призвали на выручку Дьявола.

— Для обращения к Господу и его святым там был отец Бланше, а он, похоже, уже исчерпал все свои молитвы. Одна из поговорок моей родины звучит примерно так: для лечения конской болезни приглашай ветеринара. В данном случае лекарством был огонь. И прежде всего огонь Ада, единственный, коим можно было прижечь гноящиеся раны сира де Ре.

— Странный способ лечения — отдать де Ре в лапы Дьявола!

— Речь не шла о том, чтобы отдать сира де Ре в лапы Дьяволу. Призывая Баррона, я написал расписку, каковая гласила: «Приди ко мне по моему велению, и ты получишь все, что пожелаешь, кроме души моей и умаления моей жизни».

— Так вы считаете, что Дьявол способен сделать скидку?

— Конечно. Надо только уметь с ним договориться.

— Но обязуясь отдать ему все, чего он пожелает, знаете ли вы, чего он может пожелать?

— Конечно!

— Человеческих жертв! Крови, сердец, трупов детей!

— А разве Господь не потребовал от Авраама принести в жертву своего маленького Исаака?

Малеструа не вытерпел. Разъяренный, он вскочил и трясущимся указательным пальцем, затянутым в малиновую перчатку, стал тыкать в сторону допрашиваемого:

— Проклятый флорентиец, ты оскорбляешь Писание!

Прелати повернулся к нему и почтительно, но с явной издевкой произнес:

— А разве Иисус не сказал: *пустите детей и не препятствуйте им...*[1]

— Я приказываю тебе замолчать! — прогремел Малеструа.

— Сатана есть подобие Господа,— продолжил Прелати с нарочитым смирением.— Да, подобие перевернутое и уродливое, но все-таки подобие. В Сатане нет ничего, чего не было бы в Господе. Именно полагаясь на это исчерпывающее сходство, я и рассчитывал спасти сира де Ре.

Судьи, эти теологи и большие любители изощренных диспутов, помимо своей воли навострили уши. Пьер де Лопиталь сделал знак Малеструа не прерывать Прелати.

— Продолжайте!

— Бросить сира де Ре на самое дно пучины мерзостей, а затем, воздействуя огнем, заставить его претерпеть то изумительное превращение, которое обращает низкий свинец в золото. И он предстанет перед нами в ореоле святости!

— Это безумие! — восклицает Малеструа.

— Мы живем в безумное время. Злоключения Девы Жанны словно молнией поразили сира де Ре.

— Зачем вы впутываете в это дело Деву Жанну?

---

[1] Евангелие от Матфея, 19, 14.

— Сир де Ре вручил свое доблестное сердце в руки Жанны, излучавшей святость. Ангелы берегли ее, Святой Михаил и Святая Катерина наставляли на верный путь. И она летела от успеха к победе. Затем наступила пора злокачественных перемен: черная ночь темницы, процесс, приговор, искупительный, но в то же время и спасительный костер. Надо было, чтобы сир де Ре в свою очередь подвергся такому испытанию, прошел через него. В этом причина его преступлений, творимых во имя Дьявола. И он отныне на правильном пути.

— Что вы называете правильным путем?

— А разве он, как Жанна, не идет на костер?

— На что же вы надеетесь?

— На благое изменение. Как знать, не будет ли руанская колдунья вскоре реабилитирована, не снимут ли с нее обвинение? Ее станут почитать. И я не удивлюсь, если эта маленькая пастушка из Домреми в один прекрасный день будет канонизирована Римом. Объявят праздник Святой Жанны! Святая Жанна! Представляете, какой светлый отблеск падет тогда на Жиля де Ре, всегда следовавшего за ней словно тень? И кто может сказать, не канонизируют ли заодно и ее верного товарища: Святого Жиля де Ре?

В среду 25 октября 1440 года на океанском побережье свирепствовал один из тех осенних штормов, которые заставляют верить в близкий конец света. Огромные валы обрушивались на песок. Соленые брызги и клочья пены взлетали в небо, изборожденное молниями, и устремлялись в улочки Нанта. На одном из песчаных языков, коими изобилует устье Луары, именуемом островом Бьес, люди, борясь со шквальным ветром, сооружают причудливую голгофу: три костра, над которыми возвышаются три виселицы; та, что в середине, выше остальных двух.

Тем временем народ готовится к пышным похоронным торжествам. Матери семейств и их дочери наряжаются словно на свадьбу, правда, в полном молчании и наряды их черны. Ибо торжества, ожидающиеся сегодня вечером, посвящены уходу сира де Ре через огненные ворота в мир иной.

На улице вырос целый лес факелов, пламя их корчится от порывов ветра. Медленно отворяются большие ворота собора. Сначала на паперть выходит епископ Жан де Малеструа в золоченой митре и белых перчатках. Видно, как он тяжело опирается на свой посох, сгибаясь, словно под непосильной ношей. Он достойно завершил свое нелегкое дело, но эти тринадцать дней состарили его лет на двадцать. Потом вышли каноники капитула в белых стихарях, поверх которых надеты короткие зеленые мантии, за ними священники, мальчики из церковного хора. И наконец, герцог Бретани во главе своих сановников.

В почтительном удалении от них идут трое приговоренных: Жиль, Пуату и Анрие, босые, в балахонах из грубой шерсти. Следом, на большом расстоянии, бредет мрачная толпа родственников убитых детей. Они идут парами, каждая пара несет маленький белый гроб. Прежде чем попасть на луга острова Бьес, надо перейти через множество мостов, перекинувшихся через рукава реки. Дойдя до подножия виселицы, Жиль обнимает Пуату и Анрие.

— Я просил дать мне умереть первым и добился этого,— говорит он им,— чтобы у вас не осталось никаких сомнений, что я не избегну наказания. Таким образом, я раньше вас окажусь возле небесных врат. Следуйте за мной по пути к спасению, как вы следовали за мной по пути преступления.

Затем, повернувшись к толпе родственников, он говорит:

— Я подтверждаю, что вера моя, внушенная мне с детства, осталась чиста и непоколебима. Я встретил настоящую святую. Сопровождал ее в ее славе. Затем Инквизиция осудила ее как колдунью, а я, я стал самым большим грешником всех времен, самым страшным человеком, который когда-либо существовал. Никто так, как я, не нуждается в участии своих

ближних и в милосердии Господнем. Друзья мои, братья мои, заклинаю вас, молитесь за меня!

Палачи хлопочут вокруг костров. Занимается пламя. Порывы ветра раскачивают три тела. Толпа падает на колени. К небу возносятся пение и молитвы. Но ни этот мощный погребальный хор, ни грохот бури не могут заглушить небесного зова, доносящегося словно голос далекого колокола и призывающего:

Жанна! Жанна! Жанна!

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ» ПРОЗА, ПЬЕСЫ, СТИХИ

1970

ЖАН КОКТО. Стихи, № 1.
ПАБЛО ПИКАССО. Девять стихотворений, № 3.
ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ. Рассказы, № 4.
БЕРНАР КЛАВЕЛЬ. Плоды зимы (роман), № 5, 6.
МИШЕЛЬ БЮТОР. Изменение (роман), № 8, 9.
РЭМОН КЕНО. Стихи, № 8.
ЖОРЖ БРАССЕНС. Стихи, № 12.

1971

ЖАН КОКТО. Человеческий голос (пьеса), № 6.
ШАРЛЬ БОДЛЕР. Стихи, статьи, № 6.

1972

ФРАНСУАЗА САГАН. Немного солнца в холодной воде (роман), № 3.

1973

РЕНЕ ШАР. Стихи, № 4.
ПЬЕР РУАНЕ. Кастель (повесть), № 8.

1974

АНДРЕ МОРУА. Письма к Незнакомке, № 1.
ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ. Стихи, № 1.
ЭРВЕ БАЗЕН. Крик совы (роман), № 9, 10.

1975

Из французской поэзии: ЖАН КЕЙРОЛЬ, ПЬЕР РЕВЕРДИ, ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ, № 1.
АНРИ ТРУАЙЯ. Анна Предайль (роман), № 8.

1976

ТРИСТАН КОРБЬЕР. Стихи, № 8.
ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ. Кружевница (повесть), № 9.

1977

АНДРЕ РОБЕР. Взгляд египтянки (повесть), № 1.
ЭРВЕ БАЗЕН. История одного развода (роман), № 2,3.
АЛЬФОНС АЛЛЕ. Рассказы, № 5.
ЖАН ЖУБЕР. Человек среди песков (роман), № 8.

1979

ЖАН КАРРЬЕР. Ястреб из Маё (роман), № 2, 3.
ЖАК РУБО. Стихи, № 8.

1980

ЖАН МАРИ ГЮСТАВ ЛЕКЛЕЗИО. Мондо (повесть), № 2.
БЕРНАР НОЭЛЬ. Стихи, № 12.

1981

АЛЕН БОСКЕ. Стихи, № 3.
ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС. Однажды весной в Италии (роман), № 4, 5.
АРТЮР РЕМБО. Стихи, № 8.
ШАРЛЬ СЕНТ-БЁВ. Стихи, № 12.

1982

ДОРОТЕ ЛЕТЕССЬЕ. Поездка в Пемполь (роман), № 3.
ЖАН МАРЕАС. Стихи, № 7.

(Продолжение см. на с. 168)

АЛЬФОНС АЛЛЕ

Миниатюры

Перевод Н. БУНТМАН

От переводчика

Говорят, что впервые Альфонс Алле всех разыграл, когда появился на свет 20 сентября 1854 года в один день с Артюром Рембо в бретонском городке Онфлер, богатом на знаменитостей — там родились историк Альбер Сорель, писатель Анри де Ренье, композитор Эрик Сати.

Второй по счету розыгрыш был не менее удачен, чем первый,— говорить маленький Альфонс начал только в три года. Зато много и правильно.

По окончании лицея Алле работает в аптеке отца, а в 1875 году будущий писатель попадает на военную службу. Армейские порядки со временем вдохновляют Алле на ряд рассказов и на шутки, ставшие настолько популярными, что их преподносили как анекдоты.

Через год Алле оказывается в Париже и поступает в фармакологическую школу, которую ему не суждено закончить — его затягивает бурный водоворот Латинского квартала, где в одном из кафе поэт Эмиль Гудо создает клуб под несколько необычным названием «Гидропаты». Членам клуба полагалось обладать чувством юмора, быть острыми на язык и вдобавок — владеть пером. Это были писатели, поэты, изобретатели, иногда просто чиновники, утром отправлявшиеся на службу, а вечером сочинявшие веселые истории для газет «Гидропат», «Весь Париж» и др. Альфонс Алле сразу сделался любимцем и заводилой всей компании.

Несмотря на то что по идейным соображениям «гидропаты» вскоре раскололись на «мохнатых» и «шалопаев» («фумистов»), они по-прежнему собирались вместе, теперь уже в кабаре «Черный кот», хозяину которого принадлежит афоризм: «Бог создал мир, Наполеон — орден Почетного легиона, а я — Монмартр».

Известность Алле растет. Его собратья по перу и развлечениям посвящают ему целый номер «Гидропата», вышедший 28 января 1880 г.

1881 год. Выставка в парижской галерее Вивьен. Альфонс Алле прикрепляет к стене лист белой бумаги. Подпись под «картиной»: «Малокровные девочки идут во время снегопада на первое причастие». Вслед за этим шедевром автор создал целую серию подобных «полотен», увидевших свет в «Первоапрельском альбоме» Алле вместе с партитурой «Похоронного марша для глухого», где... не было ни единой ноты.

Как и в жизни, в литературе Алле был неистощим на розыгрыши. Зачастую истории Альфонса Алле оканчиваются ничем, зависают в воздухе. Автор любит провоцировать искушенного читателя: действие может свернуть в противоположную сторону, оставив в недоумении тех, кто рассчитывает на строгое соблюдение законов жанра.

Первая книга Алле «Бессонная ночь красного гусара», иллюстрированная знаменитым Каран д'Ашем, вышла в 1887 году, а в 1891 появляются «Присмертные произведения» — юморески, объединенные в сборники «Да здравствует жизнь», «Дважды два — пять», «Не будем друг друга мутузить» и проч. Затем следуют «Посмертные произведения» — рассказы, представленные в хронологическом порядке.

Алле умер в 1905 году. Его последний розыгрыш, по свидетельству Жюля Ренара, удался на славу:

«Поскольку у Алле был флебит, ему велели полгода лежать в постели. Но он предпочел пойти в кафе, где во всеуслышание заявил:

— Завтра я умру. Всем это кажется забавным, а вот мне не смешно. Завтра я умру».

По верхам

Верх осторожности: ходить на руках из страха, что на голову свалится кирпич.

Верх материнской заботливости: иметь дочку, которой необходимо отправиться с визитом к венерологу, и провожать ее, оберегая от дурных знакомств.

Верх цинизма: ночью убить хозяина лавки, чтобы наутро вывесить объявление: «Закрыто по случаю похорон».

Верх вежливости: сесть на собственную задницу и попросить у нее за это прощения.

Верх человеколюбия: продырявить ночью стенку, чтобы вернуться домой, не потревожив консьержку.

Верх ловкости: научиться определять время по барометру.

Верх сходства: бриться перед собственным портретом.

Верх позерства: не выходить из дома, каждые полчаса бренчать на пианино, чтобы соседи подумали, что у вас часы с музыкальным боем.

Верх рассеянности: потерять очки, а затем надеть их, чтобы их как следует поискать.

Верх невнимательности: потеряться в толпе, а потом пойти в комиссариат и дать приметы пропавшего.

Верх экономии: лежать на куче сора, выметенного из чужих глаз, и обогреваться бревном, вынутым из своего собственного.

Верх рассеянности: проснувшись утром, забыть открыть глаза.

Максимы

Господь поступил очень мудро, сделав так, что рождение предшествует смерти; иначе как бы мы узнали, что есть жизнь?

Что может быть бесчеловечнее человеческого самопожертвования?

По статистике во время войны смертность в армии значительно возрастает.

Хорошенькая со вкусом одетая женщина подобна красивой пустой бутылке с яркой этикеткой.

Тиканье часов — это хруст, с которым мыши грызут время.

О радже, которому было скучно

Восточная сказка

Раджа скучал.

О, как же он скучал!

Никогда в жизни он еще так тяжело не умирал от скуки. (А уж Будда знает, как скучно бывает иногда бедным раджам!)

Вы вот тупо улыбаетесь, а сами-то видали когда-нибудь скучающего раджу?

Нет? Ну и нечего тупо улыбаться.

Я полагаю, что даже Виктору Гюго, талантливо, легко и непринужденно написавшему «Король забавляется», было бы не под силу написать первые десять строф «Раджа скучает», а ведь Виктор Гюго был не дурак.

Вернемся к нашим баранам. Если из-за длинного лирического отступления вы обо всем забыли, то позвольте мне еще раз вам напомнить, что раджа скучал!

В северной части дворца свита замерла в ожидании.

И слоны раджи тоже замерли в ожидании.

Ибо сегодня у раджи было желание поохотиться на ягуара.

И уж не знаю, чем таким достаточно было пошевелить радже, чтобы распорядитель понял:

— Свита, на место! Слоны, на место!

Ленивая свита в восторге.

Слоны ворчливо трубят, то есть по-слоновьи выражают свое недовольство.

Ибо в отличие от африканского слона, который способен только гоняться за бабочками, индийский слон обожает охотиться на ягуаров.

Тогда приведите баядерок!

А вот и баядерки! Баядерочки пришли!

Но и с баядерками радже было скучно.

Пошли вон, баядерки! Пошли вон!

И баядерки ушли вон.

Ну-ка, ну-ка, что там за новенькая, раджа ее еще не знает.

— Останьтесь, баядерочка, не уходите! Потанцуйте!

И баядерочка начала танцевать!

О, что за танец!

Сколько очарования и достоинства в ее движениях!

Она хранила и творчески приумножала старинные, даже можно сказать, древние обычаи.

О, арабески, выписываемые ее ножками на ониксовых плитах! О маленькие неторопливые забавные ручки, следующие священному ритуалу!

О, все что она ни делала!

И вот наконец в ритме звучащей музыки она начинает раздеваться.

Она ловко сбрасывает одну за другой детали своего туалета, и они разлетаются в разные стороны.

Раджа оживляется!

Каждый раз, когда падает очередная вуаль, раджа нетерпеливо говорит хриплым голосом:

— Еще!

И еще одну вуаль сбрасывает маленькая баядерка, и совсем охрипший от нетерпения раджа приказывает:

— Еще!

Теперь она совершенно нагая!

Ее юное, нежное, миниатюрное тело восхитительно.

Напоминает ли оно светлую бронзу или розоватую слоновую кость? Трудно сказать. Может, и то и другое?

Тут раджа вскакивает и страшным голосом кричит:

— Еще!

Бедная баядерочка ощупывает себя, чтобы убедиться, не забыла ли она сорвать с себя какой-нибудь кусочек ткани.

Да нет, вроде бы она совсем голая.

Раджа бросает на своих слуг жуткий взгляд и снова орет:

— Еще!

Слуги сразу все понимают.

Они вытаскивают из ножен широкие ножи и мастерски снимают кожу с прелестной баядерочки.

Она переносит эту пустяковую операцию с поразительным мужеством, необычным для столь юного существа, и вскоре предстает перед раджой: ее теплое пунцовое освежеванное тело слегка подрагивает.

Все в смущении удаляются.

Вот теперь радже не скучно.

Зеленокрылый

Несчастное создание!

Я по сей день вспоминаю, как он приходил к нам по утрам: тощий, бледный, закутанный в жалкий лоснящийся сюртук бедного учителя.

Его снисходительность и вечно грустный вид казались ученикам — в том числе и мне — страшно смешными, и мы не упускали случая причинить ему боль, поскольку уже тогда мы были отменными пошляками, жестокими и трусливыми.

Бр-р-р, какие холода стояли в ту зиму!

Но, несмотря на дождь, ветер и снег, наш учитель приходил в своем жалком лоснящемся сюртуке с поднятым зонтиком.

Как-то после новогодних каникул это несчастное создание вошло в класс в пальто...

Да нет же, говорю вам, это было пальто!

Веселье, обуявшее нас при виде сей одежды, было подобно приступу эпилепсии.

Мы даже не знали, чему отдать предпочтение — покрою шедевра или цвету.

Ни в сказке сказать, ни пером описать! Нескладно сшитое, оно морщилось с одной стороны, топорщилось с другой и сборило у горловины. А уж рукава! А карманы! А пуговицы!

Но больше всего привел нас в восторг цвет.

Если вы представите себе, что в непроходимых дебрях Бразилии убили целую стаю ядовито-зеленых попугаев, самых ярких, какие только водятся в бразильских лесах, и из перьев получилась ткань, то вы сможете вообразить цвет этого дивного пальто.

Мы мгновенно нарекли учителя Зеленокрылым, и один из местных балагуров весело сострил: «А что у попочки на завтр-р-рак?»

Несчастный Зеленокрылый стал еще печальнее, чем обычно, и мне показалось, что в его глазах блеснули слезинки.

Целую неделю мы потешались над дивным пальто, но в одно прекрасное утро Зеленокрылый предстал перед нами в жалком лоснящемся сюртуке, видимо, устав от своего оперения.

В тот день, доложу я вам, дул жуткий ветер.

На следующий день Зеленокрылый в школу не пришел.

Завуч объявил, что у нашего учителя скончалась мать и что в течение двух дней его будет заменять воспитатель.

Через два дня явился Зеленокрылый, еще более изнеможенный, бледный, печальный и снисходительный, чем обычно.

Горе несчастного создания нас обезоружило: мы бросили в сторону доски́ значительно меньше жеваной промокашки.

Некоторое время спустя, выискивая как-то раз на прилавке старьевщицы какую-нибудь нехорошую книгу, я заметил в глубине магазина... угадайте что?

На вешалке среди прочего барахла победно выделялось кричащее пальто Зеленокрылого.

Я никак не мог пройти мимо.

— Сколько стоит это пальто?

— Двенадцать франков.

Я долго торговался, цену снизили, в результате чего музейный экспонат был приобретен за шесть франков и перешел в мою собственность.

Я с трудом наскреб эти шесть франков: продал кое-какие книжки; выцыганил что-то у сестры, слегка припугнув ее для порядка; и, если мне не изменяет память, сгреб мелочь с отцовского секретера.

На следующий день я завернулся в новое одеяние и, чтобы вдоволь насладиться собственным триумфом, пришел в класс с небольшим опозданием.

Ни один гений не мог бы живописать ошеломляющий эффект, произведенный моим появлением.

Когда мои товарищи подняли глаза и увидели меня, они не могли удержаться от смеха.

С абсолютно невозмутимым видом я проследовал на свое место.

Смертельно бледный Зеленокрылый поднялся.

— Сударь,— закричал он,— вы надели мое пальто!

— Вовсе нет, сударь, оно мое. Вчера я купил его у тетушки Полидоры.

— Подайте его мне, я у вас его отбираю.

— Сударь, я вам его не подам. Вы не имеете права конфисковывать личные вещи.

Дело приняло серьезный оборот. Зеленокрылый выставил меня за дверь. Я пожаловался завучу, который признал мою правоту. В тот же вечер на улице я натолкнулся на несчастного учителя. Он подозвал меня и сказал:

— Я был не прав, что накричал на вас в то утро. Пальто действительно принадлежит вам, поскольку вы за него заплатили. Но я был бы вам крайне признателен, если бы вы не надевали его в школу — меня это очень огорчает... Вы ведь знаете, что у меня умерла мама. Так вот, это она его сшила. Купила на распродаже отрез, сама раскроила и сметала. На Новый год эта мужественная женщина подарила его мне со словами: «Возьми, мой мальчик, оно некрасивое, но зато тебе в нем будет тепло». Через несколько дней она заболела... Мы небогаты: наши скромные сбережения быстро истощились, и в один прекрасный день, чтобы купить дров, я вынужден был продать пальто. Я продал его по дешевке... А потом она умерла. Теперь вы понимаете, что когда вы издеваетесь над моим зеленым пальто, мне кажется, что вы издеваетесь над моей мамой, и мне очень больно.

Тут он на меня взглянул — я ревел как белуга.

Я попросил у него прощения и в тот же вечер решил вернуть его сокровище, над которым мне уже не хотелось смеяться.

С тех пор, когда я вижу мешковатое пальто с дурацкими рукавами и карманами, я думаю о том, что, может быть, его ночь напролет шила чья-нибудь старенькая мама, сказавшая наутро своему сыну: «Возьми, мой мальчик, оно некрасивое, но тебе будет в нем тепло».

И мне совсем не до смеха.

Чисто парижская драма

Глава первая,

в которой мы знакомимся с неким господином и некоей дамой, которые могли бы жить счастливо, если бы не их вечные стычки

«Ну, тогда женитесь».

Рабле

К тому времени, как началась эта история, Рауль и Маргарита (чудесное имя для героини романа) были женаты уже приблизительно месяцев пять.

Естественно, это был брак по любви.

Однажды вечером, услышав, как Маргарита пела прелестный романс, Рауль понял, что божественная Маргарита (diva Margarita) будет принадлежать только ему, и никому другому.

Это была бы самая счастливая пара на свете, если бы не отвратительный характер обоих супругов.

Чуть что, сразу — бац! — разбитая тарелка, пощечина, а то и пинок под зад.

Заслышав шум ссоры, бедный заплаканный Амур бежал со всех ног в дальний угол большого парка и ждал скорого примирения.

И тут следовали бесчисленные поцелуи, нежные, долгие и изощренные ласки, а также жаркие страсти.

Можно было подумать, что эти свинтусы ссорились только затем, чтобы потом снова бросаться друг другу в объятия.

Глава вторая,

являющая собой незначительный эпизод, впрямую не относящийся к действию, но дающий читателю представление о том, как жили наши герои

«У любви, как у пташки, крылья,
Ее нельзя никак поймать».

Испанская народная мудрость

В один прекрасный день разразилась гроза.

Вернее, дело было вечером.

Они отправились в театр, где давали пьесу «Неверная» господина де Порт-Моне.

— Когда ты вдоволь наглядишься на этого толстяка, дай мне знать,— проворчал Рауль.

— А ты,— огрызнулась Маргарита,— будь добр, отдай мне бинокль, после того как досконально изучишь все укромные уголки вон той мадемуазель.

Если разговор начался в таком тоне, то он не мог окончиться не чем иным, кроме обмена невежливостями.

По пути домой Маргарита с наслаждением подкалывала и щипала самолюбивого Рауля, что было сравнимо с удовольствием, получаемым от игры на старой расстроенной мандолине.

Вернувшись к себе, воюющие стороны расположились друг против друга.

Рауль замахнулся, сверкнул очами, его усы топорщились, как у приведенного в ярость кота; он начал наступать на Маргариту, которой почему-то стало не по себе.

Бедняжка испуганно вскочила и пустилась наутек, как дикая серна.

Рауль уже почти настиг ее.

В эту минуту смертельной опасности в небольшом по размерам мозгу Маргариты внезапно родилась гениальная мысль.

Резко обернувшись, она кинулась к Раулю с криками:

— Рауль, милый, умоляю, спаси меня!

Глава третья,

в которой происходит примирение наших друзей, вполне достойное всяческого подражания, и не прикидывайтесь, что не понимаете, о чем идет речь

«Прикуси язык»

Дж. Локк. Из Первого трактата о веротерпении

Глава четвертая,

где говорится о том, что люди поступают очень разумно, когда не вмешиваются в то, что их не касается

«Просто поразительно, какие люди сейчас стали грубые»

Речь моей консьержки, произнесенная утром в прошлый понедельник

Однажды утром Рауль получил записку следующего содержания: «Если Вы желаете хоть раз увидеть свою жену в хорошем настроении, приходите в четверг на бал Случайных Знакомств в Мулен-Руж. Она будет в маске

и костюме, изображающем конголезскую пирогу. Имеющий уши да слышит!

Доброжелатель».

В то же утро Маргарита получила записку следующего содержания: «Если Вы желаете хоть раз в жизни увидеть своего мужа в хорошем настроении, приходите в четверг на бал Случайных Знакомств в Мулен-Руж. Он будет в маске и костюме рыцаря позднего Средневековья. Имеющий уши да слышит!

Доброжелательница».

Оба адресата не остались равнодушны к полученным посланиям.

Когда настал роковой день, они талантливо соврали друг другу.

— Дорогая,— произнес Рауль с самым невинным видом,— я вынужден Вас покинуть на денек. Дела государственной важности зовут меня в Дюнкерк.

— Кстати,— ответила ему Маргарита ангельским голоском,— я только что получила телеграмму от тетушки Аспазии. Она тяжело больна и просит меня приехать.

Глава пятая,

где мы видим, что вместо того чтобы думать о вечном, нынешняя молодежь проводит жизнь в бесцельных и пустых развлечениях

Amabilis insania! Dulce periculum!

Все журналы и газеты твердили наперебой, что в этом году бал Случайных Знакомств удался на славу.

Отмечено было большое количество голых плеч, красивых ножек, не говоря уж о более мелких деталях.

Только двое не принимали участия во всеобщем веселье: Рыцарь позднего Средневековья и Конголезская пирога — оба в скрывающих лицо масках.

Когда пробило три часа ночи, Рыцарь подошел к Пироге и пригласил ее на ужин.

В знак согласия Пирога положила свою хрупкую ручку на могучую длань Рыцаря, и парочка удалилась.

Глава шестая,

в которой ничего непонятно

— Не кажется ли Вам, что раджа смеется над нами?
— Очень может быть, сэр.

Рабиндранат Тагор

— Оставьте нас,— сказал Рыцарь официанту,— мы изучим меню и позовем Вас.

Когда официант ушел, Рыцарь тщательно закрыл дверь на защелку. Потом он резким движением сдернул маску с себя и сделал то же самое с Пирогой.

Крик изумления вырвался из их уст: они даже не были знакомы!

Он оказался не Раулем.

Она оказалась не Маргаритой.

Они принесли друг другу свои извинения, и за легким ужином между ними установились теплые, дружеские отношения, чтобы не сказать больше.

Глава седьмая,
где счастливы все, кроме остальных

Все есть во всем, и наоборот
Альфонс Алле

Эта неприятная история послужила уроком Раулю и Маргарите. С того дня они больше никогда не ссорились и всегда жили дружно. У них нет пока детей, но всему свое время.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ» ПРОЗА, ПЬЕСЫ, СТИХИ

1983
ПЬЕР БУЛЬ. Рассказы, № 5.
ЖОРЖ БРАССЕНС. Стихи, № 7.

1984
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ. Стихи, № 9.

1985
ПЬЕР РОНСАР. Стихи, № 3.
ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС. Венеция зимой (роман), № 4.

1986
НАТАЛИ САРРОТ. Детство (повесть), № 12.

1987
ВЕРКОР. Волчий капкан (повесть), № 5.

1988
ПАТРИК МОДИАНО. Смягчение приговора (повесть), № 12.

1989
ЖАН-ПОЛЬ САРТР. Тошнота (роман), № 7.
СЕН-ЖОН ПЕРС. Стихи, № 7.
РОБЕР САБАТЬЕ. Стихи, № 11.

1990
АЛЬБЕР КАМЮ. Осадное положение (пьеса), № 10.
АРТЮР РЕМБО. Стихи, № 9.

1991
АНДРЕ ЖИД. Тесные врата (роман), № 1.
ФРАНСУАЗА САГАН. Рыбья кровь (роман), № 2.
МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР. Последняя любовь принца Гэндзи (новелла), № 7.
ЭРВЕ ГИБЕР. Другу, который не спас мне жизнь (роман), № 8, 9.
АЛЕН БОСКЕ. Стихи, № 8.

1992
АЛЬБЕР КАМЮ. Счастливая смерть (роман). Записные книжки, № 2.
ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ. Стихи, № 2.
БУАЛО-НАРСЕЖАК. Рассказы, № 11—12.
МОРИС ЛЕБЛАН. Черная жемчужина (рассказ), № 11—12.

1993
ЛОТРЕАМОН. Из «Песен Мальдорора», № 1.
ЖАН ЖЕНЕ. Дневник вора, № 1.
РОМЕН ГАРИ. Обещание на рассвете (роман), № 2.
АЛЬБЕР КАМЮ. Ренегат, или Смятенный дух (рассказ), № 3.
СИМОНА ДЕ БОВУАР. Из книги «Второй пол», № 3.
ЖАН-КЛОД БРИСВИЛЬ. Ужин (пьеса), № 5.
РОБЕР МЕРЛЬ. Мадрапур (роман), № 6.

(См. начало с. 63, 160, 168)

МОРИС БЛАНШО

При смерти

ПОВЕСТЬ

Перевод И. СТАФ

Если правда, что конечная цель искусства в том, чтобы выразить невыразимое, то можно сказать, что творчество Мориса Бланшо посвящено именно этой задаче. Молчание, «неприсутствие», смерть — вот объекты его исследований. Иногда мысль автора, его воображение заставляют персонажей как бы жить после смерти, внося в тексты Бланшо элементы фантастики, и это заставило в свое время Ж.-П. Сартра отнести одну из ранних вещей Бланшо к области фантастической литературы. Однако нет никаких сомнений, что творчество этого писателя вот уже десятки лет развивается в русле европейского модернизма. Ныне не часто встретишь работу об авангардистских тенденциях во французской литературе, где бы не было ссылок на Бланшо, его романы, повести, критические статьи, эссеистику...

Морис Бланшо следует по пути поисков истины без лица и без имени, и эти поиски не безнадежны, ибо, говоря словами самого писателя, «в литературе заключена притягательная, но опасная возможность добраться до сути вещей бесчисленными тропами вымысла».

БЕРНАР ПЕНГО

(Из статьи, посвященной Морису Бланшо, в сборнике «Писатели сегодня»)

Эти события произошлй со мной в 1938 году. Рассказывать о них мне чрезвычайно неловко. Я уже не раз пытался записать их. Я писал книги, потому что надеялся с помощью книг положить всему этому конец. Я писал романы, потому что именно романы родились в тот момент, когда слова стали отступать перед правдой. Правда мне не страшна. Я не боюсь выдать какую-нибудь тайну. Но до сих пор слова оказывались слабее и коварнее, чем мне было нужно. Я знаю, в их коварстве кроется предостережение. Достойнее было бы не тревожить правду. Для правды лучше всего было бы не выходить наружу. Но теперь я надеюсь, что скоро с этим покончу. Покончить с этим — дело тоже достойное и важное.

Я должен, однако, напомнить, что как-то раз мне удалось придать этим событиям некую литературную форму. Это было в 1940 году, в конце июля или начале августа. Из-за общего оцепенения я остался без работы и от нечего делать записал эту историю. Но, закончив, перечитал написанное. И сразу же порвал. Сейчас не могу даже вспомнить, большая была рукопись или нет.

Я буду писать как получится, потому что рассказ этот, я уверен, касается только меня одного. По правде говоря, его можно свести к десятку слов. Тем-то он и страшен. Вот они, десять слов, и я могу их произнести. Я сопротивлялся этим словам девять лет. Но сегодня утром, 8 октября (я только что обнаружил, к своему удивлению, какое сегодня число), а значит,

почти в годовщину первого из тех дней, будет, я почти уверен, написано то, чего не нужно было бы писать. Мне уже несколько месяцев кажется, что я наконец решился.

Свидетелями этих событий были многие, но лишь один человек, правда, больше всех заслуживающий доверия, сумел смутно угадать правду. Мне случалось — вначале часто, потом реже — звонить на квартиру, где все происходило. В этой квартире я жил сам, она находится в доме 15 по улице ... После там, по-моему, еще какое-то время оставалась сестра той молодой женщины. Что с ней теперь? Жила она, по ее собственному любимому выражению, за счет своих любезностей. Думаю, она умерла.

Ее сестра была наделена величайшей волей и жизненной силой. Семья их, изначально буржуазная, постепенно впала в изрядную бедность. Отец погиб в 1916 году; мать, оказавшись владелицей кожевенного завода, сама не заметила, как разорилась. Она вышла замуж во второй раз, за какого-то скотовода, и в один прекрасный день, бросив оба свои предприятия, они купили винный магазинчик где-то в XV округе. Здесь они, по-видимому, разорились окончательно. В принципе часть завода принадлежала обеим дочерям. Споры из-за денег бывали в семье зачастую весьма бурными. Справедливости ради надо сказать, что г-жа Б. из года в год тратила на лечение старшей дочери небольшие суммы — и, не задумываясь, попрекала ее и этими деньгами тоже.

У меня хранится «живое» свидетельство этих событий. Но без меня оно не может свидетельствовать ни о чем, а пока я жив, к нему, надеюсь, никто не подойдет близко. После моей смерти оно превратится просто в скорлупу от какой-то загадки. Надеюсь, у тех, кто меня любит, хватит духу, когда я умру, уничтожить его, не дознаваясь, что это такое. Позже я расскажу обо всем этом подробнее. Если же этих подробностей будет недостаточно, умоляю не кидаться наугад на мои не слишком многочисленные тайны, не читать моих писем, если случится их найти, не рассматривать фотографий, если те попадутся на глаза, а главное — не отпирать ничего, что заперто на ключ; пусть они уничтожат все, не зная, что уничтожают, в слепом, не размышляющем порыве подлинной привязанности.

В конце 1940 года один человек по моему недосмотру смутно ощутил существование этого «свидетельства». Она почти ничего не знала о той истории и потому не смогла даже слегка прикоснуться к правде. Она только догадалась, что в шкафу (я тогда жил в гостинице) что-то заперто; она увидела шкаф, протянула руку, чтобы открыть его. Но в ту же минуту с ней случился странный припадок. Она упала на кровать, ее била дрожь; всю ночь она дрожала, не произнося ни слова; на рассвете она стала хрипеть. Хрипы продолжались около часа, а потом она уснула и проснулась здоровой. (У этой женщины, совсем еще юной, было больше рассудка, чем нервов. Она сама жаловалась на собственное хладнокровие. Но в тот момент хладнокровия ей не хватило. Относительно ее припадка я, однако, должен добавить, что хотя он больше не повторялся, его можно расценить как последствие неудачной попытки отравиться, совершенной двумя-тремя годами раньше; бывает, что когда тело охвачено сильным потрясением, яд просыпается, оживает в нем, словно забытый сон.)

Основные даты этой истории должны быть у меня отмечены в маленькой записной книжке, запертой в секретере. Единственная дата, которую я помню точно,— это 13 октября, среда, 13 октября. Впрочем, это не так важно. С сентября я отдыхал в Аркашоне. Я был там один. Это было в тревожные дни Мюнхена. Я знал, что она больна, и более чем серьезно. В начале сентября, вернувшись из поездки, я задержался в Париже и говорил с ее врачом. Тот считал, что жить ей осталось три недели. И все же она по-прежнему вставала с постели; она жила на равных с изнурительной лихорадкой; ее трясло часами, но в конце концов она справлялась с приступом. По-моему, числа 5 или 6 октября она еще ездила с сестрой покататься на машине по Елисейским полям.

Она была на несколько месяцев старше меня, но лицо у нее было совсем юное, и болезнь почти не оставила на нем следов. Правда, она красилась.

Но ненакрашенной она казалась еще моложе, даже чересчур молодой, настолько, что главное, что появилось у нее в результате болезни,— это черты девочки-подростка. Только ее глаза, слишком черные, слишком блестящие и слишком широко открытые — а иногда из-за лихорадки чуть вылезающие из орбит,— были неестественно застывшими. На сентябрьской фотографии глаза получились такими огромными и серьезными, что, не сделав над собой усилия, невозможно отвлечься от их выражения и заметить, кроме них, улыбку, впрочем, едва уловимую.

Повидав ее врача, я сказал ей: «Он считает, что вам осталось жить месяц».— «Ну что ж,— ответила она,— я скажу об этом королеве-матери, а то она никак не поверит, что я больна». Не знаю, чего ей хотелось больше — жить или умереть. В последние месяцы болезнь, с которой она боролась уже десять лет, день ото дня теснее сжимала границы ее жизни, и теперь все неистовство, на какое она была способна, уходило у нее на проклятия по адресу и болезни, и жизни. Незадолго до того она всерьез думала покончить с собой. Как-то вечером я сам посоветовал ей этот выход. В тот же вечер, выслушав меня и не в силах произнести ни слова — ей не хватало дыхания, однако она, как здоровая, сидела за столом,— она написала короткую записку, но мне не показала. В конце концов я выпросил у нее эту записку и храню ее до сих пор. Это ее последние распоряжения: в двух словах она просит родных похоронить ее как можно скромнее, а главное, запрещает кому бы то ни было приходить на ее могилу; еще она отказывает небольшую сумму своей подруге, А., невестке одной довольно известной балерины.

Меня она не упомянула. Я понял, как горько ей было из-за того, что я согласен на ее самоубийство. Согласию моему действительно трудно найти оправдание, более того, это было предательство, потому что, как я осознал позднее, хорошенько подумав, шло оно от смутной уверенности, что болезнь не одолеет ее никогда. Она слишком упорно боролась. Если бы все шло естественным путем, она бы уже давно умерла. Однако она не только не умерла, она по-прежнему жила, любила, смеялась, ходила по улицам, словно человек, перед которым болезнь бессильна. Ее врач сказал мне, что, по его расчетам, она должна была умереть еще в 1936 году. Правда, врач этот одно время лечил и меня и тоже однажды сказал: «Поскольку вы должны были умереть два года назад, все, что вам осталось жить,— это уже лишнее». Он тогда даровал мне полгода лишней жизни; с тех пор прошло семь лет. Но у него были все основания желать, чтобы я оказался на шесть футов под землей. Его слова означали только то, что ему этого хочется. Про Ж. он, думаю, говорил правду.

Я плохо помню, чем кончилась та сцена. Кажется, она собиралась порвать листок. Но в тот момент, когда я отдавал его, на меня нахлынула огромная нежность к ней, огромное восхищение ее мужеством, ее холодной храбростью перед лицом смерти. Я и сейчас вижу, как она сидит за столом и молча пишет свои последние и такие странные слова. Меня бесконечно растрогало это крошечное завещание, под стать ее скудному, уже не ей принадлежащему существованию, эта предсмертная мысль, где мне не нашлось места. Я узнавал в нем ее неистовство и сдержанность; я понимал, что в ее власти бороться до последней секунды, бороться даже против меня. Она часто и много плакала. Но никогда это не были слезы слабости. Два-три раза по ходу очень бурных сцен ей случалось ударить меня; мне надо было тогда ее остановить, потому что, вспоминая об этом, она бывала потрясена и даже как будто напугана — напугана тем, что подняла на меня руку, что сделала какую-то низость, но еще больше — сознанием своего безумного перевозбуждения, не встречавшего с моей стороны никакого отпора. Из-за этого она чувствовала себя наказанной, обиженной и попавшей в беду. Но если бы мне грозила смерть, я бы, конечно, отвел ее руку. Я не мог огорчить ее, позволив ей себя убить. За год или два до того одна девушка стреляла в меня, тщетно прождав, чтобы я отнял у нее револьвер. Однако ту девушку я не любил. Она, впрочем, через некоторое время покончила с собой.

В общем, по этим причинам, и еще из-за тех коротких странных слов, что она написала, я оставил листок у себя. О самоубийстве она теперь не помышляла. Болезнь больше не давала ей передышки. Сестра в то время не всегда жила с ней. Во всяком случае, ведя тот образ жизни, о котором я говорил, она нередко отлучалась из дому и либо возвращалась ночевать, либо нет. У Ж. была экономка, которая приходила готовить ей еду, но на каникулах она перестала приходить. Так что Ж. очень часто оставалась дома одна. Иногда навестить ее поднимался консьерж, которому она нравилась. У нее было мало подруг, хотя в свое время она любила развлечения. Даже А., с которой она охотно виделась, наскучила ей. И тем не менее она обрадовалась бы любому гостю, потому что одной ей было страшно. Она была очень мужественная, но ей было страшно. Ей всегда становилось очень страшно по ночам. Мы встретились с ней в гостинице, где я остановился; она снимала маленькую комнатку на третьем этаже, а я — довольно большую на четвертом. Я, что называется, не был с ней знаком, хотя при встрече мы несколько раз здоровались. Но однажды ночью, внезапно проснувшись, она увидела в изножье кровати какого-то человека и приняла его за меня; чуть позже до нее донесся звук закрывшейся двери и удаляющихся по коридору шагов. И тут она вдруг отчетливо ощутила, что я скоро умру или только что умер. Тогда она поднялась ко мне, незнакомому человеку, и окликнула меня из-за двери. Я ответил первое попавшееся: «Не бойтесь!» — но голос у меня был очень странный и мог скорее испугать ее, чем успокоить. Ей стало так страшно, что она, решив, что я и вправду умер, толкнула запертую дверь, и та подалась и отворилась. Я вовсе не был болен, хотя, быть может, это было нечто большее, чем болезнь. Я проснулся и сам довольно сильно испугался. Я дал ей слово, что не заходил в ее комнату и никуда не отлучался из своей. Она легла ко мне на кровать и почти сразу уснула. Можно, разумеется, над этим посмеяться, однако ничего смешного здесь нет, порыв, подтолкнувший ее среди ночи к незнакомцу и отдавший в полную его власть,— это порыв благородный, и, последовав ему, она поступила как нельзя более правильно и верно. Я знаю лишь двух человек, способных на подобный порыв, да и то по-настоящему уверен только в одном.

Когда она заболела, страх превратил для нее день в ночь. Не знаю, чего именно она боялась — не умереть, нет, но чего-то большего. Под рукой у нее стоял телефон, и она могла, не набирая номера, позвать консьержа. Мать тоже заезжала к ней раз или два в неделю, но, не успев прийти, обязательно под каким-нибудь предлогом спешила удалиться. Такое поведение выводило ее из себя. Она осыпала ее упреками, а потом упрекала сама себя — за то, что плакала, что разволновалась до слез из-за пустяка, заведомой мелочи, и из-за человека, которого не слишком любила. Просто ей казалось странным, что мать, зная, что она вот-вот умрет, не может пожертвовать ради нее какой-нибудь неотложной покупкой. Поэтому прогноз врача привел ее в восторг: она радовалась, что может устроить матери испытание. Та в самом деле плакала и стенала, но не согласилась задержаться ни на минуту. Притом что каждая минута, отвоеванная у одиночества и страха, была для Ж. бесценной милостью. Ради одной-единственной минуты она боролась изо всех сил — боролась не уловками или мольбами, но в глубине души, хоть и не хотела в этом признаться. Так ведут себя дети; молча, энергией какого-нибудь отчаянного желания они велят миру что-то сделать, и бывает, мир слушается их. Болезнь превратила Ж. в девочку, но ее энергия была слишком велика; поэтому она могла одержать победу не в мелочах, но только в главном, в самом главном.

Перед моей поездкой в Аркашон мы договорились, что Ж. испробует новый метод лечения, придуманный каким-то лионским физиком, метод, который еще не получил распространения и, похоже, отлично подходил для людей не очень больных, зато для больных тяжело означал почти верную смерть. Как раз по поводу этого лечения я и встречался с врачом Ж. В ее случае вероятность смертельного исхода составляла, по его мнению, восемьдесят процентов. Без лечения вероятность становилась неизбежно-

стью, и через три недели наступала смерть. Сам не знаю почему, но этот метод лечения мне нравился. Ж. он нравился не меньше. Врач пока колебался, но склонялся к тому, чтобы его испробовать. Как я понял позднее, врач этот во многих отношениях был сумасшедшим. Он вполне серьезно изучал Парацельса и ставил разные опыты, порой эксцентрические, порой ребяческие. Два или три мы с ним проделывали вместе, когда я у него лечился, а он размышлял, как бы от меня избавиться. О себе он говорил, что он католик, имея в виду, что ходит в церковь. В первый же день он встретил меня следующим заявлением: «Мне выпало счастье обрести веру, я человек религиозный. А вы?» В кабинете у него висела на стене прекрасная фотография туринской плащаницы, где, по его словам, образ Христа накладывался на образ Святой Вероники; и в самом деле, я отчетливо увидел за ликом Христа проступающие черты женского лица редкой, даже ослепительной красоты — благодаря его неожиданно гордому выражению. Чтобы не возвращаться больше к этому врачу, добавлю, что у него были свои достоинства: по-моему, диагнозы он ставил гораздо точнее обычного.

Когда я уехал в Аркашон, Ж. поначалу писала мне довольно длинные письма, и почерк ее был по-прежнему твердым и полным сил. Она рассказывала, что врач заставил ее подписать бумагу на случай неудачи. Итак, курс лечения — состояло оно в уколах, по одному уколу в день, на дому — начинался. Но накануне назначенного дня она почувствовала резкую колющую боль в сердце, и с ней случился такой приступ удушья, что она попросила позвонить матери и сама вызвала врача. Врач, как и все более или менее известные специалисты, не любил, когда его беспокоили. Однако на сей раз он явился довольно быстро, видимо, из-за того, что назавтра должен был начинать лечение. Не знаю, что он обнаружил по приходе — об этом он мне ничего не говорил. Ей же он сказал, что это чепуха, и прописал какие-то действительно пустяковые лекарства. И все же с лечением решил несколько дней повременить.

Колющая боль в сердце не утихла, но внешние симптомы несколько сгладились; она в очередной раз одержала победу. Снова зашел разговор о лечении — ей очень хотелось лечиться, то ли чтобы покончить со всем этим, то ли потому, что ее энергия уже не могла довольствоваться некоей расплывчатой целью, тем, чтобы жить, чтобы выжить, но нуждалась в окончательном решении, на которое могла бы прочно опереться. Вслед за тем произошел занятный случай. Я передал одному парню, занимавшемуся (профессионально) хиромантией и астрологией, очень красивый муляж рук Ж. и попросил задать основные координаты ее жизни. Руки у Ж. были маленькие и самой ей не нравились; но линии на них казались мне ни на что не похожими — они были прерывистые, перепутанные, без малейшего внешнего единства; я не сумею их описать, хотя в эту минуту вижу их перед собой, и они живые. Больше того, иногда все линии смазывались и постепенно исчезали совсем, кроме одной глубокой борозды поперек ладони, соответствующей, по-моему, так называемой линии судьбы. Линия эта четко проступала лишь в тот момент, когда остальные стирались; ладонь тогда становилась совершенно белой и гладкой, поистине выточенной из слоновой кости, хотя в другое время из-за штрихов и морщин выглядела почти старческой; но посередине всегда открывался глубокий, как топором прорубленный разрез, и если эта линия и вправду называется линией судьбы, то должен признаться, что, судя по ее виду, судьба эта должна была сложиться трагически.

В те дни я получил от этого парня ответ; о руках он не писал ничего — думаю, он решил, что муляж неточный, хотя слепок снимал один скульптор, о котором я, быть может, еще расскажу. Однако в своем астрологическом отчете он очень точно описал болезнь Ж. (о которой я, естественно, ему не говорил) и предсказывал, что ей сделают операцию и она почти выздоровеет; записка его кончалась словами: «она не умрет». Там были еще замечания о характере Ж. и общем смысле ее судьбы, но довольно туманные. В общем, работу он сделал скорее посредственную, но нас поразили в ней несколько верных деталей, относящихся к ее болезни, и еще больше —

намек на лечение и его невероятные результаты. Ж. очень веселилась. Она была суеверна, но только отчасти и только в мелочах. В ее ночных кошмарах не было места суеверию; она находилась перед лицом огромной опасности, не имевшей, однако, ни имени, ни обличья, и когда она бывала дома одна, она встречала ее лицом к лицу, не прибегая ни к каким увертками и талисманам. Случалось, она гадала на картах сестре — та бегала по всем гадалкам и пыталась в кафе околдовать богатых с виду мужчин, заполучив у официанта их стакан.

День, когда ей должны были сделать первый укол (он в любом случае вызывал длительный обморок), оказался одним из самых зловещих накануне Мюнхена. Все предыдущие дни администратор гостиницы по утрам сообщал мне, что кто-нибудь из жильцов уехал. Иногда уезжали и двое сразу. Однако он не терял надежды, потому что в гостинице уже неделю жил один крупный политический деятель и пока не уезжал. В тот день деятель вызвал себе машину и уехал, а за ним и десятки других постояльцев. Огромный отель превратился в пустыню. Мне тоже пора было уезжать, хотя бы из-за работы, но я остался. Сейчас я, как ни пытаюсь, не могу понять, почему в те дни я не вернулся в Париж, куда звало меня все. Мысль о том, что меня не было в Париже, причиняет мне боль, это правда, но главное, я не могу взять в толк, отчего так произошло. Какой бы загадочной ни была череда событий, о которых я говорю, мое собственное добровольное отсутствие, сделавшее возможными эти события, для меня еще большая загадка. Я знал, что Ж. хочет меня видеть, а в подобные минуты вообще не хочет видеть никого, кроме меня,— хоть она и писала обратное, чтобы не мешать моему отдыху. В тот день мне дважды звонили из моей газеты, но я не подходил к телефону. Я ждал звонка от Ж. или ее сестры, но так и не дождался. Может быть, в тот момент я стал подумывать об отъезде, но не ручаюсь. Правду распознать нелегко.

Наконец через день я получил короткую записку, написанную рукой Ж., именно рукой, а не почерком — почерк был измученный до предела. Она сообщала, что врач, за час до того как прийти к ней и сделать первый укол, решил уехать из Парижа, чтобы отвезти детей в провинцию; вернуться он должен был через день-другой. «Загородитесь мешками с песком и оставайтесь в укрытии»,— заявил ей по телефону сей доктор, намекая, как последний глупец, на песок, который используют в гражданской обороне. «Ну что ж,— шутила Ж. в конце,— скоро у меня будет укрытие еще лучше, шесть футов земли». Письмецо было написано чернилами, но, как я сказал, вид имело бесконечно страдальческий. Мне показалось, что в ней произошел какой-то перелом, что где-то в укромном уголке ее души идет сейчас такая битва, что мне стало страшно. Я впервые решился ей позвонить. Было около полудня. Она была одна. Я почти не слышал ее, потому что при первых же словах у нее случился сильнейший приступ кашля и удушья. Несколько секунд до меня доносилось ее рваное, хриплое дыхание; потом она наконец выговорила: «Уйдите»,— и я повесил трубку.

На следующий день я получил от нее письмо, написанное карандашом, но длиннее и спокойнее предыдущего, может быть, даже слишком спокойное. Как я и боялся, мой звонок причинил ей настоящую муку: для нее было пыткой, что она не может говорить, и еще большей пыткой — то, что она не в силах сдержать кашель и я его слышу, поэтому она, совершив над собой безумное усилие, заставила его утихнуть и велела мне уйти; в результате этого усилия она, должно быть, потеряла сознание и позднее обнаружила с удивлением, что лежит на полу, чувствуя себя, как она писала, снова совсем маленькой девочкой. Очевидно, что слово это, «уйдите», едва не стоило ей жизни. С тех пор она почти не вставала с постели. Я звонил ей еще раз или два, и она разговаривала со мной умиротворенно, повторяя с некоторым нажимом, что когда мы с ней увидимся, ей надо будет рассказать мне кое-что очень интересное и важное. В одном из писем она тоже упоминает об этом: «Надеюсь, что когда вы вернетесь, я смогу говорить; я приберегу ради этой минуты все свое дыхание и скажу много важных вещей, которые мне нужно вам сказать».

Врач все же вернулся. Настал и день Мюнхена. Поскольку ей, разумеется, нельзя было выходить из дома, врач время от времени навещал ее. Он сказал, что у нее слишком много мужества и что пора про это мужество забыть. О лечении речь больше не заходила. Перед уходом он вызвал на лестницу Луизу, сестру Ж., и сказал, что бесчеловечно заставлять ее сестру так страдать, что не осталось никакой надежды и надо переходить на наркотики. Писать для Луизы было целое дело, но она все же написала мне об этом, добавив, что Ж. ничего не знает о разговоре и что «малышка», как она звала старшую сестру, конечно же, будет рада видеть меня снова. Вскоре разговор на лестнице дошел до больной, и она упоминала о нем в одном из последних писем с поразительным для нее удовлетворением. «Так что попробуем морфию»,— писала она. И еще: «Отдыхайте дальше».

Решение врача покажется естественным и обоснованным. Думаю, таким оно и было. Но для Ж. борьба приняла иную форму и стала еще тяжелее. Теперь это уже не был честный бой, бой с открытым забралом, когда противник признавал за ней волю к победе. Уколы успокаивали ее, но в то же время пытались успокоить в ней то, что не знало покоя, ее яростное, бунтарское самоутверждение перед лицом силы, не знающей пощады. Телячьи нежности были ей отвратительны. Внезапная нежная кротость болезни обманула ее и застала врасплох до такой степени, что уже после первых уколов, быть может всего двух или трех, она, прежде живая и почти нормальная, вставшая с постели и выходившая из дома, впала в прострацию и превратилась в умирающую. Даже сам врач пришел в ужас, увидев, что добился того результата, какого хотел. Он велел прекратить уколы и даже отобрал выписанный рецепт, что было для него необычно. Теперь у Ж. была сиделка, которая дежурила у нее по ночам, а вскоре стала дежурить и ночью, и днем. Сиделка эта, женщина довольно молодая, привязалась к больной, хотя та была от природы нетерпелива и нелюбезна,— она была покорена ее красотой, которая, судя по всему, в тот момент стала просто невероятной. Известно, что красивые люди после смерти становятся на какой-то миг снова молодыми и красивыми; но болезнь, почти безумные страдания, безостановочная борьба за то, чтобы дышать, и не дышать слишком глубоко, чтобы сдержать рвущийся кашель, от которого она всякий раз едва не задыхалась,— все это беспорядочное, гримасничающее буйство, от которого она должна была сделаться безобразной, никак не сказалось на безупречно прекрасном и юном, хоть и несколько жестком выражении, которым светилось ее лицо. Это, безусловно, странно. Я подумал было, что красоту эту придавал ей блеск расширенных от яда глаз. Но глаза у нее были почти все время закрыты, а если и открывались, то лишь на ничтожную долю секунды, с какой-то даже озадачивающей быстротой, словно для того, чтобы, бросив внезапный взгляд на мир, убедиться в его существовании и не оставлять его без присмотра.

Болезнь, избавившись от морфия, приложила все силы, чтобы снова подчинить ее себе. Ж. не хотела жить любой ценой. Она считала, что нелепо и даже смешно терпеть страдания, когда можно устроиться как-то иначе. Стоицизм был ей чужд. Поэтому, когда ее оставили без уколов, она пришла в бешеную ярость. Тогда стало ясно, что на самом деле она, быть может, больна не сильнее, чем прежде. Врач был обескуражен. Сначала он упирался, но после того как Ж. устроила ему сцену и оскорбила его, уступил столь настойчивым требованиям. Во время той сцены Ж. сказала: «Если вы не убьете меня, тогда вы — убийца». Позднее я обнаружил, что похожие слова приписываются Кафке. В таком виде мне их передала ее сестра, совершенно неспособная выдумать подобную вещь; приблизительно то же подтвердил и врач (ему помнилось, что она сказала: «Если вы не убьете меня, то вы меня убьете»).

На этот раз морфий подействовал совсем по-другому. Ж. была спокойна, во всяком случае чуть спокойнее обычного, но оцепенение ее было только кажущимся, и спокойствие тоже. Она вела себя так, словно, поддавшись в первый раз лживому лекарству, с тех пор держалась постоянно настороже; казалось, она глубоко спала, отдыхала, но под покровом покоя

сохраняла такую бдительность и ясность взгляда, что у врага не оставалось ни малейшей надежды захватить ее врасплох. Именно с этого времени на ее лице появилось то поразительно прекрасное выражение. Думаю, ей доставляло удовольствие вынуждать смерть быть честнее и правдивее. Она обрекала смерть на благородство.

Я не очень хорошо знаю, что происходило в те дни. Я никому не задавал лишних вопросов. Я был совершенно не в состоянии говорить о ней. Только врач, существо бестактное и подчас смешное, будучи в изумлении от происшедших событий, о которых он смутно догадывался, рассказывал мне больше, чем ему было положено, и его я расспросил. Сиделке тоже захотелось поговорить со мной по душам (по-моему, ее звали Данжерю или как-то похоже). Впоследствии она сказала мне странную фразу: «Если и вам вдруг случится тяжело заболеть, я буду рада вам помочь». Я знаю, что иногда «малышка» ночью подолгу разговаривала с ней: она просила описать ей какие-нибудь агонии, при которых та присутствовала по роду своих занятий; еще она однажды спросила: «Вы уже видели смерть?» — «Я видела мертвых, мадемуазель».— «Нет, саму смерть!» Сиделка покачала головой. «Что ж, скоро увидите». Я получил письмо от А., ее подруги. Первые строки были написаны под ее диктовку: судя по ним, она чувствовала себя почти хорошо; не беспокойтесь обо мне, говорила она, не беспокойтесь. Потом ее охватили сомнения; у нее не было сил писать самой, и она сочла дикостью прибегать к посторонней помощи, чтобы написать мне, а потому попросила подругу отказаться от затеи с письмом и больше о ней не вспоминать. Однако А. написала мне об этом, а главное, о том, что Ж. не хочет мешать мне отдыхать, но по ней ясно видно, что думает она только о моем возвращении, что все прочие люди раздражают ее и чем дальше, тем больше выводят из себя, что скоро она, поскольку меня нет, не захочет видеть вообще никого. Думаю, этим она хотела сказать, что Ж. скоро умрет. На сей раз я решил возвратиться в Париж. Однако дал себе еще два дня. Я сообщил об этом по телефону, а может быть, послал телеграмму.

Официально я жил в Париже в гостинице на улице О. В понедельник вечером (я много думал об этой дате и теперь не сомневаюсь в том, что она точна) я, довольно усталый, приехал туда из Аркашона. Среди ночи, часа в два или три, меня разбудил телефонный звонок. «Приходите, прошу вас, Ж. умирает». Говорила Луиза. Идти было недалеко, и по-моему, я вышел не мешкая. К моему удивлению, дверь квартиры оказалась открытой. Квартира была небольшая, но в ней была просторная прихожая, а чтобы попасть в ее комнату, нужно было пройти по коридору. В коридоре я столкнулся с врачом, который очень мне обрадовался и со свойственной ему бесцеремонностью подхватил меня под руку и потащил на лестницу. «Бедный вы бедный!» — «Что?!» Он мрачно покачал головой. Первых его слов я не слышал, пока он не произнес вещь настолько ужасающе пошлую, что я очнулся: «Для таких несчастных это избавление». Он еще что-то мне объяснял, но я точно не помню: по-моему, он пытался растолковать, почему решил отменить лечение. Еще он сказал: «Какая у нее воля!», потому что меньше получаса назад она позвонила ему сама, вне себя, и заставила его прийти; ему нравился этот последний приступ гнева. Значит, его она позвала вовремя, а меня нет, она говорила с ним, а не со мной. Я смотрел на этого здоровенного пошляка, который все повторял, как полоумный: «Я же говорил — три недели, ровно три недели».— «Прошло уже пять!» Сказал я это, не подумав, только потому, что меня нервировали его слова, но, увидев, как он вдруг осекся, мысленно вернулся к сказанному и тут словно неким озарением понял, что ночью в какой-то момент она, должно быть, почувствовала себя побежденной, у нее не осталось сил дожить до утра, когда я увижу ее, и тогда она попросила о помощи этого врача, чтобы продержаться еще немного, еще минуту, еще одну минуту, о которой столько раз тщетно молила про себя. Вот что этот несчастный болван принял за гнев; он, конечно, уступил ей и пришел, но было уже поздно: если она ничего не могла поделать, то он и того меньше, и единст-

венное, в чем он ей помог,— это умереть тихой, спокойной смертью, о которой он рассказывал с отталкивающей откровенностью. С той минуты началась моя тоска.

Комната была полна незнакомых людей. Кажется, там были ее мать и отчим, может быть, еще кто-то из родных, и все эти люди были мне незнакомы. Еще там была сиделка, с которой я тоже не был знаком. Именно это было бы для нее невыносимее всего — встреча у ее безмолвного тела людей до такой степени чужих. В этом было что-то неприличное, от чего ее необходимо было избавить и что подступило мне к горлу и превратило мою тоску в горечь и отвращение. Я стоял прямо перед ней, но из-за всех этих людей никак не мог ее увидеть. Я смотрел на нее, в этом я уверен, и смотрел пристально, но не видел. Только Луиза напоминала мне о ней, как о живой, и только ей я смог сказать несколько слов, а может, она сама заговорила со мной; мне хотелось понять, почему, сопротивляясь болезни так упорно на протяжении стольких нескончаемых лет, она не нашла в себе силы продержаться еще совсем немножко. Я наивно полагал, что это «немножко» — несколько минут, а несколько минут — это пустяк. Но для нее эти несколько минут значили больше, чем вся жизнь, больше, чем вечность жизни, о которой нам твердят, и ее собственная жизнь в них затерялась. То, что сказала мне по телефону Луиза — «Она умирает»,— было правдой, правдой сиюминутной, она умирала, она была почти мертва, ожидание смерти началось совсем не в тот момент — в тот момент оно закончилось; или, вернее, последнее ожидание длилось примерно столько же, сколько телефонный разговор: в его начале она была живая и ясная, следила взглядом за каждым движением Луизы; потом еще живая, но с потухшими глазами, она не кивнула в тот момент, когда Луиза говорила «Она умирает»; и как только трубка легла на рычаг, ее пульс, по словам сиделки, рассыпался как песок.

Луиза была не слишком умна и не слишком сердечна. Но внезапно она, должно быть, прочла на моем лице какую-то неотвратимую угрозу, нечто такое, чего не вправе была видеть ни она, ни кто-либо другой, и в тот же миг увела всех из комнаты. Я присел на край постели, как садился прежде много раз. Вытянувшись, она казалась длиннее, чем я думал, голова ее покоилась на маленькой подушечке и потому была неподвижна, как у надгробной статуи, а не у живого человека. Лицо ее было серьезным и даже суровым. Когда я глядел на ее крепко сжатые губы, я подумал, что, яростно стиснув зубы в последнюю секунду, она не может расслабить их даже теперь. Веки тоже были опущены. Черное сияние волос делало ее кожу такой ослепительно белой, что у меня сжалось сердце. Она, совершенно живая, была отныне не более чем изваянием. Тогда-то я и взглянул на ее руки. По счастью, они не были сложены на груди, а лежали вытянутые поверх одеяла, неловко сведенные в последней судороге, с чуть скрюченными пальцами; они показались мне такими маленькими, сжавшимися от своего последнего неудачного усилия, такими слабыми для титанической битвы, которую вела в одиночку эта великая душа, что меня захлестнула печаль. Я склонился над нею и позвал ее вслух по имени, громким голосом; и в тот же миг — я не преувеличиваю, здесь не было даже секундного перерыва,— из ее губ, еще по-прежнему сжатых, донеслось как будто дуновение, какой-то вздох, превратившийся мало-помалу в легкий, слабый вскрик; почти сразу же — в этом я тоже уверен — руки ее шевельнулись и попытались подняться. В ту минуту веки были еще плотно закрыты. Но секундой, может быть двумя, позже они внезапно распахнулись, открыв нечто ужасное, такое, о чем я не буду говорить, самый ужасный взгляд, какой только может быть обращен на живого человека, и, думаю, если бы в тот момент я вздрогнул, если бы мне стало страшно, все бы пропало, но нежность моя была так велика, что у меня даже не промелькнуло мысли о странности происходящего, все это, без сомнения, показалось мне совершенно естественным, такой безграничный порыв увлекал меня навстречу ей, и я обнял ее, и ее руки обхватили меня, и с той минуты она стала не только совершенно живой, но и вполне естественной, веселой и почти здоровой.

Только в первых ее словах еще сказывалась мучительная тревога. Сами по себе они были обычными; и я сейчас, написав, каковы они были, сам не вполне понимаю, что в них тревожного. «Вы давно пришли?» Вот эти слова, она произнесла их почти сразу. Возможно, именно в тот момент я осознал необычность ситуации, и что-то от этой необычности промелькнуло в ее фразе. Но, по-моему, в самом ее голосе еще была какая-то странность, у нее от природы был странный голос, довольно хриплый, чуть глуховатый и тусклый из-за болезни, но неизменно очень живой и веселый. Однако меня, думаю, поразила в этом голосе, помимо прочего, какая-то беспокойная модуляция: мне показалось, что, спросив, давно ли я пришел, она что-то припоминала, или готова была припомнить, и в то же время ощущала какую-то боязнь, относившуюся ко мне,— то ли к моему запоздалому приходу, то ли к тому, что я увидел и застал то, чего не должен был видеть. Все это послышалось мне в звуке ее голоса. Не помню, что я ответил. Она тут же расслабилась и снова стала совершенно человеческой и правдивой.

Как это ни странно, но, по-моему, за весь тот день мне не пришло в голову ни одной внятной мысли, относящейся к событию, благодаря которому Ж. снова обрела способность говорить со мной и смеяться. Просто в те минуты я любил ее безоглядно и остальное не имело значения. У меня только хватило самообладания, чтобы сходить к тем, прочим людям и сообщить им, что Ж. пришла в себя. Не помню, как они приняли эту новость; может быть, они, как и я сам, сочли ее естественной. Мне смутно помнится, что они сгрудились на кухне и в другой комнате и, по словам Луизы, жаловались, что я обошелся с ними как с посторонними. Я безусловно не хотел их обидеть. Я просто почти забыл о них, вот и все. Помню, что позже я просил у них через Луизу позволения набальзамировать ее сестру. Подобные намерения они сочли нездоровыми, чтобы не сказать хуже. Но даже если они со страху подумали обо мне невесть что, я не могу на них обижаться. Больше того, я должен признать, что люди эти то ли по неразумию своему, то ли из боязни, то ли по какой-то другой причине проявили в весьма необычных обстоятельствах сдержанность, достойную уважения, и вообще вели себя безукоризненно.

Я мало что помню от этого дня — мало такого, что было бы интересно вспоминать. Ж. проснулась на рассвете, почти вместе с солнцем, и солнечный свет привел ее в восторг. С точки зрения болезни — если оценивать ее так, будто она шла естественным путем,— я нашел, что ей гораздо лучше, чем мне казалось, судя по всему тому, что писали мне в письмах, а главное, после стольких ежедневных уколов. Морфий нисколько не отразился на ее уме; больной, отдающийся во власть наркотиков, может казаться вполне здравым и даже глубокомысленным, но не бывает веселым; она же была весела необычайно, и веселье ее было самым непритворным; помнится, она самым милым образом подшучивала над матерью, что случалось нечасто. Теперь, когда я знаю все, что произошло до того и после, эта ее веселость превратилась в одно из тех воспоминаний, что способны убить человека. Но тогда я видел только, что она весела, и веселился сам.

За весь тот день у нее почти не было удушья, а говорила и смеялась она столько, что хватило бы на два десятка приступов. Она ела гораздо больше меня — притом что уже много дней как почти совсем перестала есть,— и не на шутку огорчалась, что я ем так мало. Она немного беспокоилась, потому что сиделка, воспользовавшись моим присутствием, ушла на день домой. В те минуты я заметил, что между ними есть какой-то уговор, а позже получил и другие тому подтверждения. Над врачом она очень потешалась. Я спросил, помнит ли она, что звонила ему ночью, и известно ли ей, что он приходил. «Ночью? Неужели приходил?» — произнесла она с почти неправдоподобно изумленным выражением, так, словно открыла для себя нечто новое, но не стала задавать мне вопросов. Я спросил, какие такие интересные вещи она, по ее словам, собиралась мне рассказать, когда я вернусь. Тогда она как будто вдруг впала в рассеянность и ответила словно издалека: «Да, когда вы вернетесь, я вам расскажу». В тот день после полудня ее

пришла навестить одна подруга, молодая женщина, уроженка Константинополя: в ее обществе она провела много месяцев, но с тех пор они не виделись. Женщина эта, видимо, узнала, что Ж. серьезно больна, и пришла из вежливости справиться о ее здоровье. Не знаю, что ей рассказали все остальные, но она, считая, что Ж. при смерти, несколько раз повторила им, что именно в этот момент опасность заразиться велика как никогда и входить в комнату не стоит. Быть может, поэтому они и оставили меня в покое, не знаю. Сама она тоже не пожелала войти и только делала какие-то знаки и гримасы, просунув голову в приоткрытую дверь. «Что с ней? — спросила меня Ж. неожиданно сердито.— Она что, меня боится? Разве я такая уродка?» Девица вела себя тем более смешно, что сама болела той же болезнью и дни ее тоже были сочтены. Ж. попросила дать ей зеркало, долго смотрелась в него и ничего не сказала. Она по-прежнему была очень хороша.

Под вечер она все еще была крепка физически, но настроение у нее немного переменилось. Сам я тоже забеспокоился. До меня стало доходить ощущение того, насколько исключительно наше положение. В сентябре, когда я был в Париже проездом, я купил ей большую лампу с абажуром — он был расписной, но с белой росписью, и нравился ей. Она велела поставить эту лампу у края кровати так, чтобы она была перед глазами; скорее всего, лампа ей мешала, но она сама так захотела. Позже, уже ночью, я, видя ее застывший, словно прикованный к свету взгляд, предложил отодвинуть лампу или убрать ее; но она схватила меня за руку и так стиснула запястье, что даже утром кожа в том месте была еще белая. С наступлением вечера ей пришло в голову, что мне пора уходить. Поскольку я не уходил и не возвращался к себе в гостиницу, она стала беспокоиться, что я устану; по мере того как надвигалась ночь, беспокойство из-за моей усталости переросло в удивление, в немой вопрос по поводу какой-то страшной загадки, о которой она не допытывалась, но к которой возвращалась в мыслях со все возрастающим трепетом. В какой-то миг она посмотрела мне в глаза с такой проницательностью, что теперь, вспоминая об этом, я вздрагиваю. «Почему вы хотите остаться *непременно* сегодня ночью?» — спросила она сухо. Подозреваю, что теперь она уже знала об утренних событиях не меньше моего, но в ту минуту мысль о том, что она вдруг догадается, что с ней случилось, привела меня в ужас; мне казалось, что для человека, который от природы боится ночи, в этом есть нечто совершенно чудовищное. Быть может, я был не прав, не поверив в тот миг, что ей достанет мужества даже на те исключительные вещи, на которые обычно его не хватало, ибо в ту ночь я не заметил в ней ни малейшего страха, вернее, если она и ощущала страх, то потому, что именно его и боялась. Да, я, наверное, сделал большую ошибку, не сказав того, что она от меня ждала. Эта неискренность встала между нами, превратила нас в людей, которые подстерегают, но больше не видят друг друга.

Оправдывает меня только то, что в те часы она была для меня гораздо важнее любой правды, и величайшая из правд значила для меня меньше, чем малейшая опасность встревожить ее. Еще меня оправдывает то, что она, казалось, постепенно приближается к такой правде, перед лицом которой моя утрачивала всякий интерес. Ближе к одиннадцати часам или к полуночи она слегка начала бредить. При этом она еще не спала — я разговаривал с ней, и она мне отвечала. Она увидела, как по комнате перемещается нечто, что она назвала «роза в высшем смысле». Днем я послал за розами для нее, они были ярко-красные, но слишком распустившиеся, и я не уверен, что они очень ей понравились. Время от времени она поглядывала на них, но довольно холодно. На ночь их вынесли в коридор и поставили почти у самой двери, которую мы некоторое время не закрывали. Тогда-то она и дала тому предмету, который на ее глазах перемещался по комнате, как мне показалось, на определенной высоте от пола, имя «роза в высшем смысле». Я решил, что причиной этой ее грезы стали цветы, быть может, причинявшие ей беспокойство. Тогда я закрыл дверь. В ту же минуту она и вправду уснула почти спокойным сном, и я смотрел на нее,

живую и спящую, как вдруг она с мучительной тоской произнесла: «Скорей, розу в высшем смысле», произнесла во сне, но на этот раз с легким хрипом. Сиделка подошла ко мне и на ухо сказала, что накануне ночью это были последние ее слова: в какой-то момент она, казалось, была без сознания, но вдруг очнулась, показала на кислородную подушку, пробормотала «роза в высшем смысле» и тут же снова погрузилась в забытье.

От этого рассказа я похолодел. Я сказал себе, что последняя ночь, где мне не было места, начинается сначала и что Ж., поддавшись на зов чего-то ужасного, но, быть может, и притягательного, заманчивого, сама возвращается сейчас в те последние свои минуты, когда она ждала меня и не дождалась. Думаю, это была правда. По-моему, тогда произошло даже что-то непоправимое для меня, потому что я тихо взял Ж. за руку, за запястье (она спала), но едва прикоснулся к ней, как она села в постели с открытыми, полными бешенства глазами и, оттолкнув меня, крикнула: «Не смейте больше прикасаться ко мне!» Но тут же протянула мне руки, как утром, и разразилась слезами. Прижавшись ко мне, она плакала, рыдала так горько, что едва не умерла в тот миг от удушья, а поскольку сиделка вышла, чтобы не присутствовать при этой сцене, я поддерживал ее сам и не мог взять кислородную подушку, лежавшую чуть поодаль. Наконец сиделка вернулась, мы дали ей подышать, и это помогло ей справиться с собой. Но больше она не отпускала меня от себя.

Она опять уснула. Сон у нее был странный: он рассеивался вмиг, и казалось, что под покровом сна она неустанно бодрствует, сражаясь с чем-то очень важным, и там мне, быть может, отведена была зловещая роль. Она уснула с мокрым от слез лицом. Молодость ее от этого не только не поблекла, но наоборот, засияла сильнее прежнего: нужно было быть очень юной и здоровой, чтобы суметь вынести такой поток слез; молодость эта оказывала на меня такое невероятное впечатление, что я совершенно забывал о ее болезни, ее неожиданном пробуждении и о той опасности, которой она по-прежнему подвергалась. Однако немного погодя выражение лица у нее изменилось. Буквально у меня на глазах слезы высохли бесследно; лицо стало суровым, верхняя губа, чуть приподнявшись, приоткрыла судорожно стиснутые зубы, отчего на нем появилось довольно беспокойное и жестокое выражение; рука ее зашевелилась в моей, пытаясь высвободиться, я хотел ее отпустить, но она тотчас вцепилась в меня снова с какой-то звериной быстротой, в жесте этом не было ничего человеческого. Сиделка подошла ко мне что-то сказать — шепотом, какой-то пустяк,— и Ж., немедленно проснувшись, произнесла холодно: «У нас с ней тоже свои секреты». И тут же уснула снова.

То, что рассказала сиделка, был не совсем пустяк. Она звонила днем врачу — сообщить, что состояние больной изменилось. «Да? Ничего себе!» — воскликнул врач. Больше сиделка ничего не осмелилась мне сказать по этому поводу. Ж. она сделала только один укол на ночь. Часа в два-три ночи я внушил себе, что вчерашнее несчастье может повториться. В самом деле, Ж. больше не просыпалась. Сиделка, судя по всему, тоже дремала. В ночной тишине, прислушиваясь беспрестанно к ее угасающему дыханию, я почувствовал себя до предела отчаявшимся и ничтожным — из-за того самого чуда, которое совершил. Тогда мне впервые пришла в голову мысль, которая, возвращаясь в дальнейшем снова и снова, в конечном счете похитила ее у меня. Я пребывал все в том же состоянии, когда Ж. — было, должно быть, часа три — проснулась, даже не пошевелившись, то есть открыла глаза и посмотрела на меня. Ее взгляд был очень человеческим; я не хочу сказать, что он был любящим или добрым, этого в нем не было; но в нем не было ни холодности, ни печати сил, царящих в этой ночи. Он словно понимал меня до конца и потому показался мне дружеским, хоть и невероятно грустным. «Да,— сказала она,— влипли вы в историю». Она еще посмотрела на меня, без тени улыбки, так, как ей случалось смотреть и как, надеюсь я с тех пор, случилось посмотреть и тогда; правда, и вид мой, думаю, не слишком располагал к улыбкам. Впрочем, смотрела она недолго.

Я уверен, что с той минуты она не спала, хоть и лежала с закрытыми глазами; она не спала, потому что опасность была слишком велика или по какой-то другой причине, но так или иначе она бодрствовала, и от нее исходил покой, какой-то внимательный покой, не имеющий ничего общего с недавней напряженностью. Чуть позже я получил подтверждение тому, что она не спала, просто не обращала внимания на окружающих, поскольку ее занимало другое: она вспомнила, что примерно за полчаса до этого сиделка, не зная, спит она или нет, наклонилась к ней и предложила сделать укол, но не получила никакого ответа на свое предложение. Однако немного погодя она сказала сиделке: «Нет, сегодня вечером укола не надо», и еще повторила: «Не надо больше уколов». Сейчас у меня есть все возможности вспоминать на досуге ее слова. Потом, полуобернувшись к сиделке, проговорила спокойно: «А теперь взгляните, вот и смерть» — и указала на меня пальцем. Все это произносилось с очень спокойным и почти дружеским видом, но без малейшей улыбки.

Теперь мне хочется побыстрее закончить рассказ о том, что случилось дальше. Я уже сказал больше, чем предполагал, но сверх того не могу сказать уже почти ничего. После тех слов обо мне, которые я привел, в ее поведении не было ничего необычного, и ночь прошла довольно быстро. Часам к шести утра она спала глубоко и почти как здоровая. Я договорился с сиделкой, что схожу к себе в гостиницу; там я пробыл около часа, а когда вернулся, Луиза сказала, что она по-прежнему все в том же состоянии, но я сразу понял, что состояние ее сильно изменилось, потому что теперь она хрипела как умирающая и выглядела так же; кроме того, рот у нее был приоткрыт, чего никогда не случалось с ней во сне, как бы она ни спала, и этот открытый рот, из которого доносились звуки агонии, казался чужим, не ее ртом, а ртом человека, мне незнакомого и непоправимо обреченного на смерть или даже умершего. Сиделка согласилась со мной, что дело плохо, но тем не менее попросила меня позволить ей пойти навестить еще одну больную и побыть с ней до второй половины дня. Она думала, что утром придет врач и еще что такой сон может продолжаться много часов подряд, а тогда придется просто ждать, потому что сделать все равно ничего нельзя; она обратила мое внимание на то, что пульс был ровный и наполненный.

Хрипы усилились и стали такими громкими, что их было слышно и за закрытыми дверями квартиры. Люди, входившие и выходившие из комнаты, были, казалось, совершенно чужими для этого погруженного в забытье тела, и само оно было чужим по отношению к собственной агонии. Меня очень раздражала Луиза, потому что звуки эти ее пугали, и к тому же ее мать тоже пришла и начала высказывать свои соображения, так что я уже не понимал, что со мной происходит, и возненавидел весь мир, ибо не испытывал больше своих настоящих, правдивых чувств, даже к Ж., которая на моих глазах превращалась в это мертвое тело. Возможно, я прогнал всех этих людей, а может, сам вышел на минуту (там на лестничной площадке стояло кресло, и я помню, как сижу в нем, а до меня доносится коматозный храп). В одном я не сомневаюсь: утром в какой-то момент, вернувшись в комнату, я обнаружил, что Ж. снова проснулась, но ей очень плохо. «Как вы рано»,— сказала она, и я понял, что она не помнит, что я пробыл подле нее всю ночь. Отсутствие сиделки привело ее в бурную ярость. Она позвала Луизу, которая обычно развлекала ее, но только очень ненадолго. Вся она излучала крайнее нетерпение. Поначалу ее сухость немного задевала меня, но скоро это прошло: я слишком отчетливо ощущал, откуда идет это нетерпение, этот лихорадочный всплеск всех ее сил, я видел, как в порыве, опережающем все, что могли для нее сделать мы, она отражает удары, попытки ее уничтожить. Мы все были слишком медлительны, а ей, чтобы избежать вечной неподвижности, чтобы спасти последнее свое дыхание, приходилось молнией рваться вперед. Я никогда не видел ее такой живой и ясной. Быть может, то был последний миг ее агонии, но она казалась мне очень живой, хоть и вконец загнанной страданием, истощением и смертью, и я еще раз убедился — если она сама не захочет и я не захочу, ничто

и никогда не одолеет ее. Приступ шел за приступом — но от комы не осталось и следа, признаков близкой смерти тоже не было; она, пребывая в величайшем нетерпении, внезапно справилась с собой, и поскольку больше в комнате никого не было, ее рука, судорожно сжимавшая мою руку, вдруг пожала ее со всей любовью и нежностью, на какую она была способна. Одновременно она самым естественным образом и даже как будто весело улыбнулась мне. Потом сразу проговорила, тихо и быстро: «Скорее, укол». (С ночи она ни разу не просила сделать ей укол.) Я взял большой шприц, набрал две дозы морфия и две дозы пантопона, то есть четыре дозы наркотика. Жидкость уходила под кожу довольно медленно, но она видела, что я делаю, и оставалась совершенно спокойной. Больше она ни разу не пошевелилась. Через две-три минуты пульс у нее стал неровным, сердце яростно стукнуло, остановилось, потом снова глухо забилось, снова остановилось, и так много раз; наконец пульс стал частый-частый и еле слышный — и «рассыпался как песок».

Больше я ничего не могу об этом написать. Я мог бы добавить, что в те минуты Ж. смотрела на меня все тем же любящим, одобрительным взглядом, и что этим взглядом она смотрит на меня и сейчас, но, к сожалению, я в этом не уверен. Об остальном я говорить не хочу. Что скажет врач, мне стало безразлично. Сам я не вижу ничего особенного в том, что эта девушка, умерев, по моему зову вернулась к жизни, но я считаю чудом (и чудо это приводит меня в замешательство) ее мужество и энергию, ее силу, перед которой смерть отступала столько времени, сколько Ж. того хотела. Поймите одно: я не рассказал ничего невероятного или даже просто удивительного. Невероятное начинается там, где я кончаю рассказ. Но говорить об этом не в моей власти.

Я буду рассказывать дальше, но теперь уже с некоторыми предосторожностями. Предосторожностями не того рода, которые могут в чем-то затемнить правду. Правда будет сказана, сказано будет обо всем, что произошло важного. Просто не все еще произошло.

Я молчал неделю и ясно понял, что если ошибусь, передавая то, что пытаюсь передать, то это не только не кончится, но и сам я буду рад, что оно не кончается. Даже сейчас я не уверен, что стал свободнее, чем в то время, когда ничего не говорил. Вполне возможно, что я вообще ошибаюсь. Вполне возможно, что все эти слова — всего лишь занавес, и за ним будет теперь бесконечно разыгрываться то, что разыгралось однажды. Беда в том, что после стольких лет ожидания, когда, ослепленный, я все дни проводил в молчании, неподвижности, смирении, доходящем до бесчувствия, мне вдруг пришлось открыть глаза и поддаться соблазну ослепительно гордой мысли, которую я тщетно пытаюсь усмирить.

Быть может, предосторожности эти и не будут собственно предосторожностями. Некоторое время я жил с женщиной, одержимой идеей моей смерти. Я сказал ей: «По-моему, в какие-то минуты вам хочется меня убить. Не надо подавлять это желание. Я сейчас напишу записку, что если вы убьете меня, это будет к лучшему». Но мысль — это не совсем женщина, даже когда она живет и совершает поступки, как женщина. Мысль требует такой честности, что обмануть ее очень трудно. Сама она иногда бывает лживой, но за ее ложью я всегда различаю какую-то правду, которой мне не перехитрить.

По правде говоря, меня завораживает именно ее прямота. Когда она, эта мысль, встает передо мной, во мне не остается места ни памяти, ни боязни, ни усталости, ни предчувствию, ни воспоминанию о прошедшем, ни планам на будущее. Она встает передо мной, как вставала, быть может, тысячу, десять тысяч раз. Кто же мне ближе, чем она? Однако именно близость между нами утрачена навсегда. Я смотрю на нее. Она живет со мной, в моем доме. Иногда она садится поесть; иногда, хоть и редко, спит рядом со мной. А я, безумец, сижу сложа руки и предоставляю ей питаться собственной плотью.

После тех событий, о которых я отчасти рассказал — но и теперь еще рассказываю о них,— я сразу же получил предупреждение (был извещен) о том, что меня ожидает. Единственное отличие — но отличие большое — состояло в том, что я жил бок о бок с великим страхом и гордился этим, в легкомыслии своем не замечая ничтожества и мелочности подобного соседства и не понимая, что оно может потребовать от меня того, на что человек согласиться не в силах. Единственное, чем я держался,— это молчанием. Молчанием столь великим, что по размышлении оно мне кажется невероятным — не заслугой, нет, мне ни разу не приходило в голову заговорить; невероятно как раз то, что молчание ни разу не сказало само себе: осторожней, здесь что-то не так, объясни, как получилось, что ни в памяти моей, ни в повседневной жизни, ни в работе, ни в жестах, ни в разговорах, ни в словах, что писали мои пальцы, не промелькнуло даже отдаленным намеком то, что физически занимало меня всего, без остатка, такая скрытность для меня непонятна, и я, тот, кто говорит сейчас, с горечью обращаюсь к тем молчаливым дням и годам, словно к недостижимой, нереальной стране, куда нет пути никому и прежде всего мне и где я, однако, прожил большую часть жизни без всякого усилия и искушения,— сейчас эта загадка не перестает меня удивлять.

Я утратил молчание и сожалею об этом безмерно. Не могу передать, какое горе охватывает человека, если он однажды заговорит. Горе застылое, само обреченное на немоту; из-за него дышу я тем, чем нельзя дышать. Я один в запертой комнате, и в доме никого, и почти никого вне дома, но само одиночество мое заговорило вдруг, и я, окруженный этим говорящим одиночеством, должен, в свой черед, говорить тоже — не в насмешку, но потому, что над ним есть другое, большее одиночество, и оно не дремлет, а над тем — еще большее одиночество, и каждое из них встречает произнесенное слово и хочет погасить его, заставить умолкнуть, но вместо этого бесконечно его повторяет, и эхо его уходит в бесконечность.

Один человек сказал мне, впрочем, не без досады: «Вы всех делаете разговорчивыми». Может быть, и так, хотя это кажется мне правдой лишь в отношении немногих людей, потому что выслушивал я очень немногих. Однако их я слушал с таким величайшим вниманием, что им нельзя было ни сердиться на меня за сказанные ими слова, ни упрекать за них самих себя, ни, быть может, даже сохранить их в памяти. Меня же всегда больше связывало с ними то, что они мне сказали, чем то, что они могли бы от меня утаить. Особы, всегда молчащие, вовсе не кажутся мне из-за этого замечательными и тем более любезными. Те же, кто говорит, по крайней мере, кто говорит со мной, отвечая на мои вопросы, зачастую кажутся мне самыми молчаливыми — быть может, потому, что пробуждают молчание во мне, или потому, что, находясь подле меня, замыкаются, сами того не ведая или ведая, в каком-то особом пространстве, где тот, кто задает им вопросы, делает их сообщниками ответов, которых не слышат их уста.

В общем, я хочу сказать, что «утратить молчание» означает совсем не то, что можно подумать. Да это и неважно. Я сам выбрал этот путь. Я по-прежнему жил в гостинице на улице О. Комната у меня была тесная и не очень приятная, но мне она подходила. В соседнем номере жила молодая женщина, которая сказала мне однажды, когда я сделал глупость и заговорил с нею — она сидела у себя на балконе, а я у себя,— что я ее смущаю, потому что произвожу слишком мало шума. По-моему, я действительно ее смущал. Так или иначе, мешал я ей редко, потому что из-за работы мало бывал дома и даже не всегда приходил ночевать. Та женщина как раз собиралась рассориться со своим другом, торговцем с проспекта Опера, который приглашал ее в Париж два-три раза в год; сама она жила в провинции, в Нанте или Ренне, не помню. Она была замужем, имела двоих детей и к тому же преподавала в каком-то свободном учебном заведении для девиц. Не знаю, как ей удавалось справляться со всеми своими обязанностями. Может быть, это у нее был роман. Все эти подробности мне неинтересны, и я их привожу только для порядка. Я сознательно стараюсь сглазить самого себя. Да и потом, как отделить главное от

неглавного? В голове у этой женщины царила смесь свободомыслия с условностями. Она явно была склонна со мной заигрывать. Однажды вечером, вернувшись домой после тяжелой работы и без единой мысли в голове, я ошибся дверью и очутился в ее комнате. В рассеянности моей не было ни малейшего умысла. Мы с ней жили то ли на шестом, то ли на седьмом этаже, где не работал автоматический выключатель света. Правда, несколько раз, когда я возвращался домой, мне приходило в голову, что я легко могу войти не в ту комнату, однако я этого не хотел; зачастую я вообще не мог вспомнить, кто живет у меня за стеной. Она встретила меня приветливо, и я пробыл у нее несколько минут. Думаю, приветливость ее объяснялась тем, что на ней был красивый халат. Было уже около полуночи, но она сидела в кресле и ее одежда и прическа были в полном порядке. Должно быть, это обстоятельство сделало для нее приятным и все остальное. Поскольку в тот день она показалась мне довольно миловидной, я тоже решил, что ошибся неспроста, и не сказал, что вошел по недоразумению. Впоследствии она мне очень сильно надоела. Она все время хотела попасть в мою комнату, а я этого не хотел. Однако благодаря ей я узнал нечто такое, что, не будь ее, открылось бы мне гораздо позже.

В тот день произошел один случай. Я помню, как она сказала, показывая мне руку: «Посмотрите, какой шрам». На тыльной стороне руки у нее была довольно широкая и припухлая поперечная полоса. Немного погодя я заметил, что настроение у нее изменилось: на ее лицо наползала какая-то холодная добропорядочность, одно из тех нравоучительных выражений, какие сделают скучной и самую большую красавицу, а эта женщина была всего лишь слегка миловидной. Мне немедленно захотелось уйти. Должно быть, я сказал ей в ту минуту, что вошел по ошибке, но она поняла так, что я совершил ошибку, войдя к ней, а это не совсем одно и то же.

Я только что подумал о ней. Теперь я замечаю, что в моем поведении, внешне, впрочем, почти обыкновенном, было нечто совершенно оскорбительное, что, должно быть, часто настраивало ее против меня. Мне кажется, что в ее словах была какая-то правда. Я задавал ей вопросы по истории, грамматике, ботанике, она знала наизусть целые тома. Единственные счастливые минуты, которые она провела со мной,— это те многочасовые ее монологи, когда она по главам пересказывала мне труды Ларива-и-Флери или Мале. Слушая ее, я отдыхал. Все это знание, столь дивно устаревшее, парило над моей головой и каркало что-то похожее на слова, всегда одни и те же и означавшие примерно вот что: есть время обретать и время терять, есть время понимать и время забывать.

В такие мгновения у нее появлялось довольно тонкое выражение лица. Но, правда, и то, другое выражение, появлявшееся у нее внезапно и вызывавшее у меня желание уйти, возникало, возможно, как раз из-за моего к ней отношения, потому что вел я себя как сумасшедший, и пусть она не вполне отчетливо это понимала, зато ее давнее прошлое приличной женщины временами что-то подсказывало ей и, проступая на ее лице, взирало оттуда на меня. Я и сейчас еще вижу его перед собой, это ее давнее двусмысленное прошлое, оно было безусловно штукой некрасивой. Но я не понимаю, что было во мне и в моих поступках такого, от чего ей приходилось защищаться подобным выражением.

А теперь передо мной еще одна сцена: я ехал в метро. Кажется, я возвращался домой. Случайно я обнаружил, что сижу напротив одной своей знакомой. Она сказала, что то ли вышла замуж, то ли скоро выйдет. Через одну-две остановки она распрощалась. Эта встреча навела меня на мысли о К(олетте), моей соседке. В тот миг меня охватило какое-то необыкновенное ощущение: мне показалось, что я совершенно забыл эту женщину, которую видел почти каждый день, и чтобы вспомнить ее, нужно отправиться на поиски той, которую я мельком приметил на улице десять лет назад. Не случись сейчас этой встречи, я бы не только потерял ее из виду — на том месте, где находилась она, я уже обнаружил какую-то гигантскую и безликую, хоть и одушевленную дыру, нечто вроде живого пробела, из глубины которого она всплывала лишь ценой больших усилий.

Ощущение мое делалось еще запутаннее оттого, что забвение это не казалось забвением. В тот момент я отчетливо видел ее, и прежде, если бы мне пришло в голову ее увидеть, я бы ее увидел. Однако я, например, спрашивал себя: вчера она весь вечер была перед моими глазами, но заметил ли я ее хоть раз?

Та поездка в метро оставила во мне память о великой печали. Печаль эта не имела отношения к моей забывчивости. Просто в этом вагоне, среди всех этих едущих на обед людей происходило что-то глубоко печальное. Здесь, в двух шагах, было какое-то большое горе — такое молчаливое, каким бывает лишь настоящее горе, такое чуждое любой помощи, неведомое никому и навсегда скрытое от всех. И сам я, смутно угадывая его, похож был на путника, оступившегося на дороге; дорога позвала его, и он шагает вперед, но дороге хочется взглянуть, тот ли идет по ней, кто должен идти, она оборачивается, и оба, и дорога и путник, кубарем летят в овраг. Горе тропе, что обернулась, всматриваясь в прохожего; насколько же было глубже то горе, глубже, потаеннее и молчаливей. Гостиничному консьержу я велел меня не беспокоить и повесить на доску ключ от моей комнаты в знак того, что меня нет дома. Около пяти часов кто-то без стука вошел в эту комнату. До сих пор никто, кроме гостиничной прислуги и, случалось, моего брата, не осмеливался сюда войти.

Наверное, я мог бы объяснить, почему ради встречи с любым человеком предпочел бы, при всей своей ненависти к ходьбе, долго шагать по улицам, лишь бы не видеть его в моем номере. Здесь нет никакой тайны. Да и к тому же всегда получалось так, что в конечном счете ко мне домой приходили многие, а некоторые и очень часто. Я вижу этому вполне естественное объяснение: когда к вам приходят люди, вы, к досаде своей, вынуждены еще долго видеть и слышать их после того, как они уйдут; есть, кроме того, потребность превратить свое жилище в такое место, где ничего не происходит и где поэтому можно отдохнуть, и еще в пустое пространство, где никогда не встречаются те, кто встречаться друг с другом не должен, и наконец, в некий искус, ибо рано или поздно туда придет или станет кружить поблизости тот, кого вы просили оставаться за дверью, и тогда вы сами поймете для себя, преступление он совершает либо, напротив, нечто для вас приятное. По-моему, все эти объяснения хороши, но, конечно, у них есть и своя дурная сторона. Однако, кроме них, было и еще одно.

Я лежал на кровати. Должно быть, уже сильно смеркалось. Совсем темно, по-моему, еще не было, но свет мог проникать и с улицы, потому что я не задернул шторы. Вошедшая женщина стояла посреди комнаты. Я хотел было написать, что она походила на статую, поскольку стояла она неподвижно, обернувшись к окну, и действительно выглядела как статуя; но она была не каменная, а скорее окаменевшая от страха, не от безумного или всепоглощающего страха, но от чего-то такого, что можно выразить словами: с ней случилось непоправимое. Однажды я видел, как белка попалась в клетку, подвешенную на дереве: переступая порог, она вся была порыв жизни и веселья, но едва оказалась внутри, на дощечке, и раздался легкий щелчок упавшей дверцы, и несмотря на то, что ей не причинили боли, что она была еще свободна, ведь клетка была просторная и в ней кучка орехов, она тут же застыла, словно в параличе, оборвав свой скок, сраженная, как ударом в спину, уверенностью, что она в ловушке.

Странное дело: она не смотрела ни в мою сторону, ни куда бы то ни было в комнате. Можно было подумать, что искала она лишь слабый свет, лившийся из окна, и ко мне пришла только ради этого угасающего дня, который завораживал, поддерживал, сковывал ее; но и это светлое пятно, должно быть, не бросалось ей в глаза — она вошла, повинуясь необъяснимому порыву, и у нее хватало сил только на то, чтобы стоять неподвижно и не испариться из комнаты. Сам я, как мне кажется, был вполне спокоен. Я мог бы долго рассказывать о том, какое это произвело на меня впечатление, но сейчас я испытываю то же впечатление, глядя на ту же женщину со спины, она остановилась, не доходя до окна, как раз у стола; время приблизительно то же, она вошла и идет по комнате (комната уже другая).

Ныне, когда она больше не неожиданность, я смотрю на нее и содрогаюсь гораздо сильнее, чем в тот день, у меня появляется головокружение и чувство растерянности, которого ни разу не было тогда, и еще какой-то холод, странное стеснение в груди, так что мне хочется умолять ее вернуться назад, остаться за дверью, чтобы я тоже мог выйти отсюда. Но правило есть правило, делать нечего: если мысль встает перед тобой, за ней нужно следовать до конца.

По-моему, я заметил для себя только одно: она была в черном костюме и без шляпы (тогда это встречалось реже, чем теперь); мне были немного видны ее волосы, они казались гораздо длиннее, чем обычно носили в то время, и она наклонила голову так, словно ее ударили или она ждет удара. Из дальнейшего будет понятно, насколько она уже не подчинялась привычному порядку вещей. Повернувшись, она задела стол, и раздался шум. Она испуганно хихикнула и стремглав бросилась прочь. Остальное я помню смутно. Кажется, с того момента, как она вскрикнула, я был вне себя. При виде ее, бегущей на улицу, меня охватил охотничий азарт, я поймал ее у лестницы, схватил в охапку и, волоком дотащив обратно, швырнул на кровать. Гневу моему — то был один из редких приступов гнева, что случались со мной со времен до крайности гневливого детства,— не было границ. Не знаю, отчего я пришел в такое неистовство, но в тот момент я мог сделать все: сломать ей руку, разбить голову или самому себе расшибить лоб об стену, поскольку мой всплеск ярости не был, по-моему, направлен конкретно против нее. То была какая-то бесцельная сила, подобная дыханию землетрясения, что подбрасывала и сбивала с ног все живое. И сам я зашатался, подхваченный этим дыханием, и превратился в бурю, что отверзла горы и взбесила море.

Когда зажегся свет, она, судя по всему, почти забыла об этой буре. «Значит, я упала»,— произнесла она, глядя на свои чулки. Я тяжело дышал, и глаза у меня, наверное, были еще дикие, так что она очень удивилась. Но мало-помалу этот мой вид что-то ей напомнил, скорее всего, не то, что здесь произошло, но где она была, свои шаги по улице, эту незнакомую комнату — а дальше? Снова она устремилась к двери. Самое забавное в этой сцене — то, что она, преодолев разные препятствия, чтобы сюда попасть, мечтала поскорее уйти, я же против моей и ее воли удерживал ее. Судите сами: она видела во мне человека, которого, казалось, никогда раньше не встречала; таким образом, она обнаружила, что заперта, совершенно растерзанная, в мрачном гостиничном номере вместе с каким-то буйным типом, который при малейшем движении бросался на нее, не позволяя уйти. Я же, со своей стороны, действовал точно так же инстинктивно, ибо, не замечая, что она мне незнакома, грубо толкал ее в глубину комнаты — вовсе не для того, чтобы она осталась у меня, но чтобы не дать ей, выйдя за дверь, избавиться от того ощущения ужаса, с которым она столкнулась здесь и перед которым ей суждено было преклониться — или исчезнуть навсегда.

В дальнейшем обстоятельства той встречи стали понятнее, но в ту минуту они были ясны как никогда. Характер Н(атали) скорее запутывал их. Однажды я спросил ее: «Как вам пришло в голову ко мне прийти?» Перед этим я раза четыре или пять сталкивался с ней в одной конторе. Она ответила: «Не помню», и по-моему, ответила правду. Помимо прочего, она была крайне робкой, хоть и способной на самые немыслимые поступки. Ей, например, очень часто случалось заблудиться в Париже, и робость не мешала ей останавливать прохожих, но зато она забывала, о чем хотела у них спросить, а если и вспоминала, то немедленно выпускала из памяти ответ. Она могла в крайнем случае отправиться к незнакомому человеку, но если этот незнакомец был ей отчасти знаком, ей было уже труднее совершить подобный шаг, если же она знала, что незнакомец не любит, когда ему докучают посетители, шаг этот становился для нее невероятным. Тогда была суббота, нерабочий день; но у нее была маленькая дочь, и в тот момент она должна была бы сидеть с нею; к тому же если ее, по всей очевидности, не смущало, что она в такой час приходит ко мне в гостиницу, то, во всяком случае, у нее были все шансы потеряться на улице, потому что она очень плохо видела в темноте.

Много позднее она сказала мне: она так и осталась в уверенности, что я ни на минуту не заподозрил, кто она такая, и тем не менее обращался с ней не как с незнакомкой, но как с чересчур хорошо знакомым человеком. Поэтому она и сама едва не ошиблась; ей никак не удавалось выполнить непосильную задачу объяснить, кто она, сказать человеку, который глядел на нее, не видя: мы с вами встречались там-то и там-то,— это казалось ей невозможным. Но поскольку и сам я обращался с ней с какой-то свирепой доверительностью — отнюдь не как с незнакомкой,— то ей ничего не оставалось, как считать, что между нами что-то случилось, о чем она позабыла, и что я и в самом деле прекрасно с нею знаком, но при условии, что сама она с собой незнакома. Она повторила или, вернее, сказала по моей настойчивой просьбе, начав неосторожно одну фразу, которую я с огромным трудом заставил ее кончить — из-за обращения на «ты» и еще из-за того, что, как она считала, она не должна была слышать те слова. В какой-то момент я сказал ей: «Ты с ума сошла, зачем ты сегодня вышла из дома?» Когда она вернулась домой, фраза эта всплыла у нее в памяти и доставила невероятное удовольствие (тогда как от самой ее выходки у нее осталось ощущение кошмара), но и сознание того, что она совершила безрассудство, тем более ужасное, что сделала это по неведению и легкомыслию. Так что ей захотелось бесследно исчезнуть, и больше от нее не было никаких новостей.

Остаток вечера, после ее ухода, видится мне так. Я снова стал думать о той девушке, которая утром сказала мне, что выходит замуж. Она служила в банке, я знал, где она живет, совсем близко, на улице М. (позже я по случайности дважды чуть было не поселился на этой улице). Я отправился в то здание — там тогда помещался, помимо прочего, один политический еженедельник. На лестнице — дом это старый, полуразвалившийся, но лестница в нем величественная — по спине у меня пробежал холодок, я устал, я проклинал порыв, что привел меня сюда. В довершение всего я довольно смутно помнил, где ее квартира, я стучал и звонил в разные двери, но никто не отвечал, и я толкнул одну, наугад. И что же — дверь отворилась, отчего я немного испугался, и, отворившись, открыла какое-то темное помещение (автоматический выключатель только что сработал), отчего я испугался совсем, потому что вообразил, будто попал в какую-то дурную квартиру. В квартире этой я бывал всего несколько раз; она была однокомнатная, без прихожей, и разделена пополам большой занавеской — с одной стороны находилась дневная половина, с другой ночная. Теперь я уже могу рассказать, как познакомился с той женщиной. Она уже была замужем, и ее муж, у которого были больные легкие, провел долгие годы в одном месте, куда сам я приезжал на несколько недель. Там я ее и видел. Шесть лет спустя я снова увидел ее — через витрину магазина. Когда человек, надолго пропадавший, внезапно возникает тут, прямо перед вами и за стеклом, он превращается в какое-то высшее существо (если только не очень докучал вам раньше). С(имона) Д. доставила мне полминуты громадного удовольствия, в некоторых отношениях даже чрезмерного, неразумного, и из-за этих тридцати секунд я выразил ей столько расположения, сколько мне бы и в голову не пришло выразить в любом другом случае. У нее, насколько я могу судить, было много достоинств: она была простая, мужественная, не принимала никакой помощи от свекра и свекрови, людей богатых, и обладала той основательностью, которая превращала ее в красивую здоровую женщину,— а еще с порывами откровенности, граничащей с грубостью; иными словами, по-моему, она вела себя нормально. Правда состоит в том, что с тех пор, как мне повезло увидеть ее через стекло, я, пока встречался с ней, ничего больше от нее не хотел, кроме повторения «громадного удовольствия», и еще пытался разбить стекло. Выйдя из магазина и узнав меня, она сразу сказала: «Вы знаете, Симон умер (у них обоих были почти одинаковые имена), не говорите мне больше о нем». Она, безусловно, была сильно к нему привязана: фраза эта — тому свидетельство.

Чтобы я пришел в такой час, ночью, неожиданно, когда она, быть может, снова вышла замуж,— такого она от меня никак не ожидала. Возможно, я уже совсем готов был уйти, не знаю, но теперь эта темная, незнакомая комната завораживала меня; цель моя была именно здесь, во мраке. Когда я думаю о своей странной выходке, я вижу ей только одну причину: я, в свою очередь, открыл чью-то дверь, вошел, сам не зная как, туда, где меня не ждали; по крайней мере, именно эта причина приходила мне на ум, когда я вглядывался в потемки. Однако если мною двигало желание понять, каким образом может возобновиться снова былое безумие и как набросится на меня безумное существо, а сам я превращусь в пугало, то я ошибался. За занавеской зажегся слабый свет. В тот же миг я узнал эту комнату. Чуть позже я опять почувствовал лестничный сквозняк — по-моему, я сразу вернулся в гостиницу.

Поначалу С. была довольно хмурой, но развеселилась, узнав, что я сомневался, не замужем ли она. Это было уже слишком, и ее дурное настроение улетучилось. Уходя, я подумал — подумал с грустью, поймите правильно,— что любой одинокий парень всегда может без стеснения войти ночью, в любой момент, к одинокой женщине (и, естественно, наоборот), при условии, что пришел он без особой причины. Но в моей комнате все было совсем по-другому. Помимо тех достоинств, о которых я говорил, Симона Д. обладала еще одним: она была откровенна, но сдержанна. На самом деле, как я понял позднее, мое нежданное появление той ночью очень встревожило ее: совершенно очевидно, что в ее глазах этот незваный посетитель предвещал приход кого-то другого, более здесь уместного. Оттого-то она и повеселела, когда я сказал, что ожидал увидеть ее уже замужем. Тем самым я показал, что прошлое меня не слишком заботило. Но какое-то сомнение в ней все-таки осталось, и поскольку откровенность была ее главной чертой, то на следующий день она нашла меня в ресторане и тут же сказала: «Вы осуждаете меня за то, что я выхожу замуж. Поэтому вы и пришли ко мне вчера вечером». Она была из тех женщин, для которых замужество имеет значение, и я мог сколько угодно говорить ей, что брак — это не так уж важно, в ее представлении, выходя замуж, она перечеркивала прошлое, которое осталось бы в неприкосновенности и после доброго десятка просто связей. Она долго объясняла, какие у нее основания выходить замуж. Как только человек начинает искать «причины», то, если он хоть немного честен, он очень скоро сбивается, потому что причин слишком много, а нужна всего одна. Слушая ее, я тоже мало-помалу понимал, как задело меня это замужество: мне было больно, разумеется, не за себя и даже не за покойного С., с которым меня ничто не связывало, но я смутно предчувствовал, что вот-вот свершится какое-то незримое предательство, одно из тех душераздирающих, скрытых ото всех деяний, что начинаются во мраке и кончаются в молчании, и против них потаенное горе бессильно.

Теперь мне хотелось бы отметить еще вот что. Я рассказываю о вещах, на первый взгляд, ничтожных и не упоминаю исторических событий. Это были очень важные события, и я ежедневно был поглощен ими. Но сегодня они превращаются в труху, история их уже мертва, а с нею умерли и те часы, та жизнь, что принадлежали мне. Говорить может лишь настоящий момент — и тот, который придет ему на смену. Всех, кто нашел в нем прибежище, еще влечет тень прошлого, но скоро она сотрется. И лавина грядущего мира уже погребает под собой память о далеких днях.

В конечном счете я живейшим образом посоветовал ей выходить замуж. «Хорошо,— сказала она,— договорились. Но имейте в виду, больше мы с вами не увидимся». Позже она прислала мне письмо, там были слова: «Если вы можете объяснить, почему приходили ко мне тогда вечером, то, какова бы ни была причина, сообщите мне ее (письмом)». Но я не ответил. Была уже совсем зима. Я заболел. В комнате, о которой я говорил, было невыносимо жарко; вдоль кровати шла раскаленная труба, по которой наполнялась батарея отопления, так что когда кран батареи был закрыт, температура в комнате не повышалась и не понижалась. Не могу передать,

насколько был мне необходим этот убийственный жар. Когда градусник по ночам опускался до 25 или 23 градусов (днем он показывал 30 °), я начинал волноваться. Мне в самом деле становилось холодно, холод проникал мне в кровь и парализовал меня. Позже, подобно многим, я изведал владычество холода. Но никогда, даже в самые тяжелые минуты, когда разве что лед не терял тепло, я не испытывал больше того ощущения абсолютного холода, какое возникало во мне при тех 23 градусах. Особенно обескураживала зимняя стужа, окружавшая меня по ночам, потому что, засыпая, я по-прежнему чувствовал ее, она проникала в мой сон, и от этого я без конца просыпался, заледеневший и с инеем на губах.

Во время той болезни меня пришел навестить директор одного издания, где я сотрудничал, и мне не удалось вежливо не позволить ему войти. Он сходил с ума — как раз от тех событий, о которых я не говорю. Мне было скучно, и я ничего ему не отвечал; он решил, что мои дни сочтены, и позвонил доктору, который и сам каждый месяц отправлял меня на тот свет и от которого он услышал следующее: «Х.? Бедняга, на нем пора ставить крест». Несколько дней спустя врач рассказал мне об этом, гордясь своим остроумием. У меня нет желания распространяться о своих болячках. В двух словах: получилось так, что, лечив меня от обыкновенного воспаления легких, сей доктор вколол мне какое-то вещество, как он говорил, своего собственного изобретения, и вызвал изменения в крови — кровь у меня раньше времени стала «атомичной», то есть в ней произошли те же самые изменения, какие возникают под действием радиации. В мгновение ока я потерял три четверти белых шариков, и смотреть на меня стало страшно. Доктор отвез меня к себе в клинику, он считал, что смерть неминуема. Однако после довольно необычной борьбы, длившейся два дня, я выкарабкался, и он поспешно отвез меня домой, пока никто не заметил моего отсутствия.

Еще два слова: я обещал доктору молчать и, в общем, сдержал обещание. Он заявил, что сделал это преднамеренно, а не по небрежности, и привел причины своего поступка. Может, и так. Но вполне возможно, что он, с его непомерным тщеславием, желая оправдаться передо мной, выдавал ошибку за преступление. Так или иначе, он добился, что кровь у меня стала загадочная, судя по анализам, удивительно непостоянная по составу.

Вернувшись из клиники, я больше ни разу не обращался в мыслях к тому испытанию, в какое превратились для меня те два дня,— то ли из-за слабости, то ли потому, что размышлять о вещах важных на самом деле невозможно. Я действительно был до странного слаб — слово «странный» здесь как нельзя более уместно. Странность заключалась в эффекте стекла, о котором я говорил и который накладывался у меня на все, и в особенности на людей и на предметы, представлявшие для меня известный интерес. Если, к примеру, я читал интересную книгу, то получал от чтения ее живейшее удовольствие, однако само удовольствие мое было за стеклом, я мог его видеть, оценить, но не мог им воспользоваться. Точно так же если я встречал женщину, которая мне нравилась, то все, что происходило между нами приятного, было под стеклом, и оттого им не только нельзя было пользоваться, но оно к тому же становилось далеким, уходило в вечное прошлое. И наоборот, в вещах и людях ничтожных жизнь обретала обычную свою ценность и сиюминутность, так что я, предпочитая жизнь минувшему, должен был искать ее в будничных поступках и обыкновенных людях. Вот почему я работал и выглядел все более и более живым.

В ночь после моего возвращения домой я не спал (сон покинул меня вместе с кровью) и слышал, как бурно рыдает Колетта, моя соседка; плакала она, с перерывами, около двух часов подряд. То, что человек, казавшийся мне не слишком впечатлительным, тоскует так сильно, не вызвало во мне сочувствия; время от времени тоска эта развлекала меня своей нескончаемостью; но вечная тоска не способна никого взволновать. Тем не менее назавтра я сделал над собой усилие и пошел проведать ее. Уже с порога меня охватило смутное ощущение чего-то недозволенного, передо мной был беспорядок, разбросанная по полу одежда — что ж, вот оно, горе,

подумал я, как странно. Но комната была пуста; одежда на полу была мне незнакома (хотя, по правде говоря, позднее мне чудилось, что я ее уже видел). Вернувшись к себе, я с удивлением подумал об этих ночных слезах, таких живых и сильных, об этой безликой печали за стеной, печали, которую я без малейшего колебания приписал человеку, заведомо мне безразличному, и которая тогда не тронула меня,— зато теперь она меня подавляла, заражала чувством невыносимой боли, как бы ничьей и лишенной самой себя; память о ней становилась невыразимым отчаянием, какое, прячась за слезами, само не плачет, отчаянием, не имеющим лица и обращающим в маску то лицо, которое заимствует. Я спросил по телефону у консьержа: «Кто же все-таки живет там, в соседнем номере?» Потом написал Натали (на адрес ее конторы): «Я хочу вас видеть. Если и вы хотите видеть меня, приходите в такое-то кафе на улице Руаяль в такое-то время».

Накануне я был еще при смерти. Так что я с большим трудом добрался на машине до назначенного места. Натали не говорила ни слова, а я пристально глядел на нее злыми, больными глазами и не находил в ней (несмотря на все ее обаяние) ничего, что требовало бы этой мимолетной встречи. Вдобавок она произнесла злосчастную фразу: «Вы, кажется, были очень больны?» — «Идемте в мой номер»,— ответил я, как мог угрожающе. Мне представляется, что она согласилась пойти со мной из-за того, непоправимого. Но когда она снова оказалась в этой комнате — хоть и при совсем других обстоятельствах,— ее на моих глазах охватил тот же страх, то же смятение, что и в первый раз, с той лишь разницей, что сейчас она даже не пыталась уйти. Она стояла, а я лежал на кровати и смотрел на нее. В ее внешнем облике было заметно что-то славянское — в овале лица, чуть одутловатого, в каком-то необычном, тусклом, почти инертном взгляде, который внезапно становился невероятно, завораживающе живым, ярчайшей синевы, и пылал, как драгоценный камень. Поскольку я по-прежнему был очень слаб, то видел ее словно совсем издалека: она стояла у меня перед глазами, и от них не ускользало ничего, но я опять задавался все тем же вопросом: а замечаю ли я ее? В этой комнате она, безусловно, пыталась побороть в себе странные чувства. Не забудьте, она считала, что, легкомысленно войдя сюда, поступила дурно. Но, попав сюда, она не могла понять, что происходит, она только смутно ощущала, что для того, чтобы это понять, ей нужно быть снаружи, а снаружи все, возможно, покажется совершенно другим. Я пересказываю то, что она сама мне об этом написала,— она была немногословна, зато письма писала без малейшего труда.

Она сказала всего одну фразу — по-моему, я помню это точно,— но фразу до странного смелую. После долгого молчания она спросила: «У вас есть другие женщины?» — «Да, конечно». Вопрос этот можно понять вполне недвусмысленно. Однако такой смысл, я уверен, будет до смешного обманчивым либо, по крайней мере, настолько узким и упрощенным, что в нем не останется ничего от той правды, которой она коснулась; да и ответ мой, с его необдуманностью, означал нечто, не имеющее никакого отношения к жизни и к обычному ходу вещей. Я никогда не был откровенным. Я никогда не считал, что если случай сводит вас с множеством людей, то вы должны приносить их в жертву любопытству или ревности других — они возникают перед вами и удаляются во тьму, туда им и дорога. Так что откровенность моя была неким новым правом, неким предостережением, полученным от имени той правды, которая, не ведая обычных доказательств, сама являлась из потаенного порядка вещей и горделиво возвещала о себе моими устами.

Натали была совсем не невинна, ей тоже доводилось встречаться с другими. В детстве, за границей, она жила напротив монастыря, внушительного здания, почти скрытого за деревьями и окруженного высокой стеной. Ей очень хотелось знать, что происходит за этой стеной. Однажды она услышала доносящиеся оттуда громкие крики, крики жуткие, полные одиночества и мольбы, какие, должно быть, слышатся в сумасшедшем доме. С тех пор монастырь в ее глазах превратился в тюрьму для сумасшедших, и в голове у нее зародилась мысль, что если она захочет куда-то войти,

но не войдет, то оттуда обязательно появится, чтобы поразить ее, безумие либо, по крайней мере, нечто тягостное и мерзкое. Поэтому ее всегда влекло чуть опережать свои желания, не оттого, что она придавала им значение, но как раз для того, чтобы они его не обрели. Все это я пишу с ее собственных слов в письме, а никак не затем, чтобы наделить ее неким характером; какой у нее был характер, я не знаю, и неизвестно, был ли он у нее вообще.

Я расскажу сейчас, почему, как она сама считала, ей пришло однажды в голову отправиться ко мне домой,— расскажу в подтверждение того, что в ситуациях самых важных начало не имеет значения. Просто в тот момент она была готова сойтись с другим человеком. Она была замужем, но ушла от мужа, к тому же всегда жила свободно, и я не вижу, отчего этот очередной шаг должен был непременно увлечь ее туда, где мне больше не было места. Но так или иначе, ей захотелось в подобный момент окончательно решиться. Она вошла в мою комнату — и что же обнаружила? С моей стороны — поведение безумца, не узнающего ее, а в самой себе — чувство смертельного испуга, толкнувшее ее к дверям, и мысль о том, что она видела нечто такое, чего не имела права видеть, а потому охотнее всего она бы навсегда вычеркнула из памяти мое имя. Добавлю, что когда на мой вопрос: «Почему вы пришли?» — она ответила: «Не помню», ее ответ был гораздо вернее и гораздо существеннее (для меня), чем тот, который заключен в этой истории.

В моей жизни был период, когда я упорно боролся с одним человеком — я не хотел с ним встречаться. Борьбу я вел стойко, но в то же время и следил за ней как бы со стороны. Я видел, что за этой битвой стоит множество задних мыслей, и, движимый проницательностью, считал себя ответственным за них, а в самой битве усматривал двойной смысл. Однако именно в этом и заключалась моя слабость — не собственно в битве, которая сама по себе всего лишь требовала какого-то исхода, но в моей сбивающей с толку прозорливости, что предполагала иной исход и разоблачала соответствующие намерения. К примеру, события складывались так, что мы оказывались оба в одном городе за границей. Здесь не было ничего, кроме случайности, приятной или неприятной. Но едва мне удавалось уловить в этом хоть тень расчета, как я тут же обнаруживал, что могу совершить какие-то шаги, которые бы свели нас в этом городе вместе,— шаги, которые я бы никогда не предпринял, если бы оставил свою совесть в покое. Так кто же ослепил меня? Моя собственная проницательность. Кто сбил меня с толку? Мое прямодушие. Кто виноват в том, что теперь всякий раз, как разверзается моя могила, я пробуждаю в ней мысль такой силы, что она оживляет меня снова? Ухмылка моей собственной смерти. Но знайте же: там, куда я ухожу, нет ни творения, ни мудрости, ни желаний, ни борьбы; я вступаю туда, куда не вступает никто. Вот в чем смысл последней битвы.

После моего «да, конечно» с Н. что-то случилось. Внезапно раскаленная комната, в которой я умирал от холода, превратилась для нее в такой же ледник, как и для меня. Она стала дрожать, у нее застучали зубы, и в какой-то момент ее охватил такой озноб, что она не могла с собой справиться. Этот приступ холода ужаснул меня. Я ничем не мог ей помочь; приблизиться к ней, заговорить было против правил; прикоснувшись, я мог ее убить. Единственное, что ей оставалось делать,— это бороться в одиночку и в борьбе своей научиться понимать глубокую справедливость высших и враждебных нам сил, которые, терзая нас, одновременно утешают и дают поддержку. Но, кажется, я тогда мог опасаться и чего-то жуткого: в какой-то момент жуть эта подступала совсем близко. Игла уже рядом, подумал я, когда она ушла.

Часть ночи я, по-прежнему не смыкая глаз, провел, глядя на кресло: оно стояло довольно далеко от кровати, но было развернуто в мою сторону. Мне никогда не мешали ни свет, ни темнота. Упорная мысль надежно защищена от всех внешних обстоятельств. В мысли этой меня иногда поражала какая-то суровость, то бесконечное расстояние, что, при нашем уважении друг к другу, разделяло нас; но «суровость» —

слово неточное: суровость исходила от меня, от меня самого. Мне даже представляется, что если бы в те времена я, как сейчас, чаще ходил куда-то вместе с нею, если бы признавал за ней право сидеть со мной за столом и лежать подле меня в постели, а не довольствоваться минутным обладанием, когда она являлась во всевластии своей гордыни и гордыня моя, еще большая, всей силой обрушивалась на нее, то и близость сохранилась бы между нами, и разделенная печаль, и полная откровенность; и, быть может, узнал бы я о ее замыслах нечто такое, чего ей самой не дано было знать, ибо, отдалившись от нее, я сделал ее холодной и заставил мучиться за стеклом одной-единственной неотвязной грезой.

Часть той ночи, крайне для меня тягостной — мне по-прежнему было очень плохо, отравление сказывалось короткими приступами тошноты, исторгавшими из меня что-то вроде холодных лавин, омерзительное истечение пустых образов,— была уже позади, когда я сказал себе, что никогда больше не выйду из этой комнаты и тем более никто больше сюда не войдет, что с моей стороны было трусостью приотворить ее дверь, что слова «да, конечно» я произнес зря и больше никто их не услышит. (Я еще прекрасно ощущал запах духов Н., он не исчезал в ночи.) Назавтра я снял номер в другой гостинице, но этот тоже сохранил за собой. Так я жил, сколько позволяли средства, бывало, на три-четыре дома. Когда началась война, мне пришло в голову снять комнату в жилой квартире; так я оказался у одной дамы, учительницы танцев. У дамы этой была дочь лет тринадцати-четырнадцати, которая часами подглядывала за мной из небольшой гостиной, где была фрамуга, выходившая ко мне в комнату. Она забиралась на стул и смотрела на меня как завороженная. Вначале она пряталась, если я замечал ее, но очень скоро прятаться почти перестала. Меня ее поведение не сердило. Постоянное созерцание этой головы над собой, головы, казалось, отдельной от туловища и висящей в пустоте, давало мне чувство покоя. Но однажды, возвращаясь к себе через гостиную, я увидел, что она стоит на стуле и заглядывает ко мне, даже когда меня нет дома. Я дал ей пощечину и отвел к матери, сказав: «Когда ко мне приходит женщина, ваша девочка влезает на стул и подсматривает через стекло». Мать остолбенела. Помолчав с минуту, она возразила: «Но вы не должны водить сюда женщин». Женщин я именно что не «водил», я только хотел дать ей понять, какого рода нескромность допускает ее дочь, заглядывая ко мне в мое отсутствие.

По зрелом размышлении я понимаю, что перемену, происшедшую в Натали после того случая, я заметил не сразу, оттого что менялся сам, и это было настоящее бедствие. Я уже упоминал об этом. Какой-то порыв пустоты перебрасывал меня из одной минуты в другую; такую злую шутку сыграла со мной кровь: я, животное хладнокровное, обрел из-за нее нетерпеливость животного со жгучей кровью. Кроме того, я был невероятно занят. Сойдясь с Натали, я, можно сказать, не сошелся почти ни с кем: в словах этих нет ничего уничижительного, напротив, это самая серьезная вещь, какую я могу сказать о человеке. Но тогда я видел в ней скорее просто очаровательное создание, такое же свободное, как и я сам. Я ходил к ней на какой-то полуразрушенный чердак — она жила там одна, с маленькой дочкой. По-моему, это было огромное помещение с бессчетным числом комнат, только это были не комнаты, а какие-то антресоли, кладовки, коридорчики, притом почти пустые или запущенные. Меня не пускали никуда, кроме одной маленькой комнатки, по-видимому, единственной жилой в доме. Правда, в памяти у меня осталось представление о большой ротонде, довольно красивой и с хорошей мебелью, но возможно, это было в другой квартире. Натали работала, делала письменные переводы с разных языков, во всяком случае, с немецкого, английского и русского. Именно эта сторона ее личности и заставила меня обмануться на ее счет. Она сидела в конторе, раскладывала отпечатанные листки, справлялась со своей работой, и потому в моих глазах целиком принадлежала к той повседневной жизни, от которой я нередко требовал только одного: чтобы она была

приятной, без задних мыслей, без завтрашнего дня,— требовал так, словно не проводил тогда каждую ночь в разверстой могиле. Не могу сказать, однако, чтобы ее лицо чем-то выделялось среди других, нет, она была безличнее других, это-то ее и отличало, и когда я думаю об этом отсутствии лица, оно кажется мне и вправду странным, неожиданным дефектом, явлением удручающим, которое могло бы многое мне объяснить, задержи я на нем внимание, и о котором я, случалось, все же смутно догадывался, когда думал об этом редкостном создании, кого так часто покидал ради других. Может быть, неверность — благо, может быть, зло, не берусь судить; но достоинство ее — с земной точки зрения — в том, что она сберегает главную историю и подготовленное ею чувство вспыхивает как раз в тот день, когда лишается каких бы то ни было прав.

После того «случая» мне настоятельно надо было видеть Н., и я поднялся к ней на чердак. Не думаю, чтобы нашелся человек более неспособный на кокетство, чем она, я хочу сказать, на то, чтобы сознательно вести себя уклончивым образом и говорить двусмысленные слова. Увидев меня, она вдруг, очень робко и без всякого умысла, сама предложила мне переехать в ее необъятное жилище. В некотором роде то было продолжение тех смелых слов, которые она произнесла в моей комнате. Значит, некая сила в ней по-прежнему действовала, преследуя какую-то странную цель и прибегая к средствам, способным ввести меня в обман. Я ответил гораздо менее серьезно, чем в первый раз, ибо уже становился слепцом, и ответил отказом, облачив его в несколько бесстыдные слова. Отчасти я защищался от нее — как от человека, посягавшего на мою свободу. Я, впрочем, прекрасно видел, что предложение ее невинно, однако не видел ее сердца, исполненного той же невинности. На мой отказ она промолчала и начала играть свою роль — стала почти никем. С нею все казалось на удивление легко. Мы встречались то в одном месте, то в другом, вдвоем обедали, я отвозил ее на машине домой. Однажды она издали заметила меня (она тогда работала в министерстве информации) в одном из бесконечных коридоров гостиницы, где приютилось это министерство; она видела, что я кого-то жду. Но что она и была тем человеком, которого я ждал,— такая мысль не приходила ей в голову, словно мы и не были друзьями, и если я, как ей казалось, смотрел на другую женщину и во взгляде моем была близость, она все равно оставалась никем, даже меньше: не стеснялась, не сердилась, не проявляла интереса. Однако же один раз она как-то необычно моргнула; я потом сказал ей: «Ваши глаза не всегда мной довольны». Но что и вправду удивительно, она и не думала отрицать свое волнение, скорее она досадовала на себя, что обнаружила его, или на меня, за то, что вызвал его своим дурным поведением. В общем, она, казалось, была не способна стараться скрыть за своими чувствами — единственное чувство. Дважды она при случае говорила мне, как нельзя более просто и откровенно, что когда я здесь, ей больше ничего не нужно. Но откуда я мог знать, что происходило, когда меня там не было?

Сейчас я забыл многие сцены, в ходе которых она вела себя совсем иначе. И то, что я не помню их сейчас, подтверждает, насколько сильнее я был способен забыть их тогда. Одна из них, насколько я помню, разыгралась скорее всего вначале. Когда я приходил, дочку свою она запирала либо та уже спала; поэтому мне редко случалось ее видеть. Малышка жила, как хотела, так у них было заведено, ей позволялось все; родителям мужа Натали, которые чаще всего за ней присматривали, в этом пришлось уступить, хоть они и возмущались столь безумным воспитанием. У малышки Кристианы, конечно же, было свое представление о посетителе, единственном, из-за кого от нее так непривычно защищались; вернее, от нее, собственно, никто не защищался, ее только настоятельно просили держаться подальше от маленькой комнаты. Что ж, как ни удивительно, но уговор неизменно соблюдался, и Кристиана если и приходила, то лишь после того, как церемонно испрашивала на это позволения через свою мать,— доказательство того, что воспитание ее было не таким уж безумным. Но однажды вечером, быть может, оттого, что ей стало страшно, она вскочила с кровати и прибе-

жала в маленькую комнатку, и я был очень рад ее видеть, однако Натали пришла в бешенство. В результате она поранила ей кольцом губу. Поступок ее был настолько необыкновенным, что я ни разу не осмелился заговорить с ней на эту тему, хотя расспрашивал ее обо всем.

Много позже той сцены она совершила путешествие, чтобы отвезти Кристиану в деревню. Разобраться в ее чувствах к дочери было очень нелегко. Всякий решил бы, что она ее обожает: ради нее она жертвовала множеством ценных для себя вещей, часами занималась с нею, чтобы ей угодить, читала ей целые тома, хотя глаза у нее очень уставали и она ненавидела читать. Но она не раз говорила мне: «Я бы охотно постарела лет на десять и отдала бы эти десять лет Кристиане, пускай она будет в том возрасте, когда смотрят и на кого-то, кроме меня». Странно еще и то, что она так долго не хотела учить ее музыке. Сама она научилась играть у одной учительницы, которая ходила домой к ее родителям. Ее старший брат сошелся с этой учительницей — французской студенткой, быстро охладевшей к своим штудиям. Н. говорила, что не любила брата, зато учительница нравилась ей гораздо больше, и от ревности, которую пробуждали в ней их свидания, происходившие всегда за счет урока, голова у нее затуманивалась и все учение шло насмарку. Во время этих пауз ей было велено, чтобы мать ничего не заподозрила, колотить по клавишам безостановочно и как можно громче. Загадка в том, как ей удалось тем не менее выучиться хорошо играть — по крайней мере некоторые вещи, потому что очень многие произведения она не могла ни играть, ни слушать; она, например, питала какую-то необъяснимую ненависть к Моцарту. Про Кристиану она говорила, что у той нет ни слуха, ни голоса, ни пальцев, и отчасти это было правдой, но не совсем. Можно было подумать, что по какой-то загадочной причине она изо всех сил старается оградить ее от рояля. Я сказал: «Попробую давать ей уроки». Я дал ей несколько уроков, а потом она сама стала ее учить.

В день своего отъезда она утром позвонила мне — для нее это означало проявить очень важную инициативу — и хотела повидаться на несколько минут. Правда состоит в том, что я мог бы прийти, но у меня не было большого желания. Поэтому ответил я ей достаточно сухо. В ответ я получил поразительное молчание, такое молчание, что я смешался, почувствовал, что виноват, и в конце концов спросил: «Где вы хотите, чтобы мы с вами встретились?» — «Нигде!» Сказано это было совершенно разъяренным тоном, каким-то диким вскриком, который я счел бы неестественным в устах даже самого неистового человека. В мыслях я иногда возвращался к этому ее «нигде».

Последнее происшествие было совсем иного рода. Подобные порывы у нее всегда бывали исключением и тут же стирались из памяти. Ей сделали небольшую операцию на глазу; отчасти необходимость в этом возникла потому, что зрение у нее было слабое, а главное, не вполне обычное — днем она видела довольно хорошо, зато ночью, при ночном освещении, переставала видеть вообще. Она убеждала меня, что операция пустяковая, и действительно, в клинике ей пришлось пробыть очень недолго. Кроме того, ей, по-моему, не хотелось показываться мне с повязкой на глазах. У моей вины перед нею были более веские причины. Представление о болезни никак не вязалось с ее именем. Сейчас я понимаю почему. Но я уже тогда довольно хорошо сознавал, отчего при мысли о больничной кровати и о свободном теле, которое из-за такой серьезной вещи, как болезнь, делалось одновременно и очень значимым и ничтожным, во мне поднимается какая-то ревность, какая-то мрачная мука и досада. Так что навещать я ее не пошел. Операция прошла очень удачно. Когда она вернулась домой, я снова к ней не попал: оправдания для моей невнимательности нет, но предлог есть. Получилось так, что в тот вечер, когда мы должны были встретиться, мне пришлось по работе отправиться в театр, и предупредить ее я смог только в последнюю минуту; она была со мной очень мила. В театре во время антракта она предстала передо мной в сопровождении какого-то незнакомого парня. Она показалась мне на редкость красивой. Я видел, как она

проходит передо мной, совсем близко и бесконечно отдельно от меня, словно за стеклом. Эта идея меня потрясла. Я мог бы, наверное, заговорить с нею, но не хотел, а может, в самом деле не мог. В моем присутствии она держалась свободно, как мысль; она еще находилась в этом мире, но встретил я ее в этом мире только потому, что она была моей мыслью,— какими же сообщницами становились они, какой исполненный ужаса сговор объединял их! Добавлю, что на меня она смотрела как человек, прекрасно меня узнающий и даже дружески расположенный, однако узнавание это шло помимо глаз, у него не было взгляда, оно не могло подать мне знак; это узнавала меня мысль, дружелюбная, холодная и мертвая.

Было ли это лишь минутное впечатление? Мне кажется, что оно разорвало пополам мою жизнь, что с той минуты я знал уже почти все,— но, судя по тому, что я делал и как жил, все пока оставалось по-прежнему; с ней я вел себя не лучше и не хуже, чем раньше, а она, как и раньше, одинаково хорошо терпела и мое присутствие, и отсутствие. Нужно, однако, напомнить о событиях того времени. Они принимали все более серьезный оборот: думать и жить было уже не одно и то же. Я в те дни совершил попытку (окончившуюся неудачей) как-то более осязаемо включиться в борьбу, и не поручусь, что смятение, царившее в обществе, совсем не имело к этой попытке отношения; однако гораздо больше правды в том, что в безумии крови и оружия я искал надежду избежать неотвратимого.

Когда бомбили Париж, мы с ней оказались на улице, и нам пришлось спуститься в метро. Тогда все эти процедуры были какими-то несерьезными. А Н. радовалась любому предлогу не ходить на работу. И вот оба мы оказались на ступеньках, среди огромной толпы, той тесной, тяжкой толпы, которая то застывает неподвижно, как земля, то обрушивается вперед, как горный поток. С недавних пор я стал разговаривать с ней на ее родном языке: он казался мне тем более трогательным, что я знал на нем очень мало слов. Сама она, так сказать, не говорила на нем совсем, по крайней мере со мной,— однако если я начинал мямлить, неуклюже соединять слова и строить невозможные фразы, она слушала меня с какой-то юной веселостью, и в свою очередь отвечала по-французски, но этот французский язык отличался от ее обычного языка, он был более ребяческий и болтливый, словно в ответ на мою речь на незнакомом языке ее собственная речь становилась безответственной. Правда, и я сам чувствовал свою безответственность, говоря на другом языке, которого совсем не знал; и этот фантастический лепет, эти почти сплошь выдуманные обороты, смысл которых обретался в тысяче лье от моей головы, исторгали из меня то, о чем я бы никогда не сказал, не подумал и даже не промолчал настоящими, правдивыми словами, звали произнести это вслух, рождали во мне, когда я пытался это выразить, чувство легкого опьянения, уже не ведающего собственных границ и храбро преступающего пределы дозволенного. И потому я делал ей на этом языке самые нежные признания, хотя обычно вовсе не имел такой привычки. Я по меньшей мере дважды предлагал ей выйти за меня замуж: свидетельство сугубой условности моих речей, учитывая то, что я избегал брака (и не питал к нему почтения); но я женился на ней на ее языке, а языком этим я пользовался не только легкомысленно, но, главное, выдумывал его в какой-то мере и выражал на нем, с той изобретательностью и правдивостью, какая бывает в полубессознательном состоянии, чувства, мне не знакомые,— они бесстыдно всплывали на поверхность, облекаясь в эту форму и обманывая меня самого, как могли обмануть и ее.

Ее они не обманывали нисколько, в этом нет сомнений. И легкомыслие мое, быть может, хоть и передавалось ей отчасти, но прежде всего пробуждало у нее не самые лестные мысли, не говоря уж о той, другой мысли, о которой я не могу ничего сказать. Даже теперь, когда очень многое прояснилось, я с трудом представляю себе, какой отклик могло найти в ней слово «брак». Она когда-то была замужем, но от той истории у нее не осталось ничего, кроме неприятных воспоминаний о разводе. Значит, брак

и для нее был не так важен. Но отчего же тогда я, предложив ей выйти за меня замуж, именно в ту минуту единственный раз — или в один из единственных разов — получил от нее ответ на родном языке: это было какое-то странное, совершенно незнакомое мне слово, которое она так и не захотела перевести, а когда я сказал: «Ладно, я переведу сам», ее охватила настоящая паника — при мысли о том, что я вдруг могу угадать; так что мне пришлось оставить при себе и перевод свой, и свое смутное предчувствие.

Брак со мной мог ей казаться отвратительным, чем-то вроде святотатства, или, наоборот, истинным счастьем, или, наконец, шуткой, не стоящей внимания. Я и теперь почти не способен выбрать из этих толкований какое-нибудь одно. Бог с ними. Как я уже сказал, этими словами, что говорили во мне на чужом, ее языке, я вводил в заблуждение не столько ее, сколько самого себя. Я сказал ей слишком много, чтобы не чувствовать того, что говорил, в душе я принуждал себя отдать должное этим странным словам; чем чрезмернее, я хочу сказать, чем более чуждыми были они тому, чего можно было от меня ждать, тем правдивее они мне казались — из-за своей беспримерной новизны; тем более жаждал я придать им, с их неправдоподобием, убедительности, даже в собственных глазах, и прежде всего в своих собственных глазах, прилагая все силы, чтобы продвигаться дальше и дальше, и возводя, быть может, не на таком уж широком фундаменте пирамиду столь головокружительной и всевозрастающей высоты, что сам был ошеломлен. И однако я могу написать: это была правда, в вещах настолько чрезмерных не бывает заблуждений. Ошибка моя в том состоянии, в каком я пребывал, ошибка, чью искусительную природу я вижу лучше, чем кто-либо, объяснялась в гораздо большей степени тем, что я воображал, будто с помощью этих вполне условных средств сблизиться с ней мне удастся сохранить ее в отдалении от себя. И действительно, все то, что возникало из этих незнакомых слов и что заставляло меня гораздо чаще видеться с нею, без конца звать ее, желать ее убедить, принудить саму признать в моих речах нечто большее, чем просто речь,— все это толкало меня искать ее на бесконечном от себя расстоянии и так естественно помогало ей держаться все с тем же отсутствующим, отчужденным видом, что я полагал этот вид достаточным для себя оправданием и, все сильнее ощущая на себе его притягательность, все меньше сознавал, насколько он ненормален и насколько ужасно его происхождение.

В тот день, когда мы оказались в убежище, я, скорее всего, зашел уже слишком далеко. По-моему, меня влекло вперед какое-то бешенство, какая-то яростная правда,— и вдруг, сломав хрупкие подпорки ее языка, я стал говорить по-французски, теми безрассудными словами, к которым никогда прежде не прибегал и которые обрушились на нее всей мощью своего безумия. И едва они коснулись ее, как я физически почувствовал: что-то разбилось. В тот же миг ее похитила, унесла от меня толпа, и разгулявшийся дух той толпы отшвырнул меня прочь и уничтожил могучим ударом, словно преступление мое превратилось в толпу и яростно силилось разлучить нас навсегда.

С полудня я ничего о ней не знал (случилось все это около двух часов). Я работал; любые увертки можно объяснить неизбежными требованиями работы. Я говорил себе: если до вечера, до восьми, у меня по-прежнему не будет от нее вестей, я буду до смерти волноваться; а значит, на какое-то, пусть недолгое, время волнения откладывались. В министерстве ее не видели, но в министерстве вообще никто никого не видит. В восемь я стал искать ее по пустым коридорам, по забитым людьми и пустым конторам. Я искал ее в маленьком ресторанчике, и мне пришлось пообедать, чтобы подождать ее. Дома у нее телефон по-прежнему не отвечал. Тем не менее я отправился к ней, подумав, что она не берет трубку. Идея эта успокаивала меня, я и вправду был уверен, что найду ее в маленькой комнатке — ведь она была там всякий раз, как я приходил. Но за дверью стояла глухая тишина, и дверь превратилась в злейшего моего врага: будь она открыта, я бы смог перенести то, что в квартире никого нет; я бы отыскал следы ее

мимолетного присутствия; мне было бы где ее ждать, я бы заместил ее здесь и заставил прийти своим упрямым ожиданием. С какой горечью вспоминал я о том, что отказался здесь жить! Да и Кристиана — я проклинал ее за то, что она в деревне и не может помешать матери потеряться. В тот миг я сам был как потерянный. Безумие мое шло уже не от беспокойства за Натали и не от интереса к ней, но от нарастающего с каждой минутой нетерпения, которое было выше любой цели и превращало меня в скитальца, не знающего, чего он ищет. Я снова вернулся к зданию министерства. Меня влекло предположение о том, что находиться она может только возле реки; притягательным в этой идее был разве что оттенок помешательства, ибо самоубийство Натали претило. Я оставался там бесконечно долго. Я не помню ничего о человеке, который столько часов простоял на мосту. По-моему, ночная тьма была непроглядна.

В какой-то миг волнение мое улеглось и разум возвратился ко мне, если не разум, то какая-то холодная проницательность, и она сказала мне: пора, теперь нужно делать то, что нужно. Я жил в гостинице на улице С.; я по-прежнему сохранял за собой номер в той, другой гостинице, но владельца ее мобилизовали, и гостиница была почти пуста, у самого же меня там были только книги, и я почти туда не ходил; ночью я возвращался туда, только когда это и вправду было необходимо. Гостиница на улице С. была удобная и комфортабельная, но мне не нравилась. По необъяснимой прихоти я просил Натали туда не приходить; однажды утром она мне позвонила, и я ответил ей с таким раздражением, что из-за своего ответа до сих пор ненавижу то место. Я почувствовал, что не смогу там переночевать. Странное дело: мне совершенно не приходило в голову, что она может ждать меня там, я даже не заглянул ни в холл, ни в салон, где дипломаты из Центральной Европы вели бесконечные беседы, громоздя друг на друга величайшие и горестные грезы. Я хотел снять номер в одном довольно подозрительном отеле на соседней улице, но там все было занято. Я пошел по улице Мира, темной и поразительно спокойной. Какой кругом меня был покой; и как безмятежен был я сам! Улица О. была не спокойной, а мрачно-угрюмой; лифт не работал; на лестнице уже с пятого этажа на меня повеяло чем-то странно затхлым, каким-то холодным запахом земли и камня: я прекрасно его знал, ведь в моей комнате он составлял самую мою жизнь. Ключ я носил с собой, в бумажнике — из предосторожности. Представьте себе эту лестницу, погруженную в черноту, и меня, поднимающегося на ощупь. В двух шагах от двери меня как ударило: ключа не было. Я всегда боялся потерять этот ключ. По нескольку раз на день я нащупывал его через бумажник; это был маленький ключик йейльского типа, я знал его во всех мелочах. Потеря эта в один миг вернула мне всю мою смятенную тоску и еще усилила ее уверенностью, что случилось несчастье, горе столь великое, что вкус этого горя я ощутил на губах и с тех пор он не покидает меня. Мыслей больше не было. Я стоял за своей дверью. Это может показаться смешным, но, по-моему, я умолял ее, заклинал, кажется, даже проклял, но поскольку она молчала, я сделал то, что можно объяснить разве что утратой хладнокровия: изо всех сил ударил ее кулаком — и она распахнулась.

О том, что случилось дальше, я скажу коротко: то, что тогда случилось, случилось уже давно, или уже давно было настолько неотвратимым, что именно нежелание мое выносить все это на свет дня — тогда как в ночном своем существовании я чувствовал это ежечасно — и есть свидетельство тайного моего согласия с этим смутным предчувствием. Раньше чем я сделал еще шаг, я знал — в комнате кто-то есть. Я знал и то, что стоит мне войти, как этот кто-то вдруг окажется передо мной и прижмется ко мне, такой близкий, какими не бывают живые люди. Об этой комнате, погруженной в ночной непроглядный мрак, я знал все, я проникся ею, я носил ее в себе, я оживлял ее той жизнью, которая не есть собственно жизнь, но которая сильнее ее и не подвластна никакой силе в мире. Комната эта не дышит, в ней нет ни тени, ни воспоминания, ни грезы, ни глубины; я вслу-

шиваюсь в нее — в ней никто не говорит; вглядываюсь — но в ней никто не живет. И однако здесь обитает величайшая из жизней, и я касаюсь этой жизни, а она меня, она ничем не отличается от других, она приникает ко мне своим телом и проводит губами по моим губам, ее глаза открываются, самые живые, самые бездонные в мире глаза, и они видят меня. Здесь обитает то, что погубит всякого, кто, живой, придет сюда не понимая. Ибо жизнь эта обращает в ложь жизнь, отступившую перед нею.

Я вошел, закрыл за собой дверь. Сел на кровать. Передо мной простиралась кромешная тьма. Я сидел не в самой этой тьме, но на краю ее; не скрою, она пугает. Она пугает, потому что есть в ней нечто такое, что презирает человека и что человек не в силах вынести, не потеряв себя. Но потерять себя все равно придется; идет ко дну и тот, кто сопротивляется тьме, и тот, кто шагает вперед, все превращаются в эту тьму, в тот мертвый, презрительный холод, в лоне которого пребывает вечность. Тьма эта стояла рядом со мной, наверное, потому, что мне было страшно; то был не обычный, всем знакомый страх, он не одолевал меня, ему вообще не было до меня дела,— он бродил по комнате, словно нечто одушевленное. Нужно много терпения, чтобы мысль, отброшенная в пучину мертвой жути, мало-помалу поднялась, и узнала нас, и взглянула на нас. Но сам я еще боялся ее взгляда. Взгляд этот совсем не такой, каким его представляют, в нем нет ни света, ни выражения, ни силы, ни порыва, он молчалив, но его чуждое всему молчание доносится к нам через целые миры, и услышавший его становится иным. Внезапно меня охватила такая уверенность, что здесь, в комнате, находится кто-то, кто искал меня, что я отшатнулся, со всего размаха налетел на кровать, и в тот же миг отчетливо увидел ее в трех-четырех шагах от себя, увидел мертвое, пустое пламя ее глаз. Я должен был, собрав все силы, не отводить взгляда, она тоже пристально смотрела на меня, но как-то очень странно, так, словно находился я позади себя самого, бесконечно далеко. Может быть, это продолжалось очень долго, хотя мне почудилось, что, едва обнаружив меня, она исчезла. Так или иначе, я очень долго не двигался с места. Я больше нисколько не боялся за себя, но до крайности боялся за нее, боялся ее вспугнуть, превратить ее своим страхом в нечто дикое, что разобьется у меня в руках. Мне кажется, что я ощущал этот страх, однако мне кажется также, что вокруг царил полный покой; я бы поклялся, что передо мной ничего и никого нет. Вероятно, именно из-за этого покоя я сделал небольшой шаг вперед, я шел как можно медленнее, дотронулся до камина, остановился снова; я ощущал в себе такую величайшую терпеливость, такое почтение перед одиночеством этой ночи, что почти не двигался, лишь рука моя была немного вытянута вперед, но очень осторожно, чтобы никого не напугать. Особенно мне хотелось подойти к креслу, мысленно я видел его, это кресло, и оно было здесь, я прикасался к нему. В конце концов я опустился на колени, чтобы стать ниже ростом, и моя рука медленно прошла сквозь ночь, коснулась деревянной спинки, потрогала обивку, рука была самая терпеливая, какая только может быть, самая спокойная, самая дружеская, и потому она не вздрогнула, когда подле нее медленно стала возникать другая рука, холодная, самая неподвижная и холодная, какой может быть рука, и она позволила моей руке лечь поверх нее и не вздрогнула. Я не двигался, я по-прежнему стоял на коленях, все это происходило бесконечно далеко, моя собственная рука, лежащая на ее холодном теле, казалась мне настолько далекой, я чувствовал себя таким отдельным от нее и словно отброшенным ею в какое-то отчаяние, которое и было жизнью, что все надежды мои были, казалось, где-то в бесконечности, в том холодном мире, где рука моя покоилась на этом теле и любила его и где тело это, погруженное в каменную ночь, встречало, узнавало и любило мою руку.

Быть может, прошло несколько минут, быть может, целый час. Я обнял ее, я был совершенно неподвижен, и она совершенно неподвижна. Но настал такой миг, когда я, видя, что она по-прежнему смертельно холодна, придвинулся ближе и сказал ей: «Иди сюда». Я встал, взял ее за руку, она тоже встала, и я увидел, какого она роста. Она сделала вместе со мной

несколько шагов, все ее движения покорно повторяли мои. Я уложил ее на кровать и лег рядом. Я пытался увидеть ее лицо, я лежал, чуть повернувшись в ее сторону. Я взял руками ее голову и сказал так ласково, как мог: «Посмотри на меня». Голова ее и вправду приподнялась в моих руках — и в тот же миг в трех-четырех шагах от себя я снова увидел его, мертвое и пустое пламя ее глаз. Я собрал все свои силы и не отвел взгляда, и она тоже, казалось, пристально смотрела на меня, но так, словно я был бесконечно далеко позади себя самого. И вот что-то поднялось во мне, я склонился к ней и сказал: «А теперь не бойся, я подую тебе в лицо». Но при моем приближении она стремительным рывком отодвинулась (или оттолкнула меня).

Мне хочется сказать, что холод, окутывающий эти тела, очень странный: сам по себе он не так уж силен. Когда я, как сейчас, прикасаюсь к чьей-то руке, когда рука моя ложится под нее, то чужая рука не такая ледяная, как моя, но ее холодок проникает глубоко, он не растекается по поверхности, он пронизывает, окутывает вас, его нужно послушаться и вступить за ним вслед в ту безграничную толщу, в ту глубокую, несуществующую пустоту, откуда нет возврата к внешнему прикосновению. Вот почему он так горек, он кажется жестоким, он точит вас, он хватает вас и влечет за собой,— и действительно, он вас хватает, но в этом тоже состоит одна из его тайн, и тот, в ком довольно сочувствия, чтобы отдаться этой холодности, находит в ней ласку, нежность и свободу самой настоящей, правдивой жизни. Об этом нужно сказать, ибо теперь отступать уже поздно,— холод руки, холод тела сам по себе ничто, и даже горечь холодного рта, когда к нему приближаются губы, страшит лишь того, кто сам не умеет стать еще горше и холоднее, но есть другая помеха, разделяющая нас,— мертвая ткань на молчаливом теле, одежда, которую поневоле вы узнаете и которая облачает пустоту, она пропитана бесчувственностью, у нее трупные складки и застылая неподвижность металла. Вот испытание, которое нужно одолеть.

Когда наутро я вновь увидел ее у себя в комнате, она была скорее веселой. Взглянув на свои руки и ногти, всегда тщательно ухоженные, она вдруг сказала, но вполне добродушно: «Вы только посмотрите, я впадаю в детство, по-моему, я грызла ногти». Позже она обнаружила у себя в верхней части лба, под волосами, небольшую ранку. Я смотрел, как она встает, ходит по комнате, и был бесконечно растроган. Я ни о чем не думал, я целиком отдавался удовольствию видеть ее, видеть каждый ее жест, каждое движение. Я решил не вспоминать больше ни о своей работе, ни о ее, чтобы она каждую минуту находилась на моих глазах.

Она посопротивлялась немного моим замыслам, но только немного. Ей в любом случае нравилось не работать. Когда мы выходили из комнаты, у меня сжалось сердце, я не удержался и сказал: «По-моему, ключ у вас». Она самым непринужденным образом вынула из своей сумки ключ, тот самый маленький ключик, и, заперев дверь, бросила его обратно. К чему было в тот миг о чем-то ее спрашивать? Этот поступок, совершенно немыслимый для нее, порыв, заставивший ее намеренно взять у меня бумажник, сунуть в бумажник руку и вытащить оттуда ключ, не имел никакого оправдания в этом мире, и задавать вопросы по этому поводу казалось мне не меньшей нескромностью, чем та, в которой я мог упрекнуть ее. Если, на го́ре, тот, кого вы ставите превыше всего, кого любите превыше всего, прочтет письмо, написанное не ему, вам не надо об этом знать; вы должны не забыть это, нет, но, узнав об этом, не знать ничего и никогда, а догадываясь, безоговорочной верой в его правдивость и честность сделать так, чтобы событие столь ужасное стало невозможным, и тогда оно и в самом деле устыдится само себя и скоро исчезнет.

Если бы я стал задавать Н. вопросы, она бы сказала: «Да, я взяла ваш ключ». А если бы я спросил, зачем она это сделала, она бы ответила, не задумываясь, ответила бы то, что, я уверен, готова была ответить мне в любую минуту и после чего ни она, ни я уже не смогли бы жить в те часы и в те дни естественной жизнью. Ну а у меня было тогда лишь одно

желание: мне хотелось войти вместе с ней вот сюда, в кафе, или войти вон туда, поскучать в кино, слышать, как смеется ее устами легкомыслие и тщеславие, и ничто другое; а главное, мне хотелось, чтобы она по-прежнему звалась Натали, пусть даже ценой своих обгрызенных ногтей и пораненного лба.

Те часы и те дни были, наверное, самыми для меня счастливыми. Я вел себя так, мною владел такой порыв обожания, что мне некогда было чувствовать что-нибудь, кроме правды этого порыва и силы этого обожания. Н. оставалась зачастую очень сдержанной, но я не воспринимал это так, что меня обделили, просто моя собственная несдержанность еще возрастала, и я, одержимый лихорадкой и исступлением, становился все требовательнее и принимал то, как она, словно издалека, выносит, когда мы вместе, мое безграничное нетерпение, за такой же лихорадочный подъем. Кроме того, она, безусловно, была ко мне чрезвычайно привязана и привязывалась все сильнее; но что может передать слово «привязанность»? И что означает слово «страсть»? А слово «бред»? Кому ведомо чувство более великое? Мне одному; и я знаю, что нет чувства более ледяного, ибо оно восторжествовало над громадной потерей, и теперь еще торжествует над нею, каждый миг и всегда, и времени для него больше не существует.

Естественно, я должен был жить вместе с нею, в ее квартире: мне нужно было расквитаться с ее дверью. Я бродил по ее громадному логову, бродил всюду, где угадывал ее присутствие. Я не следовал за ней как тень, ибо тень иногда исчезает, она была свободна в каждом своем шаге и делала все, что ей заблагорассудится, но свобода ее всегда пролегала через мою свободу, и если она на миг оставалась одна, то чувствовала мое присутствие еще сильнее, ибо знала, что я стану задавать ей об этой минуте бесконечные вопросы и обо всех других, которые она прожила без меня. Известно, что я говорю мало. Но бывали часы, когда говорить меня понуждала такая неудержимая сила, когда я чувствовал, что обязан обратить простейшие жизненные мелочи в такое количество ничего не значащих слов, что голос мой становился единственным пространством, какое я оставлял ей для жизни, и голос этот заставлял ее саму нарушить свое молчание, придавал ей какую-то убедительность, какую-то физическую плотность, которой бы иначе ей не хватало. Все это может показаться ребячеством. Неважно. В этом ребячестве была заложена такая сила, что оно сумело сохранить утраченную уже иллюзию и заставить быть со мною того, кого со мной уже не было. Мне кажется, что болтовня моя вбирала в себя всю серьезность одного-единственного слова: то был отзвук того «иди сюда», которое я сказал ей, и она пришла, и уже никогда не сможет меня покинуть.

Примерно через неделю после того дня один приятель вовлек меня в историю, о которой я рассказывать не стану, ибо она меня не касается. Скажу только, что он собирался драться на дуэли, если бы мне не удалось пробудить толику разума в его противнике, который не был со мной знаком, равно как и я с ним, а выяснить у него мне предстояло вещи глубоко личные. Дело это, которому общая неразбериха только добавляла безрассудства, отняло у меня почти целый день. Я ходил от одного к другому, передавал, и перевирал, слова, которые клялся повторить как можно точнее; ближе к вечеру я отправился к молодой женщине и вручил ей какие-то бумаги, а она дала мне взамен какие-то предметы. Во всех этих перипетиях, да еще в такой момент, мне виделась последняя ухмылка этого мира. Но приятель считал дело более чем серьезным, а я хорошо к нему относился.

Быть может, это было ошибкой,— впрочем, все эти обстоятельства и мои к ним пояснения для меня не более чем способ чуть подольше задержаться среди вещей, о которых можно рассказывать и которыми можно жить,— ошибка моя, и ошибка вопиющая, состояла в том, что я повел себя по законам этого мира. Я решил, что должен хранить тайну, и не сказал Н. об этом деле, заставившем меня провести вдали от нее целый день, ничего, кроме нескольких невнятных слов. Подчеркиваю, в моей

скромности не было ничего похвального. Моя неоткровенность означала только то, что после этого дня, отданного чести, как ее понимают в этом мире, я был еще насквозь пропитан жизнью и суждениями этого мира, а значит, изменил жизни и суждениям гораздо более важным. Что мне до этой чести, и даже до приятеля, и даже до его горя? Мое собственное горе громадно, и мир перед ним — ничто.

Не подумайте, что из этого последовали какие-то драматические решения. Драмы здесь не было в помине. На секунду во мне стало больше легкости, меньше правды, я слегка расслабился. Самое ужасное, что в те минуты я сознавал, какую безрассудную цену придется мне платить за этот миг расслабленности, я знал, что если сейчас же не превращусь вновь в человека, целиком поглощенного безудержным чувством, я рискую потерять и эту жизнь, и то, что находится по другую сторону этой жизни. Я отчетливо представлял себе, что меня ждет, и мне всего лишь нужно было преодолеть небольшую усталость, но именно усталостью и была подсказана эта идея, и, думая об этом, я становился все лживее и холоднее.

Часов в десять Натали сказала:

— Я звонила Х., я хочу, чтобы он сделал мне муляж моей головы и рук.

Какое-то смутное, пугающее предчувствие сразу охватило меня. «Что навело вас на эту мысль?» — «Визитка». Она показала мне визитную карточку одного скульптора, которая обычно лежала у меня в бумажнике вместе с ключом. «По-моему, вы не всегда с ним хорошо обходитесь, с моим бумажником».— «Почему?» В ее «почему» было столько забвения окружающих вещей, что все мои чувства вытеснила тоска. «Откажитесь от этой идеи, прошу вас». Она покачала головой. «Не могу»,— произнесла она печально. «Не можете? Почему?» Я весь устремился к ее ответу, но в глазах ее разлилась такая великая печаль, нечто столь неподвижное и холодное, что вопрос мой повис в воздухе между нами, и я так ясно почувствовал, что он никогда не достигнет ее, что мне захотелось его подхватить, поднести к ее лицу. Я должен был бы и вправду выйти из себя самого, отдать свою жизнь, чтобы ожили эти мои слова. Но я был слабым, каким же я был слабым, каким ничтожным и бессильным. Она молчала, и я вернулся в себя, быть может, я сам и говорил ей об Х., быть может, упоминал эту операцию,— это странная операция, когда ее делают на живых людях, иногда она опасна, ее результаты непредсказуемы, это операция, которая... Внезапно во мне вспыхнул гнев. «Если вы не желаете отвечать, я вообще перестану с вами разговаривать»,— крикнул я. Казалось, моя угроза остановилась перед нею. Она смотрела на меня, и ее взгляд был тяжелым, сострадательным и каким-то странно неподвижным. «Но ведь она смотрит на меня в упор»,— подумал я: обычно она предпочитала смотреть на меня, когда я этого не видел.

Я спросил ее так ласково, как только мог:

— Вы меня слышите?

— Да.

— Пожалуйста, откажитесь от вашего замысла.

Она взглянула на меня, и по ее глазам мне показалось, что она почти согласна.

— Скажите «да»,— и я ободряюще взял ее за руку.— Иначе я возьму и запру вас в комнате.

— В какой комнате?

— Здесь, дома.

Мгновение она вслушивалась в мои слова, потом спросила: «Вместе с вами?» Я кивнул. Я по-прежнему держал ее за руку, ее рука жила и наполняла меня надеждой. Наконец ей удалось заговорить самой:

— Какое слово вы сказали?

Я вопросительно вгляделся в ее лицо. Боже, произнес я нелепо про себя, напомни, что это за слово.

— Какое слово? — спросил я с легкой и многообещающей улыбкой.

Я чувствовал две вещи: то, что на ее лице нет ни малейшей улыбки, и что идея ее улыбки, тем не менее, витает где-то здесь.

— Только что,— прошептала она, по всей очевидности, мысленно возвращаясь к тому моменту, когда губы мои раскрылись, чтобы произнести его.

— Ну что ж,— начал я. И, вспомнив «в комнате», осекся: да, вероятно, это было то самое слово. Должно быть, замешательство отразилось на моем лице, ибо рука ее пожала мою руку так ободряюще, с такой убедительностью и таким пониманием, что я потерял хладнокровие. Мы смотрели друг на друга; сколько еще было во мне надежды! Что за коварная, скверная штука надежда. Мало-помалу взгляд ее снова стал непроницаемо гладким. Из-за ее слабого зрения я часто говорил ей о ее глазах, иногда они были пустыми, невыразительными, иногда вспыхивали каким-то жгучим огнем, в них виднелся его тревожный отблеск. «У вас болят глаза?» Вопреки всякому ожиданию, мой вопрос, казалось, потряс ее, она встала, провела обеими руками по волосам, как делала иногда в минуты сильного волнения. Она стояла почти вплотную, я хотел взять ее за руку, но она не обращала на меня ни малейшего внимания, она вдруг оказалась очень и очень далеко. Однако я заставил ее сесть. Медленно я положил свою руку поверх ее руки, прикосновение это было словно горькая память, словно идея, какая-то холодная, неумолимая правда, бороться с которой было бы мелко и пошло. В какой-то миг я увидел, как ее губы шевелятся, и почувствовал, что она говорит, но, в свою очередь, не делал ничего, чтобы слова эти достигли меня: я на них смотрел. Случайно я услышал слово «замысел».

— Вот оно, это слово,— сказала она.

Тогда я снова вспомнил о том, что она хотела сделать, но хоть и очнулся и опять внимательно слушал ее, признаться, больше это меня не интересовало — все это имело отношение к другому миру, и в любом случае было слишком поздно. Просто мое безразличие, как случается иногда, вернуло ее к жизни, и теперь она, видимо, тоже преодолев какой-то рубеж, шла первой.

— Это уже не замысел,— произнесла она робко.

Я прекрасно ее слышал, она говорила с совершенно той же интонацией, какая бывает у провинившегося ребенка. Я молчал, и она пыталась догадаться, понял я ее или нет, а если нет, то как найти не слишком серьезные слова, чтобы все мне объяснить. Она развела руками: я вспоминаю этот жест, и он кажется мне замечательно невинным,— а потом спросила тихим голосом:

— Я не должна была так делать?

Думаю, что именно злость — она остается, когда уходит все,— заставила меня пожать плечами, однако, быть может, это возвращалось ко мне страдание. Она выглядела настолько по-человечески, находилась так близко от меня — и ожидала чего-то вроде отпущения грехов за совершенный, безусловно не по своей вине, страшный поступок.

— Вероятно, так было нужно,— прошептал я.

Она ухватилась за мои слова:

— Ведь правда, нужно?

Казалось, мое одобрение и вправду отозвалось в ней, она словно ждала его, какая-то незримая ответственность, у которой от нее был только голос, ждала его в ней великим ожиданием, и теперь какая-то ослепительно гордая сила, уверенная в себе, счастливая, конечно, не моим согласием, которое ей было не нужно, но своей победой над жизнью, и еще тем, что я все правильно понял, моей безграничной преданностью,— сила эта завладела всем этим юным существом и сделала ее такой проницательной и властной, что и мысли мои, и те несколько слов, которые я произнес, покорились ее велениям.

— А теперь скажите,— произнесла она слегка охрипшим голосом,— ведь вы все знали с самого начала, правда?

— Да,— ответил я,— знал.

— И вы знаете, когда это произошло?

— Кажется, догадываюсь.

Но тон, которым я, должно быть, говорил, послушный и как будто

заранее на все согласный, похоже, не удовлетворял ее: она хотела торжествовать.

— Что ж, быть может, вы еще не все знаете,— воскликнула она почти вызывающе. И правда, в ее возбужденном ликовании была такая ясность, такой жгучий огонь горел в глубине ее глаз, такое величие, что и я, сквозь отчаяние свое, ощутил ту же непомерную гордость, то же безумство победы.

— Что именно? — спросил я и, в свою очередь, встал.

— Да, да, да! — кричала она.

— Что это случилось неделю назад?

Она с пугающей жадностью ловила слова, слетавшие с моих губ.

— А еще? — воскликнула она.

— А еще, что сегодня вы ходили к X. и забрали... это?

-- А еще?

— И что теперь это находится здесь, что вы это развернули и увидели, увидели прямо перед собой то, что будет жить в вечности, вашей вечности и моей! Да, знаю, знал с самого начала.

Я не могу сказать точно, достигли мои слова либо другие, подобные им, ее слуха или нет, и в каком смысле она, понуждаемая мною, поняла их,— не это главное, равно как не имело никакого значения, происходило ли в действительности все так, а не иначе. Утверждать я могу только то, что, оставляя в стороне даты, поскольку все это вполне могло относиться и ко времени более давнему, эти события кажутся мне правдоподобными. Но правда заключена не в них. Что до самих событий, то я могу вообразить, будто их не было вовсе. Но если бы не случились они, их место заняли бы другие и, в ответ на то всесильное утверждение, что неотделимо от меня, обрели бы тот же смысл, и история осталась бы той же. Может статься, Н., заговорив о своем «замысле», хотела всего лишь разорвать ревнивой рукой ту сеть внешних видимостей, какой была опутана наша жизнь. Вполне возможно, что, устав смотреть, как я упорно, с какой-то даже верой, играю роль «мирского» человека, она неожиданно напомнила мне этой историей, в чем правда моего положения, и указала мне мое место. Вполне возможно и то, что она сама лишь подчинилась таинственному приказанию, и исходило оно от меня, и произнес его голос, живущий во мне, голос, навеки благодарный и тоже ревнивый, голос чувства, бессильного исчезнуть. Кто может сказать: это случилось, потому что так повернулся ход событий? Это произошло, потому что в какой-то момент события превратились в обманчивую видимость и сложились так странно, что позволили правде завладеть ими? Сам я отнюдь не был горестным посланцем более сильной, чем я, мысли, не был ни игрушкой ее, ни жертвой, ибо мысль эта хоть и подчинила меня себе, но подчинила с моей же помощью, и в конечном счете всегда была мне под стать, я любил ее, любил только ее одну, и желал всего, что со мной случилось, и не смотрел ни на кого, кроме нее, где бы она ни была и где бы ни был я сам, в разлуке, в горе, в неотвратимости мертвых вещей и в необходимости живых, в усталости после работы, во всех тех лицах, что рождены моим любопытством, в моих лживых речах и обманчивых чувствах, в молчании и в ночи,— я отдавал ей всю свою силу, а она мне свою, и эта наша великая, слишком великая сила, против которой бессильно все, быть может, обрекает нас на безмерное горе, но если это и так, то горе это я беру на себя и радуюсь ему безмерно, а ей говорю, сегодня и всегда: «Иди сюда», и она всегда рядом со мной.

Жизнь при смерти

«Только смерть дает мне в руки то, чего я желаю достичь; только она заложена в словах как возможность их смысла. Не будь смерти, все провалилось бы в бездну абсурда и небытия...

...В смерти заключается возможность человека, его шанс, в ней для нас сохраняется

перспектива завершенности мира; смерть — величайшая надежда людей, их единственная надежда быть людьми...

Смерть ведет к бытию — в этом надежда и в этом цель человека, ибо само небытие помогает ему в созидании мира, в трудящемся и познающем человеке оно становится творцом мироздания. Смерть ведет к бытию — в этом внутренняя разорванность человека, корень его несчастной участи, ибо смерть приходит к бытию, переступая через человека, и через его же посредство на небытии зиждется смысл; мы постигаем мир, лишаясь существования, делая смерть *возможной,* оскверняя постигаемое нами смертельным небытием...»

Эти парадоксальные строки из большой философской статьи Мориса Бланшо «Литература и право на смерть», написанной в 1947 году, всего за год до повести «При смерти» (1948), могут служить лучшим комментарием к ней. Опираясь на размышления философов (Гегеля, Хайдеггера, Э. Левинаса) и на догадки писателей и поэтов (Гёльдерлина, Малларме, Кафки), Бланшо трактует смерть не как слепую, бессмысленно-разрушительную и бесчеловечную стихию распада — как раз напротив, смерть, начало небытия и отрицания, составляет главную творческую силу мира. Именно через действенное отрицание, «убиение» данной ему наличной действительности человек сообщает миру осмысленность и завершенность, поднимаясь вместе с ним до высшей ступени бытия. Неутомимым и бесстрашным испытанием небытия предстает у Бланшо и литература. Чтобы совершить творческий поступок, необходимо пережить (по крайней мере, в духовном опыте) «полную гибель всерьез», слово диалектически слитно с разрушением и саморазрушением. Потому-то слово дается так тяжело, так больно — как сказано в повести: «Не могу передать, какое горе охватывает человека, если он однажды заговорит». Зная философские убеждения Бланшо, можно правильно понять это «горе», распознать в нем не болезненный «клинический случай» персонажа-невротика (как это может показаться по внешним «симптомам»), а общезначимый экзистенциальный опыт творческой личности.

Морис Бланшо бесконечно далек от того изящного легкомыслия, блестящей поверхностности, которые нередко считаются неотъемлемыми чертами французской культуры. Даже по своему быту, образу жизни он противостоит всякой светской «общительности»: престарелый писатель (он родился в 1907 году) уже много лет живет в строгом уединении, никогда не появляется на людях, журналисты не могут ни взять у него интервью, ни даже просто сфотографировать; его адрес засекречен, и с внешним миром, вплоть до близких друзей, он общается обыкновенно лишь по переписке. Он отшельник и мудрец, глубоко трагичный мыслитель, озабоченный самыми тяжкими вопросами бытия,— и вместе с тем его философские эссе абсолютно рационалистичны, изысканно логичны; он прекрасно знает, что́ такое мистическое переживание,— но не связывает его с какой-либо определенной религией; аскетически отрешенный от злобы дня в своем художественном творчестве, он в то же время остро переживает все драматические перипетии современной истории. Держась наособицу в литературной борьбе, Бланшо в ранний период своего творчества оригинально и глубоко разрабатывал те же проблемы, которые пытались решить в 30—40-х годах французские экзистенциалисты, а в позднейших своих поисках во многом перекликался с опытами «нового» и «новейшего» романа. Он мастер интеллектуальной, философской прозы; в его небольших романах и повестях, мрачных по тематике, нередко эзотерически «темных», метафизические абстракции преображаются в сакральный дух художественного мифа.

Заглавие повести — «При смерти» (в оригинале «L'arrêt de mort») — сугубо двусмысленно. Обычно во французском языке это выражение означает «смертный приговор» — и в первой части повести в самом деле рассказывается о последних днях обреченной, неизлечимо больной молодой женщины. Но то же самое выражение можно прочесть и буквально, как «остановку смерти» — и действительно, неминуемая смерть оказывается здесь отсрочена, на время приостановлена духовным усилием любящего человека. Очень важно учитывать, что человек этот — не просто «живущий», но еще и *пишущий,* то есть духовное усилие, о котором идет речь, обусловлено не только любовной страстью, но и волей к творчеству. Другое дело, что творящее слово одновременно и смертоносно, о чем хорошо сказано в уже цитировавшейся выше статье Бланшо:

«Конечно, мой язык никого не убивает. И все же, когда я говорю «эта женщина», в моем языке возвещается и уже присутствует реальная смерть; мой язык хочет сказать, что вот этот человек, находящийся здесь, может быть отделен от себя самого, исторгнут из своего существования и присутствия и внезапно погружен в небытие... Мой язык никого не убивает. Но если бы эта женщина не могла в действительности умереть, если бы ей в жизни ежеминутно не грозила смерть, связанная и соединенная с нею сущностной связью,— тогда бы и я не смог осуществить то идеальное отрицание, то отсроченное убийство, каким является мой язык».

Итак, хотя смерть женщины, обозначенной инициалом Ж., и недолгая «остановка» этой смерти описаны в повести как реальные происшествия (да еще и помещены в редкий для прозы Бланшо конкретно-исторический контекст — в «смутные дни» Мюнхенского соглашения 1938 года, которое в конечном счете само стало эфемерной «задержкой» мировой военной катастрофы), на самом деле они разворачиваются в сфере слова и являют нам драму изреченного слова, которое есть «отсроченное убийство». Здесь еще одна причина того, что столь мучительно, столь затрудненно выговаривается в повести речь рассказчика: она отягощена не только своей, но и *чужой* смертью, ее подавляет ответственность за гибель близкого рассказчику человека. Ее нечистая совесть находит себе выражение в бесконечных недомолвках, глухих намеках, хаотических перескоках с одного эпизода на другой. Этот эффект особенно нарастает во второй части повести: мелькают все новые и новые трудноразличимые фигуры, сюжет рвется на слабо связанные между собой истории, в которых зато

с неотвязностью кошмара повторяется один и тот же фантазматический мотив — ночное вторжение в чужой сон (в первой части ему соответствовало вторжение рассказчика в *смертный* сон героини). Дурная бесконечность этих полуреальных видений не менее страшна, чем «житейский» трагизм физической смерти.

Повествующий о таком мире и сам не может претендовать на реальное существование. Даром что рассказчик кое в чем походит на автора — Мориса Бланшо (занимается литературой, интересуется Францем Кафкой); перед нами герой мифа, и даже не одного, а по меньшей мере двух сразу.

Первый из них достаточно очевиден — это, конечно, миф об Орфее, пытавшемся вывести из царства мертвых Эвридику; или, чтобы не ходить так далеко, французская сказка о спящей красавице, пробудившейся от смертного сна на призыв прекрасного принца. Но мы помним, что слово в повести не только воскрешает, но и убивает, и потому у рассказчика имеется также и вторая ипостась, глубже запрятанная в тексте, скрытая под пеленой умолчаний и обрывочных деталей. Умирающая Ж. недаром указывает на него со словами: «А теперь взгляните, вот и смерть». Остается неясным, какую роль он сыграл в последние минуты ее жизни,— то ли введенная им большая доза наркотика ускорила ее конец, то ли изменить уже все равно было ничего нельзя, разве что утишить страдания. Совсем загадочно звучит глухое упоминание рассказчика о каком-то «живом доказательстве» происшедшего, хранящемся-де в шкафу в его гостиничном номере и ужаснувшем случайно обнаружившую его другую женщину (кстати, кто это — может быть, Натали, одна из героинь второй части повести?). На память приходит другой французский сказочный сюжет, тоже на тему любви и смерти,— о Синей Бороде, прятавшем в потайном чулане останки своих жен... В самом деле, что это за «доказательство»? Быть может, просто слепок рук, снятый у Ж. незадолго до ее смерти (позднее аналогичный мотив окрашивает священным ужасом историю Натали)? А может быть — ведь в смутном мире повести все возможно,— это забальзамированное тело самой Ж. (о такой затее тоже было глухо, между прочим сказано в первой части)? В любом случае рассказчик оказывается носителем злой магической силы — живым мертвецом, несущим гибель тем, кого любит; он «останавливает», отсрочивает вынесенный им «смертный приговор», но он же в итоге и приводит его в исполнение. В последних строках повести, опущенных при ее позднейшем переиздании, он прямо характеризует себя наподобие какого-то Мельмота-Скитальца, который тщетно надеется передать кому-нибудь другому свое смертоносное бессмертие: «Тот, кто захотел бы стереть все это в моей душе в обмен на кончину, которой я напрасно ищу, стал бы, в свою очередь, отправной точкой моей собственной истории и оказался бы в моей власти».

Впрочем, эти строки писатель и впрямь мог исключить без особого ущерба для своего произведения. Они вносили в повесть излишнюю ясность и завершенность, в то время как мифологическая бездна, разверзающаяся здесь среди «реалистических» парижских декораций, не должна в принципе иметь никакого, даже легендарного, «дна». В свое время Жан-Поль Сартр писал, что в прозе Бланшо «слова тщательно подобраны так, чтобы взаимно уничтожать друг друга; это напоминает сложные алгебраические выкладки, в результате которых должен получиться нуль». Такая мысль верна лишь отчасти. Бланшо действительно добивается «нулевого» *смыслового* итога — его повесть вряд ли возможно читать как «притчу», вынося из нее какое-то обобщенно-символическое содержание. Смысл здесь словно растворяется и утекает в таинственную черную дыру — но это все же не значит, что от чтения прозы Бланшо вообще ничего не остается. Остается нечто лежащее по ту сторону конкретных смыслов — чувство трагизма бытия (столь напоминающее творчество Кафки, которого Бланшо высоко ценит), чувство метафизической пустоты, скрытой в словах человека, «решившегося заговорить»; остается ясное осознание того, что человек обречен и вместе обязан уметь жить «при смерти» — на краю небытия, памятуя о его близости. Напоминать об этом — пожалуй, и есть главная задача, достойная серьезной литературы.

С. ЗЕНКИН

Литературное наследие

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

Перевод и вступление А. ГЕЛЕСКУЛА

В поисках утраченного времени

«Я слишком поспешил или опоздал родиться»,— говорил Верлен, и эта довольно расхожая фраза звучит у него с убедительной искренностью. Действительно, бесхитростный и необузданный Верлен легко представим — даже внешне, не говоря уж о его путаной судьбе — во времена Вийона или Челлини. Еще легче вообразить его в таборной пестроте Монмартра времен Модильяни — отверженные художники и сами жили «по Верлену», словно копируя его судьбу. Время, увы, не выбирают, а с тем, которое выпало Верлену, он не мог ужиться — и не мог настолько, что его преследовали мысли о самоубийстве. Быть может, они-то и толкали пить и бродяжничать «в поисках утраченного времени», поскольку навязанное Верлен не считал своим и был не рад ни ему, ни себе.

В самом начале семидесятых на молодого поэта обрушилось все разом — поражение Франции и разгром Коммуны, первая любовь и первые запои, рождение сына и распад семьи. О душевной раздерганности и смятении говорит одно то, что с появлением в Париже версальцев Верлен, не бог весть какой коммунар, бросил на произвол судьбы беременную жену и спрятался у друзей, а потом бежал из Парижа. Встреча с Артюром Рембо, который еще подростком пристрастился в годы войны к бродяжничеству, побудила Верлена окончательно сменить семейный быт на цыганский. Из Парижа, осквернённого бойней, их гнало отвращение и тоска по вольной жизни где-нибудь на французском севере, откуда оба были родом. Первая попытка завершилась быстро: за дебош в привокзальном буфете приятелей сняли с поезда и под конвоем вернули в Париж. На другой день они отбыли в Арденны, на родину Рембо, и, подзаняв денег, пересекли бельгийскую границу. Началась беспорядочная бродячая жизнь, блуждание по бельгийским и британским дорогам. Жили на случайные заработки (большей частью уроки французского — и ученикам можно позавидовать!). Заработанное пропивалось, быстро и бурно, поскольку характерами они стоили друг друга. Существование становилось все химеричней, и то один, то другой делали попытки вырваться из этого заколдованного круга. Жена, которую Верлен покаянно упросил приехать, отважно предложила отправиться вместе на край света, в Новую Каледонию, где отбывали ссылку друзья-коммунары и где все можно было начать сначала. Верлен радостно согласился, но уже по дороге на вокзал, к парижскому поезду, вдруг пошел на попятную. И быть может, не просто по слабости характера.

Болящий дух врачует песнопенье. Верлен был пленником своего дара — и, чтобы музыка длилась, инстинктивно боялся выздоровления. Никогда ему так хорошо и вольно не пелось, как в эту угарную пору странствий, тоски и свободы. Его неприкаянная душа была странным инструментом, который тем чище и тоньше звучал, чем сильней был расстроен.

Развязка между тем приближалась. Тяжело проболев зиму, Верлен встретил 1973 год подавленно, в полном упадке духа и мыслях о самоубийстве. Он боялся одиночества, и решение Рембо вернуться домой стало последней каплей; все разрешилось неожиданно и абсурдно. 10 июля Верлен обзавелся револьвером

и на вопрос друга: «Зачем?» — раздраженно бросил: «Для себя, для тебя и для всех остальных». В тот же день он спьяну стрелял в Рембо; пуля оцарапала грудь, и впавший в отчаянье Верлен отвел его в госпиталь на перевязку и проводил на вокзал. Но там к отчаянью снова примешалась ярость, и перепуганный Рембо бросился под защиту полицейских. Для Верлена началась полоса жизни, которую сам он обозначил кратко — «Мои тюрьмы». Рембо ужаснулся происшедшему, но дело было сделано, и пока один, вернувшись в родные Арденны, в заброшенном амбаре писал «Время в аду», другой обновлял арестантскую робу.

Первые три с лишним месяца Верлен провел в брюссельской следственной тюрьме. За это время был послан запрос в Париж, не причастен ли задержанный к делам Коммуны,— красноречивая судейская деталь; причастность вообще-то имела место, но ответ, к счастью, гласил: «Сведений не обнаружено». Затем был суд и приговор — два года тюрьмы. И за эти же три месяца Верлен написал девятнадцать стихотворений, часть которых — вершина его творчества. Душевный гнет не помешал музыке. Переведенный в обычную тюрьму, Верлен помимо арестантских работ успевал многое — прочел в подлиннике Шекспира, переводил Диккенса, освежил в памяти подзабытый испанский, а главное — писал стихи. И, что самое удивительное, старался стать добрым католиком.

Удар не сломил его творческую волю, но был жестоким. Тюрьма означала для него не просто лишение свободы, но крах и переоценку всего. Любимый друг, неукротимый бунтарь Рембо сдал его полиции. Жена подала на развод; Верлен с горя даже послал отчаянное письмо Виктору Гюго в надежде, что семидесятилетний патриарх вмешается и отговорит молодую женщину, которой не было и двадцати. При этом Верлен не обманывался в собственной виновности — для него настала та беспощадная минута, когда он, кажется, мог бы воскликнуть, подобно Акутагаве: «У меня нет совести, у меня одни нервы». Верлен, как и его стихи, жил свободой и ради нее поступался многим; теперь, похоже, он по-иному взглянул на свободу вообще и свободу воли в особенности. Освобождаясь от «буржуазной грязи», он унес в легких самое ядовитое ее испарение — произвол, и сколько бы ни бродяжил, земля под ногами неизменно оборачивалась топью. Стихи той поры пронизывает тоскливое чувство, которое много позже сформулировал Франсуа Мориак: «Не бывает свободы в болоте».

Весной 1874 года начальник тюрьмы в Монсе передал Верлену решение суда о расторжении брака. Через пару часов заключенный позвал священника и попросил у него катехизис; он читал его всю ночь, а наутро объявил о своем обращении, исповедался и причастился. Верлен, несомненно, был религиозной натурой, но с того дня, когда его крестили, вряд ли заглядывал в церковь — и теперь он говорил именно об «обращении». Он почувствовал себя окончательно покинутым людьми и обратился к последнему пристанищу одиноких и обездоленных. Он написал об этом книгу стихов, самую большую свою книгу, назвав ее «Мудрость», и трудно сказать, чего больше в его мудрости — экзальтации или отчаяния. Проповедники учили: «Мы должны найти в себе мужество броситься в пропасть — и нас подхватят милосердные руки Господни». Видимо, Верлен так и поступил, и недаром таинственные руки не раз возникают в его стихах. Руки подхватили его — и не удержали.

Вскоре он снова в тюрьме, на сей раз отечественной, и снова за дело. При первом освобождении начальник тюрьмы в Монсе дал ему любопытную характеристику: «Характер — слабый. Исправление — сомнительно»,— и оказался недурным биографом.

За свои слабости и сумасбродства Верлен заплатил дорого. Из последних десяти лет его жизни треть приходится на больничные койки. 7 января 1896 года поэт, только что вышедший из больницы и уже жестоко простуженный, потерял сознание, а у его подруги не хватило сил поднять обмякшее тело и перенести на кровать. Ночь он пролежал на каменном полу мансарды и на другой день умер от воспаления легких, не увидев весны, которую так любил.

Наверно, этот чисто биографический комментарий к стихам перегружен подробностями, но в разговоре о Верлене они необходимы и, быть может, уместней, чем рассуждения о самих стихах. И существенно, конечно, не то, что он не раз находился под судом. Жизнь Верлена и без того была трудной судебной тяжбой с собой и миром — тем, по его словам, «глумливым миром, из которого окончательно изгнан человек». Эта изнурительная тяжба оставила в судьбе поэта горестные отметины, а во французской поэзии — самые проникновенные ее страницы.

Катрен

Неимоверность нашей яви
Смешна, бесстыдна и глупа,
Но так безрадостна, что вправе
Смеяться только черепа.

* * *

Надежда светится соломинкой в закуте.
Чем напугал тебя хмельной от солнца шмель?
Для пыльного луча всегда найдется щель.
О чем печалишься, душа на перепутье?

Не вешай голову. В запасе ни ломтя,
Но вот кувшин воды. Глотни. Вздремни с дороги.
Я убаюкаю притихшие тревоги,
И ты откликнешься, как сонное дитя.

Бьет полдень. Только бы оставили в покое!
Как гулки женские шаги для сироты,
Как долго слышат их бездомные изгои!

Бьет полдень. Некуда бежать от духоты.
Надежда светится осколком под ногою.
О, помянут ли нас осенние цветы!

Под гитару

Заводит бедный нищеброд:
«Я Пьер, мой сударь, а не Клод.
Слыву отпетым, как любой,
Кто с малых лет дурен собой.
Одну любил я на веку,
И мне казалось, дураку,
Что до того она мила
(Казалась — значит, и была)!
Я рад ей был и сыну рад
(По слухам, жив он, прокурат).
Чем обернулась пастораль,
Не то что петь, а плюнуть жаль.
Вдруг эта дурья голова
Сбежала, прихватив сперва
Те сбережения семьи,
Что на три четверти мои.
Назло, врасплох, исподтишка!
Добро бы завела дружка,
Не по любви, так хоть со зла!
(Потом, по слухам, завела.)
Ну как тут быть и что верней —
Убить, молиться ли о ней?»

И помолился б, и всплакнул,
Да дьявол под руку толкнул.

Новое наваждение

Золотоцвет — как женский смех,
И двор желтей,
Чем лица тех,
Кто дрожь костей
Превозмогает по утрам
Из года в год
И водит там
Свой хоровод.

Кружи, не помнящий родства,
В чужой клети
И жернова
Судьбы крути,
Мели, размалывай в муку
По мере сил
Любовь, тоску
И все, чем жил.

Опорки шаркают гуськом
Под перестук,
В гортани ком,
В зубах чубук,
И ни словца — не то в подвал
И под замок.
Зной доконал
И жар допек.

Я втянут в эту кутерьму,
Парад шутов,
И ко всему
Давно готов.
Ты прав, закон, но почему
На разный лад
Ты мстишь тому,
Кто сам не рад?

Шагай, бродяжья голытьба
И цвет ворья,
Моя судьба,
Моя семья,
Шагай по кругу, молодцы,
И будем, друг,
Как мудрецы,
Ценить досуг.

Июль 1873, брюссельская тюрьма [1]

---

[1] Верлен вспоминал: «Раз в день, поутру, в мощеный двор, украшенный маленьким «цветником» посередине, сплошь в желтых ноготках и золотоцветах, спускались арестанты с более или менее замызганными ведерками, каковые они должны были выплеснуть в указанном месте и ополоснуть, прежде чем начать, под заботливым оком надзирателя, свою прогулку... Я написал об этом стихи». («Мои тюрьмы», VI.)

Первоначально стихотворение называлось «Арестантская прогулка». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

* * *

Такое солнце за стеной,
Так небо сине!
Притихший ветер за стеной
Вздохнул в осине.

Всплакнули звоны в синеве
И отзвучали.
Заводит птица в синеве
Свои печали.

О боже, как покойна жизнь
И мир бескраен!
Манит и дышит эта жизнь
Теплом окраин.

— Глядишь и слепнешь ты от слез,
А кто виною?
Что сделал ты, слепой от слез,
С твоей весною?

Август 1873, брюссельская тюрьма

Пакостник

В окне осклабясь черепом безглазым,
Обглоданным луной,
Все прошлое мое, вся скверна разом,
Смеется надо мной.

Заводит стариковской фистулою,
Гитару обхватив,
Вся скверна разом, все мое былое
Свой скабрезный мотив.

Зеленым, как у висельника, пальцам
Откликнется струна,
И спляшет с издевательским развальцем
Игривый старина.

«Довольно, старый шут, мне не до смеха!
Пошел отсюда вон!»
А он на это: «Слезы не помеха!
Не так уж я смешон.

Тебя, слюнтяя, тешил я на славу,
Не требуя похвал,
А уж по нраву или не по нраву —
На это я плевал!»

Сентябрь 1873, брюссельская тюрьма

Круговорот

Totus in maligno positus [1]

Кошачий гам, возня мышей.
Крест на амвоне [2].
Свистки и крики сторожей,
Как шум погони.
Воспоминанье — как сверло,
И все, что было,— не прошло.

Вечерний звон! (Проник во тьму,
В такие норы?)
И сердце тянется к нему,
Ища опоры.
И сердце верит без труда:
Навек — не значит навсегда.

Как тяжкий стон, как темный бред
Стена сырая,
Где длится эхо стольких бед,
Не замирая!
Людской загон, глухой отсек,
И что прошло — прошло навек.

Умрешь, душа моя, в ночи,
И на прощанье
Ни друга рядом, ни свечи,
Ни завещанья.
Для нас, ушедших без следа,
Навеки — значит никогда!

Октябрь 1873, тюрьма в Монсе

* * *

Меня любовью ранил ты, Господь,
И все еще трепещет эта рана,
Меня любовью ранил ты, Господь.

Ты гневом опалил меня, Господь.
И все не утихает гул ожога,
Ты гневом опалил меня, Господь.

Господь мой, я отчаялся терпеть —
И хлынуло в меня твое величье,
Господь мой, я отчаялся терпеть.

С моей душой смешай свое вино
И замеси свой хлеб из этой плоти,
С моей душой смешай свое вино.

Вот тело, недостойное страдать,
Вот кровь моя, которой я не пролил,
Вот тело, недостойное страдать.

---

[1] Всяк в беде *(лат.)*.

[2] Верлен вспоминал: «В Монсе часовня была необычной: в отличие от большинства тюрем, алтарь с его атрибутами располагался посреди узилища, окруженный стойлами, предназначенными для «прихожан», но зато на высоком помосте и под опекой часовых, наделенных добротными мундирами и должным почтением к Закону Божьему». («Мои тюрьмы», XI.)

Первоначально стихотворение называлось «Тюремная канитель».

Вот то лицо, что стыдно поднимать,
Подножье для стопы твоей воздушной,
Вот то лицо, что стыдно поднимать.

Вот руки, избегавшие труда,
На раскаленных угольях алтарных,
Вот руки, избегавшие труда.

Вот сердце, не принесшее добра,
Для крестных мук распахнутое настежь,
Вот сердце, не принесшее добра.

Вот ноги, не нашедшие пути,
Послушные отеческому зову,
Вот ноги, не нашедшие пути.

Вот голос мой, неверный и глухой,
Набухший покаянными слезами,
Вот голос мой, неверный и глухой.

Вот уголья моих заблудших глаз,
Угасших от молитвенного плача,
Вот уголья моих заблудших глаз.

Господь мой, милосердый и благой,
Всю черную мою неблагодарность,
Господь мой, милосердый и благой,

Господь мой, Бог возмездья и суда,
Весь груз моей вины неискупимой,
Господь мой, Бог возмездья и суда,

Бог радости, Бог мира и добра,
Всю меру слепоты моей и страха,
Бог радости, Бог мира и добра,

Ты знаешь сам, ты знаешь обо всем,
И что беднее всех я, знаешь тоже,
Ты знаешь сам, ты знаешь обо всем,
Но все, чем жив, тебе вручаю, Боже.

Август 1874, тюрьма в Монсе

* * *

Огни приугасли, и звон одинок и сир,
Вокруг аналоя плакучих свечей дрожанье,
Псалмы по усопшим читает суровый клир,
И вторят ему поникшие прихожане.

И траурный звон, баюкая темный дол,
От паперти к паперти бродит, как бедный странник,
По всей глухомани притихших полей и сел
Скитаясь и плача в осенних потемках ранних.

И каждому грустно, и каждый давно привык
Ко сну отходить под гул поминальной меди,
И смутной печалью вторгаются в сон живых
На ближнем погосте нашедшие мир соседи.

Срифмованное наспех

С иглой твоей в ладу скрипение пера,
Молчанье — золото и медью нам заплатит.
Приняться за труды давно бы нам пора,
Мы друг о друге всласть поплакали — и хватит.

Смерть и страдание, вселяющие страх,
Нам не в диковину, и нас не бьет по нервам
Докучный маятник в дешевых номерах,
Отмеривая срок тому, кто канет первым.

Какая разница? Кому какой ни мерь,
Нам не увидеться ни здесь, ни за могилой.
Что стоят наши дни и маятники, Смерть?
А жизнь? Да ведь не нам считать ее унылой!

Весеннее

Бывают дни — и ждут их неспроста! —
Когда ты легче птичьего крыла
И верится, что жизнь не прожита
И, как душа гуляки, весела.

Все памятно, а вспомнить мудрено.
Все наяву, а кажется, что сон.
Не то летишь, не то идешь на дно,
Бог весть в кого, но по уши влюблен.

Уверенный в себе как никогда,
Готов ты доверяться всем подряд,
А встретишься с обманом — не беда,
Иной раз и ему бываешь рад.

Отрадно жить и тянет умереть,
Не потому, что жить так нелегко.
И сердце, не отвыкшее гореть,
Мало тебе и слишком велико.

И что ж, уйдет и это в синеву?
Зачем тогда смиряться и страдать?
Не приведи Господь, пока живу,
Навек утратить эту благодать!

1893

ЭЖЕН ИОНЕСКО

Белое и черное

Перевод Ю. СТЕФАНОВА

Я снова занялся рисунком благодаря Франческо Ларезе и Юргу Жанетту — моим друзьям из Сен-Галла. В свое время по просьбе великого издателя Скира я проиллюстрировал свое эссе «Открытия», вышедшее затем в серии «Пути творчества». Речь идет о цветных рисунках, фигуративных и абстрактных, или таких, где на одном листе сочеталось то и другое. Это были довольно наивные рисунки, но я с удивлением узнал, что многие из них пришлись по вкусу специалистам и просвещенным ценителям искусства. Потом мне посчастливилось выставить оригиналы в женевской галерее Йола. С тех пор я не брался за карандаш, кисть или фломастер. Вспоминаю об этом с сожалением, ведь перед этим я рисовал два года подряд, потому что не мог больше писать, и мне пришлось выражать себя каким-то другим образом. Вот я и рисовал (плохо) целых два года, день и ночь, извел сотни листов бумаги. А потом как отрезало. Но у меня чесались руки снова взяться за дело.

Досадно, конечно, что пришлось самому, безо всякой посторонней помощи, открывать законы композиции, перспективы, сочетания или противопоставления тонов, если я пробовал писать красками. Но я не был и абсолютным новичком в этой области. Прочел немало эссе о живописи и прочих искусствоведческих сочинений, причем, надо признаться, они всегда казались мне чересчур произвольными или даже ошибочными. В свое время мне доводилось общаться с художниками, писать предисловия к выставочным каталогам, к монографиям о живописцах и скульпторах. Кое-какие уроки рисования мне преподали во Франции в начальной школе. В бухарестском лицее у нас тоже были занятия рисунком — раз в неделю. Преподаватель, ни слова не говоря, водружал на стул голову Юпитера или, допустим, Аполлона, а мы должны были весь этот час ее срисовывать; впрочем, я в это время читал Достоевского. В конце четверти мы сдавали работу, выполненную за эти три месяца, и учитель выводил нам оценки. Меня в самый последний миг выручал сосед по парте: делал рисунок, который мне оставалось только подписать и представить учителю. Как-то раз мы с ним поссорились, уж не помню почему, и он отказался мне помочь; дело было перед самой сдачей работ. А я за три месяца не прикоснулся к бумаге. Ну что мне оставалось делать? Взял чистый лист, карандаш, вывел весьма приблизительную окружность, парой точек обозначил на ней глаза, вертикальной линией — нос, а горизонтальной — рот. «Что бы это все могло значить?» — осведомился у меня удивленный и раздосадованный учитель. «Это авангардистское произведение»,— ответил я не моргнув глазом. «Вон отсюда!» — взорвался он, широким жестом указывая на дверь. Я получил кол по рисунку и выбежал во двор лицея, радуясь тому, что впереди у меня целый свободный час. Позже я узнал, что наш немногословный преподаватель в личной жизни был весьма красноречив. Художник-неудачник, да к тому же и «реакционер», он пылал ненавистью к новым направлениям в искусстве. Не упускал случая, чтобы разразиться гневной тирадой против «модернизма», который, как ему казалось, проник даже в школу и грозил сбить с пути истинного самых прилежных учеников.

Прошло десять лет, и я забыл свои опыты 68-го года. Мне пришлось заново осваивать все то, чему я тогда научился, и кто бы знал, каких трудов это мне стоило! Я и до сих пор все переучиваюсь, ведь начинал-то я фактически с нуля. Все, что мне

© Éditions Erker, Franz Larese et Jürg Janett, 1981.

дали преподаватели и друзья-художники, забылось. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Я лично склонен думать, что лучше ничего не вспоминать. Что надо либо по-настоящему овладеть законами рисунка и цвета, либо оставаться полным невеждой. То, что я в свое время был учителем литературы и специалистом по театру, никак не сказалось в моей первой пьесе, написанной тридцать один год назад. Мне казалось, что я заново изобретаю какой-то театр или антитеатр. Не следует забывать лишь того, чему сам научился.

Когда я снова взялся рисовать, делать первые наброски, не представленные в той серии литографий, что у вас перед глазами, то обнаружилось: в них налицо какие-то заимствования из чужих работ. Взять, например, черный лист с белым пятном в левом верхнем углу и двумя белыми штрихами в правом (чуть ниже там еще два таких же штриха), или белый лист с черным сегментом внизу справа — все эти композиции в том или ином виде наверняка были уже использованы до меня. Я не нахожу, что все это так уж плохо, но, разумеется, и ничего особенно оригинального тут нет. Противопоставление, конфликт черного и белого — не бог весть какая находка. Зато я по ходу дела усвоил, что в конфронтации белого и черного белое чаще всего берет верх, хотя крохотный черный мазок где-нибудь в уголке порой оказывается убедительней, активней белого поля. Резкость и сила черного цвета непостижимы. Если я нарисую посередине черного листа синий круг или квадрат, они попросту потонут в черной пучине. Она буквально поглотит их, изгложет, искалечит, убьет. Оранжевый цвет более стоек. Нарисовав черную голову, я должен оживить ее красными глазами, причем красный цвет здесь нужен яростный, насыщенный — именно такой подходит к черному, удерживает его напор, но какой ценой? Красное попадает в рабство к черному.

Беру еще один лист, белый, черчу на нем безликие фигуры, вернее, произвольные, ни на что не похожие формы, добавляю к ним несколько толстых стрел с острыми концами, пририсовываю в верхнем углу нечто черное, смахивающее на сидящего человека. Эта скрюченная клякса соседствует с каким-то пронзенным стрелами чудищем с черным штрихом вместо хвоста и туловом в виде прямоугольника; головы нет, но воображение само дорисовывает ее. Чудище сплошь утыкано стрелами, самая длинная пущена в него снизу; вверху слева — черный круг, перечеркнутый толстой черной линией. В итоге получается композиция, проникнутая восходящим порывом, сложенная из всех этих заостренных, колючих фигурок, смутно похожих на людей. Они тоже как будто летят — и вот эта штука, напоминающая добродушную толстуху, и вон тот человечек или чертенок в левом углу. Каким образом мне удалось добиться этого впечатления полета? Все дело, как пояснил один приятель-художник, в решительности штриха. (Я встаю из-за стола, закуриваю, еще раз вглядываюсь в искалеченный синий контур. Как бы его поддержать, защитить? Пририсовать перед ним щит, но какого цвета? Серого или белого? Настоящий художник запросто решил бы эту задачу.)

Замечаю и вот еще что: тот же самый порыв черных и белых форм можно было бы изобразить как-то повеселей, пооживленней. Рисую белые круги, корявый треугольник, потом еще два круга; но побольше размером — все это расположено наискосок, от правого нижнего угла к левому верхнему. Пара черных галочек в центре белого листа, окруженных жирными черными точками. Внизу посередине — белый треугольник с двумя черными штрихами по бокам, а в самом верху, тоже посередине,— такая же зеленая фигура острием вниз. Все это скрещивается, переплетается, тянется ввысь, и зеленый цвет находит в себе силы выстоять, не умереть. Он превращается в контрапункт всей композиции. С психологической точки зрения он выражает непреклонную надежду. Все выше, выше! Как мне удалось устоять перед этим порывом форм? Дело, наверное, в моем темпераменте. У другого вся композиция наверняка повисла бы в воздухе, а то и соскользнула бы вниз; вышло бы не лучше и не хуже, а просто более статично, чересчур уравновешенно. Весь порыв улетучился бы. А ведь он и есть выражение темперамента. В общем, я изобразил всего-навсего скрещивающиеся диагонали, фигуры, направленные острием вверх, да зеленый треугольник острием вниз, похожий на воздушный шар, но все вместе создает впечатление полета. Переворачиваю лист вверх ногами и замечаю, что и теперь это впечатление не пропадает. На другом рисунке, который так и не был литографирован, посередине изображено большое белое колесо, обведенное жирной черной каймой. От него во все стороны разлетаются стрелы и трезубцы. Внизу целый ряд таких же трезубцев и стрел, они словно спешат на помощь первым.

Из центра круга или колеса возникают еще две фигуры, смутно напоминающие животных. Одни туловища, без голов. Возносясь все выше, они заостряются. Смотрю на это колесо, и мне кажется, что оно и впрямь крутится. Этот рисунок нельзя перевернуть вверх ногами, тогда он рассыплется. Ставлю свои инициалы там, где надо, чтобы никто не перепутал верх с низом. И даю рисунку название «Чертово колесо».

А вот предыдущая работа из того же цикла: в правом верхнем углу готовится вторжение черного. На этом листе круг ощетинился тремя или четырьмя шипами, обращенными вверх. Но не они, или не только они, придают рисунку некоторую агрессивность. Для этого хватило бы и четвертинки окружности. Когда я рисую белый круг и треть круга, они, как говорилось выше, сопротивляются; даже если я утыкаю их, скажем, зелеными остриями, они не станут выражением агрессивности. От них все равно будет веять покоем и ясностью. Я, должно быть, разжевываю общеизвестные факты, повторяю азбучные истины. И тем не менее они не перестают быть истинами — я чувствую это не только психологически, но и физически. Черное так и рвется в сердцевину белого. А белое пребывает в покое, оно статично. Можно поворачивать лист так и этак, но белое продолжает противостоять черному, отталкивать его от себя. А вот если бы я нарисовал красный полукруг, он тут же начал бы подыгрывать черному, рискуя при этом угодить в ловушку. Если взять совершенно черный лист и усеять его красными, зелеными, оранжевыми звездами или чем-нибудь еще, композиция может выйти на удивление живой. Черный фон смотрится в таких случаях как небо, как небесная лазурь. А между тем художники твердят мне, что у черного и белого одно и то же назначение, что черное равно белому, и наоборот. Глядя на все это со своей колокольни, я не совсем понимаю, что они этим хотят сказать. И в то же время не считаю, будто черное и белое уравновешивают, нейтрализуют друг друга.

* * *

Вверху в левом углу — подобие парящего креста.

* * *

Печальный, серый, одинокий крест в пустыне. В белой пустыне. Я хотел просто-напросто нарисовать крест, ничего не вкладывая в это изображение. Но почему же он заряжен такими эмоциями? Почему так печален?

И тут мне в голову приходит кощунственная мысль: а не тоскует ли он по распятому?

* * *

Чтобы оранжевое могло противостоять грубому натиску черного, я должен дать ему на листе побольше места, а то и оказать прямую поддержку введением зеленого.

В этом случае белое так или иначе нейтрализуется, вовлекается в сферу действия черного, уступая ему собственную территорию.

Но ведь рисунок еще не завершен. Подождем, посмотрим.

* * *

Раз на раз не приходится. Бывает, что черное приходит в какое-то замешательство. Можно подумать, что оно готово обратиться против себя самого, хотя могло бы поглотить все пространство листа. Так в чем же дело? Черное вольно поступать как хочет. Я ему не помеха. И все-таки подчас оно само себя истребляет.

А всему виной белое. Сперва оно кажется чуть сероватым, но проходит мгновение — и его озаряет ослепительная вспышка, оно так и сияет, так и лучится.

Вот к чему приводит минутное замешательство черного.

* * *

Если бы я мог делать то, что хочу! Ах, чего бы я только не сделал! Выхожу из мастерской — и меня тут же охватывают другие идеи: я вижу перед собой форму,

состоящую из двух черных пятен разного оттенка; то, что ближе к серому, окружено тем, что выглядит густо-черным. По соседству с мощной и вязкой чернотой серое обретает неожиданную глубину.

Возвращаюсь в гостиницу, размышляя о том, что именно я мог бы выразить в таком рисунке, как отразился бы в нем я сам, думаю о красках, которые бы мне пригодились,— их должно быть совсем немного. Чуть раньше, еще будучи в мастерской, я задумался о коричневом. Сочетается ли оно с оранжевым? С зеленым они в ладах — это само собой разумеется. И что оно значит, это коричневое? Жаль, что через несколько дней надо уезжать, чтобы заняться печатанием черно-белых литографий. Поэтому опыты с коричневым придется отложить. Сколько можно сказать с помощью рисунка и цвета! Не меньше, чем я сказал за четверть века в своих пьесах, сказках, в своем романе, в своих эссе. Даже о политике. По крайней мере то, что я пытался выразить в политических и философских работах. Для этого совсем необязательно прибегать к анекдоту или карикатуре, как это принято,— есть и другие пути. Мне кажется, что передо мною открываются новые, невиданные средства выражения; жаль только, что я не совсем овладел ими. И о политике, и об идеологии, и о религии можно говорить без слов — в нефигуративном, абстрактном плане. Хотя и фигуративность не исключается. Досадно, что я не умею рисовать женских лиц. Только мужские, да и то какие-то монструозные. Слишком много мужского в моих рисунках, какой-то бес в них сидит. Как выразить красоту вне форм?

Священное заключено в линиях, контурах, объемах, в создании новых форм. Нужно изобретать новые формы — ведь изобретаю же я новые слова.

Куда легче передать непосредственную пульсацию жизни. Пусть рука думает за вас: когда вы сами ни о чем не думаете, формы и выражения возникают сами собой. Чтобы забыть то, о чем думаешь, нужно либо очень хорошо уметь рисовать, либо не уметь вовсе. Вечная погоня: за идеями — в литературе, за формами — в рисунке.

Нужно делать то, что хочешь, или, по крайней мере, стремиться к этому. Когда я берусь за что-нибудь, выходит совсем не то, чего ожидал. Иногда получается лучше, выигрышней; главное, чтобы был ритм. Ритм — это все. Именно поэтому, твержу я себе, нужно давать волю руке.

Бывают рисунки, похожие на проповеди, я запрещаю себе ими соблазняться. Какое счастье, повторяю я, что мне не пришлось ухлопать десятки лет на ученичество. Да и драматургии я тоже не учился, знал только, что в театре есть что-то от литературы. Но не противоречу ли я сам себе, не впадаю ли в излишнюю фигуральность? Не делаю ли из себя этакую ангельскую фигуру? Во всяком случае, реалистической ее не назовешь. Меня тянет на овальные формы. Сейчас я рисую круги, треугольники, прямоугольники, конусы, а иногда — пирамиды или что-то, смахивающее на трапеции или цилиндры. Почему же не овалы? Ведь все эти штрихи и трезубцы так агрессивны. А круг сам по себе слишком тяжеловесен. Дня два назад я нарисовал в центре белого листа большой серый круг. И до сих пор мучаюсь вопросом: что бы он мог значить? Сам не знаю, нравится ли он мне или нет. Меня тянет к овалу. Лик Богоматери представляется мне кротким овалом. Когда-нибудь, если получится, я нарисую Черную Богоматерь. Пусть и сам Иисус, и Мария Магдалина, и Матерь Божия были белыми — это ничего не значит. Все, что я до сих пор сказал, было попыткой истолкования рисунков, которых вы не увидите в этой книге. Быть может, они пригодятся мне для других литографий, где будет не так уж много всех этих прямоугольных фигур с квадратными глазами, с разинутыми ртами, всех этих трезубцев и треугольников острием вверх — уж больно много в них агрессивного, бесовского.

Возвращаюсь в мастерскую, к стоящему у окна рабочему столу, чтобы снова склониться над литографским камнем. Помощник подает мне синий халат. Продолжая думать об овале, набрасываю совсем другие формы. Но идея овала не идет из головы. Внезапно она становится конкретной. Я вспоминаю ту растерянную, отчаявшуюся женщину, которую видел в последний раз года три-четыре назад. Она была бы красавицей, если б не сеть мелких морщинок на лице. Такая молодая — а кожа совсем увядшая. Мы познакомились с ней лет семнадцать назад, когда она, в ту пору совсем еще юная, пришла ко мне на улицу Риволи, чтобы взять интервью. Совсем юная, такая милая и забавная, в островерхом колпачке. Она была дочерью видного бельгийского политика. Некоторое время спустя мы встретились в Лондоне

на приеме у моего литературного агента. Она явилась с молодым англичанином довольно приятной наружности; он оказался театральным критиком и совсем мне не понравился. Народу было много. Она выглядела счастливой и веселой, не постеснялась обнять и расцеловать меня на глазах у всех собравшихся. Еще через несколько лет я увидел ее в Брюсселе, но теперь личико у нее совсем пожухло, будто его огнем опалили. Она работала на бельгийском радио, рассказывала мне о жизни в Лондоне: «Это была для меня чудесная пора». Чуть позже я имел с ней профессиональную беседу, и меня снова ужасно огорчили ее морщинки.

Прошло время — и я оказался в Лувене, где мне должны были присвоить степень доктора Honoris causa. Облачившись в традиционную мантию, я завершил предписанную церемониалом прогулку по несравненному городу Лувену, а потом заглянул во двор университета. Там ко мне подошел незнакомый молодой человек и незаметно передал записку от той самой женщины — записку, полную нескрываемого отчаянья. У нее только что умер девятилетний сын — и вот она написала мне несколько слов, прося о сочувствии, о помощи. Невыполнимая просьба, напрасный зов! Каюсь: я тут же умудрился потерять письмо вместе с адресом, а фамилия этой женщины к тому времени уже выскочила у меня из головы. Сколько ни старался — так и не смог вспомнить. Чего бы я только не сделал, чтобы помочь ей, ободрить ее, выразить соболезнование. Бывая в Бельгии, я всякий раз пытался ее отыскать, рассказывал, как она выглядела, где работала, кто ее отец. Но все впустую. Представляю, что она сама могла подумать о моем «равнодушии», о том, что я никак не откликнулся на ее призыв. И куда могла запропаститься эта записка? Ох, как стыдно за собственную безучастность, пусть даже невольную!

Рисую, а сам чуть не плачу. Через час мы ужинаем вместе с Ларезе и Юргом Жанеттом, тогда все пройдет. Нет, осадок на сердце все равно останется, из подсознания такие события ничем не вытравишь. Сотни миллионов людей живут на свете, утешаю я себя, и у каждого — своя беда. Но можно ли утешаться статистикой, свести горе этой женщины к общему знаменателю? Страдание одного-единственного существа равнозначно страданиям всех. Удалось ли ей перебороть свою скорбь? Обрела ли она смысл жизни? И где она сейчас?

* * *

В который раз повторяю себе, что нельзя писать, нельзя рисовать, не будучи абсолютно искренним, даже наивным. Но как она нелегко дается — эта искренность! Занимаясь рисованием, я стараюсь — или пытаюсь — выпростать свой дух из всего, в чем он погряз, избавить его ото всех забот и хлопот, а уж плохо это или хорошо, не имеет значения. Пусть рука думает сама. Но вот вопрос: как, например, сочетать на одном листе две треугольные фигуры, одна лицом вверх, другая — вниз? Как, безо всякой задней мысли, начертить на другом листе хотя бы несколько штрихов? И забыть обо всем, что хотелось сделать, выходя из мастерской?

* * *

Нарисовал что-то вроде ветвей, переворачиваю лист — передо мной живые существа, они вскакивают, зовут кого-то.

Ветви или звери, похожие на жирафов, утоляющих жажду. Ну вот, я, сам того не желая, занялся тестами Роршаха. В этих неуклюжих набросках есть нечто зловещее. А в других, особенно цветных, сквозит вместе с тем изящество. Ужас пополам с лиризмом. И я не вижу во всем этом никакого юмора. А ведь и юмор поддается выражению с помощью тех же конусов и веток.

* * *

Я уже обмолвился выше, что эти попытки истолкования не относятся к литографиям, просто мне хотелось бы уяснить общий смысл моих занятий. Я занимаюсь не тем, чем занимался раньше. Не могу назвать их введением, поскольку и сами литографии — это всего лишь введение, но к чему? Полтора десятка книг, которые мне удалось написать, пьесы, дневники, эссе — это ведь тоже только введение. Введение к чему, твержу я себе, к чему? Я живу бессмысленной надеждой на

завершение. И теперь пытаюсь нащупать новый путь. В который раз начать все сначала. Но можно ли прийти к чему-нибудь определенному? Наверное, нет. В конечном счете мне кажется, что нельзя. Остается говорить о том, что тебя окружает, рисовать то, что ты видишь. Переживать одно за другим сиюминутные состояния, не ведущие ни к чему и ничего не обещающие, кроме разве что смеха. Смеха сквозь слезы. Или смеха непринужденного, беспричинного. Смеха живых мертвецов. Смеха веры. Смеха неверия. Именно к такому завершению я и стремлюсь. К смеху сквозь скрежет зубовный. К дьявольскому смеху. Вернее, к хихиканью мелкого беса. И никаких потуг на вопросы и ответы; впрочем, я и раньше такими делами не занимался. Никаких потуг, никаких потуг.

Надо признаться, что я все время сам себе противоречу, говорю то одно, то другое; то мне кажется, что я взыскую какой-то благодати, то объемлю все и в то же время ничего, то нахожусь везде, то нигде,— а впрочем, зачем я обо всем этом распространяюсь? Разве не твердил я со всей настойчивостью, что рисунок — это всего лишь рисунок? Что он один может целиком заполнить мои мысли, что рисунок — это всего лишь сочетание окружности с треугольником, и не более того?

Измышление — или попытка измышления — форм и расстояний между ними, и чтобы все это ничего не значило, ровным счетом ничего не значило. Досадно, что я не знаю, все ли я хочу сказать, и хочу ли сказать что-то, или ничего не хочу говорить. Но фактически все о чем-то говорит, все что-то значит. И если я сам говорю что-то, я снимаю с себя всякую ответственность за сказанное. Или не снимаю? Не мне судить.

* * *

Про Вермеера говорят, что в его жанровых композициях отразились аспекты Священного. А достиг ли он того же в двух-трех своих картинах на религиозные темы — это еще вопрос. Подсознательный порыв был подавлен в них сознательным замыслом. Божественное коренится в глубине нас самих. И в то же время — за гранью нашего мира. Это инобытие и есть, быть может, глубочайшая основа мироздания. Вот почему оно не усматривается в большинстве исторических событий. Оно проявляется, когда его меньше всего ждут или не ждут вовсе. Оно — сама Неожиданность, сама Непредсказуемость, то есть то, на что мы больше не надеемся, во что больше не верим. Или верим, даже не подозревая о своей вере. Наверное, я сам — такой неверующий, преисполненный веры. Верующий в неверие, надеющийся на безнадежное. Инобытие — это то, о чем мы и думать забыли, и однако, именно оно подстерегает нас на каждом перекрестке. Мгновения реальной веры могут забываться, как забываются при пробуждении ночные сны. Даже Иисус познал забвение веры. Но можно ли утверждать, что инобытие существует? Оно не существует, оно есть. А может быть, и существует, но лишь время от времени, как ему заблагорассудится. Ведь у него свои законы. И с нами оно поступает, как захочет, безо всяких церемоний. Я думаю о епископах Иеронимуса Босха, влекомых в ад, в пещь огненную. Были ли они на самом деле грешниками или только фанатиками, борцами за веру? У борцов и фанатиков нет времени для грез, медитации, созерцания. Даже для непроизвольных опытов в этой области. Они всегда чем-то заняты, они вечно в делах,— так не лучше ли быть грешником, чем епископом, который не грешит сознательно? В юности у меня был приятель с духовным, чуть ли не мистическим складом характера, он только и делал, что молился да постился, исполняя предписания православной церкви. Посты были очень строгие: ни мясного, ни рыбного, ни молочного, ни вина, ни масла. Одна картошка с фасолью да вода. И вот однажды в самый разгар поста он тащит меня в кафе, заказывает пиво с ветчиной. «Зачем ты это делаешь?» — спрашиваю я его. «Хочу доказать (себе самому или кому-то еще?), что я свободный человек»,— отвечает он, принимаясь за выпивку и закуску.

Мирча Элиаде утверждает, что Священное отражается в поэзии, в литературе, в снах, в живописи. А в религии? Вправе ли мы преступить предписания религиозной морали? Не являются ли они препонами, преградами, заслоняющими от нас Священное? Я горожу одну глупость за другой, но нет ли во всем этом хоть искорки Священного? Книга Юлии Кристевой [1] о нравственном падении напомнила мне, что

[1] Юлия Кристева (род. в 1941 г. в Софии) — известный лингвист, использующий в своих работах метод психоанализа.

Священное неподвластно гниению, распаду — как в физическом, так и в духовном смысле. Но кто знает, может, все на свете будет заново освящено и спасено?

* * *

Я — раб своих фантазий. Но не в те моменты, когда я рисую, пишу (пытаюсь писать) красками,— тогда я реалист. Быть может, я слишком самоуверен, но мне и впрямь кажется, что я реалист, хотя при всем при том я постоянно задаюсь вопросом: чем же на самом деле являются все эти разбегающиеся в стороны или падающие с деревьев фигуры — живыми существами или просто элементами композиции? Но ведь простые элементы композиции — это тоже живые существа. Ай-ай-ай, как же я самонадеян, сколько шуму поднимаю вокруг этих простеньких, недовоплощенных, недорисованных вещей!

* * *

Я в приятельских отношениях с хозяином бистро, куда частенько захожу выпить чашечку кофе. Первого августа он подошел ко мне и, чуть смущаясь, объявил, что сегодня его заведение закрывается — он едет отдохнуть в Овернь. И добавил, что видел мои пьесы по телевизору. А я и не подозревал, что он знает о моих литературных занятиях. Он весь прямо сиял от радости. Его долго не было, а когда он вернулся, я его не узнал: исхудавший, бледный и оттого выглядящий еще более долговязым. Оказывается, он перенес легкий инфаркт — этим и объяснялось его затянувшееся отсутствие. Он был растерян, испуган — уж больно неожиданно все это приключилось, до этого он был здоров как бык.

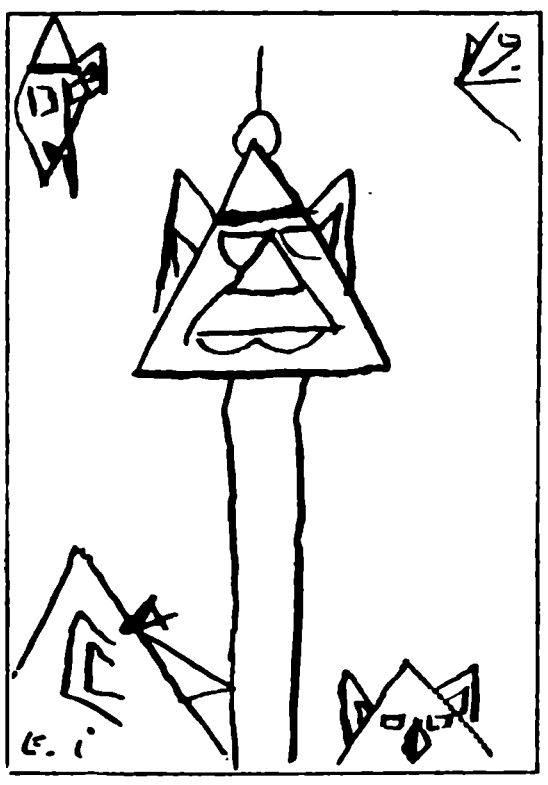
Вот мы с вами и дошли до места, когда нам любой ценой нужно решить проблему смерти. Проблему, которая стоит перед нами во всей своей безжалостной остроте. Из века в век люди смирялись, сживались со своей смертной судьбой. Болели, чахли, умирали, но не роптали, ибо верили в Господа Бога, а если и не верили, все равно смотрели на смерть как на нечто неизбежное. А теперь разразился настоящий бунт против смерти, тот самый, о котором уже говорили Камю, Сартр и Батай. Этот бунт должен быть так или иначе подавлен. Нам необходимо либо осознать себя бессмертными, либо понять, почему мы умираем. Мировые бойни, вспышки геноцида — это всего лишь парадоксальные формы бунта против смерти. Мы убиваем друг друга, чтобы перечеркнуть законы природы, чтобы столь чудовищным образом доказать, что убивать можно и должно, что мы просто обязаны убивать других, которые в противном случае умерли бы позже естественной смертью. Возможны и другие парадоксальные, но, по-моему, убедительные объяснения,— ну, например, что убийцы и жертвы теряют голову, не в силах нести бремя существования, не в силах выяснить свои отношения с ним, точнее, с самими собой. Теперь нам стало невозможно принимать неприемлемое. И все же задумаемся. Убивать, принимать смерть, подвергать себя смертельной опасности — все это, в известном смысле, разные формы забастовки против существования. Прежде мы довольствовались достижениями медицины, помогающими продлить жизнь, спасти нас от неизлечимых болезней, избавить от страданий — теперь всего этого недостаточно, никак недостаточно.

Мы умираем — не умирает в нас лишь то, что причастно к Священному. Поэтому все должно быть освящено, сакрализовано, все должно претвориться в благодать, как говаривал сельский кюре из романа Бернаноса. Шарль Пеги [1], о котором теперь забыли, хотел, чтобы все сущее вознеслось в небеса: дни и ночи, часы и мгновенья, луга и города, живые и мертвые; все должно быть искуплено, то есть освящено.

Когда я неуклюже сражаюсь с линиями и красками, из какого-нибудь черного шара или ствола вдруг проклевываются перекошенные гримасами лица — лица существ, которые вот-вот должны умереть; иной раз их можно принять за висельников, за повешенных. Другие эфемерные лики вырастают из цветочных чашечек. Ах, как бы мне хотелось теперь уметь рисовать по-настоящему: ведь я пытаюсь изобразить жизнь и смерть в их подлинных обличьях. Но я обречен лишь смотреть на то, что мне удалось сделать, вернее, на то, что у меня так и не вышло.

[1] Шарль Пеги (1873—1914) — видный французский поэт и общественный деятель социалистической ориентации.

Как ни скрежещут зубами все эти фигурки, я сознаю, что мой бунт чересчур вяловат, и виной тому — отсутствие выразительных средств, отсутствие техники. Сколько же вокруг всякого бесовского отродья!



1. А вот их главарь, хозяин, диктатор, тиран. Что значат эти четыре бесформенные, карикатурные головы в четырех углах листа? Не иначе как его приспешники.

Но сколько же наивности в моих рисунках, наивности, из-за которой все эти чудища выглядят не только смешными, но и просто забавными! Детские забавы — и ничего больше. Детские каракули. У меня нет ни учителя, ни учебных пособий, я учусь рисовать сам, вернее, пытаюсь учиться. Хорошо хоть, что не придется переучиваться.

Тем не менее, я рисую с удовольствием, с радостью. Быть может, над мирозданием не грех иной раз и посмеяться. Но я не забываю о том, что я — реалист. Забавляться, играть — это и значит быть реалистом. Осознание трагических сторон бытия — это тоже реализм. Но для него нужны другие способы выражения. А на моих картинках гримасничают смешные висельники. Но пора кончать работу, завтра порисую еще, тогда и поговорим.

Ассистент помогает мне снять халат. Подает кусок мыла, я мою руки. Меня ждет ужин в компании с Франческо и Юргом в одном из самых уютных, самых веселых уголков мирового чистилища, в чудесном городе Сен-Галле. До завтра, дорогие мои висельники! До завтра, милое мое древо Зла!

* * *

Чтобы рисовать, писать красками, заниматься фотографией, необходимы знания, зоркость, наблюдательность. Доступная всем, но не для всех одинаковая действительность скрывает в себе действительность иного порядка, парадоксальным образом более подлинную и всеобъемлющую, а в ней заключена третья, четвертая и так далее. Чем дальше мы проникаем в эти последовательные миры, тем бóльшими реалистами становимся, тем больше правды отражается в наших произведениях,— я говорю, разумеется, не об условном, а об истинном реализме. Истинное многоступенчато, у него есть разные глубины. Или, я бы сказал, разные вершины. Но реализм — это отнюдь не сама реальность! Это школа, стиль, манера. Реалистическое ви́дение необходимо, но его одного недостаточно, потому что нельзя забывать о профессиональном умении, то есть искусстве как таковом, о мастерстве, вырастающем из ученичества, о физической одаренности каждого художника. Все мы в известной степени художники, иными словами — причастные духу существа, но не у всех нас одинаково зорок глаз и тверда рука. Язык более или менее доступен всем, так не будем же презирать немых и косноязычных.

* * *

Сделал девятнадцать литографий, отобрал полтора десятка. Глядя на них, спрашиваю себя: а можно ли было браться за все это, если на свете есть такие прекрасные рисовальщики, как Сальвадор Дали и Леонардо да Винчи? И прихожу к выводу, что не только можно, но и должно: пока земля вертится, пусть каждый успеет сказать свое слово.

* * *

Что это такое — окружающий меня мир? Почему он существует? Этими вопросами я задавался еще десятки лет назад, беседуя с Эммануэлем, приятелем по лицею. В ту пору я не знал, что те же проблемы волновали многих великих философов. Что-то такое существует, решили они, но вслед за этим встает другой вопрос: отчего в мире больше зла, чем добра? Для чудовищных современных войн нет никакого разумного оправдания. Одно государство пожирает другое — только и всего. Экономическое давление и война совершенно излишни, поскольку меж-

государственные связи можно наладить путем мирных переговоров. Индустриализация будет и впредь обеспечивать каждого куском хлеба насущного. Войны только мешают росту всеобщего благосостояния. Выкачивают всю энергию, все богатства, которые могли бы пойти на благо людям. Не так давно президент одной республики, принимая главу иностранного государства, задал ему вопрос: «Почему вы и ваши союзники стремитесь разрушить социально-экономический уклад Афганистана вопреки воле его народа? Афганцы и без вас обойдутся». «Ну уж нет,— ответил глава идиотского государства,— им нужно делать революцию». Но ведь последнему дураку ясно, что как раз этого-то и нельзя делать, особенно сейчас. Все оправдания подобных действий в политике и в истории — это сплошное безрассудство.

А что же нужно? Прежде всего — насытить алчущих и жаждущих. Это я говорю как простой здравомыслящий человек, жаль только, что простым языком здравомыслия владеют немногие. Остальным кажется, что простое — это нечто банальное, далекое от истины. А ведь истина проста до элементарности. Я уже много раз говорил об этом в своих книгах. Морис Женевуа [1] уверял, будто во мне столько здравого смысла, что я кажусь безумцем, юродом. Кто-то еще называл меня ненормально нормальным. А на самом деле я — всего лишь простой смертный, постоянно, с особой остротой осознающий свою смертность. У меня было много друзей, которым мне хотелось бы показать мои рисунки. Теперь их можно пересчитать по пальцам. Куда же подевались остальные? «Сомневаюсь, чтобы они хоть где-нибудь существовали»,— говорит мне С. И тут мой хваленый здравый смысл покидает меня: я не сомневаюсь, что они существуют, существуют всюду.

* * *

Слишком плотно я сегодня пообедал, слишком много выпил пива. Не оттого ли так тошно, так тяжело? Примусь-ка я за картинки, авось полегчает.

Полный желудок — мыслям не помеха, напоминает мне внутренний голос. Что ж, попробуем думать. И я думаю, думаю, стараюсь думать только о рисунке. Этот другой язык, мой собственный, всегда при мне: слова переполняют меня, просачиваются в рисунки, так что порой и не разобрать, где начинается одно и кончается другое.

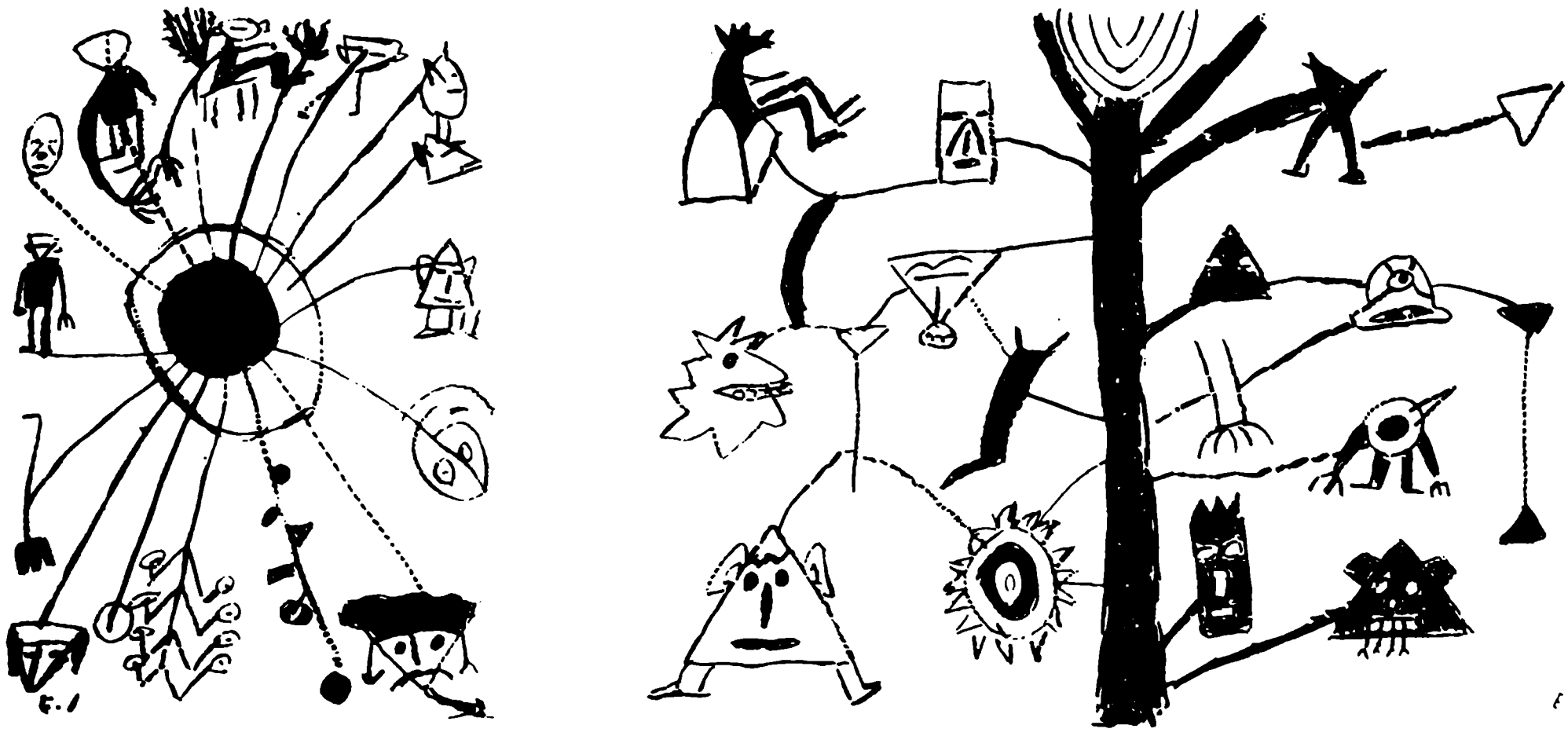
* * *

2. Что это за фигура — король? А на голове у него что — уж не корона ли? Он вышел у меня каким-то грустноватым, а ведь я рисовал его весело, с подъемом, не забыл даже советников к нему приставить. Ну и советники — головы у них в виде треугольников основанием вниз. Это одно из возможных толкований, но другие вряд ли подыщешь. Нет, это всего лишь штрихи на бумаге, штрихи и бумага. Все бумажное.

[1] Морис Женевуа (1890—1980) — французский писатель, член Французской академии с 1946 года.

3. Белые и черные фигуры столпились вокруг черного чудища с белыми зубами и бесцветным глазом. Чересчур бесцветным, надо бы добавить капельку красной краски, чтобы взгляд был злее. Но мне отсоветовали это делать: получится слишком декоративно.

4. Из черной сердцевины разлетаются, словно от взрыва, белые и черные существа. Почему все они напоминают людей, куда подевались растения и зверюшки? Нарисую их в следующий раз, если Ларезе пустит меня поработать в своей мастерской. Когда вглядываешься в эту композицию, она начинает вертеться. Вертящаяся композиция. Я думаю, что черная сердцевина — это источник жизни, какой-то особой жизни. (Да ничего подобного, возражает внутренний голос. Это сущая бессмыслица. Смотри-ка, а откуда взялись вон те два маленьких овала — вверху справа и слева?) Нет, это карусель, как на ярмарке или на праздничном гулянии. Но разве карусель не может что-то символизировать?



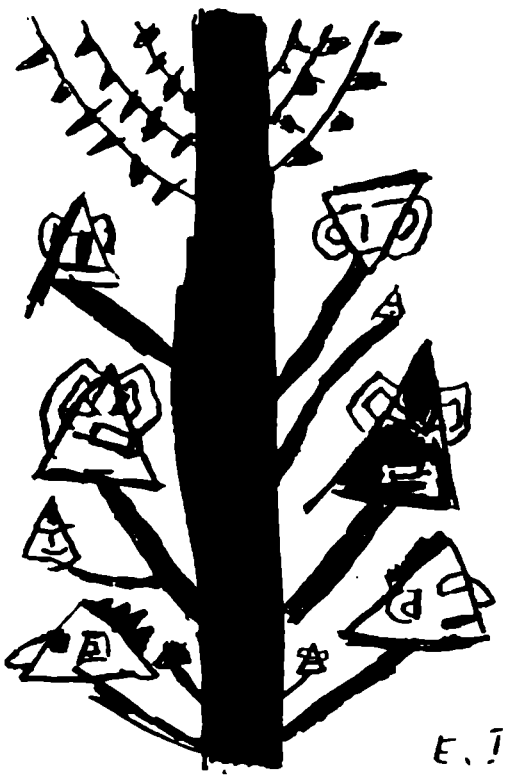
5. Древо Зла, на котором зреют плоды. Справа вверху — треугольник, старающийся улепетнуть куда подальше. Оно и понятно, ведь это самое настоящее древо или столп зла, недаром на одной из его веток — вверху слева — восседает дьявол. А справа внизу треугольная фигура, из пасти у нее торчат то ли зубы, то ли раздвоенные жала; чуть ближе к стволу — угрюмая дьявольская образина. Зато слева — веселая треугóльная физиономия, чем-то, однако, похожая на того бедного идиота справа, которого англичане зовут дядюшкой Ником. А почему так печальна чья-то треугольная рожица слева, чуть выше? Это, наверное, психиатр или психоаналитик; под ним красуется что-то вроде сапога — я нарочно хотел дать совершенно бессмысленное сочетание. (Надо бы мне, кстати, принять успокоительные таблетки.)

Все это было задумано как графическая композиция белых и черных геометрических фигур. Не следовало мне пририсовывать к ним носы, глаза и рты. К счастью, справа сохранился абстрактный, ничего не значащий треугольник; к нему на цепочке подвешен другой такой же. Ведь мы только и делаем, что повторяем, в искаженном виде, природные формы — всякие там треугольники, прямоугольники, круги и колючки. Как хорошо, что я не умею рисовать паровозы и электронные машины! Но и простыми орудиями изображаемые мной фигуры тоже не назовешь, отсюда их похвальная бесполезность. Я повторяюсь в своих рисунках, ведь и сама природа повторяется. Хотя, конечно, ее богатые возможности с моими несоизмеримы. Я просто деформирую чужие формы. Что же касается изобретения несуществующих форм, то это другая проблема, куда более сложная. Быть может, и вовсе неразрешимая. Но поскольку мне не привыкать к трудностям, возьмусь-ка я за невозможное. Ученость тут только повредит, а вот полное невежество по части рисунка вкупе с наивностью придутся как раз кстати.

В этом рисунке налицо и композиция, поскольку все его элементы исходят из какого-то центра. Мне кажется, что есть в нем и ритм. Вот единственно верное определение, которое можно дать всем этим штрихам и фигурам: ритмическое равновесие противостоящих друг другу форм. Черные выглядят более броско, их оживляют белые пятнышки — следы шероховатого литографского

камня, не прорисованного карандашом. Лист, насколько я могу судить, полон света. Света и ритма. Вот и все. Именно так и следует говорить о графической композиции, важно только, чтобы она изображала невиданные вещи, а иначе и рисовать незачем, компоновать некомпонуемое или делать некомпонуемое компонуемым. Словом, переливать из пустого в порожнее.

Ничего не поделаешь: в конце концов мы так или иначе приходим к конфликту белого и черного, к злу и жестокости, пусть даже в шутовском обличье. Добро в моих рисунках не отражается, а если и отражается, то помимо моей воли: взять хотя бы лучи света, сами собой расходящиеся от вершины дерева. Неужели в мире так немного вещей, хоть мало-мальски причастных добру? Но если вся эта чернота существует лишь благодаря свету, будем считать, что я сделал доброе дело. Справа я изобразил еще одну штуковину, похожую на женскую шляпку. По крайней мере, мне самому так кажется, а другие наверняка увидят в ней что-то иное. Не станет же каждый разглядывать эти рисунки с таким вниманием, как мне бы этого хотелось. Хорошо хоть весь цикл целиком говорит сам за себя.



6. Та же тема: черное дерево с черными ветками и листьями, а на ветках — головы. В самом деле, забавно: рассуждаешь о добре и зле, о черном и белом, а в итоге получаются такие вот смешные рисунки.

В самой первой из своих театральных пьес я хотел отразить трагедию языка — вышло весьма комично. Я — комический автор. Я — наивно-комический рисовальщик. Набравшись с годами опыта, я ощутил угрожающую тягу к трагическому, которая, к счастью, носила комический характер. Мне хотелось представить зло в комических формах. И ничего особенного в этом нет, ведь зло должно выглядеть комичным, это комедия в чистом виде, да-да, уверяю вас. Праздничное гулянье вокруг столба, на котором развешены призы-сюрпризы, маски для ребятишек.

Но все, что я говорю, имеет и свою оборотную сторону. Маски сами по себе чаще всего страшны, а от страшного до комического — один шаг. А впрочем, не так-то уж они и страшны. Сейчас пошла мода дарить детям игрушки куда более жуткие, чем мои маски. Так что в сравнении с иными родителями я выгляжу этаким добряком. Ну скажите мне, почему раньше дети получали хорошеньких куколок, а теперь им суют настоящих монстров?

А еще я скажу, что этот рисунок можно описать совсем иначе: толстенный ствол пронизывает всю плоскость бумажного листа сверху донизу. На макушке — концентрические окружности с малюсенькими черными треугольничками. От ствола отходят вверх толстые сучья (их восемь) с белыми треугольниками на концах (один почему-то белый), а к их сторонам, покрытым мелкой штриховкой, пририсовано что-то вроде ушек или петелек.

Вот вам и все объяснение этой будто бы зловещей композиции.

* * *

«Самое свежее пиво ждет нас в харчевне после долгой прогулки».

* * *

7. Человеческие и лошадиные головы, прорастающие из цветочных чашечек. Так, пустячок, детская забава, но когда смотришь на них, кажется, что они вот-вот взлетят,— разве это не весело?

А честно говоря, я опять толком не понимаю, что же мне хотелось сделать. Не я водил рукой, а она водила мной, сбивала с пути истинного, ведь рука и ритм — это одно и то же.

8. В фигуральном смысле — это компания веселых простаков, не подозревающих о том, что́ их ожидает, какая угроза таится в двух полукружиях по краям композиции: одно — черное с белым глазом, другое — белое с черным. А что там справа внизу? Уж не носорог ли? А в левом верхнем — наверняка агент полиции. Чуть ниже центра — четыре треугольника, два белых и два черных, у каждого — один глаз и одно ухо. А что слева внизу, я и сам не понимаю: то ли дремучий лес, то ли замок, то ли просто композиция из треугольников. Весь лист не выглядит особенно мрачным, потому что между фигурами много воздуха, а сами они словно бы кружатся.

В общем, опять получилось что-то вроде пустяковой карусели, и если не копать глубоко, ничего особенного в ней не увидишь, кроме одного: она все кружится да кружится.

Дважды в день я поднимаюсь в мастерскую. И это при моей нелюбви к пешему ходу! Первый раз — утром: я иду от гостиницы Гехта до места работы. То есть я убеждаю себя, будто что-то делаю, а фактически все это одна забава. В час пополудни возвращаюсь в гостиницу, а в три снова выхожу из нее, чтобы проделать тот же путь. Тащусь обратно вечером, дни долгие, за те двадцать минут, что уходят на дорогу, солнце еще не успевает сесть. В общем, получается час двадцать минут ходьбы в день — примерно столько мне и посоветовал когда-то врач. В Париже мои прогулки куда короче: пять минут — до газетного киоска, пять минут — обратно. Там со мной часто заговаривают на улице; вспоминаю каких-то мексиканцев, обратившихся ко мне с вопросом: «Это вы и есть великий Ионеско?» Я покраснел от стыда. Кто я такой? Маленький человек. Там, в Париже, ко мне то и дело пристают более или менее пьяные художники со своими замыслами или философы, не написавшие ни одной строчки, со своими идеями. А в Сен-Галле меня никто не знает. Мои ежедневные прогулки — сплошное наслаждение, уж очень красив этот город. Какие дома! Сплошь XVI—XVII век, резные балконы с цветами, все отреставрировано, приведено в порядок. Нет, красота — это не роскошь, а насущная необходимость. Маленькие изящные домики особенно хорошо смотрятся на фоне внешне суровых — уж не австрийцы ли их строили? — зданий собора, библиотеки и монастыря. А зайдешь в собор — и окажешься в роскошном барочном интерьере, похожем на салон XVIII века, где все переливается бирюзовыми, розовыми, золотыми и белыми тонами,— не собор, а приемный салон Господа Бога. Так его, наверное, и воспринимали в свое время. Напротив церкви — небольшое кафе с садиком; оно изо дня в день искушает меня, но я всякий раз перебарываю искушение и иду дальше. Здесь дорога к мастерской начинает подниматься в гору, шагать труднее. Чтобы перейти улицу, нужно хорошенько оглядеться по сторонам, машины так и несутся туда-сюда. Куда они спешат? Идти в гору всего пять минут, но это наименее приятная часть пути. Прихожу в мастерскую, где меня уже ждут, и усаживаюсь либо за столом у окна, либо у верстака с типографским камнем. Урбан Штуб, подлинный мастер своего дела, успел приготовить все необходимое для работы.

Бродя по цветущему городу, я думаю о каком-нибудь художнике вроде Каналетто: вот он сидит у окна, смотрит на улицу и рисует, и таким образом я оказываюсь в числе персонажей его картины. Пройдет время, а я все еще буду существовать среди других фигур, ушедших из жизни, но навеки запечатленных на его полотне. Фигура как фигура, не хуже и не лучше остальных, принадлежащих фантасмагорическому миру тех, кто когда-то, в какую-то эпоху существовал на самом деле. Один из забавных человечков, хранящихся в памяти картины и, разумеется, в памяти Бога. И я говорю себе, что уж если мы были, то никак не сможем перестать быть. Мы вписаны в полотно творца, во вселенскую ведомость. Как мне хотелось бы, чтобы этому августу не было конца. Чтобы

он стал для меня вечностью. Подниматься бы каждый день в мастерскую, черкать бы каждый день эти фигурки или просто штрихи, такие лукавые и такие наивные. И Бог с ним, с мастерством — больше его или меньше, какая разница. В гостиной меня ждут жена и дочь — с ними я забываю все свои дурацкие театральные истории, все свои заботы и печали. Жена часто заходила ко мне в мастерскую посмотреть, как я работаю. Ее снисходительность ко мне просто восхитительна. Самое главное — не стареть, не стареть.

Если разобраться, я человек довольно обеспеченный. У меня есть кое-какое имущество. Его, пожалуй, даже чересчур много. Но всем этим занимается жена: сколько хлопот, сколько забот! На ней все и держится, она у меня молодец. А здесь, в Сен-Галле, мы и думать забыли обо всех этих докучных вещах. Здесь мы чувствуем себя свободными. Не нужно быть ни богатым, ни бедным. Я не очень богат, но даже то, что я имею, мне в тягость. Мне бы хотелось быть победнее.

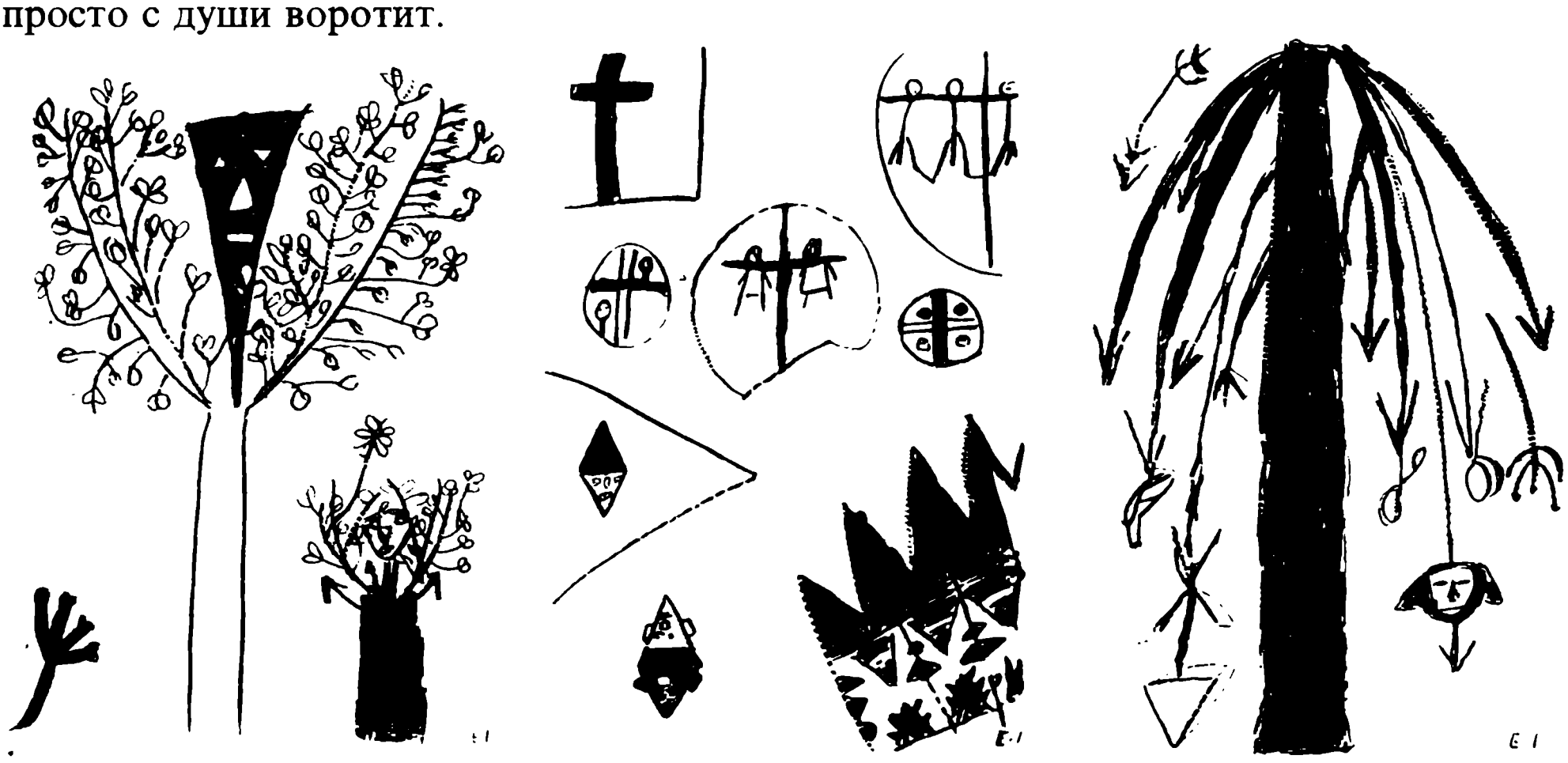
Здесь можно на какое-то время забыть об Афганистане, о Сомали, об африканских ребятишках со вздутыми от голода животами. Они не думают об искусстве и метафизике, их гложет, их убивает нищета. Эгоистичный внутренний голос подсказывает мне отговорку: «У каждого — своя судьба». Но как знать, что меня ожидает, что ожидает нас всех завтра или через час? «Доверимся судьбе»,— говорил незадолго перед смертью Морис Женевуа. «Я ей доверился»,— шепнул Андре Жид в миг кончины. «Нужно же хоть кому-то доверять»,— сказал мне недавно отец Карре, имея в виду Христа.

Имею ли я право на этот отдых, на этот покой, имею ли я право на эти миги забвения, даже если они преходящи?

Чтобы утешиться, отделаться от угрызений совести, я твержу себе, что искусство из века в век сосуществовало и с войнами, и с катастрофами. Провидение даровало нам возможность хранить спокойствие среди стольких бед. Воспользуемся же этим. До сих пор судьба хранила меня. Пусть же хранит и впредь — и меня, и моих близких. Быть может, это необходимо для равновесия мира. Для духовного, я бы сказал, равновесия.

* * *

Через несколько дней в театре «Одеон» можно будет увидеть новую постановку моей пьесы «Король умирает». Режиссеры со всеми своими «интерпретациями» и «прочтениями» зачастую не оставляют и следа от истинных замыслов драматурга. И делают это вполне сознательно. Их «прочтение» гроша ломаного не стоит. Сплошная натяжка, сплошная болтовня. А в театре и без того слишком много пустопорожних разговоров. Ах, заниматься бы мне только рисунком, который дано прочитать лишь тому, кто на него смотрит,— рисунком неподвижным, олицетворяющим безмолвие. Что же касается театра, то там мизансцены должны быть разработаны раз и навсегда, как в театре. Но где они не меняются веками. И Вермеер не меняется. И уж тем более не изменятся мои дурацкие рисунки. Будущие зрители будут их со-зерцателями, со-причастниками, и никакому постановщику не удастся навязать им свое «прочтение». Как противно говорить о театре, просто с души воротит.

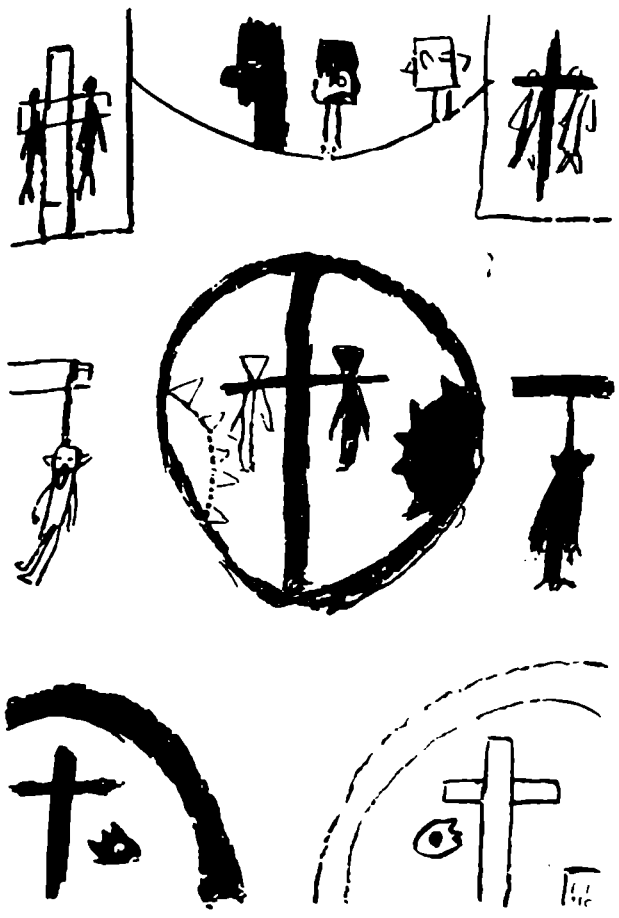


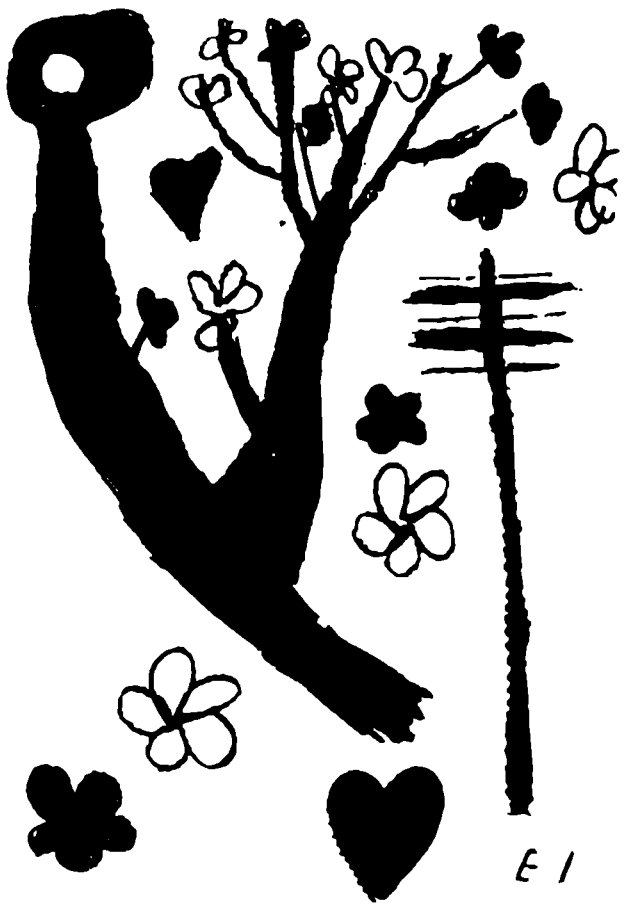
9. Попытка декоративной композиции, полуабстрактной, полуфигуративной. Две черные головы перевернуты, три другие на месте. Композицию венчает корона неопределенных геометрических форм *(см. с. 225, справа)*.

10. Привет, господа! Этот — черный с белым носом, а тот, что справа,— весь белый, его окружают ветви с листьями. Мы вас не боимся!

11. Вверху в левом углу — крест в рамочке. Печальный такой крест, одинокий. Может, он грустит без распятого? А что там пониже слева, колпаки? Пожалуй, да. Что же касается висельников, то это не настоящие висельники. Это просто кружки́, подчеркнутые горизонтально черной линией, которая пересекается с другой такой же, но вертикальной. Не знаю, как истолковать остальные фигурки, но, во всяком случае, они значат совсем не то, что вы думаете. Они ничего не значат. Моя рука делала, что хотела. Надо бы спросить у нее, значит ли это что-нибудь. Я думаю, что это не знаки, а просто графика.

12. Затрудняюсь объяснить, что это такое.



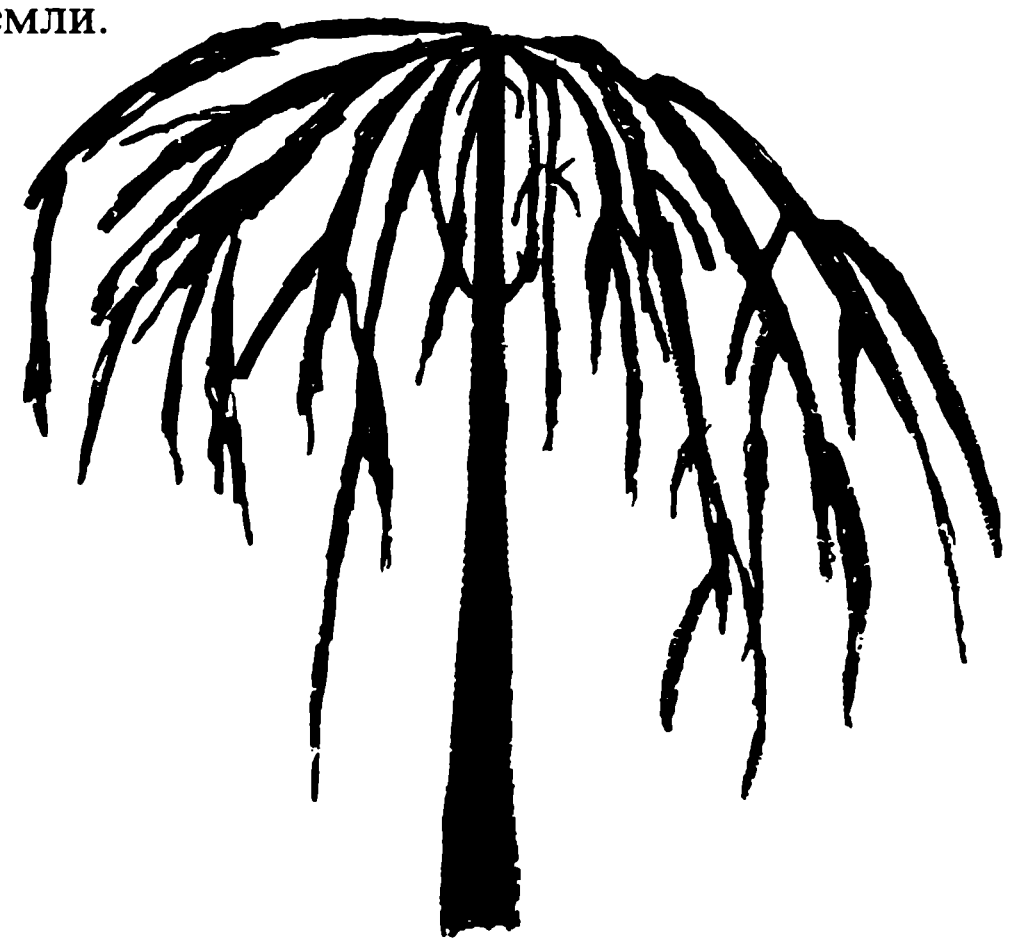


13. Белое и черное. Белые и черные висельники? Решительно отклоняю подобную интерпретацию. Просто уравновешенная композиция белого и черного, гармония, вырастающая из антагонизма. Фигуры — это всего лишь предлоги для форм. Не так ли?

14. Не берусь оспаривать, что здесь изображено дерево. Это и в самом деле дерево — вдовое, сиротливое. Ни цветов на нем нет, ни листьев. Совсем одинокое, бездетное. Ни души с ним рядом. Грустное, всеми покинутое. Ему нечем похвалиться, кроме собственной заброшенности. Оно плачет, как плакучая ива.

Я мог бы подцветить его зеленым, красным, розовым: у него были бы листья и цветы. Но даже мне не под силу распрямить его усталые ветви.

Я считаю, что несмотря на всю свою грусть, оно выглядит достойно. Наверное, все еще ждет весны. Мелкие белые точки на стволе — следы типографского камня. Это дерево — дитя камня. Его ветви не кажутся мне застывшими; оно печально, но не мертво и даже ничем не болеет. Оно пронизано движением, оно хочет коснуться земли.



Это не старое дерево, это дерево-подросток. Строгое в своей скорби, но не сломленное, не умирающее. У него есть душа.

15. Сердце у основания ветви с мелкими сучьями и цветами. Другие цветы и еще одно сердце свободно порхают в воздухе. Их окружает, их пронизывает свет. На центральной ветке распускается трилистник, или цветок, или сердце. А сама ветка ни откуда не растет, она тоже парит в воздухе.

Чуть подальше справа — крест Св. Антония. Композиция, формы, свет — всё на месте.

Заключение

То, что вы просмотрели,— это не лица, не маски, не чудища, не карикатуры, не формы, не знаки, а просто ничего.

Какие-то подобия мимолетных видений. А теперь в этой ментальной вселенной снова воцарился покой.

* * *

Вернувшись в Париж, мы узнали о кончине Мориса Женевуа. Через два дня присутствовали в Доме инвалидов на официальной траурной церемонии — покойный был ветераном войны. Он дожил до девяноста лет, оставаясь одним из самых молодых людей, которых мне доводилось знать. За полгода до смерти он закончил писать книгу и собирался заняться живописью. Вне стен Академии, куда я не очень-то люблю заглядывать, мы с ним встречались довольно редко. В последний раз я видел его на какой-то церемонии, во время которой всем нам пришлось тащиться гуськом из зала заседаний в библиотеку. Он шагал позади и вдруг принялся меня щекотать. Знал я другого молодого старика, это был Поль Моран [1], он дожил чуть ли не до девяноста. А в восемьдесят написал «Венецию», лучшую из своих книг. Ему не нравилось, что я появляюсь на заседаниях в свитере с расхлябанным воротом. Однажды он сказал Симоне Галлимар: «Посоветуйте ему надевать рубашку и галстук». Через два дня, в четверг, я пришел в Академию при галстуке и указал на него Морану; тот одобрительно потрепал меня по щеке. Он вместе с Владимиром Ормессоном был моим поручителем по Академии, а Женевуа исполнял там должность непременного секретаря. Все трое настойчиво просили меня выдвинуть свою кандидатуру для избрания в академики, я поначалу колебался. Владимир Ормессон тоже ушел из жизни. Я потерял трех молодых друзей, едва ли не самых лучших. Поль Моран был не совсем уверен в результате голосования, потому что многие выступали против моей кандидатуры. И вот он поехал к тяжелобольному Анри Массису [2], усадил его в машину и привез в Академию, чтобы тот подал свой голос за меня. Я был избран в первом же туре семнадцатью голосами против шестнадцати; решающим оказался голос умирающего Массиса. За две недели до кончины Морана моя жена позвонила ему, чтобы пригласить к нам за город. Поль ответил нам запиской, где было сказано, что его дни сочтены. Тут-то с ним и случился инфаркт. Его увезли в больницу, откуда он уже не вернулся.

По приезде в Париж я узнал еще, что советские войска сосредоточились вдоль польской границы и угрожают нарушить суверенитет Польши. Продолжается война между Ираном и Ираком: они никак не поделят нефтяные месторождения.

Позднее лето, небеса лучатся и сияют, словно сам Бог смотрит на меня с высоты.

---

[1] Поль Моран (1888—1976) — французский писатель и дипломат, член Французской академии с 1968 года.

[2] Анри Массис (1886—1970) — французский католический публицист, член Французской академии с 1960 года.

К нашим иллюстрациям

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ РЕАЛИЗМА

У газетного карикатуриста и книжного иллюстратора Альбера Дюбу (1905—1976) ремесло и призвание, что бывает не слишком часто, совпали. Он сумел увидеть мир — и показать его нам — в совершенно неожиданном ракурсе.

Во французской печати карикатура — это часто шутка, «соль» которой выявлена средствами графики. В России ее ближайшая параллель — анекдот. Альбер Дюбу вырос в их блистательного рассказчика. Позднее, уже став книжным иллюстратором, он создает великолепный цикл рисунков к роману-анекдоту «Клошмерль» писателя Габриеля Шевалье.

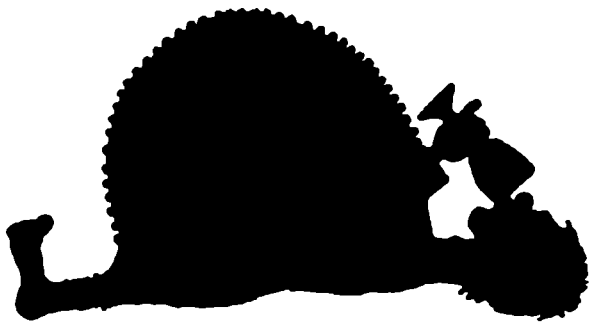
В книжной графике слово писателя сращивается с рисунком, созданным художником. Первое условие успеха — одномасштабность рисунка и слова. Малейшая дисгармония приводит к фальши. Став признанным мастером, Альбер Дюбу проиллюстрировал творения титанов — Рабле, Сервантеса, Эразма Роттердамского, поэзию Франсуа Вийона. Подтвердил ли он свое право на подобную дерзость?

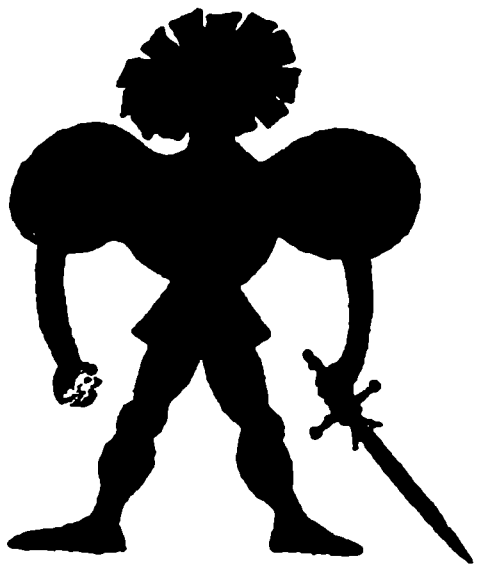
Думается, его привлекла парадоксальность мышления этих выдающихся писателей, присущая и его собственному мировидению. Как они за стеной пошлости видели красоту человеческой мысли, за свирепой жестокостью жизни — великодушие и благородство, за насилием — нежность и величие любви, за трагизмом существования — радость, счастье бытия, так их иллюстратор в страшных и одновременно изысканных по своей отточенности, по колориту, насмешливых, но часто и поэтичных рисунках раскрывал ту же драматическую и все-таки прекрасную противоречивость действительности. Но боясь впасть в патетику, в высокопарность, он приглушает высокий тон своего повествования с помощью сочной, часто скабрезной, всегда смешной детали. Подобно великим мастерам, чьи произведения сопровождает своими гравюрами, чей бунтарский дух высвобождает из-под слоя библиотечной пыли.

Как художник, Альбер Дюбу формировался в эпоху, когда происходило бурное развитие кинематографа и фотографии. Их влияние на его художественную манеру очевидно. По-видимому, его особенно интересовало то, как объектив деформирует предмет, перспективу, пространство. Из переосмысления этих обычно уродливых деформаций родились многие изобразительные приемы художника, давшие ему возможность взглянуть на действительность с совершенно неожиданных точек зрения. Он «искажает» ее, как это происходит при неумелом пользовании объективом, но в его руках такие «искажения» — мощное выразительное средство.

Книги с иллюстрациями Альбера Дюбу, как правило, выходили очень небольшим тиражом. Но само его дарование — не элитарно. В графике художника проявились многие грани национального характера французского народа, частицей которого он всегда себя ощущал. И этим гордился.

ВЛАДИМИР ИОРДАНСКИЙ





Литературная пресса мира

«MAGAZINE LITTÉRAIRE»

Г. ЛИСИНА

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЕДЕТ «МАГАЗИН ЛИТТЕРЕР»

На человека, приехавшего из страны, где словосочетание ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ ассоциируется с чем-то солидным и даже величественным — вахтер, машбюро, ковровые дорожки и секретарша в «предбаннике» главного редактора,— редакция «Магазин литтерер» (что, как нетрудно догадаться и без знания французского, переводится просто «Литературный журнал») поначалу производит странное впечатление. Две комнаты на улице Святых Отцов (вход со двора), по соседству с Сен-Жермен-де-Пре. Восемь сотрудников и одна собака. Чем занимается собака, выяснить не удалось, но восьми сотрудникам работы хватает. Они делают буквально всё: придумывают и составляют номер, готовят макет, собирают рекламу, проводят подписную кампанию, работают с авторами. Правда, в отличие от российских журналов, редакторская правка не практикуется. Представляете — как написано автором, так прямо и печатают, даже не обсуждают на редколлегии (которой в «Магазин литтерер» нет). И это при том, что номер обычно планируется не за несколько месяцев, а всего за пятнадцать дней до сдачи. Весьма сжатые сроки — меньше двух недель — даются и авторам, от пунктуальности которых зависит очень многое. Вот почему в «Магазин литтерер» отдают предпочтение авторам постоянным и неоднократно проверенным — с ними проблем по поводу сдачи рукописи и качества материала не возникает. Пишет для журнала цвет интеллектуальной элиты Франции — известные писатели и критики, университетские профессора, литературные журналисты.

Раз уж речь зашла о тех, кто пишет для «Магазин литтерер», нужно рассказать и о тех, кто его читает. Не в пример второму литературному французскому ежемесячнику, «Лир», журнал отдает свои страницы исключительно «серьезной» литературе, стремясь не столько развлечь читателя, сколько дать ему возможность сориентироваться в необъятном книжном море — ведь во Франции ежегодно издается около 40 000 названий книг. При этом «Магазин литтерер» каким-то чудом умудряется вовсе не быть журналом «для избранных». В западном мире (да теперь, после окончания подписочного бума, уже и у нас) тираж в 90 000 для литературного ежемесячника считается удивительно высоким. Особенно если учесть, что «Магазин литтерер» не печатает художественных текстов — лишь статьи, эссе и рецензии. Бóльшую часть аудитории составляют преподаватели и студенты университетов, а также — что удивительно и, должно быть, очень для редакции приятно — ученики старших классов (кстати говоря, подписка для учащихся, в том числе и иностранных, стоит дешевле). Примерно каждый десятый читатель «Магазин литтерер» живет за рубежом, и отнюдь не только во франкоговорящих странах.

Во Франции традиция литературных периодических изданий, как известно,

существует давно, гораздо дольше, чем у нас в России. Однако долголетием французские журналы не отличаются. Век любого творческого коллектива, в том числе и редакции, увы, довольно короток — журналы рождаются, переживают период расцвета и умирают. Еще четверть века назад мир литературной журналистики во Франции выглядел совершенно иначе. Тогда тон задавали четыре больших еженедельника: «Литтерер франсез», «Фигаро литтерер», «Арт» и «Нувель литтерер». Сегодня из их числа уцелело лишь литературное приложение к «Фигаро», весьма потесненное тремя изданиями следующей волны: ежемесячниками «Магазин литтерер» и «Лир», а также выходящим раз в две недели журналом «Кензен литтерер». «Магазин литтерер» среди них самый старый, успел обрасти традициями и не торопится их менять. Журнал создан в 1967 году, с самого начала им руководят директор Жан-Клод Фаскель и главный редактор Жан-Жак Брошье. Если «Лир» все время экспериментирует с подачей материала и оформлением, то «Магазин литтерер» делает ставку на консерватизм стиля, на сохранение своего «лица». Судя по всему, пока эта тактика себя оправдывает.

Каждый номер открывается информационными рубриками, где аннотируются новые книги, приводятся любопытные факты из жизни писателей разных стран, печатаются интервью с литераторами, сообщаются новости культуры. Самый важный из постоянных разделов — раздел критики, также поделенный на рубрики, каждая из которых соответствует определенному литературному жанру: романы, детективы, фантастика, поэзия, эссеистика, книги по искусству. Рецензиями занимаются два редактора, работающие с тремя десятками внештатных референтов — специалистов в разных областях литературы. Именно они обычно обращают внимание редакции на ту или иную книгу. Любопытная особенность: «Магазин литтерер» почти не печатает отрицательных рецензий, но вовсе не потому, что боится поссориться с авторами. Просто здесь считают, что журнальная площадь слишком драгоценна, чтобы расходовать ее на плохую книгу,— гораздо важнее рассказать читателям о хорошей, тем более если писатель молод и неизвестен. Вот почему увидеть свое имя на страницах «Магазин литтерер» для автора всегда и почетно, и приятно, и, разумеется, выгодно.

Однако славу и известность журнал завоевал не благодаря рецензионно-критическому разделу, который присутствует в любом литературном журнале. Секрет успеха «Магазин литтерер», главное блюдо каждого номера — так называемое досье. Это специальный тематический выпуск, а если придерживаться следственной терминологии, с которой ассоциируется у нас слово «досье»,— «дело», заведенное на выдающегося писателя (философа, мыслителя) или на какое-нибудь знаменательное явление культуры. Идея проста и абсолютно беспроигрышна: на нескольких десятках страниц читателю дается сжатый, составленный лучшими профессионалами экскурс в действительно важную и интересную тему. Пространство культуры и литературы исследуется «квадратно-гнездовым» способом, причем каждый последующий номер вносит новый вклад в эту большую и благодарную работу.

Первоначально досье составляло в «Магазин литтерер» небольшую рубрику и никак не выделялось. Постепенно оно стало занимать все больше площади (от трети до половины номера), превратилось в ведущий раздел журнала, а название темы вместе с соответствующим художественным оформлением всегда выносится на обложку. Досье — это два десятка статей и эссе, щедро снабженных иллюстрациями: история явления, обзоры и комментарии, не публиковавшиеся ранее материалы, воспоминания, нередко — совершенно новый взгляд на привычные и, казалось бы, навек определившиеся истины.

При всей головокружительной быстроте, с которой готовится очередной номер, бывает, что тема иного досье готовится несколько лет. Иногда собранный материал оказывается столь интересен и обширен, что редакция идет на выпуск сдвоенной журнальной книжки. В прошлом году вышло в свет юбилейное, трехсотое, досье. Вместе они составляют настоящую энциклопедию литературы, философии, религии и искусства. Жанр досье с легкой руки «Магазин литтерер» приобрел популярность и сегодня, с некоторыми вариациями, представлен во многих литературных периодических изданиях мира. Думается, что и «Литературный гид» — тематический «журнал в журнале», появившийся в «ИЛ» с нынешнего года,— тоже приходится ближайшим родственником французскому досье.

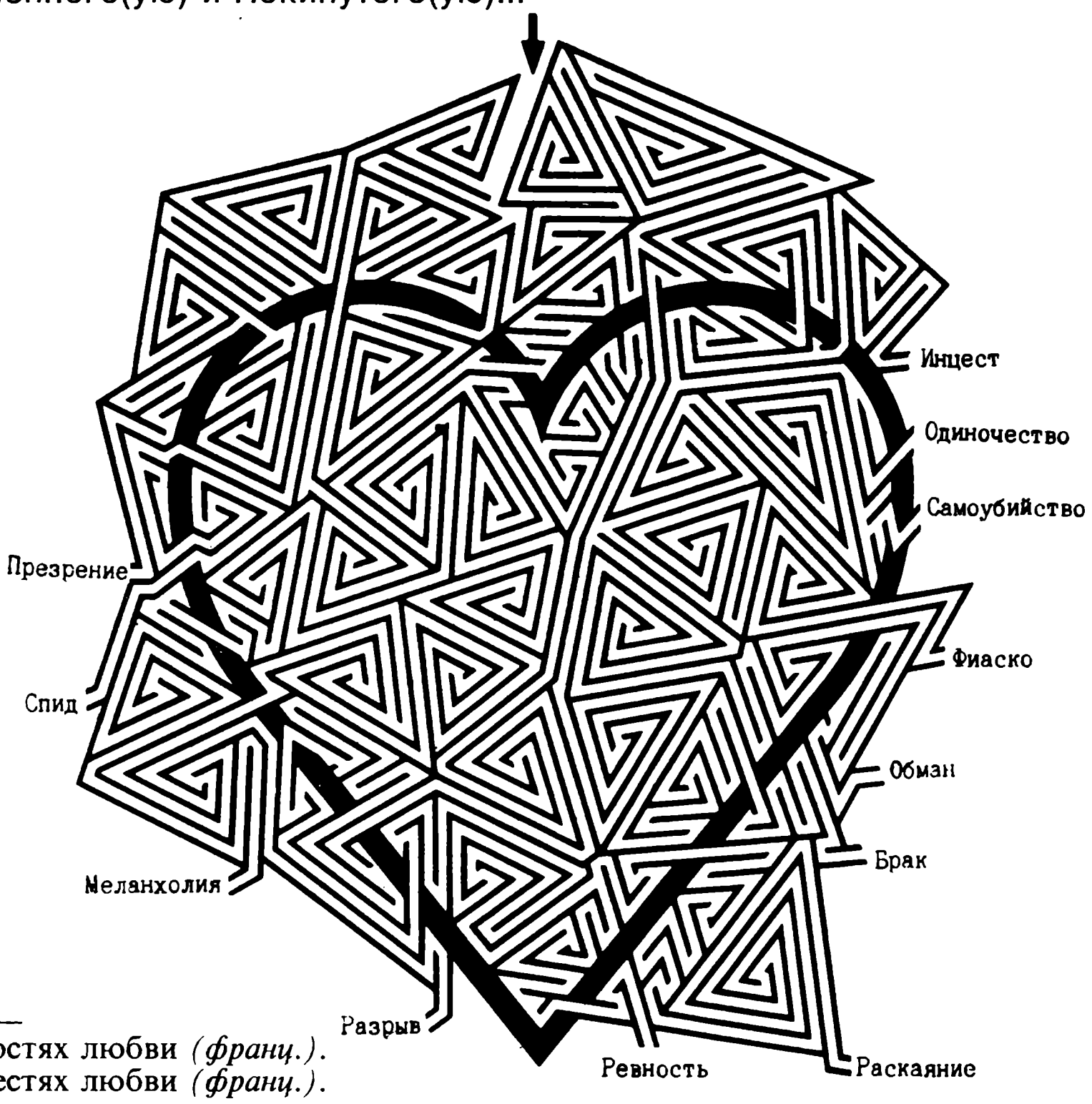
Чтобы читатель мог лучше представить себе богатство и разнообразие тем, по

которым «Магазин литтерер» проводит «расследования», возьмем комплект журнала за минувший 1992 год и просмотрим заголовки досье: «Жорж Санд», «Джозеф Конрад», «Жизни Ницше», «Чехов», «Век барокко», «2000 лет горестей любви» (сдвоенный номер), «Мишель Лейрис», «Монтень в движении», «Луи Альтюссер», «Право, идеология и литература».

Для публикации, представляющей «Магазин литтерер» русскому читателю, журнал «Иностранная литература» из всего этого обширного списка выбрал «Горести любви» — очевидно потому, что любовная тематика кажется наиболее уместной для номера, посвященного Франции. Что ж, это досье, действительно, относится к числу наиболее удачных и составлено в классической «магазинлиттереровской» манере. Даже тот, кому любовные терзания вовсе неведомы, благодаря столь исчерпывающему исследованию будет теперь знать о них все или почти все (я говорю «почти», потому что из-за ограниченности журнальной площади досье немного сокращено). Французской литературе во все времена было что поведать читателям не только о plaisirs d'amóur [1] но и о chagrins d'amour [2]. Свидетельство тому — еще одна яркая страница в энциклопедии «Магазин литтерер», или, если угодно, папка с еще одним громким «делом» в архиве мировой культуры.

2000 ЛЕТ ГОРЕСТЕЙ ЛЮБВИ

Что такое роман в его классическом определении? Мужчина и женщина встречаются, влюбляются, расстаются... Но не будь в нем любви и ее неизбежного следствия — горестей любви, не существовала бы литература. И это было бы прискорбно. От платоновской тоски по андрогину, счастливому цельному существу, разъединенному на свою беду мстительными богами, до новой мести богов, чудовищной эпидемии, грозящей в наши дни всякому любовному союзу, горести любви, вечно неизменные, проносят свои слезы и сетования, свое величие и свою банальность через классицизм, романтизм и реализм. А без них — чего стоила бы сама любовь? Пожалуй, следует согласиться с Роланом Жаккаром — любовь и горесть должны стоять на первом месте в любом словаре. Что же остается нам? Предаваться тщете мечтаний да воображать себя прославленными героями — Казановой, принцессой Клевской, Манон, г-жой де Морсоф, Вертером,— чьи горести возвеличивают наши и утешают в них. Ведь каждый из нас вечно играет в Соблазненного(ую) и Покинутого(ую)...



[1] Радостях любви *(франц.)*.
[2] Горестях любви *(франц.)*.

РОЛАН ЖАККАР

СЛОН И МУРАВЕЙ

Тринадцать маленьких вариаций на тему горестей любви от сотворения мира до конца нашего века

Неудавшийся эксперимент

Бог мерит шагами свой кабинет и вдруг видит через окно Дьявола, который волочит за собой какой-то старый сундук. Заинтригованный Бог зовет своего секретаря и спрашивает: «Что в этом сундуке?» — «Мужчина и женщина»,— отвечает тот. Бог, недоумевая, роется в своих бумагах и наконец хлопает себя по лбу: «Ах да, вспомнил! Этот неудавшийся эксперимент... Что же, они еще живы?»

Плюшевый медвежонок

Как много рассуждали еще не так давно об эротике и смерти, об эротике как известном тяготении к смерти! Не означает ли это веры в пагубность сексуального влечения и всесильность смерти? А ведь главное в этой жизни — верить, что *живешь*. Кто же в наше время окажется столь самонадеянным или столь наивным, чтобы принять на веру эти разглагольствования? Очарование конца века в том и состоит, что время измотало нас и повергло в глубокое уныние: даже наши собственные мечтания, будь они самыми сладостными или, наоборот, смертоносными, угнетают нас, лишенные прелести, словно располневшие танцовщицы, которые никак не решаются покинуть сцену.

Действительно, можно ли представить себе что-нибудь более эротичное, чем слезы девочки, прижимающей к груди свою любимую игрушку — плюшевого медвежонка — лишь для того, чтобы убедиться в бренности собственного существования, в бренности существования вообще?

Капелька извращенности

Что остается современному человеку, у которого отнята его природная сексуальность? Только воссоздавать ее в области воображаемого. Ибо в реальной жизни он сталкивается лишь с собственным бессилием да с холодностью партнеров. Но именно из бессилия и холодности рождаются самые изумительные шедевры — на то и существует искусство. Все — самообман, даже наслаждение; так и блуждаем мы от иллюзии к иллюзии, силясь то успокоить себя, то поразить чем-то неожиданным, изобретая замысловатые сценарии, которые кажутся нам новыми, но на деле являются всего лишь вариациями того якобы аморального, что известно и принято веками, с примесью капельки извращенности, без которой любовные игры давно прискучили бы нам.

© Magazine littéraire, 1992.

Собака Лакана

Я очень люблю вот этот анекдот о Лакане. У него была сука-боксер, которую он называл Жюстиной. На одной из своих лекций он поведал слушателям, что его собака может разговаривать с ним и понимает все, что бы он ей ни сказал. «Жюстина отличается от женщин,— добавил он,— тем, что она никогда не спутает меня с другим мужчиной».

Материнство — западня

Мне по-своему симпатичен тот мужчина, о котором упоминает один психоаналитик — ему так и не удалось справиться с этим пациентом. Он сидит дома, когда ему сообщают, что у него родился сын. Новоиспеченный отец решает немедленно ехать в клинику на своем велосипеде. «Это было во вторник, шел дождь»,— уточняет он. До клиники он добирается быстро, но вместо того чтобы остановиться, продолжает крутить педали и катит все дальше по шоссе.

Он так никогда и не увидел своего сына, ничего не объяснил жене. Даже не оглянувшись, покинул он эти места. «Я — странник»,— повторял он психиатру. Есть и такая точка зрения: можно любить женщин, но едва мы видим, что за нами грозит захлопнуться западня их материнства, нужно бежать со всех ног, и как можно дальше.

Serial killer [1]

Коротко и исчерпывающе высказался некий «serial killer» в оправдание некрофилии: «Чем привлекает меня симпатичный труп — он не заводит после любви пустых разговоров».

Ирония порока

Моей юной подруге, которая уверяла меня, что женщины циничнее мужчин,— она опиралась не только на собственный опыт, но и на высказывания Сиорана — я адресую эти слова Гризони: «Цинизмом, этой иронией порока, женщины обделены; даже у циничных, казалось бы, женщин это, как правило, напускное. Никогда подлинный разврат не был плодом фантазии женщины».

Падение

Похоже, что любовь рождена под знаком грамматики: юноша учит правила, удел мужчины — спряжение, а старику остается склонение. В определенном возрасте наши любов-

[1] Многократный убийца *(англ.)*.

ные утехи ценны уже не столько удовольствиями, которые они нам доставляют, сколько усилиями, которых от нас требуют: когда радуешься, что ты еще на высоте, это уже признак начала падения.

Аргумент Фонтенеля

Фонтенель всю жизнь страстно любил женщин, однако жениться не хотел.

— Почему вы не женитесь?

— Потому что меня постигнет печаль.

— А почему вас постигнет печаль?

— Потому что я буду ревновать.

— А почему вы будете ревновать?

— Потому что я буду обманут.

— А почему вы будете обмануты?

— Потому что заслужу это.

— А почему вы это заслужите?

— Потому что я женюсь.

Еще Фонтенель говорил, что благоразумие мужчины в том, чтобы верить в загадку женщины: именно в силу этого в женщине появляется загадка.

Лестница Мазоха

Захер-Мазох создал свою шкалу влечения, своеобразную лестницу, на которой он располагает женщин в порядке, противоположном общепринятой шкале ценностей.

В самом низу этой лестницы стоит супруга, женщина всеми уважаемая, которую можно сравнить с государственным служащим — правительство предоставляет ему пожизненную должность, но платит более чем скромное жалованье. Ступенькой выше — неверная жена; она сумела освободиться от пут, но еще стремится соблюсти внешние приличия: «...поэтому она вынуждена лгать, а солгав однажды, уподобляется банкроту или несостоятельному должнику и, чтобы удержаться на плаву, все сильнее запутывается в сетях лжи».

Захер-Мазох осуждает неверную супругу, чья жизнь — «каждодневный и вполне сознательный обман»; куда более высокого мнения он об «одинокой женщине», которая решается расстаться с супругом, чтобы получить свободу в любовных связях. И, наконец, на самой вершине лестницы — Амазонка, женщина, явившаяся ниоткуда; она не боится людских суждений, не зависит ни от отца, ни от мужа, ни от любовника; это женщина-повелительница, а ее отношения с мужчинами — лишь контракты на более или менее длительный срок.

Трезвость ума

Величайшее искусство — вовремя *положить конец*. Есть что-то низкое в том, чтобы пытаться удержать любимого человека; здесь показывает зубы инстинкт собственника. Как напоминает нам Марсель Конш, всегда надо желать одновременно любви и конца любви, дружбы и конца дружбы, творчества и разрушения творения. В чем состоит трезвость ума? С самого начала распознать в любовной связи то, что обречено на гибель.

Шопенгауэр прав...

Если отсутствие любимого существа оставляет в душе медленно разъедающий яд, именуемый забвением, то его постоянное присутствие вызывает резкую защитную реакцию, которая проявляется в невнимании к тому, кто рядом.

* * *

Принято считать, что в основе любви лежит плотское желание. Это не так. Любовь — роман, который все мы знаем наизусть, но всякий раз тщетно пытаемся изменить на свой лад его развязку.

* * *

Счастье... Рано или поздно каждый из нас его испытает, но в той форме, которая ему меньше всего нравится.

* * *

Шопенгауэр прав, утверждая, что после любовного акта всегда слышится смешок Дьявола...

Слон и муравей

Слон и муравей страстно влюбились друг в друга. После ночи сладостных утех слон рухнул замертво, а муравью досталось копать ему могилу. Это была первая и последняя горесть любви, зафиксированная на планете Земля. Но, быть может, в иных мирах...

ЛЮК БРИССОН

ПЛАТОН: ПЕРВАЯ НА ЗЕМЛЕ РАЗЛУКА

Ничто не может утолить глухую, но неотвязную боль, причиненную даже самой банальной любовной горестью. Почему же так мучительны эти терзания, словно душа разрывается надвое? А что, если все эти горести любви — лишь повторение самой

первой горести, когда человек ощутил впервые и навсегда утрату единого целого? Не связана ли горечь всякой разлуки с болью разлук изначальных: космической, когда была установлена дистанция между Небом и Землей, и теологической, когда люди были разлучены с богами?

Все это объясняет нам миф, который Аристофан, автор комедий «Облака» и «Птицы», поведал собравшимся на «Симпозионе», то есть «совместной попойке», не вполне верно названной «Пиром». Этот пир задал Агафон, после того как принес жертву богам в благодарность за награду, которой была удостоена его первая трагедия. В полном соответствии со своим сложившимся образом шута Аристофан, на которого в самый неподходящий момент вдруг напала икота, был вынужден на потеху всем пропустить свою очередь выступить с речью. После того как от напасти его избавило чихание, он смог наконец взять слово — как раз перед Сократом. Все происходит, как и должно быть,— секретом человеческой природы владеет комик и раскрывает его на празднестве, устроенном автором плохих трагедий. Впрочем, у Платона, считавшего себя философом, этот парадокс — не единственный.

Итак, вот каким образом Аристофан представляет происхождение древнего человека и его облик, в том числе сексуальную сторону. В те далекие времена люди были трех родов — мужчины, женщины и андрогины. Каждое человеческое существо, внешне похожее на яйцо, было «двойным» — четыре руки, четыре ноги, два лица, глядевшие в противоположные стороны, а главное — два детородных органа на тех частях тела, на которых нынешние люди сидят. У мужчин оба детородных органа были мужскими, у женщин — женскими, у андрогинов — мужской и женский. Почти шарообразная форма этих существ говорила об их происхождении: мужчины были потомками солнца, женщины — порождением земли, а андрогины — луны, которая занимает промежуточное положение, являясь для солнца как бы землей, а для земли — светилом.

Нельзя представить себе ничего более гармоничного, чем это единство, присущее первоначальному состоянию человеческой природы. Человек не был еще разлучен с миром, чью форму — яйцо — он воплощал. Двойные существа, которые не могли размножаться при помощи своих детородных органов, расположенных с двух сторон над ягодицами, были рождены от небесных тел — солнца, луны и земли. К тому же грани, отделяющие людей от богов, не были еще достаточно четкими.

Однако эти двойные существа, которые были, естественно, вдвое сильнее, чем нынешние люди, возомнили себя равными богам, подобно титанам Эфиальту и Оту, которые хотели совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. Столь совершенное единство таит в себе угрозу, ибо ведет человечество прямиком к бесплодию. Действительно, как рассказывает Гесиод, в начале времен Уран (Небо) возлежал на Гее (Земле) и непрерывно оплодотворял ее, мешая тем самым возникнуть иному, новому существу. Крон по наущению матери-Земли оскопил своего отца-Небо, дав возможность творению пойти своим чередом. Но титаны Эфиальт и От, рожденные из упавших в море кусков детородного органа Урана, восстали против богов, желая вновь уничтожить дистанцию между небом и землей, которую столь кровавым образом установил Крон. Оба они пали от стрел Аполлона.

Но вернемся к первым людям. Чтобы покарать их за гордыню, Зевс решил разрезать эти двойные существа пополам, как разрезают яйцо волоском, сделав их таким образом вдвое слабее. После этого Аполлон по просьбе Зевса повернул каждому в сторону разреза лицо и половину шеи и, стянув кожу, зашил открытые раны, от которых и поныне у людей остался маленький шрам на животе — пупок.

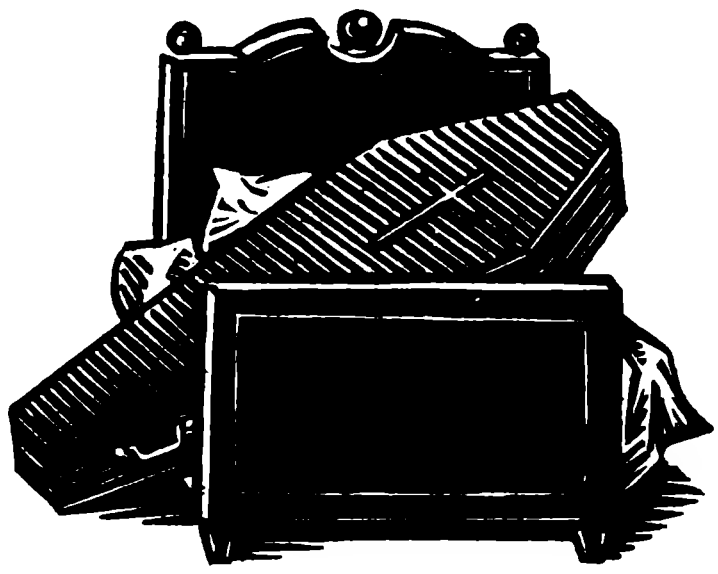
Да, первая разлука, как и все последующие, свершилась насильственным путем. Людей в полном смысле слова отсекли друг от друга, оторвали «с мясом». И что такое любовь, секс, как не поиски своих изначальных половин? Но переусердствовал Зевс — его наказание вело род людской прямо к гибели. Ведь каждое человеческое существо стремилось обрести свою недостающую половину (будь то мужчина-мужчина, мужчина-женщина, женщина-мужчина, женщина-женщина) с таким вожделением и упорством, что, не в силах думать ни о чем другом, в конце концов умирало от истощения. Вот как описывает Аристофан беды и страдания, которые повлекла за собой кара Зевса: «И вот, когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали» [1]. И тогда, чтобы не вымерли окончательно люди на земле, Зевс решил вмешаться.

Он перенес детородные органы «половинок» на переднюю часть тела. Теперь человек, найдя свою половину, мог легко воссоединиться с ней, получая удовлетворение от соития, и при этом у него оставалось время позаботиться о других нуждах, в частности о самых важных — о хлебе насущном

[1] Цитаты даны в пер. С. К. Апта по изданию: Платон. Сочинения в трех томах. М., 1970.

и о продолжении рода. Так была установлена разумная дистанция между насильно разлученными половинами человеческого существа, которые отныне не спаяны неразрывно, но и не разобщены навечно: благодаря соитию становится переносимой разлука в остальное время. Но тоска по первоначальному единению остается в природе человеческой; это и есть, по мысли Аристофана, суть всякого любовного союза: «Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого; чего именно, она не может сказать и лишь догадывается о своих желаниях, лишь туманно намекает на них. И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест со своими орудиями и спросил их: «Чего же, люди, вы хотите один от другого?» — а потом, видя, что им трудно ответить, спросил их снова: «Может быть, вы хотите как можно дольше быть вместе и не разлучаться друг с другом ни днем, ни ночью? Если ваше желание именно таково, я готов сплавить вас и срастить воедино, и тогда из двух человек станет один, и, покуда вы живы, вы будете жить одной общей жизнью, а когда вы умрете, в Аиде будет один мертвец вместо двух, ибо умрете вы общей смертью. Подумайте только, этого ли вы жаждете и будете ли вы довольны, если достигнете этого?» — случись так, мы уверены, что каждый не только не отказался бы от подобного предложения, но счел бы, что услыхал именно то, о чем давно мечтал, одержимый стремлением слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо». Стремление к сексуальному удовлетворению в соитии — ничто в сравнении с этим стремлением к утраченной целостности, которую человек обречен вечно искать вслепую, ошибаясь, и обретать лишь на краткое время.

Но если человеческая любовь во всех ее проявлениях — мужская и женская, гетеросексуальная и гомосексуальная — всегда несет в себе ностальгию по этому гармоничному и нерасторжимому единству, воплощенному в форме яйца, которое символизирует одновременно мир, где небо и земля, люди и боги были некогда нерасторжимы,— тогда легко понять, почему так тяжки горести любви. Расставание, разрыв двух любящих существ — это всякий раз рассечение надвое самой природы человеческой, разрыв между землей и небом, между людьми и богами; это и кара Зевса, разрубившего первых людей, и оскопление Кроном своего отца-Неба, и гибель Титанов, восставших против богов. Все эти раны, всю эту боль ощущает человек, изведав горесть любви, которая есть не что иное, как вечные поиски утраченного единства...



МИШЕЛЬ ДЕЛОН

ИНЦЕСТ: МЕРЗОСТИ И СОБЛАЗНЫ

В финале трагедии царь выходит на авансцену с выколотыми глазами. Дабы искупить чудовищное преступление, он ослепил себя, когда узнал, что убил своего отца и женился на матери — «самое постыдное, что только может совершить человек». Корифей трагедии Софокл суров к своему герою, который отрекается от власти и удаляется в изгнание. Двадцать пять столетий спустя надтреснутый голос прошепчет нам: «Инцеста остро-горьковатый плод / Lemon incest [1]/ (...) Сладостное дитя / Ты плоть и кровь моя / О, мой малыш, моя душа». От трагедии Софокла до песни Генсбура можно проследить, как видоизменяется в веках восприятие инцеста: от священного ужаса — к насмешливо-восхищенному любованию, от ядовитой горечи смертного греха — к смакованию пряного вкуса запретного плода.

Можно было бы создать классификацию запретов и иерархию скандалов. Так кровосмешение между отцом и дочерью, матерью и сыном смешивает поколения, как бы поворачивая вспять время. Инцест между братьями и сестрами остается в рамках одного поколения, но нарушает принцип экзогамии: он отрицает скорее не ход времени, а законы пространства. Любовь между братом и сестрой может быть ошибкой юности, заблуждением незрелого чувства, которое еще не умеет вырваться из семейного круга. Связь родителей с детьми — грех куда более серьезный, ибо здесь речь идет об ответственности взрослых.

Каждое общество, каждая религия выработали свои рамки и свою систему запретов. Порой они простираются на весьма отдаленное родство и даже за пределы кровных уз (отчим и падчерица, молочные братья и сестры). Федра пылает страстью не к сыну, а всего лишь к пасынку; нынешним школярам,

[1] Лимон инцеста *(англ.)*.

читающим Расина, трудно понять, почему охвачен таким ужасом юноша и с какой стати кончает жизнь самоубийством его мачеха. Для антропологов и психоаналитиков отношение к инцесту, его валоризация — запрет — лежит в основе всей нашей личной и общественной жизни. In-ceste, буквально «не-чистый», проводит грань между упорядоченным существованием человека и животным хаосом, принятием определенной системы ценностей и утратой всяческих ориентиров. Но в то время как закон формулирует границы дозволенного и меры наказания, поэтическая мысль спешит поведать нам об искушениях и терзаниях, об извечной тяге к запретному плоду. Имя Эдипа стало нарицательным. Одновременно мифологический персонаж, комплекс и основополагающее понятие, он будит воображение, дает мощный толчок фантазии. Несмотря на всеустрашающие сообщения об изнасилованиях на заброшенных фермах и в грязных тупиках, которые мы ежедневно читаем в рубрике происшествий, нас по-прежнему завораживает в литературе то, что Бертран д'Астор назвал в своей прекрасной посмертно изданной книге «высшим запретом».

Сказания о про́клятом семействе действительно тесно связаны с жанром трагедии. Горожанам надлежит регулярно собираться на площади и слушать повесть о бедах, постигших тех, кто осмелился преступить основополагающие законы. Из поколения в поколение цари и наследники отказывались внимать предостережениям оракулов, желая приоткрыть завесу над тайнами или оберегая свою свободу, и этим навлекали несчастья как на свое потомство, так и на подданных. Эсхил создал тетралогию, из которой до нас дошла лишь одна часть — «Семеро против Фив». Лай и Иокаста бросили вызов богам, решившись родить сына, несмотря на предупреждение оракула; Эдип пожелал узнать свое происхождение вопреки грозному предостережению прорицателя. Так трагедия выходит за рамки одного поколения. Затем происходит раскол между детьми Эдипа — становятся врагами братья Этеокл и Полиник, потом брат и сестра — Этеокл и Антигона. Как говорит Жак Шерер, «трагедия всегда поражает трижды».

Самую известную версию мифа мы знаем по трилогии Софокла — «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона». Драма инцеста органично вливается в размышления о месте человека в мире: является ли он властелином своей судьбы? Может ли не повиноваться всеобщему порядку и остаться безнаказанным? Ослушание влечет за собой у Софокла и мерзость инцеста, и ужасы чумы в Фивах — так же в подсознании наших современников причудливо переплелись стремление к свободной любви и страх перед чудовищной эпидемией, поразившей мир в конце XX века. Кара постигает не только Эдипа, но и его потомство, однако фиванский царь остается персонажем двойственным, героем и омерзительнейшим грешником. Преодолев иллюзии власти и собственные желания, он становится в Колоне мудрецом, почти пророком, как будто все пережитое, в том числе ужас инцеста, было не столько роковым преступлением законов, сколько трагическим опытом из тех, что ставит над нами судьба.

Еврипид, вероятно, по-своему переработал миф об Эдипе, но его пьеса, увы, тоже утрачена. Дошедшая до нас драма Сенеки — всего лишь риторический узор, вышитый на той же канве. В XVI веке в свете раскола христианства эдиповская тема приобрела новую актуальность: кто есть фиванский царь — жертва собственных преступных страстей или неумолимого рока? Спор о предопределенности и божественной милости отчетливо слышен в диалогах Антигоны и ее отца, «проклятого еще до рождения», в трагедии Робера Гарнье. Виновен ли Эдип в своем несчастье? Что это — «чудовищное преступление, мерзость» или «участь, воля случая, роковое заблуждение»? Та же тема звучит и в другой трагедии Гарнье, посвященной еще одной античной драме кровосмешения,— «Ипполите». Гарнье изображает чудовищами царицу и ее предков, а Расин вслед за своим предшественником задается вопросом: жертва Федра или преступница, властна ли она над своей страстью, которая толкает ее к неуступчивому пасынку? Корнель еще раньше дал свой ответ, предоставив герою определенную свободу; Эдип, конечно, злоупотребил ею, но он обладает достаточным мужеством — его финальный жест говорит о признании своих грехов, он сумел искупить их. Вольтер окончательно снимает ответственность за кровосмешение с человека, возлагая ее на богов. В его трагедии, написанной в 1718 г., Эдип говорит, обращаясь к «безжалостным богам»: «Мои преступления на вашей совести». «Да устыдятся боги, толкнувшие меня на преступление»,— вторит ему Иокаста. Удар де Ла Мотт и Дюси в том же XVIII столетии предлагают нам еще двух «Эдипов», где царь Фив вновь предстает «виновным без вины, царственным старцем, величественным в своем несчастье». Священный ужас отступает на задний план, трагедия инцеста перестает быть преступлением против богов.

Можно было бы предать забвению александрийские вирши Дюси, который обесцветил Софокла — так же, как он выхолостил Шекспира,— если бы его строки не подсказали де Саду эпиграф к «Жюстине» (Как знать, когда пробьет Господней кары час, / Горчайшая из бед — не благо ли для нас?) и если бы возникшая в Дюси приглушенность трагического мотива на сцене не отвечала искушению человека поддаться соблазну инцеста. Хотя в действительности это, вероятно, случалось в XVIII веке не чаще, чем в любую другую эпоху, но мечта об инцесте, похоже, преследует простых смертных со времен Регентства, когда весь Париж толковал о преступной любви регента и его дочери, до той поры, когда вдову Капета обвинили в порочной страсти

к ее сыну дофину. В эти несколько десятилетий отступает страх перед роком и карой богов, и нарушение запретов становится чем-то вроде пряной приправы к наслаждениям.

Нынешние ученые мужи, конечно, не преминут напомнить, что молодой Аруэ написал «Эдипа» как раз тогда, когда он отрекся от имени своего отца и стал Вольтером, что шестидесятилетний Дидро замыслил рассказ о путешествии в Бугенвиль после того, как выдал замуж дочь и познал боль разлуки с нею. В «Дополнении к путешествию в Бугенвиль» он задерживается на «Новой Кифере», на острове Таити, где гибкие, смуглые тела словно созданы лишь для наслаждений. Несчастье любить, доселе неведомое, вторгается в этот обетованный уголок земли вместе с европейцами, принесшими с собой болезнь и понятие греха. Дидро рисует рай уже потерянный, обреченный на исчезновение. Колонизация начала разрушать этот эдем, где люди ничего не создают, но плодятся и размножаются, где всякий союз имеет право на существование, если он ведет к зачатию. Рамки здесь смещены: запрет распространяется только на не достигших половой зрелости и на перешагнувших порог старости, ибо они бесплодны, а любовь между родителями и детьми вполне допустима, и вырождение не страшит обитателей этого крошечного замкнутого пространства.

Дидро поселил свою дерзкую антиэдиповскую мечту в другом полушарии, Монтескье — в Персии, где в придуманной им общине Гебров братья и сестры любят друг друга пылкой и нежной любовью. Писатели более вольных нравов спешат перенести подобные дерзания под наши небеса. Подлинной эмблемой такого рода литературы могут служить Фелиция, героиня Нерсиа. Юная и доступная, весело проводит она время в особняках и замках, свободно распоряжаясь своим сердцем и своим телом. В главе, названной «Одна из самых интересных в книге», она открывает, что ее очередной любовник — не кто иной, как ее отец, а герой одного из недавних приключений — ее родной брат. Она в отчаянии? Ничуть не бывало: «Кто может мне сказать, что наши связи, неизбежный результат обстоятельств, взаимной склонности и желания, преступны, даже если предположить, что существ, в чьих жилах течет одна кровь, не должны связывать иные узы, те, что соединили меня с отцом, с братом?» Нерсиа — мастер обходить трагическую сторону жизни. А вот Мирабо в рассказе «Поднятый занавес» (с подзаголовком «Или воспитание Лоры») открыто бросает вызов: «Прочь от меня, пустые предрассудки, вы властны лишь над робкими и трусливыми душами!» Лора рассказывает о своем детстве; воспитанная обожаемым отцом, она им же была лишена невинности. «Я выросла без предрассудков,— говорит она,— я слушала лишь зов' природы и лишь ему следовала». Только смерть отца-любовника, которого героиня любила чересчур пылко, разрушает в конце рассказа эту идиллию.

Казанова и Ретиф, быть может, не достигли такой невозмутимой аморальности, однако с возрастом и им довелось вкусить запретного плода инцеста. Казанова спустя годы вновь встречает женщину, которую некогда любил; с ней дочь, Леонильда. Молодая девушка волнует его, чему немало способствует мысль о том, что он, возможно, ее отец. Рассказ об этой встрече в «Истории моей жизни» полон чуть насмешливого лицемерия и тайного восторга, в нем нет и тени сознания своей вины или греха: «Полные решимости не совершать так называемого преступления, мы, однако, подошли к нему столь близко, что почти невольное движение толкнуло нас друг к другу, и мы совершили его с такой полнотой, что действуй мы по велению рассудка и с умыслом, и то не смогли бы совершить большего». В то время как фантастический роман «Икосамерон» знакомит нас с братом и сестрой, любящими супругами в странном бесполом обществе, автор мемуаров, существо отнюдь не бесполое, играет с возбуждающей мыслью об инцесте. Что до Ретифа, то он на самом деле грешил с одной из своих дочерей и в поздних произведениях дает волю своим наваждениям. Приехав юношей из провинции и поступив в ученики к наборщику, он был завсегдатаем парижских злачных мест; что может быть соблазнительнее, чем двадцать лет спустя воображать себя отцом всех юных созданий, пришедших на смену тогдашним девушкам? И Ретиф играет в отца-покровителя, исполненного чувственности, то читая своим предполагаемым дочерям нравоучения, то удовлетворяя с ними свою похоть. А в «Анти-Жюстине» вырывается на свободу самая разнузданная фантазия: якобы желая противопоставить Саду порнографию «жизнеутверждающую», не проникнутую мыслями о роке и смерти, он рисует отца, вскармливающего дочь собственной спермой.

Наступает эпоха, когда буржуазная драма множит сцены «узнавания»: например, сын едва избегает брака с матерью («Женитьба Фигаро») или молодые люди, считавшие себя братом и сестрой, вдруг выясняют, что могут любить друг друга, не совершая смертного греха (последняя часть трилогии Бомарше, «Преступная мать»). Но возвращает инцесту всю его трагическую и роковую силу Сад. Дыханием Софокла, которого так не хватало стихам Дюси, овеяна проза владельца замка Лакост. Жюстина, подавляющая свои желания, и ее сестра Жюльетта, дающая им полную волю,— быть может, это дети Эдипа, Этеокл и Полиник в женском воплощении? Жюльетта находит отца, чтобы обольстить его, забеременеть от преступного союза и в довершение отправить его на смерть. Божья кара обрушивается на невинную Жюстину.

Теоретическое обоснование и оправдание инцеста можно прочесть в романе «Фило-

софия в будуаре»: «Опаснее ли инцест (чем адюльтер)? По всей вероятности, нет; он ширит семейные связи и таким образом укрепляет любовь граждан к отечеству; он диктуется нам первозданными законами природы, и мы не можем этого не чувствовать; ведь наслаждение тем, что нам принадлежит, всегда кажется наслаждением вдвойне». Аргументация завершается откровенной колкостью, характерной для времен революции: «Осмелюсь утверждать, что кровосмешение следовало бы возвести в закон всякому правительству, которому дороги идеалы всеобщего братства». Драма инцеста лежит также в основе двух новелл из «Преступлений любви». Одна из них — «Флорвиль и Курваль» — повествует о злоключениях добродетельной Флорвиль, кровосмесительницы поневоле, согрешившей, не ведая того, с родным отцом и с собственным сыном; последняя же новелла сборника — «Эжени де Франваль» — посвящена торжествующей, сметающей все на своем пути, порочной страсти отца и дочери. В финале смерть настигнет Франваля в чаще Черного леса, над которым бушует гроза,— и в ослепительном блеске молний, словно напоминающих о запрете и божьей каре, предстанет во всей своей красоте и завершенности смертный грех инцеста. Во мраке этой грозовой ночи прячутся чудовища доисторической эпохи наших чувств и нашей культуры, те, что трепетали в греческой трагедии.

Молния, на миг осенившая садовского героя, не оставила камня на камне от Киферы, кровосмесительной идиллии, к которой увлекали нас философы и вольнодумцы XVIII века. Их аморализм превращается в воинствующее отрицание морали вообще, когда XIX век погрязает в комплексе вины. Виргиния умирает, лишь бы не любить Поля, хотя он ей даже не брат; Рене увозит в далекую Америку скорбь по сестре, которую он слишком любил. «Истинный виновник» наказан, в то время как его «чересчур слабая жертва» вверяет свою истерзанную душу Господу; Шатобриан в предисловии называет виновником Рене, а жертвой — Амелию, хотя повесть, казалось бы, говорит нам обратное. Кто же Жюстина и кто Жюльетта? Вот уже два столетия в непроглядной ночи Греха лишь изредка случается нам видеть проблески кровосмесительной утопии Века Просвещения. Они называются: «Человек без свойств», «Дуновение в сердце», «Лимон-инцест»...

ПАТРИС БОЛЛОН

ДОН ЖУАН: ИСТИННАЯ ГОРЕСТЬ ЛЮБВИ

Появление в подборке, посвященной горестям любви, сумрачной фигуры Дон Жуана, казалось бы, априори предстает либо (в лучшем случае, если можно так выразиться) полнейшей нелепицей, либо (в худшем) откровенным и сознательным издевательством, глупее и возмутительнее которого и представить нельзя. Действительно, кто более нечувствителен к сердечным ранам, чем этот «величайший волокита в мире», этот «охмуритель рода человеческого», как характеризует его верный слуга Сганарель; кто более чужд любовных горестей, чем этот юбочник, для которого, о чем он сам цинично заявляет, «главная радость в любви — разнообразие»? Этот, по выражению Дени де Ружмона, «абсолютный антипод Тристана», который ищет в любовном акте «наслаждения через надругательство»,— поистине Люцифер, «демон чистой имманентности», тогда как Тристан — «узник, томящийся по ту сторону дня и ночи». Дон Жуан в этом плане — почти предтеча Сада. Говорить о подобном персонаже в свете высокой темы Любви — все равно что на церемонии, посвященной памяти павших на войне, вспомнить добрым словом какого-нибудь погибшего в бою нацистского преступника. Не следует путать палача и жертву: не на любви строится существование Дон Жуана, а на полном и безоговорочном ее отрицании. Бесчувственный покоритель сердец, в чьей душе, как пишет тот же Ружмон, словно в кривом зеркале отразились две высшие добродетели рыцарской любви — чистосердечие и галантность, превратившись в свои противоположности — подлость и коварство, есть величайший в мире ниспровергатель Любви. Ибо этот распутник не только не верит в Любовь — он ежечасно, ежеминутно оскорбляет ее; его отношение к любви сродни богохульству.

Между тем, для Кьеркегора, который пространно комментирует оперу Моцарта, Дон Жуан в сущности не является человеком, личностью, а лишь воплощением мужской силы, «неутолимого вожделения плоти», наиболее полным выражением «одержимости желанием жить». Здесь нет и речи о каком-либо расчете, корысти, а уж тем более о самоанализе. Эта чистая, грубая, стихийная сила, рожденная по ту сторону Добра и Зла, может быть передана лишь самым непосредственным и одновременно самым абстрактным из всех искусств, которое доносит до нашего сознания вещи и образы такими, какие они есть, во всей их полноте и чистоте, не анали-

зируя и не вынося суждений,— а именно музыкой. Только музыка, извечный объект которой — «эротико-чувственная гениальность», способна естественно и совершенно воплотить ту бездумную силу, из которой строится и к которой сводится фигура Дон Жуана. Отсюда и совершенство шедевра Моцарта — в образе Дон Жуана опера как бы обретает свою высшую сущность. Дон Жуан насквозь проникнут музыкой, он по сути своей «музыкален», музыка — это и есть Дон Жуан. Пытаться выразить Дон Жуана посредством речи, орудия мысли, значит, желаем мы того или нет, неизбежно скатиться к рассуждениям о нравственности, а стало быть — пройти мимо самой сути мифа о великом распутнике; лишь музыке дано отразить эту безудержную силу чувственности, которая только и есть Дон Жуан.

Казалось бы, сказанное лишает смысла все дальнейшие споры о Дон Жуане: Дон Жуан есть — и точка. Однако во все времена у этого персонажа не было недостатка в комментаторах, толкователях и даже защитниках. Для многих — и, как мы знаем, именно этим и поразила и возмутила публику пьеса Мольера — образ Дон Жуана есть лик Бунта. Не признавать Любовь, не признавать Бога, не признавать абсолютизм королевской власти — тесная связь налицо... Дон Жуан, подобно Вальмону из «Опасных связей»,— один из тех «сладострастников», которые, как заметил Бодлер, предвосхитили Великую французскую революцию. А Роже Вайян в своем маленьком эссе о Лакло идет еще дальше, представляя нашего героя чем-то вроде анти-Паскаля, предвестником грядущих социальных битв: «Соблазнитель по убеждению, неисправимый распутник рискует спасением своей души в той же мере, что и материалист: он так же бунтует, бросает вызов всем и вся, отрицает власть и авторитеты, клянется, что никогда не станет молить о прощении (...) Дон Жуан испанского театра и даже мольеровская пьеса — драмы не психологические, но метафизические. Страдания соблазненных и покинутых красавиц здесь отходят на второй план, призванные лишь тронуть чувствительные сердца зрителей; главное же — это трагедия человека, который ставит на карту свое вечное спасение, оспаривая существование Бога». Короче говоря, Дон Жуан — одна из тех «сильных натур», которые везде — в том числе и в любви — воюют с абсолютизмом: человек бунтующий.

Эту же мысль подхватит Альбер Камю, представив в своем «Мифе о Сизифе» Дон Жуана как один из прототипов «человека абсурдного». «А что представляет собой,— спрашивает Камю,— каменный командор, эта холодная статуя, приведенная в действие, дабы покарать осмелившуюся мыслить живую кровь и человеческое мужество? Командор — это совокупность всех сил вечного Разума, порядка, универсальной морали, преисполненного гнева божественного величия, столь чуждого человеку. Гигантский камень — вот символ тех сил, которые всегда отрицал Дон Жуан» [1]. Этот бунт для Камю — «освободительный»; отрицая иссушающую страсть, Дон Жуан «живет иной любовью, той, которая освобождает». Он приносит с собой «новый способ существования, освобождающий его по крайней мере настолько, насколько он освобождает всех тех, кто к нему приходит». «Избрав ничто», Дон Жуан до отказа открывает клапаны, сдерживающие человеческое любопытство. В этом его преступление — чисто иллюзорное. Но поскольку он не в силах полностью освободиться от Бога — и в этом остается «человеком абсурдным»,— «наслаждение завершается аскезой», и Камю видит Дон Жуана на закате жизни, подобно Дону Мигелю де Манара, «в келье одного из затерянных среди холмов испанских монастырей».

Но, безусловно, самую глубокую и в то же время самую современную интерпретацию мифа о Дон Жуане дает Кьеркегор в «Дневнике соблазнителя». Его герой Йоханнес — это Дон Жуан, наделенный, в отличие от героя Моцарта, склонностью к рефлексии. Для него, как и для всех Дон Жуанов во все времена, обольщение — поединок. Но Йоханнеса никак нельзя назвать заурядным соблазнителем, юбочником, волокитой. Он тщательно, не спеша, после долгих раздумий и колебаний выбирает свою жертву. «Вся беда в том,— пишет он,— что обольстить девушку не составляет особого труда, куда труднее найти такую, которая бы того стоила». Действительно, чтобы поединок оказался интересным, противник должен быть на высоте. Кому нужны легкие победы?.. И Йоханнес как истинный стратег ведет настоящую военную кампанию, то «сражаясь на передовой», то из тактических соображений отступая, то заманивая «противника» в ловушку,— так он превозносит перед Корделией, намеченной им жертвой, достоинства ее жениха. Да, искусство обольщения сродни тавромахии... Искусство обольщения начинается для Йоханнеса со взгляда — ускользающего, исподлобья, полного коварства. Обладать телом Корделии для этого соблазнителя не главное, он стремится покорить ее дух. Само собой, его победа будет, как говорится, «подкреплена» ночью любви, но эта ночь станет первой и последней: наутро обольститель исчезнет без следа, оставив после себя лишь горечь воспоминаний...

Известно, впрочем, что так поступали во все века все Дон Жуаны и что этот факт заставляет некоторых комментаторов, например Грегорио Маранона, усомниться в чисто мужских достоинствах Дон Жуана и его аналогов. Маранон отмечает даже, что Казанова с его высоким ростом и юношеским лицом бесконечно ближе к типу евнуха, чем «сексу-

---

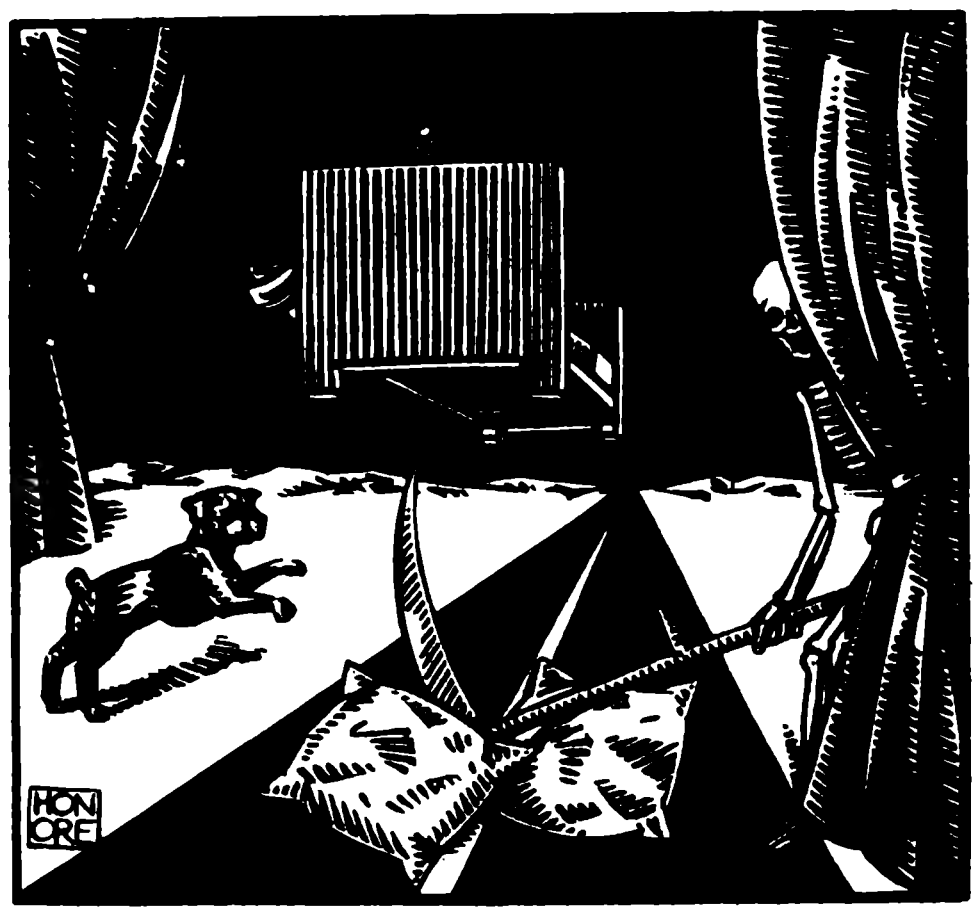
[1] Здесь и далее: А. Камю. Миф о Сизифе. Пер. А. М. Руткевича.— Сумерки богов. М., 1989.

ального гиганта»... Старая песня, недалекая от выкладок психоаналитика: донжуанство якобы отражает извечный тайный страх мужчины перед лицом женственности, а то и гомосексуальные тенденции...

Но кьеркегоровская фигура «соблазнителя» наводит на совсем иную мысль: быть может, именно в этом тяготении к незавершенности, неутоленности и состоит, если можно так выразиться, истинная ценность Дон Жуана. Главное для соблазнителя — не результат, всегда один и тот же, а причудливый, извилистый путь, которым достигается цель. «Нельзя допустить,— пишет Йоханнес в своем дневнике,— ничего преждевременного, неуместного, неэстетичного». Он действует, как настоящий «творец», создавая произведение искусства,— так писатель создает рассказ силой своей фантазии: «Войти подобно грезе в мысли юной девушки — это искусство, но покинуть их — это шедевр». Упоение красотой поединка почти заставляет соблазнителя забыть реальную, осязаемую цель: «Я вовсе не стремлюсь обладать ею в грубом смысле этого слова,— говорит кьеркегоровский герой о Корделии,— мне важнее насладиться ею в смысле артистическом».

Конечно, Йоханнес мог бы жениться на Корделии и прожить с ней жизнь мирно и счастливо, но такому исходу недостает поэзии. «Вся его жизнь,— пишет Кьеркегор в авторском предисловии к якобы найденному им дневнику Йоханнеса,— была лишь попыткой прожить ее так, как он задумал — поэтически». Ибо если соблазнитель бежит в равной мере страсти и утоления желания, то вовсе не для того, чтобы немедленно устремиться к новым победам,— это скорее дань уважения к поэтической и эстетической стороне любви. В сущности, Йоханнесу хочется длить до бесконечности ту стадию любви, которую Стендаль назвал «кристаллизацией». Любовь на всю жизнь благополучно завершится браком, у супружеской четы появятся новые, повседневные заботы. А случись Йоханнесу воспылать страстью — и он тут же утратит подобно Вальмону всю свою легкость, все изящество. Зато, оставаясь всегда «вовне», на периферии желания, он может создать красивую, эстетическую, даже в чем-то «героическую» историю любви. На первый взгляд, он — «победитель», но так ли это? В некоторых письмах проскальзывает зависть к Корделии, к силе ее любви. Быть может, это и есть его единственная истинная горесть...

Уже не раз отмечалось, сколь многое связывает в западной мифологии миф о Дон Жуане с мифом о Фаусте — роковая роль трагического, поистине демонического любопытства действительно сближает их. Но Кьеркегор делает своего героя в Любви больше, чем Фаустом,— это скорее Денди, «теоретик» любовной эстетики, сумевший окружить ее подлинным поэтическим культом. Так что же — Дон Жуан, величайший «осквернитель» Любви, предстает в то же время, как это ни парадоксально, величайшим, если не единственным истинным поэтом?



ИВАН ЛЕКЛЕРК

СТЕНДАЛЬ: IN LOVE AND MELANCHOLY [1]

«Qui giace/ Arrigo Beyle Milanese,/ visse, scrisse, amó» [2]. Анри Бейль сочиняет свою эпитафию в 1821 году, покидая Милан «very in love and very melancholy» [3], чему причиной — прекрасная Матильда, самая глубокая сердечная рана писателя, боль, которая продлится столько же, сколько существует место их встречи,— 1000 лет в стендалевском летосчислении. Отвергнутый влюбленный рисует на полях любовной драмы пистолет, всерьез намереваясь пустить себе пулю в лоб,— правда, по размышлении предпочитает лечь спать... Кто же он — этот француз, назвавший себя миланцем из ненависти к Гренобло, своей отчизне, то есть «земле отца», успокоившийся под надгробным камнем, привезенным из-за Альп, с желанной его сердцу «земли матери» — если его мать и вправду была уроженкой Италии?

«Visse, scrisse, amó» — почему глагол «писать» отделяет «жить» от «любить» в жизни А. Б. (Анри Бейля, или Анри Брюлара), которая столь тесно переплетена с любовью, что сам он говорил: «Любовь всегда была для меня самым важным, вернее — единственным делом»? Если жизнь и любовь неразделимы, где же найдется место писанию? Но ведь есть промежутки, перерывы. Женское имя рано или поздно уступает место другому, и вот уже влюбленный чертит новые инициалы тростью в пыли «над озером Альбано».

---

[1] В любви и меланхолии *(англ.)*.

[2] Здесь покоится Арриго Бейле, миланец. Жил, писал, любил *(итал.)*.

[3] Очень влюбленный и в глубокой меланхолии *(англ.)*.

Истинный Дон Жуан не пишет, предоставляя Лепорелло вести счет его победам. Литературу делают те, кто любит «по-вертеровски», если следовать классификации, предложенной самим Стендалем: «Когда любишь, как Вертер, душа открывается всем искусствам, всем пленительным и меланхоличным впечатлениям». И действительно, проводя день за днем в погоне за наслаждениями и отдавая дань третьему из перечисленных им видов любви — любви плотской, Стендаль, однако, вместе со своим поколением признает себя склонным скорее к тому виду, который он ставит на первое место,— любви-страсти, любви, уточняет он, «какую питала Элоиза к Абеляру», любви невозможной, бессильной.

В начале «Анри Брюлара», перечисляя в почти хронологическом порядке женщин, которых он любил — зачастую безответно,— А. Б. связывает свои неудачи с определенной предрасположенностью натуры, имя которой давно названо учеными мужами: «Я испытал в этом плане все симптомы меланхолического темперамента, описанного Кабанисом (...) Мое привычное состояние — быть несчастным в любви и влюбленным в музыку и живопись». В этой фразе очевидна не просто логическая последовательность, но безусловное подчинение причины следствию, связывающее несчастье в любви с любовью к искусству. «Я был в отчаянии из-за Матильды (...) Я пишу, и это меня утешает».

Желание писать приходит после, когда душа хочет заполнить пустоту — сегодня ее назвали бы депрессией,— столь характерную для меланхолии. Во времена любви к Матильде невозможно было писать ничего, кроме кратких пометок в дневнике да пылких писем. «Сегодня I am too in love [1], чтобы работать». К творчеству располагает лишь та «тихая печаль», что приходит на смену безумству страсти и «сухому отчаянию» разрыва.

В такой глубокой печали рождаются две книги. Это прощание писателя с утраченной любимой. «О любви» — попытка в безличной форме эссе взглянуть со стороны на пережитую страсть к Матильде. «Арманс» — первый роман, опубликованный под именем Стендаля,— был написан за три недели, с 19 сентября по 10 октября 1826 года: сразу после 15 сентября, рокового дня, когда Клементина Кюриаль, Менти, объявила Анри Бейлю о конце их романа. На полях экземпляра Буччи Стендаль напишет: «This book made [2] в отчаянии после полного краха». А чуть ниже: «Нельзя утешиться в горести, но можно развеяться». Это значит: отвлечь ум, найти иной предмет желаний. Позже, в «Воспоминаниях эготиста» (1832), снова состоится прощание с Матильдой, а «Анри Брюлар» (1836), посвященный первым семнадцати годам жизни А. Б., выстроен вокруг его первого большого горя, первой утраты любимого существа — смерти обожаемой матери, когда сыну было семь лет: «Так сорок пять лет назад я потерял ту, кого любил больше всего в жизни».

Итальянский, возможно, родной язык матери, сам собой приходит на ум и для того, чтобы сложить надпись на могильном камне и чтобы выразить свое счастье. Это язык самых сильных страстей, язык любви и смерти.

В «Брюларе» Стендаль отмечает как «ненужный итальянизм» выражение «заниматься любовью» (буквально: «делать любовь»). Итальянский же подсказывает ему и подходящее название для мужской оплошности: «far fiasco». Слово заимствовано у стеклодувов Венеции, которые повторяли «fiasco» — «бутылка» всякий раз, «когда изделие получалось неудачным» (см. Литтре). Стендаль в конечном счете отказался от этого громоздкого кода, однако поначалу он думал завершить «О любви» главой под названием «О фиаско», поместив ее в самом конце, «так, чтобы можно было отрезать ножницами» — это относилось к экземплярам, предназначенным для дам. Ибо тема бессилия — сугубо мужская, и не следует посвящать женщин в такие подробности, равно как и в роковую тайну Октава, «которую он без колебаний доверил бы перед свадьбой отцу или опекуну Арманс», но которая так и осталась неизвестной самой заинтересованной особе.

Фиаско характерно для того темперамента, который всю жизнь был несчастьем А. Б.; этой беде подвержены, как правило, чувствительные и меланхоличные люди: они исчерпывают свою любовную энергию, опережая события в своем воображении, заранее слишком остро переживая чувство. «Если в сердце поселяется крупица страсти, вместе с ней входит в риск «фиаско». Пользуясь стендалевской классификацией, можно сказать, что любовь-страсть препятствует любви плотской. «Чем сильнее, чем безумнее влюблен мужчина, тем отчаяннее усилие, которое он должен сделать над собой, чтобы отважиться столь фамильярно коснуться любимой, рискуя вызвать гнев той, что подобна для него Божеству и внушает ему одновременно безграничную любовь и безграничное уважение». Так мы узнаем в «Арманс» причину прискорбной слабости: срабатывает извечный конфликт между желанием и долгом.

После теоретических выкладок Стендаль в «Воспоминаниях эготиста» показывает нам фиаско, что называется, в действии (глава III). Скорбь по Матильде наделила его, по его собственному выражению, «весьма забавной добродетелью — целомудрием». Чтобы утешить отвергнутого воздыхателя, друзья устроили для него вечеринку, пригласив юную Александрину, начинающую «профессионалку». «Абсолютно ничего не вышло, полное «фиаско». Тому были две причины; правда, Стендаль не называет их непосредственно, но чтение не оставляет сомнений. Во-

---

[1] Я слишком влюблен *(англ.)*.

[2] Эта книга написана *(англ.)*.

первых — другая любовь, утраченная, не познавшая удовлетворения. «Не знаю, почему мне пришла мысль о Матильде, когда я вошел в эту комнату, которую Александрина так мило украшала своим присутствием». Во-вторых — сублимация через искусство, которое, питаясь горестями любви, может, в свою очередь, вызвать новую горесть: «Я вижу Александрину на постели, немного усталую, почти раздетую и в точности в позе герцогини Урбини Тициана». Ничего удивительного, что и Матильду он сравнивает (в «Риме, Неаполе и Флоренции») с героиней другой картины, чей образ неразрывно связан с жестокостью: она «так похожа на прелестную Иродиаду Леонардо да Винчи».

Среди своих приятелей веселых дней, которые подшучивали над его неудачей, Бейль (здесь он транскрибирует свою фамилию «Belle», что значит по-французски «красивая», быть может, желая отыграться, хотя бы в женском роде, за свое уродство) прослыл «Бабиланом» — еще одно итальянское имя, почерпнутое у Казановы. «Так называют в Генуе несостоятельных мужей» вроде Бабилано Паллавичини, знатного генуэзца, жившего в XVII веке, чья жена возбудила судебное дело о расторжении брака по причине бессилия супруга. В известном письме, которое Стендаль написал Мериме, раскрывая ему тайну Октава, речь идет как раз о Бабилане и бабиланизме (здесь итальянский язык будто бы вытесняется английским, указывающим на бессилие мужчины-младенца — baby). «Если ты бабилан, лучше не жениться (...) Бабиланизм делает мужчину робким; если бы не это, лучшим выходом было бы признаться в своей слабости». Но из этого несколько нарочито циничного письма, начинающегося без обиняков словами: «Несостоятельных мужчин куда больше, чем мы думаем», можно больше узнать об адресате, Проспере Мериме — Стендалю должны были быть известны его не столь редкие фиаско (в частности с Жорж Санд, но это случится позже),— чем о загадке «Арманс», романа, целиком построенного на тайне, которая, вопреки ожиданиям, так и не будет раскрыта. Можно, конечно, вспомнить, кроме письма, очень емкие собственноручные пометки Стендаля на экземпляре Буччи: «немощный Октав», «герой взбешен и растерян, ибо ощутил свою мужскую несостоятельность; он убедился в этом, посетив заведение мадам Августы сначала с друзьями, потом один», «он решается признаться, что страдает физическим недостатком подобно Людовику XVIII, г-ну де Морепа, г-ну де Турнелю». Но все эти откровения, хотя они и составляют теперь неотъемлемую часть творчества Стендаля, вынесенные в приложение к «Арманс», все же роману не принадлежат. Как очень верно заметил Жерар Женетт, «этот роман — быть может, единственный в литературе пример произведения-загадки, ключ к которой находится *вне его*».

Читатели «Арманс» не уставали подбирать к загадке свои ключи, изготовленные на выбор всеми известными человеку науками, так что в конце концов получилась весьма внушительная связка. Что это за «клятва никогда не любить», определяющая всю жизнь Октава? Почему бежит он от своей кузины Арманс де Зоилофф, которую помимо своей воли любит и которой любим? В чем его «страшная тайна», почему он — «чудовище»? Что было в «десяти строчках» письма-признания, которое Октав написал, но затем разорвал? Какие только гипотезы ни выдвигались, и все как будто находят подтверждение в тексте: онанизм, импотенция как метафора политического бессилия молодого человека времен Реставрации, «расщепление желания» между девицами и кузиной, внушающей *слишком* глубокое почтение, слишком приближающейся к сестре или обожаемой матери (так сам А. Б. посещал одновременно «любовницу, которой обладал, и любовницу, которую обожал»), клинический случай маниакально-депрессивного психоза, бессилие как результат склонности к самоанализу, убивающей чувство и притупляющей способности к наслаждению...

Недавно Доминик Фернандез в предисловии к новому изданию романа вновь выдвинул уже известную гипотезу о «гомосексуальном отвращении к женщинам»: Октав будто бы «гомосексуалист и импотент одновременно, он бессилен с женщинами, так как питает склонность к юношам». Действительно, врачи, к которым обращалась мать Октава, «сочли его мономанию совершенно *нормальной*. Именно так они выразились, стало быть, дело не в физическом недостатке, а во влиянии какого-то чудачества».

Доминику Фернандезу, как и другим критикам, почти удалось убедить читателя своими рассуждениями. Но вот заключительная фраза: «Табу (гомосексуализма) было столь сильным, что понадобилось почти два столетия, чтобы проникнуть в тайну Октава». Однако, возвращаясь к роману, мы видим, что тайна по-прежнему неприкосновенна и непроницаема. Ибо речь идет не о тайне Октава, а о тайне «Арманс». Загадочен не герой, сам роман — загадка без разгадки, головоломка без ключа, без решения. «Загадочная прозрачность»,— говорит Женетт. Скорее просвечивающая непроницаемость. Это и есть «чернота в душе», которую ощущает Октав, его приступы «черного настроения», то есть этимологически — меланхолии. Октав де Маливер — сын своего века, века «волны страстей», тех, что «без цели и без предмета» (Шатобриан). Меланхолия без определенной причины, так и не раскрытая тайна: написав «Арманс», Стендаль создал своего «Рене» (этим образцом он безмерно восхищался, в то же время почти ненавидя, и перечитал его в 1819 году, во время любви к Матильде: «Read «René» with the подобающей

грустью, thinking to M. [1]», с той лишь разницей, что тайна на сей раз принадлежит мужчине и он не приоткрывает ее в конце, как Амелия, оплакивающая свою «преступную страсть». Да, это «Принцесса Клевская» или «Рене», но без разгадки. Возвращаясь в Париж, отвергнутый Матильдой, Стендаль прилагает все силы к одной цели: не быть разгаданным. Того же добивается он в своем первом романе — не дать читателю проникнуть в тайну.

Написанная в печали, «Арманс» (красивое название, в котором слышится arme — по-французски «оружие», arm — по-английски «рука», это руки Арманс, и amant — по-французски — «любовник») возвращает читателю его собственную тихую, беспричинную меланхолию и раскрывает глаза на его же бессилие. Роман обращается только к чувствам, как музыкальная фраза или картина, а не к разуму, как послание, поддающееся расшифровке. Выйдя из невозможности любить, он к ней же и возвращается, ибо автор в конечном счете испытывает на себе воздействие этого бессилия, которое он задался целью описать и которое равно ввергает в упадок чувства героя, читателя и роман: «Making this novel J was very [2] меланхоличен». «Я вынужден оставить эту книгу из-за impuiss of making» [3]

ФЛОРАНС САРРОЛА

БЕЗУТЕШНАЯ ПЛОТЬ, ИЛИ ГОРЕСТИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Приходится, увы, признать очевидное: героини Бальзака, Мопассана, г-жи де Лафайет познали радости любви лишь в той мере, в какой их дарили им ночные грезы на их не согретых плотскими утехами ложах. Мораль, честь, добродетель — не было недостатка в путах, обуздывавших «низменные инстинкты» этих целомудренных дам. Но не было бы счастья, да несчастье помогло — оно наделило их даром страсти. И хотя тела их чаше всего так и не пробуждались для любви, зато как красиво сжигали они в ее огне свои души и жизни! Быть может, лишь в этом и взяли они верх над извечно торжествующим Создателем, который не мог предвидеть, насколько эти женщины обогатят Любовь... и литературу.

Классический (и неизбежно трагический) пример — конечно же, история принцессы Клевской. Выданная замуж по расчету за нелюбимого человека, она без памяти влюбляется в герцога Немурского. Но тщетно будет он домогаться ее. Весь его пыл не сможет сломить добродетель принцессы. И если она в конечном счете открыто признается в своей страсти, то именно для того, чтобы вырваться из его когтей. Нет, мы не собираемся ставить под сомнение безупречную порядочность принцессы Клевской, но не кроется ли здесь иная причина, заставляющая умолкнуть (окончательно ли?..) самую пылкую страсть — нестерпимый страх перед агонией любви?

«Могу ли я не понимать,— говорит она неотразимому герцогу Немурскому,— что вы рождены для любовных побед и наделены всеми достоинствами, чтобы их одерживать? Вы уже пережили не одно увлечение, будут и новые; мне суждено увидеть вас с другой таким же, каким вы были со мной. На мою долю выпадут невыносимые терзания, как могу я надеяться, что не испытаю мук ревности?»

С неутоленным огнем в крови и незаживающей раной в душе принцесса Клевская удалится в монастырь, став причиной гибели своего супруга, который умрет... да-да, именно от ревности, после того как она откроет ему тайный грех, поселившийся в ее сердце. Что же до герцога, то он в конце концов забудет возлюбленную — память у мужчин короткая, и ее образ навсегда затеряется в потоке других воспоминаний...

Младшей сестрой принцессы Клевской можно назвать рожденную два столетия спустя г-жу де Морсоф из «Лилии долины» Бальзака. От природы более хрупкая, чем героиня г-жи де Лафайет, она тоже отдана нелюбимому мужу, который, увы, не обладает достоинствами принца Клевского: единственное, что сделал для своей супруги этот желчный, подверженный приступам ипохондрии домашний тиран,— подарил ей двух слабых здоровьем детей. Ожидая признательности за свою верность, добродетельная сверх всякой меры Анриетта де Морсоф без колебаний жертвует всем своей требовательной семье.

Но вот в ее лишенную будущего жизнь внезапно входит Феликс де Ванденес, весьма дурно воспитанный юноша, истосковавшийся по материнской ласке, и приносит с собой невыносимые страдания для бедной Анри-

[1] Читаю «Рене» с ... думая о М. *(англ.)*.
[2] Сочиняя этот роман, я был очень *(англ.)*.
[3] Бессилия творить *(англ.)*.

етты. Этому молодому человеку она подарит себя в мечтах, и ей суждено будет испытать именно то, чего она больше всего боялась: Феликс покинет ее, чтобы вкусить радостей плоти с другой, ибо, как все мы знаем, мать и любовница редко совмещаются в одном лице..

И, подобно принцессе Клевской, она тоже признается однажды тому, с кем согрешила лишь в своем воображении: «Если бы я принадлежала пылкому и страстному молодому человеку, имеющему успех у женщин, я едва ли смогла бы его удержать. Он покинул бы меня, и я бы умерла от ревности. Да, я ревнива». И Анриетта действительно умрет от ревности в полном смысле этого слова, поведав Феликсу в трогательном прощальном письме о жестоких терзаниях своей плоти: «Что же есть наслаждение? Взгляды, которыми мы обменивались, почтительные поцелуи, которыми вы покрывали мои руки, моя ладонь в вашей, нежные интонации вашего голоса — любая мелочь волновала меня так сильно, что глаза мои застилало пеленой и слух наполняли протестующие голоса мятежных чувств».

— О бедная пылкая Анриетта! До чего бесчеловечен Абсолют...

В этой череде слишком добродетельных женщин есть, однако, исключение — Луиза де Макумер из «Переписки двух молодых жен» все того же безжалостного знатока женского сердца Оноре де Бальзака. Воспитанная, как и все ей подобные, в монастыре, Луиза слишком влюблена в Любовь, чтобы устоять перед ее зовом; она устремляется в наслаждения без оглядки, со всем пылом юности. Сведя в могилу своей непомерной требовательностью первого мужа — испанца, безумно в нее влюбленного, она в свою очередь сама влюбится страстно и тоже познает муки ревности (кстати, беспочвенной), которые окажутся для нее роковыми. Но ей, в отличие от других, удалось хотя бы перед смертью изведать плотские радости и пережить всеобъемлющую, всепоглощающую, благоговейную страсть...

Что до ее подруги Рене де Л'Эсторад, то, пожалуй, ее одну из всей этой галереи женщин можно было бы назвать победительницей. Но какою ценой... Слишком трезвая по натуре и озабоченная превыше всего своим здоровьем, Рене сознательно отказывается от любви (которую она, однако, тоже переживет, читая письма Луизы и следя за ее приключениями). Сама же она выходит замуж за человека, к которому питает лишь спокойную дружбу (!), и подлинно расцветает в материнстве, познавая истинную страсть. Что для Рене наслаждение? «Произвести на свет дитя,— пишет она Луизе,— это само по себе ничто, но кормить его своей грудью — это словно вновь и вновь производить его на свет ежедневно, ежечасно. О Луиза, никакие ласки любовника не могут сравниться с нежным прикосновением этих крошечных розовых ручек, цепляющихся за жизнь...»

Ах, материнство! Сладостное прибежище для женщин, любовь безраздельная и беззаветная, но и самая коварная, ибо дети порой куда более неблагодарны, чем возлюбленные. Чтобы убедиться в этом, достаточно продолжить нашу галерею, обратившись к Мопассану. И вот перед нами страдалица Жанна, Жанна из романа «Жизнь», каприз причудливого воображения писателя, воплощение мечты. Юная девушка, сразу по выходе из монастыря выданная замуж за формненного мужлана, грубо изнасилованная в первую брачную ночь, она все же неожиданно для себя открывает радости плотской любви во время короткого свадебного путешествия. Едва вернувшись домой, Жанна узнает об измене своего неразборчивого супруга, польстившегося на крестьянские прелести ее служанки и молочной сестры. Это открытие вызовет в Жанне неодолимое отвращение к физиологии, и она весь свой пыл перенесет на единственного сына, став поистине фанатичной матерью. Но и сын тоже покинет ее, обобрав до последней нитки. Не нашедшая счастья ни в супружестве, ни в материнстве, Жанна, упорно отказываясь похоронить утраченные иллюзии, останется доживать свои дни одна с тягостным чувством недоумения.

Вот так, то воодушевляясь, то отчаиваясь, переживают свои мистические романы эти неисправимые мечтательницы, пленительные недотроги, слишком влюбленные в Абсолют. Но мы не можем закончить, не упомянув напоследок о горестях женщин, чья добродетель — не глубинное свойство натуры, а лишь дань условностям. В повести под названием «Силуэт женщины» Бальзак не без язвительности рассказывает о переживаниях маркизы де Листомэр, которая лелеет собственную добродетель, заботясь о поддержании в свете своей безупречной репутации. Однажды на балу она встречается с блестящим светским щеголем Растиньяком; тот бросает на нее несколько пристальных взглядов и на другой день по ошибке отсылает ей любовное письмо, предназначенное другой женщине. Прочтя это послание, маркиза отправляется на очередной бал, полная решимости испепелить наглеца презрением, но, не встретив его там, начинает неотступно думать о нем и в конце концов влюбляется. Через некоторое время Растиньяк сам со смехом рассказывает ей о своей рассеянности. Смертельная бледность заливает лицо маркизы, однако ей удается сохранить достоинство. С тех пор в свете ее больше не видят. После пережитого унижения она не встает с постели...

Итак, какие бы трагедии оно ни порождало, плотское желание, утоленное или затаенное, властно предъявляет свои права. Можно лишь со вздохом повторить вслед за Кокто: «Коль скоро эти тайны выше нашего разумения, притворимся, будто мы сами их выдумали»...

Перевод Н. ХОТИНСКОЙ

ЖАН БОРИ

КОНЕЦ ВЕКА: БЕДСТВИЯ ЛЮБВИ

Среди писателей второй половины девятнадцатого века мы находим несколько пылких защитников женственности: Мишле, старец, обожавший все в своей Атенаис вплоть до самых глубинных тайн ее физиологии, написал «Любовь» и «Женщину» во славу пола, который он считал прекрасным за то, что в нем — в его глазах — было больше естественности; Золя, пятидесятилетний муж, без памяти влюбленный в молодую мать своих детей — Денизы и Жака, воспел в «Плодородии» апофеоз материнства. И для того и для другого сексуальная сторона жизни — вещь бесконечно серьезная, одновременно опасная и святая. Хотя в любой момент сексуальность может привести к крайней извращенности, она остается выражением мощного, естественного, жизненно необходимого импульса — и этим она прекрасна. Для Мишле и Золя женское чрево — дароносица жизни — предмет глубочайшего поклонения, и сальные шутки здесь неуместны.

Однако не все их собратья по перу разделяли подобные чувства. По свидетельству братьев Гонкур, оставивших нам подробные записи-отчеты о вечеринках, на которые собирались по заведенной традиции литературные холостяки в 60-е и 70-е годы XIX века, разговоры за столом велись поразительно откровенные и грубые. Конечно же, то были беседы людей, возбужденных хорошим обедом, беседы после застолья, болтовня курительных комнат. Но разве это причина, чтобы не прислушаться к ним?

Испытываешь некоторое удивление, знакомясь с рассказами об этих подвигах. Оказывается, некоторые из этих людей совершенно не похожи на свои книги. 5 мая 1876 года после рыбного супа буйабеса (не слишком ли острого?) прошел импровизированный коллоквиум о женщинах и сексе. И тут-то молодой Золя — будущий моралист — показывает свое двуличие (или угодничество?): «Нет, нет! Говорю вам, я совершенно безнравственен. Я переспал с женами моих лучших друзей. В любви у меня, решительно, нет никакого чувства нравственности». До глубины души поражает то, что пальму первенства в похотливости приходится отдать ангелоподобному автору «Писем с моей мельницы»: «Все женщины, которые у меня были,— подхватил Доде,— отдавались мне с первой же встречи, а заполучал я их, говоря непристойности, грубости, отвратительные и похабные слова...» В противоположность ему Флобер, подтвердив свое широко известное пристрастие к борделям и проституткам, оказывается также и человеком в высшей степени сентиментальным: «Что все это,— воскликнул Флобер, прижав локоть к груди,— по сравнению с рукой любимой женщины, рукой, которую на мгновенье можно прижать к груди, когда ведешь даму к столу?»

Усердные читатели «Воспитания чувств», возможно, сопоставят вышесказанное с подобным разговором — но в значительно более мягких выражениях — из 5-й главы первой части книги. Приглашенные на обед друзья Фредерика постепенно перешли к разговору о женщинах: Пеллерен ни во что их не ставил (он предпочитал тигров); неисправимый Фредерик мечтал о романтических андалузках. Юссоне восхищался богемой; когда же пришел черед Дюссардье, наступила тишина. «Ну, что же,— сказал он, краснея,— я бы хотел всегда любить одну и ту же, всегда!»

Может быть, Флобер тот же Дюссардье, заядлый садовод, взращивающий нежный голубой цветок? Но ведь была та знаменитая ночь на берегу Нила в Верхнем Египте на ложе прославленной куртизанки: фантастический, невероятный эпизод из жизни, к которому Флобер постоянно возвращается в своих рассказах, но сотрапезники не в силах выслушивать эту историю в сотый раз («Да ладно, Флобер! Оставь, все это литература!»). Однако предоставим Эдмону Гонкуру возможность упорядочить сказанное и выделить главное:

«Подведем итог.

Тургенев — грубая и тупая свинья, с усердием подражающая свинству других.

Доде — свинья болезненная, с внезапными вспышками в мозгу, что в один прекрасный день может привести к сумасшествию.

Флобер — лжесвинья, называющая себя свиньей и делающая вид, что он свинья, дабы быть на высоте настоящих непритворных свиней, коими являются его друзья.

Ну, а я (я, Эдмон де Гонкур), я свинья с перебоями, с приступами мерзости, выражающимися в исступлении плоти, укушенной сперматической букашкой».

Итак, как вы видите, они обвиняют не женщин, а самих себя. Эти откровенничания схожи с хвастовством, но также и с очень личной исповедью. С полным смирением они признают себя закоренелыми свиньями, признаваясь в своих бесспорно мерзостных поступках. Они оценивают себя по достоинству: свиньи (и тем довольны? Но это уже совсем другая история!), и как забыть об этом, когда имеешь твердое намерение любить. Ведь по

сути дела они — эти похабники и состарившиеся трубадуры — еще хотят любви или, по крайней мере, испытывают ностальгию по этому чувству.

С трудом можно представить себе, как при таких настроениях все эти писатели населяют свои произведения торжествующими влюбленными, страстными и удовлетворенными. Прошло время Жюльенов Сорелей и Фабрицио дель Донго. Их потомки предоставляют героине право взять на себя риск фанатической страсти, переживаемой до конца, до рокового исчезновения удручающей и возвышенной иллюзии. Эмма Бовари — первая в ряду этих героинь, с нее, как ее бледное подражание, будут лепиться образы Жермини и Жанны.

Риск поддаться страсти, который мужчины по-настоящему на себя не берут (чтобы понять это, достаточно сравнить осторожного Фредерика и отчаянно безрассудную Эмму), возвеличивает женщин: только они, женщины, при полной несостоятельности буржуазной жизни имеют трагическую возможность действовать, и это простое наблюдение позволяет отвергнуть обвинение в женоненавистничестве. Не стоит, однако, делать поспешные выводы: стремление к возвышенному, все еще сохранившаяся вера в невозможное не превращают женщин в существ безоговорочно восхитительных. Только у Бодлера Эмма Бовари вызывает безграничное восхищение, но и он, не переставая восхищаться ею, не может удержаться, чтобы не наделить ее мужскими чертами («...несмотря на все старания, свойственные его артистической натуре, он (Флобер) не сумел избежать того, чтобы не влить мужскую кровь в свое создание, и... мадам Бовари в том, что относится к самым энергичным, самым тщеславным, а также самым мечтательным проявлениям сторон ее характера, все же остается мужчиной»). Для менее склонного к восторгам читателя Эмма предстает как существо двуличное, незаурядное и глупое, а бесстрашие, с которым она стремится к страсти, не может полностью затушевать смехотворность ее попыток. Невозможно, таким образом, закрыть досье, не изучив все документы, не истолковав Бовари при помощи других героинь: Розанетты, Дамбрез и Ватназ.

На деле только эти героини, кажется, поддерживают веру в любовь, но стоит посмотреть, каким образом они это делают. Для героев великой романтической традиции страсть была неотъемлемой частью Абсолютов, заставлявших порвать с окружающим миром: им невозможно следовать, если не пренебречь тем, что твои поступки могут скомпрометировать тебя в глазах общества. Страсть существует только в разреженном воздухе, в полном одиночестве: современные постановщики «Тристана» в кино перенесли Жана Маре и Мадлен Солонь на сверкающие и безжизненные высоты Альп. Женщины не склонны к столь неоправданному разрыву с миром. Но они хотят еще и страсти в придачу, не поступаясь при этом ни на мгновенье такими недостойными максимами: не витать в облаках, не терять головы, все видеть в истинном свете. С полнейшей невозмутимостью женщины проявляют себя одновременно мечтательницами и хорошими кассиршами. Все одно, что куртизанка Розанетта, что вдова банкира госпожа Дамбрез: «У нее была своеобразная манера играть на рояле, правильная и жесткая. Склонность к спиритизму (госпожа Дамбрез верила в превращение душ в звезды) не мешала ей прекрасно вести счета (...). Она (Розанетта) становилась серьезной, а перед тем, как лечь в постель, всегда выказывала немного меланхолии, напоминая кипарис у входа в кабаре».

И у по-детски кроткого Мопассана тот же упрек, высказанный теми же словами: «Их мать была женщиной, любившей порядок, немного сентиментальной экономной мещанкой с нежной душой кассирши».

Здесь писатель уже не удивляется и не гневается, никакого сарказма в описании этой нежной и практичной женщины: сентиментальность просто присуща от природы характеру кассирши, характеру женскому, мещанскому. Все они притязают на то, чтобы любить, не теряя, однако, «чувства реальности». Очевидную причину этого безжалостно вскрыл Флобер. За столь жестокой фразой о «кипарисе у двери кабаре» следует: «И он (Фредерик) понял, в чем дело (почему у Розанетты серьезное и меланхоличное настроение): она мечтала о замужестве, и она тоже». Итак, все они, женщины, в большей степени мещанки, чем проститутки. Мещанки, прекрасно приспособившиеся, «любящие жизнь и с уважением относящиеся к смерти» (Мопассан); при этом у каждой в их столь упорядоченной жизни отведен уголок для мечты: шкатулка с засохшими цветами, перевязанная шелковой ленточкой пачка писем, романтическая картинка... Впрочем, в Realpolitik [1] они могли бы дать сто очков вперед какому-нибудь Бисмарку.

Итак, вот правда о страсти, с которой женщины упрямо связывают свое своеобразное величие: обостренное чувство собственности, и больше ничего. Он, мужчина, не самообольщается, не строит иллюзий о самом себе, готов признаться в своих мерзких поступках, готов пойти на мировую, не обращая внимания на досадные жизненные неприятности. Но женщины, одержимые лицемерки, никогда не скажут правду о своей любви, которая вся — тирания, ревность, претензия на исключительность. За рамками сего идиллического пейзажа, этого дуэта трубадура и принцессы, в котором последние играют свою извечную роль, на фоне усыпанного звездами туманного неба женщины неустанно стремятся к одной-единственной цели и никогда не отклоняются от нее: опутать добряка и заполучить его в полное владение. Удручающая

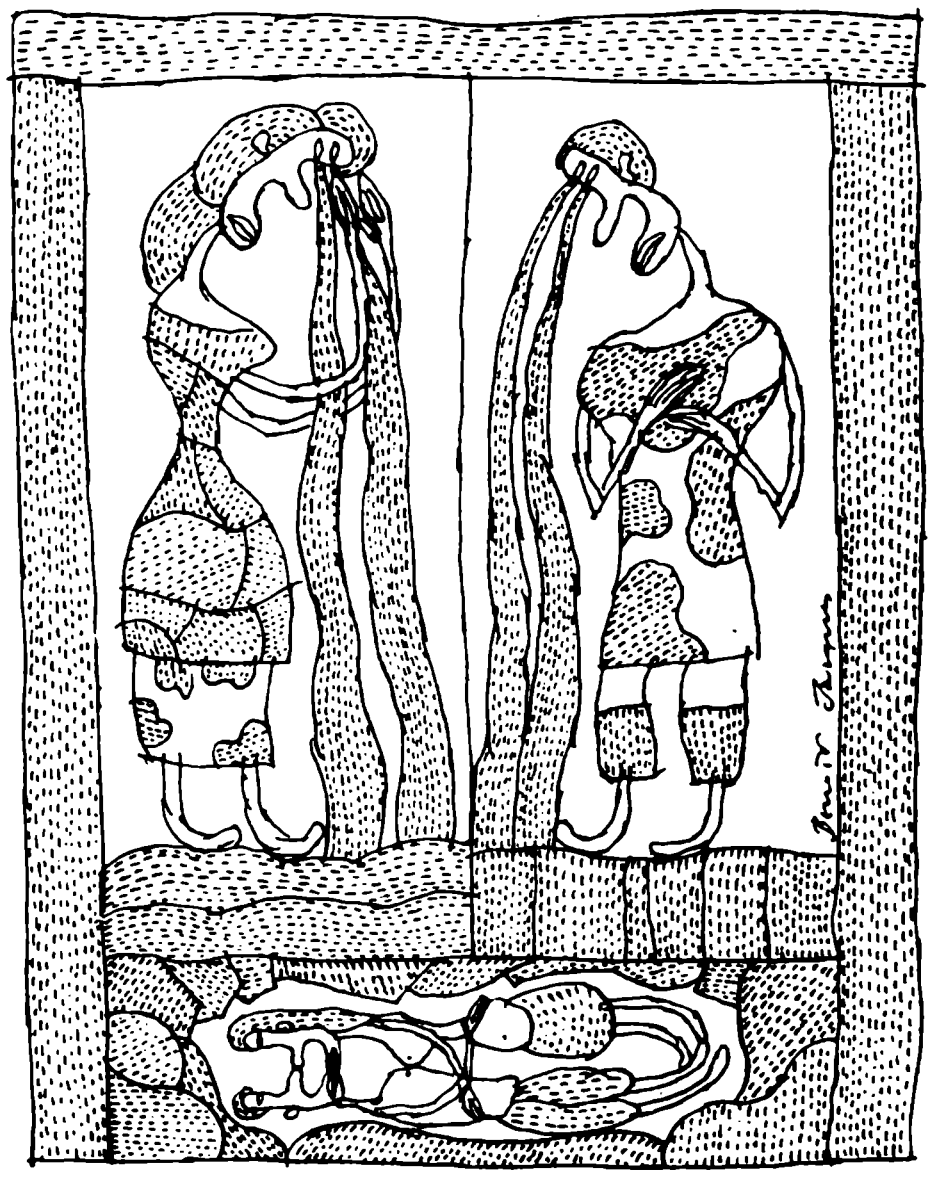
[1] Реальная политика *(нем.)*.

обсессия — достойное оправдание для воздержания и целибата.

Но, по правде говоря, было бы преувеличением считать, что мужчины этой эпохи ненавидят женский пол. Конвульсивное отступление холостяка перед женщиной — в большей степени выражение грусти и удрученности, чем ненависти, нечто вроде отхода на цыпочках, предосторожность скептика по отношению к крайностям и жестокостям фанатика. Конечно же, они удаляются от женщин, но главное то, что они не хотят больше любви, любви в этом бренном мире — любви в сортире, как грубо скажет Селин. Женщины же, напротив — во всяком случае, именно так это понимают мужчины,— просят и просят любви, все больше и больше, всегда. Женщины не выносят старения, в то время как мужчины раз и навсегда решили никогда более не быть молодыми.

К чему они и прилагают все усилия, правда с сомнительным успехом. Борьба с любовью представляет странную аскезу, ставит их на особое место в истории литературы. Аскеза состоит в том, чтобы, сохраняя желание про запас, сделать его частью культа воспоминаний, «зеленого рая», просто рая, излить в фантазиях, превратить в литературу, а не по-настоящему принести в жертву. Это в той же степени означает бальзамирование чувства, как и отречение от него.

Отказ от желания, от страсти дает им возможность оставить в стороне вопрос о прекрасном поле. Ибо я сомневаюсь, что их рассуждения о женщинах, созданные ими женские образы, какими бы запоминающимися и значительными они ни были, могли их действительно удовлетворить: фантазии цепляются за женский остов, как летние облака за вершину Сервена, а нет ничего монотоннее фантазий. Быть выше ужасов любви и получить передышку — вот, по всей видимости, их тайное стремление. Оставим любовь в стороне, оставим мерзости другим, не художникам, тем, кто женится, делает детей, убивает соперников из револьвера, а между писателями, между просвещенными, давно повесившими гитару на гвоздь, давайте уладим все, как пай-мальчики. Эта утопия малоосуществима. Сохраняя загадочность, женщины предпочли не отвечать. Добродушный тон писем Флобера к Жорж Санд кажется мне надуманным, и я бы гроша ломаного не дал за их чистосердечие и искренность. Двадцатью годами ранее в письмах к Луизе Коле Флобер был гораздо искреннее, и за тягостными обязанностями любовного рвения явно проглядывала рука, предлагающая дружбу (что не исключало разумно распределенных постельных встреч). Но больше всего сходны с письмами Флобера Луизе письма, написанные Селином своим любовницам в тридцатые годы. Еще совсем недавно, в 1968 году, шум, поднятый вокруг идеи сексуальной «свободы», казалось, объединил на мгновенье в порыве либерализма, отрицающего ограничения и нормы, наконец-то примирившиеся полы: было ли это восходом зари или всего-навсего эпизодом в старом конфликте, готовом вновь вспыхнуть в любой момент?



АЛЕН БЬЮЗИН
ПРУСТ: АТМОСФЕРА РЕВНОСТИ

«Нежно обнимаю Вас и Ваших сестер, кроме той, у которой ревнивый муж. Ведь когда-то и я был ревнив и потому с уважением отношусь к ревнивцам, и мне не хотелось бы причинять им и тени неприятности или же вызвать у них подозрения или досаду». Так писал Марсель Пруст своему дорогому Рейнальдо Хану, столь страстно любимому им со встречи летом 1894 года в Ревейоне, замке Мадлен Лемэр. Письмо написано летом 1896 года в Мон-Дор, где Пруст находился со своей матерью на лечении. Итак, покончено! Как будто бы он больше не ревнует! Беззаветное самоотречение, невероятное самоотречение (что, впрочем, должно было бы серьезнейшим образом встревожить Рейнальдо), ведь Пруст профессиональный ревнивец, как бывают профессиональные игроки и мошенники. Ревновать, сомневаться и не доверять — вот что такое любить, по мнению Пруста. Если Марсель начинает питать доверие к другому человеку, это означает, что он охладел к нему. Лишь подозрения разжигают любовную страсть. Итак, ревность для Пруста не просто проявление любви или же ее возможное патологическое последствие, в ней проявляется его человеческая натура, какой бы мрачной и ядовитой она ни казалась. «Если бы у нас не было соперников,— писал Пруст в «Обретенном времени»,— удовольствие не пере-

росло бы в чувство любви. Если бы у нас не было соперников, или если бы нам просто казалось, что их нет. Ведь совсем не обязательно, чтобы они существовали в действительности. Для нашего блага было бы достаточно той иллюзорной жизни, которую создают для несуществующих соперников наша подозрительность и наша ревность».

И в самом деле, длинное письмо, написанное в конце августа 1896 года, создает впечатление, что Марсель сожалеет о своем прошлом неблаговидном поведении и кается. Он обещает, что не будет более досаждать Рейнальдо своими каверзными и полными подозрений вопросами, изводить бесконечными недоброжелательными расспросами и возводить напраслину, ведь это так бестактно: «В будущем больше никогда ничего мне не говорите, раз уж это волнует Вас». Отныне он будет весь кротость и доброжелательность: «Вам никогда не найти более нежного, более снисходительного (увы!) исповедника, столь мало унижающего Вас, ибо, хотя Вы и не просили его о молчании, как он просил Вас о признании, скорее душа Ваша — исповедальня, а он — грешник, ведь он столь слаб, слабее Вас. Не беда! И простите, что из эгоизма заставил Вас страдать, ведь в жизни и без того достаточно горя». Конечно же, мимоходом Пруст настойчиво советует Рейнальдо ни в коей мере не тревожиться о причиненной ему (Прусту) боли. «Это было бы слишком самоочевидно»,— жестоко добавляет автор с тем, чтобы создать чувство вины у своего адресата — в тот самый момент, когда он, казалось, уже отпустил ему грехи и признал невиновным,— в полном соответствии с макиавеллевским вероломным и извращенным способом ставить все с ног на голову, к которому он постоянно прибегает и которым злоупотребляет во всех своих письмах. Иначе говоря, здесь ярко проявилась натура самого Марселя в той мере, в которой ревнивец является несравненным специалистом в эпистолярных вывертах. В конечном счете Пруст, по-видимому, прощал другим лишь с тем, чтобы заставить их глубже проникнуться чувством вины.

Но если Пруст тем не менее считает себя обязанным пойти на попятную, так это потому, что он зашел далеко, слишком далеко в отношениях с Рейнальдо Ханом, который 20 июня того же года, на свое несчастье, торжественно пообещал обо всем ему рассказывать. Никогда нельзя давать подобных обещаний ревнивцу, который сразу же стремится идти напролом и необдуманно использовать ситуацию. Влюбленный немедленно превращается в наихудшего инквизитора, надменного и циничного. Он постоянно задает вопросы и ведет расследование. Ведь сам ревнивец столь скрытен и лжив, выказывает столько недоверчивости и хитрости, дабы получить необходимые ему сведения, что он даже и предположить не может, что его возлюбленный может быть кем-то иным, кроме как гнусным притворщиком, которого необходимо перехитрить и вывести на чистую воду. В любом признании ревнивец видит обман. Мельчайший секрет уже предательство. Явную искренность он воспринимает как самое изощренное лицемерие. А все доказательства невиновности лишь увеличивают его предубеждения.

Ревнивец всегда хочет знать еще больше, но очень скоро ему остается лишь сожалеть о своих предыдущих сомнениях. Куда лучше бы для него было «ничего не ведать, дабы не появлялось желания узнать еще больше». Ведь правда, чем больше он узнает, тем больше это знание дает пищи для ревности, и чувство сие растет, развивается, обуревает его, на глазах становится все глубже и значительнее и поддерживается тем, что должно было бы успокоить и облегчить его страдания, так что в конце концов начинает существовать независимо, самостоятельно от него, создавая замкнутую цепь.

Безжалостный ревнивец, охваченный тиранической страстью, устраивает допрос любимому человеку, чтобы выведать все о его жизни, о его прошлом, о его прошлых связях. Ибо ревность обращена к прошлому и посему глубока и бесконечна. Стараясь узнать все до мельчайших подробностей о жизни другого человека в настоящем, и особенно в прошлом, ревнивец внимательнейшим образом следит за выражением лица, сравнивает имена, восстанавливает события; стремясь к ясности, он ищет скрытый смысл писем, сопоставляет факты, выявляет совпадения. Он выслеживает, ведет расследование, шпионит. Ревнивец (jaloux), как нам об этом напоминает этимология — zelos по-гречески означает усердие, рвение, соревнование,— это человек, действующий активно. Он изнуряет себя выполнением задачи столь же неосуществимой, как та работа, которую выполняли Данаиды. Задачи мучительной и бесконечной. Преследующей вас, как навязчивая идея, и вызывающей невроз. Ревность подобна раковой опухоли, и ее болезненные метастазы развиваются и поражают все сферы жизни больного. Вскоре она заражает все клетки общественной и интеллектуальной жизни, и ревнивец превращается в одержимого одной-единственной манией человека, который получает удовольствие от своего болезненного состояния.

С середины июля Рейнальдо Хан, несомненно утомленный и до смерти напуганный чудовищным размахом сей систематической инквизиции, отказался от своего обещания и заявил, что больше ничего рассказывать не будет; ну, а Марсель не преминул в сердцах упрекнуть его в клятвопреступлении: «С 20 июня я живу лишь мыслью о том, что Вы будете совершенно откровенны со мной. Эта мысль поддерживает меня. Она моя единственная надежда, мое единственное утешение. Я Вам об этом почти никогда не говорю,

дабы не причинять Вам боли, но постоянно думаю об этом, чтобы не сойти с ума. Поэтому то, что Вы сказали, действительно оскорбило меня до глубины души, ведь только эти слова могли по-настоящему «ранить» меня. Я бы предпочел услышать тысячу оскорблений». Ревнивец несчастнее того, на кого обращена его ревность. Ведь он жертва, хронический больной. Поэтому нельзя набрасываться на него и упрекать его в ревности, так же как нельзя стрелять по санитарной машине: «Пусть моя фантазия абсурдна, но ведь это фантазия больного человека (...), посему не надо досаждать мне. Только очень злой человек может угрожать больному прикончить его лишь за то, что его мания действует на нервы». Таким образом, если только вы не подлый эгоист и не отвратительная скотина, следует посочувствовать страданиям ревнивца, он достоин сожаления. У Пруста болезнь, эта великая сила слабых, всегда представляла собой стратегию порабощения. Желание выздороветь — нет ничего абсурднее, ведь это означало бы по глупости отказаться от самого эффективного инструмента власти.

Ревнивец — больной, на которого нельзя возлагать ответственность за проявления его болезни, он имеет все права, в частности право устраивать целую историю из того, что гроша ломаного не стоит. Достаточно незначительной, неясной детали, взгляда, на мгновенье остановившегося на другом, слова, обращенного к незнакомцу,— и вот уже ревнивец заподозрил любовную интригу, выстроил миллион гипотез о безнравственном поведении и неверности. Изобретательная и наделенная богатым воображением ревность — превосходный романист. Малейшая обида, малейшее чувство досады — и ревнивец добавляет несуществующие подробности, преувеличивает значительность случившегося, до крайней степени драматизирует положение. И правда, достаточно было Рейнальдо Хану — а произошло это в конце июня, вскоре после письма — решить не возвращаться вместе с Прустом с музыкального вечера, как тот сразу же посчитал себя обязанным не допустить, чтобы «совершались столь нелепые, глупые и столь подлые трусливые поступки, и попытаться пробудить его совесть». Ведь, если вдруг вы этого не знаете, ревнивец также моралист, желающий блага ближнему своему! Вопреки тому, что вы могли бы предположить, в нем ничего нет от эгоиста! Он действует только из альтруизма! А если он и разоблачает столь страстно малодушие, чванство, позерство, так это делается исключительно в интересах Рейнальдо, допустившего непростительную ошибку: он сделал робкую попытку стать независимым и проявить свои собственные желания — пустяковые, конечно же,— вместо того, чтобы выполнять все прихоти Марселя!

«Вы сказали мне нынче вечером,— добавляет Пруст, полный решимости не выпускать свою добычу и терзать ее и далее,— что в один прекрасный день я раскаюсь в том, что требовал от Вас. Я далек от того, чтобы говорить Вам то же. И не желал бы, чтобы Вы в чем-нибудь раскаивались, ибо я не хочу, чтобы Вы страдали, тем более из-за меня. Но хотя сам и не желаю этого, я почти уверен, что момент раскаяния наступит». Пруст применяет эффект «шотландского душа» — он утешает друга лишь для того, чтобы затем вселить в него тревогу и вывести из душевного равновесия: «Вы не понимаете, что поневоле, когда передо мной будет вставать образ Рейнальдо, с некоторых пор не боящегося более огорчать меня и доставлять мне боль — как это было сегодня вечером, когда мы расставались,— когда передо мной вновь предстанет сей образ, мне нечего будет противопоставить своим желаниям, и ничто уже не сможет остановить меня. Вы не понимаете, какой страшный путь проделан с тех пор, как я почувствовал, сколь мало значу для Вас, и не из мести или злопамятства — ведь вы понимаете, что это не так, и нет нужды говорить Вам об этом,— но бессознательно, ибо мало-помалу исчезает основная причина, побуждавшая меня к действиям. Снедаемый угрызениями совести, порожденными столькими дурными мыслями, столькими трусливыми и достойными порицания планами, я далек от того, чтобы утверждать, что я достойнее Вас. Но в тот самый момент, когда я находился вблизи от Вас и не во власти какого-либо внушения, я никогда не испытывал колебаний в выборе между тем, что может доставить Вам боль, и противоположным». Пруст, как всегда, принижает себя лишь для того, чтобы обеспечить влияние на другого: его скромность, бесстыдное выражение величайшей гордыни, деспотична. Как всегда у Пруста, любовный аффект быстро приобретает интеллектуальный характер, выражающийся в серии лицемерно-лживых и благовидных доводов. Ведь у ревнивца дух резонерства (а он к тому же и несусветный болтун) в значительной мере преобладает над чувствами. Ревнивец — наихудший из софистов, даже при том, что он сам первый не может разобраться в крайне запутанном переплетении своих нескончаемых умозаключений, забывая о мире реальных обстоятельств ради мира возможных случайностей. Он знаком со всеми приемами риторики, со всеми тонкостями аргументации и применяет их, дабы одурачить другого человека, связать его по рукам и ногам, сковать своими собственными тревогами и страхами.

После того как попеременно от него веяло то жаром, то холодом, после того как он на все лады склонял угрозу их будущего взаимного равнодушия («Я полагаю только, что раз я люблю Вас значительно меньше, Вы меня теперь совсем не любите»), Прусту остается только закончить письмо тоном искусителя, одновременно ребячливым и обольстительным: «После этой неожиданной выходки Ваш маленький пони печально вернулся

в полном одиночестве в конюшню, хозяином которой Вы некогда любили себя называть». Теперь, после того как ревнивец источил свой яд и причинил зло, для него важно, чтобы у другого при воспоминании о прежнем блаженстве возникало чувство бесконечного сожаления.

Следует ли говорить, что ревность Пруста помимо всего прочего несправедлива, ибо он находился в то время под сильным влиянием того, что с восхитительной художественной расплывчатостью и изощренным лицемерием называл «каким-то наваждением». Вот уже несколько месяцев, как Марсель все более и более поддается восточному обаянию Люсьена Доде, вскоре заменившего в его сердце Рейнальдо. Таким образом, хотя он и требует абсолютного, исключительного права на привязанность Рейнальдо, сам он разрешает себе делить свои чувства. Ревнивец жаждет получить от других то, чего сам он им никогда не даст.

И все эти упреки, жалобы, стенания, сетования, попреки только потому, что Рейнальдо позволил себе уйти, предварительно не получив на то разрешения Марселя. Вспомним, что Сван испытал то же разочарование, что и Пруст, когда после обеда, который Вердурены давали в Булонском лесу, они увезли Одетт в своем автомобиле в компании Форшвиля. Как только наступает разлука, твой друг рискует стать чьим-то предметом вожделения. В принципе любой мужчина является возможным любовником Одетт, и единственным эффективным средством было бы заточить ее в уединении. Рассказчик не забудет урока, преподанного Сваном, поскольку его ревность неизбежно обернется рабством и садизмом, когда он превратит Альбертину в свою пленницу.

И несколько лет спустя, в марте 1919 года, княгиня Сутзо, уехавшая из гостей с Бомонами, тогда как с самого начала вечера Пруст мечтал проводить ее, услышит из его уст упреки, высказанные им некогда Рейнальдо. Как жесток и безжалостен уход, о котором не предупредили с самого начала. «И тогда есть время привыкнуть к такому повороту вещей, ведь одновременно не теряешь и человека и надежду обрести его в тех, кто заменит его (...). Впрочем, я думаю, что больше не осмелюсь выходить один, что всегда буду заставлять ждать и сопровождать себя».

Вечно эта патологическая концентрация внимания ревнивца на незначительной конкретной детали, неважном событии, которое он не в состоянии забыть. Вечное пережевывание одного и того же мучительного воспоминания (ведь «ревность — это то затухающая, то вспыхивающая с новой силой болезнь, причины которой причудливы, обязательны и всегда одинаковы у одного и того же больного»), то же несоответствие причин и следствий, незначительности мотива и глубины разочарований, непомерности страданий. Ибо лишь только ревнивец остается один, он предается необоснованным мечтаниям, задает себе вопросы, пытается истолковать поступки. Ревнивец прежде всего толкователь. Он пытается заполнить пробелы, подобно филологам, ломающим голову, чтобы восполнить утерянные куски древних текстов. Жиль Делез раз и навсегда доказал, что ревность — чувство более глубокое, чем любовь,— «заключает в себе правду любви», поскольку «ревнивец обращает больше внимания на знаки и глубже интерпретирует их». Как забыть о том, что не мы, а другие учителя научили любимого человека жестам любви и ласкам, предназначенным теперь нам. «Возлюбленный оказывает нам знаки предпочтения; но поскольку знаки эти те же, что и знаки, отражающие мир, частью которого мы не являемся, каждый знак предпочтения, которым мы стараемся воспользоваться, рисует картину «мира возможного», в котором любимы или могли бы быть любимы другие» («Пруст и знаки»). А хуже всех любимые того же пола. Ведь для рассказчика «Утраченного времени» крайняя степень ревности есть не что иное, как terra incognita Гоморры и прочих наслаждений и утех, когда соперник даже уже и не похож на себя: «Здесь использовалось другое оружие, я не мог сражаться на том же поле боя, доставлять Альбертине те же радости, ни даже в точности понять их» («Содом и Гоморра»). Коли ревность представляет собой болезненный опыт вечно возможного предпочтения, оказываемого возлюбленной кому-то другому в неведомом мире, отторгающем нас, это отторжение будет в достаточной мере радикальным лишь в том случае, если приведет нас к гомосексуализму. Крайняя степень расхождения гомосексуальных групп, которые никогда не встретятся.

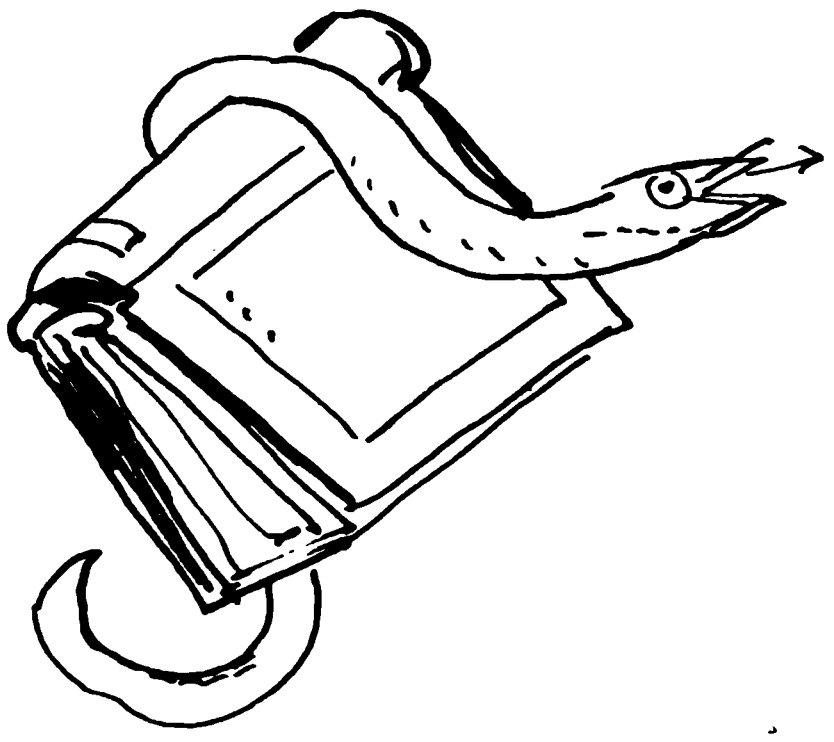
С этой точки зрения ревность — не просто какое-то рядовое чувство, ничуть не отличающееся от многих других чувств чрезвычайно сложного психологического мира «В поисках утраченного времени». Ревность — это чувство, по преимуществу присущее тексту, написанному в поисках правды. Ибо ревность, из-за которой любовь столь мучительна, по природе своей требует истолкования. Это чувство заставляет разгадывать, пояснять, понимать: «Только счастье благотворно влияет на тело, но умственную силу развивает печаль». Удивительная плодовитость печали, причиной которой была любовь: «Идеи — это суррогат печали», да к тому же правда несовместима со счастьем. Ревность тем более исключительное чувство, что половое извращение, к которому она в конце концов приводит, является образующим принципом всего «Утраченного времени», постепенно обнаруживающим Содом и Гоморру повсюду, где, казалось, еще царствовала гетеросексуальность.

И что еще важнее, ревность — чувство, полностью обращенное к прошлому,— выражает саму суть всего творчества Пруста, находящегося в поисках утраченного прошлого.

Настолько, что, наверное, было бы не лишено смысла рассмотреть весь цикл «В поисках утраченного времени» как чудовищное словесное развитие нарциссической, если можно так сказать, «саморевности», ревности взрослого Пруста к ребенку Марселю. Стоит перечитать «В поисках утраченного времени», чтобы проследить за отношением Пруста-писателя, одержимого собственническими чувствами, к ребенку, подростку, которым он некогда был.

К тому же разве сама прустовская фраза не представляет собой фразу ревнивую в силу продолжительности развертывания и сложности развития? Это осторожное приближение, чтобы в конце концов застать добычу врасплох. С точки зрения синтаксиса множественная и хитроумно построенная фраза окутывает жертву, писатель плетет фразу, как паутину, с тем чтобы заключить вожделенный объект в сжатые метафоры, в сети образов. Автор полон подозрений. Желая целиком и полностью сохранить и воспроизвести сложное и запутанное положение вещей, он многократно возобновляет фразу, разветвляя и подразделяя ее, а иногда и изменяет суждения, поскольку с подозрением относится к своим первоначальным утверждениям, пересматривает и исправляет их, опробует новые гипотезы и доходит до того, что сам себе противоречит. И нет никакой случайности в том, что именно в «Пленнице» и «Беглянке» представлены некоторые из самых сложных, самых витиеватых стилевых периодов Пруста. Стиль там — выражение ревности.

Перевод Т. ПОШЕРСТНИК



БЕРНАР ДЕЛЬВАЙ

АНДРЕ ЖИД: НЕДОРАЗУМЕНИЯ ЛЮБВИ

Где-то посреди Нормандской возвышенности, на пересечении двух проселочных дорог, у обочины свекольного поля стоит деревянный столбик со стрелкой-указателем: «До могилы Андре Жида — 1 км». На кладбище Кювервиля [1], в соседних могилах покоятся Андре и Мадлен Жид; он — с февраля 1951 года, она — с Пасхи 1938 года. «Бедная моя подруга, что бы ты ни делала, имя твое навсегда останется в истории»,— сказал он ей еще за двадцать лет до ее смерти. На этом маленьком погосте находится итог сорока трех лет совместной, точнее, семейной жизни.

В 1881 году Андре Жид — ему тогда было двенадцать лет — крепко подружился со своей кузиной Мадлен Рондо, которая была двумя с половиной годами старше. Время в фамильных имениях у двоюродных братьев и сестер, как и у многих детей, летело в играх и забавах. «Эмманюэль (такое имя он ей даст) казалась мне чересчур тихой,— напишет он позднее в «Если семя не умрет».— Она сразу же выходила из игры, как только начиналось какое-нибудь жульничество или стоило нам просто расшуметься. Тогда она уединялась с книгой — это называлось «дезертировать»...» Однажды в Руане он вдруг понял, как тяжко Эмманюэль страдает из-за супружеской неверности ее собственной матери, будучи не в силах ни с кем разделить эти тайные мучения, и именно в тот день Андре безоглядно влюбился в нее. Что́ это было — потребность осушить ее слезы? защитить ее? По его словам, этот случай стал «поворотом в судьбе». Андре Жид расскажет о нем в романе «Тесные врата» [2], о котором Мадлен не обмолвится с ним ни единым словом. Итак, ему тогда было тринадцать, ей — шестнадцать. Согласитесь, начало довольно скверное!

Фактически, все состояло из недоразумений, из того недопонимания, которое неизменно сопутствует любви, лишенной голоса, и неизбежно ведет ее к краху. Молчание порождает роковую неспособность понять друг друга, если только само это молчание не есть следствие первоначального непонимания!

Впрочем, не будем торопиться и восстановим ход событий. В 1890 году, после смерти Эмиля Рондо — отца Эмманюэль,— Андре Жид писал: «Мне кажется, что эта смерть утвердила нашу помолвку». Но когда на следующий год в Аркашоне [3] он преподнес своей кузине экземпляр только что опубликованных «Записных книжек Андре Вальтера»[4], где имя «Мадлен» было везде заменено на «Эмманюэль», то в ответ на предложение руки и сердца получил отказ. Позднее он напишет: «Я этот отказ не принял, заявив, что не считаю его окончательным, что согласен ждать и никогда не откажусь от своего намерения».

---

[1] В Кювервиле находилось родовое имение семьи Мадлен Рондо, в котором Андре и Мадлен жили с декабря 1900 года. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Перевод опубликован в «ИЛ», 1991, № 1.

[3] Город-курорт на юго-западном побережье Франции.

[4] Эта книга была опубликована за счет автора и представлена как некое посмертное произведение.

Мадлен ничего не сказала ему о подаренной книге, однако ее личный дневник (его в 1977 году обнаружил Клод Мартен) свидетельствует о том, что книга ей понравилась, и о том, сколько чувств, сколько радости и «сестринской» гордости она испытала. Февраль 1891 года, Мадлен и Андре: «И вот мы расстались. Это было не столь трудно и мучительно, как ожидалось... Медленно, но верно время вершит свою работу». В октябре последовали объяснения в «бесконечно нежной» любви. А в ноябре Мадлен будет упрекать его: зачем только он написал «Андре Вальтера»! И наконец, на склоне лет: «У меня такое чувство, будто мы никогда не расставались». Попробуйте понять хоть что-нибудь!

О поездках Андре Жида в Алжир уже сказано-пересказано — прежде всего им самим. В ноябре 1893 года в тунисском городе Сус, во время путешествия с Полем-Альбером Лорансом [1], Андре Жиду впервые довелось любить юношу. Он звался Али, «и тело его, пусть даже обжигающе горячее, дало моим ладоням свежую прохладу». Вернувшись во Францию, Андре Жид вновь сближается с Мадлен: «Моей жизнью по-прежнему управляло одно-единственное желание — жениться на ней... Всякая осмотрительность казалась мне презренной, всякие мысли об опасности — низкими... С высоким небом — вот с чем сочеталась тогда моя ненасытная бездна. Некоторое время спустя мы объявили о помолвке»[2]. Такими словами заканчивается книга «Если семя не умрет». Помолвка пришлась на 17 июня 1895 года, а за две недели до того скончалась мать А. Жида. Словно и во второй раз надежда на счастье могла опереться только на чью-то смерть. 7 октября в мэрии Кювервиля и в замке Этретá состоялась церемония бракосочетания. В довершение всего, для свадебного путешествия были бездумно избраны Швейцария, Италия, Тунис и Алжир. Мадлен пришлось все понять, терпеть и молчать. В книге «Et nunc manet in te» есть важный отрывок: поведанный много лет спустя эпизод этого путешествия — случай с тремя школьниками в поезде, следовавшем из алжирского города Бискра в столицу страны. Процитируем его полностью: «На каждой из частых, но кратких остановок я, опустив пониже раму и высунувшись из окна, мог дотянуться до руки того школьника, который забавы ради высовывался из соседнего окна в мою сторону и, смеясь, поддерживал эту игру со мной; я испытывал мучительное наслаждение, лаская янтарную, покрытую пушком кожу. Моя ладонь скользила вверх по протянутой ко мне руке и захватывала плечо... На следующей станции школьники менялись местами, и уже другой из этих трех возобновлял ту же шалость. Когда поезд вновь трогался, я, тяжело дыша, садился на свое место и изображал поглощенного чтением человека. Мадлен молча сидела напротив и делала вид, будто не замечает и вообще не знает меня... Когда же мы прибыли в город Алжир и остались наедине — в омнибусе по дороге в гостиницу,— она наконец сказала мне: «Ты был похож то ли на преступника, то ли на помешанного»; и в голосе ее сквозило не столько обвинение, сколько печаль».

Между тем литературная слава Андре Жида ширилась.

А Мадлен все больше превращалась в затворницу. Молчание становилось все более гнетущим — так же тяжко бывает в летний полдень где-нибудь в деревне. Образы в переписке супругов уподобились низко нависшим грозовым тучам. Из письма Мадлен от 1912 года: «Ты прочитаешь вместе со мной «Отче наш» на Рождество? Я хотела попросить тебя об этом, когда мы в прошлый раз расставались с тобой, но слова застряли в горле». Все словно замерло в ожидании первых капель благодатного дождя. Из письма Андре, июнь 1918 года: «Возле тебя я гнил заживо». Итак, грозы уже не миновать.

И она разразилась в том же 1918 году. 8 июня Андре Жид уезжает в Англию в сопровождении восемнадцатилетнего «племянника» — Марка Аллегре [1] . «Я покидаю Францию с невыразимой тоской в сердце. Кажется, будто навсегда прощаюсь со всей прежней жизнью». На эту фразу Андре Жида эхом отзывается замечание издателя и литературоведа Мориса Надо: «Брак с Эммануэль был заключен по велению его восторженной и возвышенной души, но еще и из желания отдать должное своей молодости и тому лучшему в нем самом, что разделяла его кузина...» С прошлым было покончено: собственную юность Андре Жид поменял на юность другого.

Во всей французской литературе XX века нет ни одного произведения — кроме, пожалуй, «Пока нас двое» Анри Мишо,— которое по силе любовной тоски могло бы сравниться с «Et nunc manet in te»; эта небольшая книжечка вышла мизерным, не для продажи, тиражом в 1948 году. Тогда же и Мишо опубликовал свою, но с той разницей, что она так и осталась малоизвестной, в то время как книгу Андре Жида впоследствии ждали значительные тиражи.

Вернувшись из Англии, Жид однажды захотел сверить кое-какие даты в своей переписке с Мадлен и обнаружил, что ящик

---

[1] Поль-Альбер Лоранс — художник и сын художника Жана-Поля Лоранса; друг Андре Жида, был на год моложе его.

[2] За несколько дней до помолвки на консультации у врача А. Жиду было заявлено, что его влечение к юношам угаснет после женитьбы.

[1] Марк Аллегре (1900—1973) — четвертый сын пастора Эли Аллегре. До поездки в Англию в августе 1917 года Андре и Марк были вместе в Швейцарии; в дальнейшем также много путешествовали вместе (Тунис, Конго, Чад). Впоследствии М. Аллегре стал деятелем культуры — кинематографистом, фотографом, писателем; он послужил прототипом персонажа Оливье в романе А. Жида «Фальшивомонетчики».

секретера, где хранились письма,— пуст. «Ты уехал, и без тебя я почувствовала себя такой одинокой в этом огромном доме, мне надо было хоть что-то сделать — и тогда я сожгла твои письма»,— объяснила Мадлен. Помимо «Et nunc manet in te», есть еще одна долгая исповедь Андре Жида касательно этого случая, обращенная к Роже Мартену дю Гару (о ней поведал Жан Шлемберже [1]). «Мне казалось, что я схожу с ума»,— беспрестанно повторял Андре Жид, добавляя: «Возможно, мир еще не знал столь прекрасных писем». Эти чудесные послания вызывали бы у него улыбку и много лет спустя.

Жизнь шла своим чередом. 16 июля 1922 года Мадлен подарила крестнице — Сабине Шлемберже — небольшое золотое колье с изумрудным крестиком; это украшение Андре любил видеть на своей невесте в пору их помолвки. Поступок жены он воспринял как «удар ножом в самое сердце». И, статься, именно в этот день — 16 июля — на песчаном пляже на берегу реки Йер к Андре Жиду присоединилась Элизабет ван Риссельберг. Последствия этой встречи известны: у Элизабет родилась дочь, и Мадлен, вполне вероятно, так никогда и не узнала, что отцом был ее собственный муж. Ей просто не верилось, что Элизабет родила ребенка «от неизвестного мужчины» [2]. В 1928 году, в тридцать третью годовщину их свадьбы, Мадлен напишет Андре: «Я думаю: потом, когда мы познаем все, мы поймем, что восьмое октября — вовсе не ошибка, как я думала десять лет назад, в те горькие и мучительные дни». Очень скоро Андре Жид почувствовал, что все волнения «сводятся к условностям». «Мы производим впечатление счастливейшей, идеальной четы»,— признается он, обращаясь к мадам Тео. Мадлен безвыездно живет в Кювервиле, ограничивает круг своих занятий мелкими домашними хлопотами, неодобрительно следит за публичными выступлениями мужа по политическим и моральным вопросам, «постепенно лишаясь всего того, за что я любил ее».

Мадлен Жид скончалась в пасхальное воскресенье 1938 года. В «Дневнике» Жида под этой датой в знак траура проведена черная линия: «С тех пор как Эмманюэль покинула меня, я потерял всякий интерес к жизни... С тех пор как ее нет со мной, я лишь делаю вид, будто живу, ничего мне уже не нужно, я и сам себе не нужен...» Добровольное изгнание за пределы Франции, Нобелевская премия по литературе, всемирная слава избавят А. Жида от одиночества: «Ради блага человечества в будущем я свершил свой труд. И прожил жизнь». Таковы последние слова Тесея [1].

Правомерно ли, рассказывая историю Андре и Мадлен, говорить о любви несчастной или трудной? Бесспорно, любовь была, и была взаимной; но бесспорно и то, что она явилась слишком рано, когда Андре Жид еще не успел осознать, какой пол влечет его сильнее. Он был писателем и всегда испытывал потребность раскрыться, выразить себя, излить душу. Достаточно вспомнить, как в 1918 году, в конце личного кризиса, он жаждал, чтобы его признания услышали друзья — Жан Шлемберже, Роже Мартен дю Гар, Жак Копо, мадам Тео. Мадлен же, напротив, неизменно отличалась почти патологической скрытностью и стыдливостью, причем в такой степени, что начинаешь подозревать в том некую злонамеренность. «Немало моих книг она не читала вовсе,— писал Андре Жид.— Прежде всего, поскольку отворачивалась от любых неприятных, неприглядных тем и явлений; но, возможно, и потому, что так она могла дать мне бóльшую свободу».

1881—1938, почти шестьдесят лет непонятной любви. Быть может, обыкновенный страх одиночества толкал этих двух людей на сближение, заставлял их терзать друг друга, порождал в их отношениях то бури, то затишья? Еще в 1937 году Андре Жид писал Жану Шлемберже: «Ты не поверишь, какая легкость и открытость царят теперь в нашей с Мадлен жизни, к какому чудесному согласию мы пришли».

Быть может, каждый из них слишком любил себя и оттого был не способен любить другого...

[1] С Жаном Шлемберже Андре Жида связывала многолетняя дружба, начавшаяся в 1904 году; кроме того, оба входили в первый состав редколлегии журнала «Нувель ревю франсез».

[2] Свою дочь Катрин А. Жид смог официально удочерить лишь после смерти жены в 1938 году. Элизабет ван Риссельберг — дочь давних друзей А. Жида, супругов Тео и Марии (мадам Тео) ван Риссельберг. Впоследствии, в сентябре 1931 года, Элизабет вышла замуж за одного из друзей А. Жида, французского писателя Пьера Эрбара.

[1] Тесей — главный герой одноименной повести, последней прижизненно опубликованной (1946) книги А. Жида.

ЮГО МАРСАН

СПИД: РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ

Одиннадцать лет прошло с тех пор, как был открыт СПИД. Эта болезнь-символ сразу вторглась в общественную жизнь, однако художественную литературу затронула незначительно. Эпидемия продолжает свирепствовать и не позволяет отразить в романах скорбь потерь. И все же некоторым французским писателям хватило мужества переложить страшный личный опыт на язык художественного произведения. Любая такая книга обязательно исходит из собственных переживаний автора и яснее всего говорит о последствиях болезни: СПИД, порожденный любовью, сам и уничтожает ее; смерть заполняет собою все.

Никто не предполагал, что любовь будут подозревать. И ценить — как никогда прежде. Мы, живущие в конце XX века, стали свидетелями того, как молодые люди, замкнувшись на себе, на своем организме, теряют рассудок из-за его необратимого распада и стремительного старения. В XXI веке с изумлением прочтут эти хроники одиночества, хроники умирающей любви — как в романе Мишеля Бродо «Книга Джона» (издательство «Сёй»), в котором дети, преследуемые неким роком, исчезают на затерянном острове.

Сифилис и туберкулез не сходили со страниц романов прошлого века, вновь и вновь тасуя карты наслаждения и греха. Эти заболевания, будучи заразными, тем не менее не приводили к столь скорой и неизбежной смерти. Ставки медицины в ту пору были довольно скромными. Традиционная смерть являлась торжественно-печальным элементом повседневности. СПИД весьма некстати все нарушил: вот-вот должна была решиться проблема рака, а противозачаточные средства вывели сексуальность на новую ступень свободы.

Несмотря на лакирующие действительность заявления — они нужны для осуществления профилактики и спокойного выявления инфицированных,— 80—90-е годы дают представление о СПИДе как о болезни, связанной с удовольствиями, как об эпидемии, потрясшей нравы и сексуальные каноны западного общества. Конфликт Эроса и Танатоса вновь находится в центре внимания. Именно ему посвящен роман Доминика Фернандеза «Величие изгоя» (издательство «Грассе»).

Проблему СПИДа на сегодняшний день затрагивают около сорока книг на французском языке, не считая сугубо научных трудов. Заметный след в литературе оставят десятка полтора. В каком-то смысле они тематически близки великим классическим романам, ибо повествуют о том, как герой лишается жизни из-за страстной любви. Авторы этих книг — в основном обреченные, получившие отсрочку от смерти. Такой писатель непременно и с жадностью набрасывается на собственное внутреннее состояние: зачарованный надвигающейся смертью, он превращает свою боль в лейтмотив произведения. Тема СПИДа входит в литературу ценой жизни. Эрве Гибер, этот неистовый летописец болезни, до последнего дыхания вел романизированную хронику своего иммунодефицита; чудовищная особенность его книг заключается в том, что смертельную болезнь описывает от нее же умирающий человек.

Герой любого романа «о СПИДе» — это безнадежный больной, которого манит к себе небытие. Нет ни одного произведения, где главным действующим лицом выступал бы, скажем, врач, исследующий болезнь, или же некий спаситель, способный отвести угрозу неотвратимой гибели от кого-то из близких. Ив Наввар в книге «Когда друзей уносит ветер» (издательство «Фламмарион») и Мишель Маньер в книге «Тем, кто любил его» (издательство «П. О. Л.») — названия перекликаются с заглавием романа Э. Гибера «Другу, который не спас мне жизнь» [1] (издательство «Галлимар») — ведут повествование от лица человека, который бессильно наблюдает, как угасает его друг [2]. Столь тонкая ситуация обескураживает читателя — он привык к зрелищам и желает «непосредственных свидетельств». Пока что не создано ни одного произведения, где давался бы портрет общества, охваченного паникой из-за эпидемии СПИДа. Жан-Ноэль Панкрази в романе «Зимние кварталы» (издательство «Галлимар») передал атмосферу растерянности и страха, которые, наряду с болезнью, поразили многих завсегдатаев ночного гей-клуба, проверенного места встреч и знакомств. Именно такая панорамность придает этому превосходно написанному роману яркость и неповторимость; он без околичностей говорит о создавшемся особом положении (о быстром и опустошающем распространении вируса среди гомосексуалистов), и при этом поднимает до высоты классического мифа поиски счастья и ностальгическую иллюзию сексуальных желаний.

Большинство романов — это леденящие кровь монологи, расследования от первого лица, одинокий крик безжалостно приговоренного к смерти. Почти священная напряженность его пути (роковой финал которого нам ясен с первых же строк) понуждает нас к молчанию, но вместе с тем оставляет возможность для нашего безразличия и даже подлого открещивания. В отличие от любовных историй, неизменно привлекающих

---

[1] Перевод опубликован в «ИЛ», 1991, № 8—9.

[2] Об этом пишут, в частности, молодой автор Даниэль Меок в романе «Тени» (издательство «Интертекст») и Жак-Ален Лежер в романе «Красные туфли графини» (издательство «Франсуа Бурен»).

читателя, роман «о СПИДе» иллюстрирует особое, многим непонятное одиночество. Далеко не каждый больной способен узнать самого себя в другом больном. Уникальностью своего нынешнего плачевного состояния рассказчик обязан полному любви прошлому, однако те, кто разделял когда-то его страсть, конкретного облика не имеют. Отсюда между автором и читателем нет посредника, какого-либо второстепенного персонажа, который мог бы смягчить жестокость признаний и пробудить в нас сочувствие. Тот, кто стоял у истоков личной трагедии инфицированного, неизвестен, безлик и лишь иногда предполагаем. Читатель оказывается безоружным перед откровениями одиночки, чаще всего молодого, цветущего человека, начисто лишившегося любви и чувственных наслаждений.

У персонажа, инфицированного вирусом иммунодефицита, нет литературных предшественников. Он не укладывается ни в какие схемы и уже этим интересен, хотя его, вызывающего жалость и опаску, долго отказывались признавать. В этом смысле удивительную литературную победу удалось одержать Эрве Гиберу: он невольно сумел увлечь нас в сети непридуманной человеческой судьбы. Для больного СПИДом любовь неведомым образом становится роковой; она ведет к смерти, не называя ни одного из любимых, воспоминания о котором приглушили бы боль и смятение. «Другой» — всегда инкогнито. Еще ни разу больной СПИДом не мог точно указать заразившего его человека. Вирус в этом случае передается почти так же «нейтрально» и «анонимно», как и при переливании крови. Любит ли он мужчин или же и мужчин и женщин, употребляет ли наркотики или же сам является «жертвой наркомана» — больной СПИДом неизменно оказывается на самом дне отчаяния, ибо на листе современности существуют водяные знаки иной истории — у нее свои, отдельные правила и занятия, практикуемые лишь посвященными и мало понятные чужакам.

Рассказчик (он же чаще всего и автор книги) любит мужчин. Ему суждено умереть не только оттого, что он любил, но и оттого, что он жил независимо и нередко искал наслаждений с совершенно незнакомыми партнерами, во всяком случае, оттого, что искал подобного себе, свое отражение, зеркальную западню, и при этом, как говорится, пренебрегал устоями общества, нацеленного на воспроизведение жизни. Одиночество его усиливается еще и потому, что он склонен брать вину на себя. Родным не понять его ни на что не похожие муки — для этого надо самим познать нечто подобное. Умирающий от СПИДа не оставит после себя ничего: его голгофа исчезнет вместе с ним и едва ли когда будет кем-нибудь упомянута. В таком странном положении оказывается герой романа о смерти, чья жизнь прежде представляла собой настойчивые поиски любви. Любовные романы традиционно воспевают пару, многим жертвующую, но в финале обретающую счастье; история больного СПИДом персонажа, напротив, заканчивается полной катастрофой: его смерть — ярчайший, хрестоматийный итог истощения духа и тела.

СПИД связан с зараженной кровью, но еще более таинственным образом — с несущей в себе жизнь спермой. Поселившийся в ней вирус срывает покровы с таких проявлений сексуальности, которые давно уже находились под запретом, поскольку цель их — чистая, не дающая плода страсть. Именно на этом минном поле родились и существуют книги Э. Гибера, Г. Окенгема, Ж.-Н. Панкрази или Д. Фернандеза (если перечислять лишь те, что, безусловно, войдут в историю литературы). Они очерчивают некое пространство, где любовь повинна в том, что проповедовала наслаждение ради единственной конечной цели.

В 1987 году Ги Окенгем без обиняков говорит о СПИДе («Ева», издательство «Альбен Мишель»). Однако Рено Камю в «Элегиях избранным» (издательство «П. О. Л.») делает только намек: «Все теснее сжимается кольцо бедствия». Жан-Ноэль Панкрази предпочитает метафору: «...эта беда, которую мы все вместе решили называть «лиловой», чтобы придать ей цвет вечерни и весенних холодов». Ив Наварр рассказывает о «чуме любви» («Отель «Стикс»», издательство «Альбен Мишель»). Конрад Детрез избегает слова «СПИД» в «Меланхолии наблюдателя» (издательство «Деноэль»); его друг Уильям Клифф в надгробном слове в форме поэмы («Конрад Детрез», издательство «Дилеттант») не может поверить в случившееся:

Но я тогда еще не знал о том,
Какой кошмар уже вошел в твой дом.
Вернулся ты во Францию, и я
Заметил вскоре, как ты исхудал,
Но и тогда еще я не связал
Четыре буквы с именем твоим.
И тем страшней
Мне было слышать эту новость
В потоке прочих новостей...

СПИД создает ощущение ускоренного бега времени. Осознание до срока надвигающейся смерти сообщает необычайную пронзительность последним книгам Эрве Гибера. Они доводят до наивысшей точки связь между чувственным наслаждением, смертью и сочинительством. После того как Жан-Поль Арон объявил о «своем СПИДе» (издательство «Кристиан Буржуа») и Ален-Эмманюэль Дрёйль опубликовал «Тело к телу» (издательство «Галлимар»), молодой талантливый автор по имени Эрве Гибер из оставшихся сил создает потрясающую по откровенности и прозрачности трилогию: «Другу, который не спас мне жизнь», «Последний церемониал» и «Человек в красной шляпе» [1] (издательство

[1] См. о них «ИЛ», 1991, № 8 и 1993, № 1.

«Галлимар»). Гибер использовал единственно возможное для него средство — полностью раствориться в творчестве в тот момент жизни, когда он сказал о себе: «у меня смертельная болезнь, именуемая СПИДом». Его удивительно свободная исповедь, со всеми ее мельчайшими подробностями, горькими упреками и сосредоточенностью на болезни, на сегодня является самой яркой книгой о СПИДе: «С чего началась моя книга, тем суждено ей закончиться» [1].

Личные свидетельства, исследования, медицинские доклады, исторические обзоры — начиная с 1985 года опубликовано немало, однако эти книги были продиктованы теми или иными обстоятельствами, преследовали исключительно информационные цели и ни в коей мере не претендовали на статус художественных произведений. А.-Э. Дрёйль, Д. Фернандез и Г. Окенгем (все трое — в 1987 году), а в 1989 году и Э. Гибер («Инкогнито», издательство «Минюи») ступили на зыбкую почву литературы, затрагивающей злободневные и вместе с тем вечные темы. Яростнее прочих на них набросился Эрве Гибер: «Чудовищное признание — когда я сказал, что болен, болезнь материализовалась, обрела мощь и разрушительную силу. Мы сделали первый шаг к отчуждению, которому суждено было завершиться трауром и слезами».

Роман о СПИДе разворачивает перед читателем не любовную историю, а головокружительный полет в бездну одиночества. Инфицированный человек отказывается от всех чувственных радостей, от всякой личной жизни, вплоть до забвения совсем недавнего прошлого. Лишенный будущего, больной СПИДом возвращается к истокам. Даже сама мысль о любовной паре исчезла. Главный герой вслушивается в свой организм, надеется, конечно же, на чудесное исцеление, но слишком хорошо понимает, что его путь ведет к смерти и что слово «любовь» ему уже можно забыть. То, что зародилось в миг любви, заканчивается отрешением от нее.

Ги Окенгему верилось в иное будущее, где Адам любил бы своего младшего двойника, свое женское воплощение — Еву. Это еще одна история пораженного СПИДом молодого мужчины, повествующая об утерянном рае; автор пытается вновь обрести то неведение, которое предшествовало знакомству с миром любви и осознанию грозящего бедствия. Это последний мистический рывок к жизни перед самым ее окончанием.

Если с эпидемией все же удастся справиться, наступит ли расцвет страстной любви? Будет ли любовь двоих отмечена печатью верности? Сгинут ли сексуальные запреты? Какой облик будет у «эпохи СПИДа» через тридцать — сорок лет? Литература — и в исторических хрониках, и в легендах — вспомнит о любви, которой грозила смерть.

[1] Аналогичные исповеди умирающего от СПИДа оставили талантливый молодой автор, преподаватель философии Паскаль де Дюв («Жизнь на корабле», издательство «Латтес») и писатель и журналист Жиль Барбедетт («Молодой человек, ставший стариком», издательство «Галлимар»).

ПЬЕР-МАРК ДЕ БЬЯЗИ

ЭММОЧКИ ОБРАЗЦА 1992 ГОДА

Через три года после мая 1968 г. чиновники, отвечающие за культуру, вознамерились вложить немного ума своим молодым согражданам — так во Франции родилась гениальная идея провести «год книги» на пользу и словесности, и институту брака: каждая пара, согласившаяся оформить свои отношения в течение 1972 года, получала, по постановлению господина мэра, пять шедевров французской литературы — пять книг в красном футляре с золотым тиснением. Что за мудрые головы отбирали для этой цели книги — неизвестно, зато доподлинно известно, что среди пяти назидательных томов, содержание которых должно было служить молодоженам в качестве примера для подражания, имелась и «Мадам Бовари». Последствия вообразить несложно. Предпочитая цинизм Родольфа разорению Шарля или же доводя до крайности бунт Эммы во имя свобод и прав женщины, две пары из трех развелись без проволочек и лишних церемоний: так появилось поколение «новых холостяков», которые, по принципу вольных стрелков, пустились вести образ жизни, открывшийся им благодаря совсем иному воспитанию чувств. Не говоря уж о тех, кто, прочитав роман, остался в браке: когда-нибудь откроются настоящие кладези хитростей, которыми эти люди пользовались, чтобы придать смысл своему двойственному существованию и при этом избежать незавидной участи Эммы — она, как известно, в конце концов и во внебрачной связи обнаружила всю «пошлость и низость семейной жизни».

Всё изменилось. Безработица, неуверенность в завтрашнем дне, запреты на курение, дорогое жилье, истощенная природа, смертельная опасность болезней, передающихся половым путем,— обстановка уже не благоприятствует свободной любви, брак вновь обрел статус разумной тыловой позиции, а верность вновь ценится как вполне сносное свойство. Но желания, вопреки всему, неодолимы: под сурдинку случаются любовные приключения или, по крайней мере, мечты о них. Ветер подул с другой стороны, и литература почувствовала это на себе. Строгая мораль набирает очки, сексуальность контролируется — в такие времена трагедиям телесной любви нетрудно опять превратиться в нечто неведомое, в terra incognita, а это — залог их успеха. Сегодня супружеская неверность в прежнем виде как сюжетный материал несколько устарела и отправлена в запас. Однако и поныне существует бурная страсть, драма безудержной чувственности — она стремительно (и безоглядно — богема есть богема!) бросается навстречу безумным приключениям и наслаждениям. Эммы победоносно возвращаются; эти секс-бомбочки замедленного действия сами рассказывают свои истории, похожие на прямой телерепортаж с места события.

Попробуем создать особенно напряженный сценарий: Эмма в сексуальном плане живет, как многие наши современницы, сиречь, заторможенно, ничего не ведая о подспудной силе своей страсти; ее соблазняет Родольф — циничный, многоопытный красавец сердцеед, семьянин или же ветреный гуляка, глава иностранной фирмы или же художник; он наслаждается Эммой, точно лакомым кусочком,— и кусочек этот вдруг обнаруживает удовольствие в том, что им (точнее, ею) наслаждаются. Некоторое время соблазнитель, конечно, этим пользуется (соблазненной женщине такая связь нравилась бы чем дальше, тем больше, это было бы очевидно); однако в конце концов он, увлекшись новым лакомым кусочком или же просто пресытившись тем, что есть, отодвигает блюдо в сторону, отдаляется и ищет способа избавиться от надоевшей сласти. В этом-то и состоит катастрофа, которая превращает житейскую ситуацию в сюжет романа. Разумеется, такая идея имеет смысл лишь тогда, когда о ситуации рассказывает от первого лица именно жертва: образ женщины, терзаемой желаниями, вызывает немало чувств; дать ей возможность высказаться — этически правильно; соблазнителю — а таковым, несомненно, может быть только наглец — с самого начала отказано в роли рассказчика, ибо слушателей (то есть читателей) у него не найдется. Какой же будет история современной Эммы? Новая госпожа Бовари избежит самоубийства, поскольку она должна лично изложить свою непридуманную драму, в случае необходимости, в рамках литературной телепередачи. Среди более десятка возможных сценариев (в ближайшем будущем ими не преминут воспользоваться) два ключевых уже осуществлены: «да, что было, то было» и «я все-таки выкарабкалась».

В первом случае героиня задним числом воссоздает историю соблазненной женщины, удивленно и отчасти отстраненно констатируя факты, перечисляя события и поступки, причем все это облекается в форму вызова существующей морали, и вызова весьма искусно представленного — в виде предельно бесстрастного рассказа. Именно такое изложение меняет финальный крах на нечто противоположное: соблазненную женщину бросают, но эта драма превращается в ее личную победу, ибо ее любовь, даже будучи разбитой, остается чистой и избавленной от всякого ростовщичества. Современная Эмма рассказывает о своем удивительном приключении (в котором далеко не все можно выразить словами) и преобразовывает в литературное произведение подробную хронику своих ошибок и потерь. Родольф ее за человека не считал? Что ж, Эмма не боится говорить об этом прямо. Напротив, в своей исповеди она старается ничего не упустить: ни желанных унижений, ни каждодневных мелких пакостей, ни неслыханных суеверий и слабостей — всех этих элементов масштабного сюжета, который в итоге становится близок и понятен многим. Если сжать этот сценарий до нескольких красноречивых фраз, то получится следующее: «Энное число месяцев со мной творилось невесть что; я была сама не своя; я дошла до ручки, но это было невероятно захватывающе, и я осталась очень довольна; затем все кончилось, но я теперь не та, что прежде, и ни о чем не жалею». Такова квинтэссенция романа Анни Эрно «История обыкновенной страсти» (издательство «Галлимар»).

Во втором случае новая Эмма выбирает (при менее предсказуемом успешном исходе) противоположный путь: она восстанавливает историю своей безумной и загубленной любви так, словно положение брошенной женщины вызвало у нее нечто вроде коматозного состояния, равносильного самоубийству в чисто психологическом плане (например, она перестала разговаривать, смеяться, краситься, впала в отчаяние и т. д.). Рассказ этой Эммы — история ее выздоровления. Замысел в том, чтобы в деталях и не без лирических отступлений показать, как соблазненная и покинутая женщина постепенно возвращается в норму, перекладывает на окружающих свои истерические тяготы; в результате ей мало-помалу удается воспрянуть к жизни и заодно использовать собственную судьбу в качестве материала для романа. Как и в первом случае, здесь происходит смысловой переворот: этот злодей Родольф, возможно, надеялся уничтожить меня; он бросил меня, а я возьму да и превращу это одиночество в источник успеха — личного и публичного. Сконцентрируем признания героини до нескольких ключевых фраз: «Из-за него я прошла через

все, но я выкарабкалась; это было ужасно, я уже простилась с жизнью, зато теперь я вижу все в радужном свете; к тому же я вполне довольна получившейся книгой». Такова квинтэссенция романа Мари Дидье «Отодвинуть в сторону» (издательство «Галлимар»).

Справедливости ради надо сказать, что роман Анни Эрно (а он, в отличие от книги Мари Дидье, не столь сентиментален) начинается с объявления таких литературных целей, которым необходима новая эстетика — как в откровенных фильмах, если их смотреть без декодера. Она не всем по вкусу, однако современна и, в общем-то, убедительна. Настройтесь, коли вы еще не пробовали, на канал «+» французского телевидения, отключив декодер: «На экране можно было различить силуэт женщины в чулках и какого-то мужчину. Сюжет не улавливался, поэтому предугадать что-либо — жесты или поступки — никак нельзя. Мужчина приблизился к женщине, затем появился крупный план: хорошо различимая, несмотря на мерцание экрана, вульва, рядом с ней возник эрегированный половой член, который скользнул внутрь (...). Мне подумалось, что в подобном стиле и следует писать, сохраняя ощущения от зрелища полового акта — это томление, оцепенение, некое временное отсутствие нравственных оценок». В таком духе выдержаны две страницы, но на том — увы! — всё и заканчивается: знойные сцены попадаются в романе нечасто, и декодером манипулировать едва ли будет повод. Нынешняя Эмма перебирает наивные стереотипные представления о навязчивых состояниях у соблазненной женщины, рисует обычную клиническую картину психологии страсти средней обеспеченной француженки; при этом она сразу отказывается от психоаналитического подхода, но зато не скрывает свои источники: женский журнал «Мари-Клэр», «Унесенные ветром», «Федра», Эдит Пиаф, еженедельные гороскопы, несколько новых фильмов и т. п.; излагается все в предельно пошлых и избитых выражениях, впрочем, в скобках порой допускаются стилистические замечания относительно собственного употребления временны́х форм. Поступки и отношения соответствуют принципу «нет нужды говорить, что...». Так, проводив любовника, Эмма восторженно взирает на беспорядок в квартире — он ей кажется прекрасней самых прекрасных музейных шедевров — и произносит подытоживающую фразу: «Естественно, я до следующего утра не стала принимать душ, чтобы не смыть с себя его сперму». Вы, наверное, обратили внимание на «естественно». Это намек, и женщины — как, впрочем, и мужчины — уже догадались, к чему я клоню. Героиня, судя по всему, глупа либо прикидывается дурочкой. Она из кожи вон лезет, пытаясь доказать нам: я рассказываю о своей животной страсти, ведь мы не ангелы. Идея ясна: ее любовная интрижка доступна всем; за неимением лучшего — поскольку риск достаточно велик («Однажды ночью мне вдруг захотелось провериться на СПИД: «Он же мог, как минимум, оставить мне это».) — можно заново пережить приключение благодаря воспоминаниям, прочесть их займет не больше времени, чем посмотреть телефильм. Получается, что книга вполне назидательная, и потенциальных читателей у нее предостаточно, ничуть не меньше, чем у какого-нибудь руководства по технике секса: «(...) я перелистала «Пособие по эротике». Под заглавием стояло: «Продано 700 000 экземпляров». А какой общий тираж на сегодняшний день у «Мадам Бовари»? Представьте себе, что Эмма, дабы возвратить долг господину Лёрё, решила бы сама опубликовать историю своей страсти, опередив Флобера перед финишем,— с проблемой ареста, налагаемого на имущество должника, было бы покончено!

Разумеется, у этой книги мало общего с романом Флобера. Она настроена на современность: кризис в Персидском заливе, эпидемия СПИДа и т. д. Родольф уже не носит сшитую по заказу «батистовую рубашку с рукавами, собранными в складку у манжет», раздувающуюся на ветру; нынче на нем «костюмы от Сен-Лорана» и «галстуки от Черрути» из разряда готовых изделий всевозможных расцветок. Теперь у него вместо синего легкого двухколесного экипажа — солидный автомобиль «рено-25», который нисколько не впечатляет современную Эмму... С другой стороны, есть и сходство: у Анни Эрно, по сути, те же мечты о путешествии в Италию (ах, Венеция!), что и у несчастной первой госпожи Бовари; видимо, эта малооригинальная идея крепко засела в сознании современных Эммочек, поскольку почти в том же виде встречается в причитаниях Мари Дидье: «воспоминания (...) о южной Италии (...) Удушливая волна удовольствий наизнанку, тех, что ей никогда не познать с ним, где-нибудь в Отранто или Галлиполи [1]». Чтобы героиня не показалась чересчур легковерной и романтичной, мечтания в этом случае навеяны не лунным светом, а блюдом из томатов с итальянским деликатесным сыром.

Книга Анни Эрно таит в себе литературную загадку. Текст ее банален и безыскусен, автор умудрилась избавиться даже от намеков на характерную для романа мечтательность, изгнав всякие неизъяснимые чувства, всякие грезы,— а в конце концов свершается маленькое чудо: безвкусица и пошлость предстают обольстительными. По крайней мере, могли бы предстать таковыми, сумей читатель на минутку забыть о том, что перед ним автобиографическая проза; к сожалению, Анни Эрно слишком словоохотливо расписывает собственные личные моменты и слишком много носится с началом публикации своего опуса. Парадоксальный итог: именно правдоподобная автобиографичность материала делает книгу глубоко фальшивой.

---

[1] Курортные города на полуострове Салентина (южная Италия).

Не без опаски приходится говорить о романе Мари Дидье: несмотря на вызывающе грубые вкрапления («Она ощущает себя дыркой, просто дыркой, влагалищем, куда ему, как и в прочие влагалища, надо залезть на какое-то время, если уж не получается остаться там насовсем»), в этой книге пристрастие к штампам доведено до предела допустимости, о чем автор вроде бы и не подозревает: «Путешествовать, чтобы скрыться. А скрыться невозможно. И она это понимает. Мужчина вездесущ. Она встретила его и в католической часовне, и под двумя кипарисами...» — далее в том же духе. Проблемы, от чьего лица вести повествование, тут нет и в помине: «я» рассказчицы непосредственно переведено в «она». Свои злоключения новая Эмма излагает от третьего лица — так удобнее и логичнее ввернуть среди сетований и причитаний какое-нибудь нравоучительное высказывание: «Это можно назвать прощением (...) Ненависть всегда пилит сук, на котором жизнь свила гнездо». Этот текст в еще большей степени, чем монолог Анни Эрно, сосредоточен на самом себе, и Эммочка ничтоже сумняшеся пишет: «Она выждала несколько долгих минут, а затем вывела на белом листе крупными буквами неприятное ей слово — «злопамятство». А вот еще, опять-таки насчет Родольфа: «она писала «палач»... Она писала это слово большими буквами и маленькими, внизу страницы и поперек листа», и т. д. Эммочка увлеклась этим занятием до такой степени, что довела себя до мигрени: «И ей уже надо остановиться, не забивать себе голову новыми и новыми словами, чтобы наконец-то успокоилось нечто, тянущее из нее соки. Надо остановить этот аппарат по производству слов». Однако механизм запущен — будь что будет. Порой текст читается с трудом: «Слова медленно падают на то, что она, почти не отдавая себе в том отчета, удалила от себя, и это причиняет самую сильную боль». А порой лучше и не замечать, что ту или иную фразу следует понимать в переносном смысле: «Она кажется сама себе безобразной,— и с лицевой стороны, и с изнанки. Но у нее, как у любой другой, где-нибудь в укромном уголке кухни должно быть нетронутое яблочко или совсем еще свежий апельсин». Остается ощущение неподдельной невинности: если коварный Родольф опрыскивает обыкновенной водой страницы своего письма, извещающего о разрыве, то Эммочка орошает рукопись книги настоящими горькими слезами, какими плачет истерзанный подросток: «Она рыдала молча, жгучие слезы катились по щекам и оставляли неразличимые следы на белоснежном листе бумаги». Впрочем, все кончается хорошо, и у Эммы еще будут возлюбленные. А знаете, как отличить этот роман от очередного выпуска из примитивной серии «Арлекин»? Быстренько пролистайте книгу: в ней попадаются столь поэтичные места, что меняется даже расположение шрифта — с правой стороны строки не выровнены и лишь отдельные слова разбросаны по листу.

Перевод А. ВОЛКОВА

У книжной витрины

БЕАТРИ БЕК

Карлица

Béatrix Beck. Une lilliputienne. «Grasset»

Старейшая французская писательница Беатри Бек (удостоенная Гонкуровской премии за роман «Священник Леон Морен» еще в 1952 году), несмотря на солидный возраст, сохраняет творческую активность. Вслед за сборником новелл «Непримечательные жизни» вышел в свет ее новый роман, который, как явствует из заглавия, рассказывает о судьбе весьма необычной женщины.

Главная героиня Лия Деминадур (она же Лили) перестала расти в шесть лет. Однако она вовсе не похожа на несчастного уродца, на балаганного лилипута, объект забавы для зевак. Напротив — это энергичная, жизнерадостная, обаятельная женщина с обличьем полудевочки-полукуколки. На протяжении всей книги она растет духовно, сохраняя веселый нрав вопреки не слишком веселым обстоятельствам. Лили — сирота, и воспитывает ее сводная сестра Беатрис. Малый рост ограничивает круг общения Лили в основном детьми, а они, как известно, не отличаются тактичностью и деликатностью. В поисках работы ей приходится перепробовать всякое: продавшица искусственных цветов, натурщица в мастерской художника, сотрудница магазина игрушек, компаньонка и, наконец, владелица салона: «Мадам Лия — ясновидение и гадание на картах».

Это ее последнее занятие по-своему символично: ей, карлице, дано видеть то, что недоступно окружающим ее «большим» людям. На примере столь редкой судьбы Беатри Бек напоминает, по сути, о прописных истинах: как трудно живется тем, кто «не такой, как другие»; с какими мучениями вынуждены они искать свое место в нередко жестоком и бездушном мире; и как даже в самой тяжелой ситуации можно достичь гармонии и спокойствия, будучи и при малом росте выше на голову многих высоких.

МИШЕЛЬ ДЕЛЬ КАСТИЛЬО

Преступление отцов

Michel del Castillo. Le crime des pères. «Seuil»

Шестидесятилетний Мишель дель Кастильо известен во Франции прежде всего как автор книг «Ночной ветер» (1973, премия «Либрэр»), «Декрет оглашен ночью» (1981, премия «Ренодо»), а также имевшей успех у читателей и критиков «Женщины в себе» (1991). Его новый, автобиографический роман «Преступление отцов» стал бестселлером и получил гран-при РТЛ — «Лир», присуждаемый по итогам опроса общенационального жюри из 100 человек.

Повествование ведется от лица писателя Мигеля. Мигель пишет эту книгу во время поездки в Испанию, в арагонский городок Уэска, где в его честь устроен небольшой литературный фестиваль.

Мигель погружается в воспоминания: в августе 1951 года именно в этом городке (здесь тогда хозяйничали фалангисты) он, совсем еще юный, оказался один-единешенек — мать о нем забыла, от отца не было никаких вестей... Но к счастью, он повстречал Антона, который; вместе с женой и шестью дочерьми, смог дать Мигелю кров и тепло семейного очага. Антон, «воплощение добродетели», обретает в лице Мигеля долгожданного сына; сам Мигель души не чает в приемном отце. Лишь через сорок лет он узнает ужасную правду о франкистском прошлом Антона, «этого чудовища». Прозревший Мигель, желая расставить все по местам и вернуть себе душевное равновесие, воскрешает собственное прошлое и рисует при этом яркую картину послевоенной Испании, где обманчивое сонное затишье скрывает лютую ненависть «бывших» и «вчерашних» всех мастей.

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Судно направляется в ад

Bernard Clavel. Cargo pour l'enfer. «Albin Michel»

Член Гонкуровской академии, один из старейших и самых популярных во Франции романистов Бернар Клавель уже около сорока лет неустанно пишет о проблемах сохранения природы и человека. Его новый роман «Судно направляется в ад», сразу после публикации оказавшийся в списке бестселлеров, вновь затрагивает «экологическую» тему.

В центре повествования — драматическая судьба грузового судна «Габбьяно» и его экипажа. Владелец судна находится в Швейцарии, плавает оно под кипрским флагом, капитан — нормандец, а матросы — греки, итальянцы, французы — изъясняются между собой на английском. «Международны» и события, стремительно разворачивающиеся на корабле и вокруг него.

В трюмах находятся бочки с токсичным веществом — вероятнее всего, отходами химического производства. Когда внезапно происходит разгерметизация некоторых их них, судно превращается в «плот Медузы»: от ядовитых испарений у матросов трескается кожа, слезятся и гноятся глаза; двенадцать дней корабль не может зайти ни в один европейский или африканский порт, поскольку власти каждой страны стараются избавиться от этого зачумленного «летучего голландца». Судовладелец тайком продает свою компанию, средства массовой информации трубят о происшествии лишь потому, что им нужна очередная сенсация; судно же брошено на произвол судьбы. Впрочем, капитану и команде советуют пересесть под шумок в спасательные шлюпки, пробив судну днище, потопить судно, а затем дождаться помощи и, добравшись до берега, получить — опять же потихоньку — и страховку, и дополнительную мзду. Однако моряки отказываются идти на сделку с совестью и осквернять при этом море, которое воспринимают как часть самих себя. Финал трагичен: матросы, до конца исполнив свой долг, один за другим погибают.

ПАСКАЛЬ ЛЭНЕ

Неопределенность

Pascal Lainé. L'incertaine. «Fayard»

Имя этого писателя прежде всего ассоциируется с романом «Кружевница», за который он был удостоен Гонкуровской премии (1974). Паскаль Лэне уже не раз доказывал, что может с не меньшим успехом писать самые разные романы — исторические, эротические, социальные, детективные... В новой, автобиографической книге «Неопределенность» он раскрывает еще одну грань своего таланта — умение поведать любовную историю в жанре дневниковых записей.

Их в романе ведет пятидесятилетний литератор, охваченный сильным чувством к тридцатилетней драматической актрисе. Театр для нее — не просто увлекательная, волнующая работа. В его условном мире молодая женщина пытается скрыться от действительности, не рискуя жить своей, истинной жизнью: ведь только в пьесе счастливый финал известен заранее, зло отступает и все желания сбываются. Актриса почти уверена, что их отношения обречены; он и сам подспудно понимает это, однако любовь плохо сочетается с трезвостью мышления и логикой. Сцены ревности, измены, размолвки и, наконец, разрыв — так завершается эта история.

ЖИЛЬ БАРБЕДЕТТ

Воспоминания молодого человека, ставшего стариком

Gilles Barbedette. Mémoires d'un jeune homme devenu vieux. «Gallimard»

В 1992 году скончался тридцатишестилетний писатель, литературный критик и журналист Жиль Барбедетт. СПИД отнял у современной французской беллетристики еще один многообещающий талант, только вступивший в пору расцвета. Романы «Метроман» (1985), «Эфемерные сочинения» (1987), «Балтимор» (1991), блестящее литературоведческое эссе о Набокове «Приглашение на обман» (1989), автобиографическая повесть «Сезон в детстве» (1991) — эти произведения обеспечили молодому прозаику известность и читательский интерес. Последнюю книгу воспоминаний он писал уже смертельно больным — к публикации ее подготовили его друзья и литературные душеприказчики Рене де Чекатти, Эктор Бьянчотти и Диана де Маржери.

Вопреки ожиданиям, в своем дневнике обреченного Жиль Барбедетт сокрушается не столько о себе, сколько о единственном близком друге: в конце 80-х Жан медленно умирал у него на руках. Душевные и физические мучения Жана причиняют Жилю двойную боль — он осознает, что бессилен помочь и что его самого ждут такие же страдания. Он, молодой человек, вдруг превращается в старика, который «забывает, что такое обыкновенный поцелуй». Но и в этом положении Жиль Барбедетт не падает духом, продолжая бороться за жизнь, заботиться о друзьях, осмысливать прошлое и даже планировать путешествия. Перед лицом надвигающейся смерти он, собрав все силы, не оставляет и литературный труд: завершает начатые книги, пишет очерки и рецензии для газеты «Монд», готовит издание Набокова в серии «Плеяда», делает наброски новых романов и, наконец, изо дня в день ведет дневник — непосредственное свидетельство того, «как непросто создавать что-либо, когда к затылку приставлено дуло пистолета».

ФРАНСУАЗА ЖИРУ, БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ

Мужчины и женщины

Françoise Giroud, Bernard-Henri Lévy. Les hommes et les femmes. «Olivier Orban»

Мужчина и женщина — извечная тема, особенно у французов. Поразмышлять над ней, над тем новым, что произошло в этих взаимоотношениях на исходе XX века, решили известные литераторы — Франсуаза Жиру и Бернар-Анри Леви. В своей совместно написанной книге они ведут — порою жестко, но всегда учтиво — споры о ревности и изменах, страсти и обольщении, долге и свободе в любви. Молодой философ Б.-А. Леви, в отличие от своей собеседницы, не верит в платоническую любовь; не одобряет практику типа «марьяж сепаре» и еще способен ревновать.

Но действительно серьезные расхождения в их взглядах выявляются, когда речь заходит о материальной и моральной независимости женщин, о праве свободного выбора. По мнению Ф. Жиру, за последние двадцать лет женщины изменились больше, чем за все предыдущее тысячелетие. Во-первых, они избавились от навязанного иудаистским и христианским учениями чувства греховности. Во-вторых, осознали, что они, как и мужчины, тоже люди и вправе делать свой выбор в любви: наслаждаться ею или отклонять, создавать семью или предпочитать уединение проживанию под одной крышей с ничтожеством, зарабатывать на жизнь самостоятель-

но или быть на содержании — и делать все это без комплексов. В-третьих, женщины поняли, что им даны свои радости, а не только страдание. Плакать в подушку, мучась от неверности супруга,— удел их бабушек. Современные женщины веселее смотрят на мир. Они свободны. Так считает одна из них, но ее собеседник, ставший на время подобием вольтеровского Кандида, убежден: по натуре своей женщины остались прежними. Если уж в споре двух философов истина не родилась, то, видимо, ее надо искать в жизни.

ЭЛЕН КАРРЕР Д'АНКОСС

Победоносная Россия

Hélène Carrère D'Encausse. Victorieuse Russie. «Fayard »

Крупный историк, политолог, специалист по России, член Французской академии Элен Каррер д'Анкосс уже около 30 лет занимается «русской темой». В своей новой, четырнадцатой по счету книге, посвященной России, исследовательница не только подробно анализирует события последних лет, но и пытается проследить их связь с древней историей страны. Основной вывод в этом плане сформулирован так: эпоха империй прошла, и народам России предстоит коренным образом изменить свою психологию и восприятие самих себя — в противном случае занять достойное место среди демократических государств ей, скорее всего, не удастся.

Впрочем, Элен Каррер д'Анкосс оптимистично смотрит на будущее (о чем говорит даже название книги), ибо уверена: трезвое и спокойное мышление в конце концов преодолеет все нынешние поветрия — стяжательство, религиозный психоз, тоску по былым временам (от монархических до коммунистических) и т. д.

Немалая часть книги касается отношений Востока и Запада. По мнению французской исследовательницы, серьезный переворот должен произойти и в умах европейцев. Слишком долго Россия, в чем-то чересчур далекая, в чем-то чересчур близкая, внушала почтение, основанное на страхе. Слишком долго она была непонятной и потенциально опасной страной. Сумеет ли Запад отказаться от прежних стереотипов? Хватит ли у него терпения, настойчивости и сил пройти вместе с Россией ее трудный путь к демократии? На эти и множество других аналогичных вопросов Элен Каррер д'Анкосс отвечает положительно: ведь западные страны сами когда-то пережили трудности становления правового, цивилизованного общества, и нынешние проблемы России им понятнее прежних сложностей построения «всеобщего счастья».

«ГОД КНИГИ»

L'année du livre. Bibliothéque nationale / «Robert Laffont»

Как опубликовать свое творение? Почему Эме Сезер рассердился, узнав, что Гонкуровскую премию получил Патрик Шамуазо? Каким образом удалось без лишнего шума издать «Секс» — пикантный альбом Мадонны? Каковы основные ориентиры, когда из американских, английских, немецких, итальянских книг отбирают что-нибудь для перевода? На эти и многие другие вопросы дает ответ «Год книги» — своеобразная литературная энциклопедия 1992—1993 годов, выпущенная совместными усилиями Национальной библиотеки и издательства «Робер Лаффон» при содействии Александра Лазарефф и журнала «Лир». Предисловие к ней написали известные литературоведы и критики Эммануил Леруа Ладюри и Бернар Пивó, который к тому же возглавляет журнал «Лир» и ведет на телевидении популярную литературную передачу.

Помимо анализа 200 произведений 1992 года (романы, очерки, биографические исследования) в этой книге о книгах представлены основные литературные события сезона, даны портретные зарисовки знаменитостей, перечислены бестселлеры и модные темы, приведена статистика книгоиздательства и читательского спроса, а также рассказано о литературных новинках. Словом, «Год книги» — это подробный путеводитель по литературной Франции.

Курьер «ИЛ»

САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ...

С чего начиналась французская литература? Оказывается, самым первым известным нам текстом на романском языке (ланге-дойль — основа будущего французского) была «Страсбургская клятва» (842). Внуки Карла Великого — Карл Лысый и Людовик Германский — поклялись вместе бороться против своего брата Лотэра. А самую первую на французском языке книгу «Летопись Франции» издал в Париже в 1476 году Паскье Боном. Это было переложение «Летописей Сен-Дени», в которых рассказывалась история правления французских королей, начиная с XII века. Любопытно, что первое издательство «Бержер-Левро» появилось ровно два века спустя — в 1676 году.

Литературным творчеством французы увлеклись серьезно. Самое большое наследие оставил франкоязычный бельгиец Жорж Сименон: почти 190 романов под различными псевдонимами; 193 романа под собственным именем; 25 автобиографических книг и около тысячи рассказов. Все это полумиллиардным тиражом разошлось по миру — ведь Жорж Сименон самый читаемый из франкоязычных авторов. Одним из наиболее популярных писателей у себя на родине остается Антуан де Сент-Экзюпери («Маленький принц» и «Ночной полет»). Читательским спросом по-прежнему пользуется повесть «Чужой» А. Камю. Среди книг, заказываемых по почте, лидирует «Человеческая комедия» Бальзака, следом идут романы Бернара Клавеля и Марселя Паньоля. Весьма своеобразна ведущая тройка бестселлеров среди книг карманного формата из серии «10/18»: «Пена дней» Бориса Виана, «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.

А вот еще несколько любопытных рекордов. Самыми длинными фразами писал Марсель Пруст; наидлиннейшее предисловие (само ставшее книгой под названием «Святой Жене — комедиант и мученик») сочинил Ж.-П. Сартр. Самым молодым Гонкуровским лауреатом стал в 1945 году двадцатишестилетний Жан-Луи Бори (роман «Моя деревня во времена оккупации»), а в самом почтенном возрасте (70 лет) эту премию получила в 1984 году Маргерит Дюрас за повесть «Любовник».

МОЛОДЫЕ АВТОРЫ — КТО ОНИ?

Филипп Джьян, Сирил Коллар, Ив Симон, Александр Жарден... Эти молодые авторы вихрем ворвались в современную французскую литературу, завоевав преимущественно читателей своего поколения — тридцатилетних — и совсем юных. И это неудивительно, ибо пишут они прежде всего о молодежи.

На сегодня самый солидный «писательский багаж» — у Филиппа Джьяна: 9 книг, выходившие ежегодно одна за другой. Наибольшей популярностью пользуется роман «По утрам — 36,2°» (1985), по которому снят ставший не менее популярным фильм. Герои этого и остальных произведений Ф. Джьяна — современные молодые люди: одни из них пытаются найти свое место в этом мире и бороться за себя; другие, едва вступив в жизнь, уже равнодушны к ней и собственной судьбе.

Сирил Коллар — это во многом копия Джьяна: он также добился молниеносного успеха у молодых читателей, также посвятил свои книги ровесникам. Его персонажи, живущие ограниченным кругом интересов (мотоциклы, автомобили, видео, джаз, секс), не стремятся, в отличие от героев его старшего коллеги, превозмочь свой примитивный уровень. Сирил Коллар попробовал силы и в кинематографии, сняв фильм по своему роману «Жестокие ночи». Экранизация оказалась даже успешнее книги, однако это — последнее, что ему суждено было сделать: недавно С. Коллар скончался от СПИДа. О популярности рано ушедшего автора говорит и то, что после его смерти в Париже состоялись манифестации молодежи.

Писательскую славу Иву Симону, признанному во Франции певцу, принес роман «Колебание чувств», удостоенный премии «Медичи». Изображая современный мир таким, какой он есть, романист пробует изменить серое, тупиковое течение жизни хотя бы в своем воображении. Вероятно, этим страстным желанием разбудить сонное царство вокруг Ив Симон и пришелся по душе авторитетному жюри.

Свой первый опус Александр Жарден опубликовал в 20 лет, да

Сирил Коллар снимает фильм «Жестокие ночи» по своему одноименному роману.

(Журнал «Лир»)

и сейчас он — один из самых молодых авторов. Непосредственность, игривость, юный задор переполняют его романы «Чудак» и «Фанфан». В его манере письма угадывается почерк если не Жана Кокто, то Франсуазы Саган. Сын сценариста, Александр Жарден заявил о себе и как кинематографист, экранизировав всего за два месяца роман «Фанфан». На его счету сценарии к картинам других режиссеров, а новая задумка опять-таки касается съемок фильма.

СЧАСТЛИВОЕ ДВОЕБОРЬЕ

Литература и кинематограф — два во многом схожих, но все же разных вида искусства. Можно ли одинаково хорошо овладеть обоими? Можно, судя по внушительному числу писателей, получивших признание зрителей и жюри.

Одним из первых, кто сумел профессионально перевести свое художественное произведение на язык кино, был писатель-историк Андре Мальро. В 1939 году он экранизировал роман «Надежда», посвященный событиям гражданской войны в Испании, свидетелем которых он стал. Фильм был удостоен премии Луи Деллюка.

«Великолепная тройка» — такого лестного определения удостоились Саша Гитри, Жан Кокто и Марсель Паньоль. Успешно дебютировав еще в 30-е годы, они несколько десятилетий радовали зрителей экранизациями собственных произведений и создавали сценарии по книгам других авторов. Фантазия, выдумка, поэтичность — вот что делает их картины привлекательными, будь то «Мерлюс» (1935) Паньоля, «Красавица и чудовище» (1945) Кокто или «Жизнь порядочного человека» (1952) Гитри.

На стезю кинотворчества смело ступили и литературные дамы. В 1974 году яркая и оригинальная Франсуаза Саган сняла короткометражную ленту «Еще одна зима», удостоенную первой премии на кинофестивале в Нью-Йорке. Однако ее полнометражный фильм «Голубые папоротники», представленный три года спустя, оказался не столь удачным. С тех пор Франсуаза Саган специализируется на короткометражных картинах: «Для кого-то это, может, и коротко, а для меня — в самый раз».

Сущую сумятицу в мир французского кино внесла Маргерит Дюрас. Свои фильмы романистка снимает, ломая технические каноны съемки. Особенно характерен в этом отношении фильм «Индийская песнь» (1975). Музыка, многоголосие и голос за кадром составляют его фон. А начинала М. Дюрас со сценария для фильма «Хиросима, любовь моя» (1960) Алена Рене. По удивительному совпадению для этого же режиссера написал свой первый сценарий и Ален Роб-Грийе (фильм «В прошлом году в Мариенбаде»). Дебютировал А. Роб-Грийе весьма успешно: фильм «Бессмертник» (1963) получил премию Луи Деллюка. Этот романист также идет новаторским путем, пробуя, например, изображать события на экране не через серию эпизодов, а через единый процесс. Что ж — пожалуй, кинематографистам следует лишь приветствовать такое творческое посягательство на их профессию.

Жан Кокто во время съемок фильма «Кровь поэта» (1930 г.).

(Журнал «Лир»)

Рабочий момент съемок фильма «Мадемуазель Фифи» (1988 г.).

(Журнал «Лир»)

НА СУДЬБУ НЕ В ОБИДЕ

Целых два столетия семейные архивы рода де Садов носили статус «для домашнего пользования». И вот нынешние прямые потомки «божественного маркиза» решили их рассекретить, поручив это крупнейшему «садоведу» Морису Леверу.

Эпистолярное наследие оказалось весьма обширным и составило семь томов почти в тысячу страниц каждый, объединенных в серию «Библиотека де Садов». Помимо М. Левера над выпуском трудились историки, библиографы, языковеды; а пу-

бликацию взяло на себя издательство «Файяр».

Первый том — «Правление отца (1721—1760)» посвящен родителю маркиза. Архивы Жана-Батиста де Сада представлены в основном письмами. И тем не менее это ценнейший материал для историков, ибо он позволяет вплотную увидеть закулисную жизнь, политические и любовные интриги при дворе Людовика XV. Имена корреспондентов говорят сами за себя: Вольтер, Ришелье, Морис де Сакс, мадам де Помпадур... Впрочем, встречается и немало анонимов, среди которых множество дам из высшего света.

Каким же предстает в письмах юный Донасьен Альфонс Франсуа? Оказывается, он слывет «милым молодым человеком» — правда, по отзывам некоторых, «не без странностей». Отец вовсю печется о своем отпрыске: не считаясь с деньгами (22 000 франков, вырученных от продажи недвижимости), покупает ему чин корнета в полку карабинеров; прощает карточные долги и прочие ошибки молодости. Поистине, семнадцатилетний Донасьен — сын своей эпохи или, точнее, ее изнанки.

Впрочем, всю эту мирскую суету Жан-Батист де Сад воспринимает как и подобает философу: «Жизнь людей похожа на фейерверк»: яркие огни взлетели, сверкнули в вышине и погасли — занятное зрелище, и только. Взлет я наблюдаю без зависти, а угасание — без интереса. Такова и моя судьба, и я на нее не в обиде».

ЯВЛЕНИЕ ПЕННАКА

В 1973 году никому еще не известный скромный двадцатидевятилетний преподаватель французского языка Даниель Пеннак опубликовал свою первую книгу острополемических публицистических заметок «Военная служба — у кого на службе?». С тех пор он — нередко вместе с кем-нибудь из друзей или под псевдонимом — печатался регулярно. Ныне Пеннак — автор более десятка книг, многие из которых не раз переиздавались с неизменным успехом: премии за детективный роман городских властей Реймса (1985) и Гренобля (1987), премия «Интер» (1990).

В начале 1992 года вышло пространное эссе под названием «Как роман», которое уже более года фигурирует в списке бестселлеров: продано около 200 000 экземпляров — для Франции цифра впечатляющая. Такой огромный интерес вполне понятен: Д. Пеннак размышляет о проблеме детского чтения: с какими трудностями сталкивается ребенок, когда берет в руки книгу, как сделать так, чтобы чтение захватывало, приносило радость и удовольствие. Автор напоминает французам о забытой прописной истине: часы, проведенные за этим занятием, потрачены не зря — они делают жизнь богаче.

От книг самого Д. Пеннака не заскучаешь — он пишет поэтично и с большим чувством юмора. Да и впечатлений у него достаточно: довелось пожить в Бразилии, в Африке, в Азии, шесть лет — в интернате, с учениками. Его творческий диапазон (а значит, и круг читателей) широк: романы, детективы, эссеистика, произведения для детей... Как утверждает их автор, разнообразие дает ему возможность выразиться полно и адекватно. Детектив, например, позволяет сосредоточиться на сюжете, опустить чересчур подробные описания. Что касается сказок, то на роль их сочинителя Д. Пеннак подходит как нельзя лучше: он хорошо изучил психологию своих маленьких читателей.

Теперь Даниель Пеннак — модный и весьма популярный литератор; его приглашают на телевидение, на радио, в лицеи, и он охотно выступает, но при этом подчеркивает, что не желал бы становиться вездесущей «звездой»: «Надо выбирать: либо писать, либо болтать».

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДВУХ ФИЛОСОФОВ

«Мемуары растерянной девушки» — так называется книга, выпущенная недавно издательством «Баллан». Ее автор Бьянка Ламблен в пору своей далекой довоенной юности была принята в интимное трио, главные партии в котором исполняли Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Казалось, все шло чудесно: Бьянке, семнадцатилетней лицеистке, изучавшей философию, стали покровительствовать такие выдающиеся люди! Сартр ухаживал за ней, писал ей из армии нежные письма, Кастор (прозвище Симоны де Бовуар) была ее близкой подругой... В 1940 году все вдруг разом кончилось: в феврале Сартр без каких-либо объяснений прислал письмо, извещавшее о полном разрыве, а в октябре и Кастор бросила обескураженную и разобиженную девушку. И хотя впоследствии Бьянка обоих простила — с Симоной де Бовуар даже поддерживала дружеские отношения до самой ее смерти,— внезапный разрыв оставался загадкой.

Лишь через пятьдесят лет Бьянка Ламблен узнала правду, когда в 1990 году были опубликованы «Письма Сартру» и «Дневник военного времени» Симоны де Бовуар. Оба бывших друга сдержали обещание пощадить репутацию Бьянки, поэтому она везде фигурирует под псевдонимом Луиза Ведрин. Однако об отношениях внутри недолгого трио говорилось прямо и порою грубо. Сартр и Кастор на самом деле никого не желали впускать в свой дуэт и поспешили избавиться от наивной, сентиментальной и жалкой подруги. И вот много десятилетий спустя Б. Ламблен решила в «Мемуарах растерянной девушки» раскрыть свою часть истины. Донжуанство Сартра, ревность Симоны, лицемерие и эгоизм обоих — мемуаристка не скупится на темные краски. Но и они помогают воссоздать более полный личностный портрет двух крупнейших французских философов и писателей XX века.

Бьянка Ламблен и Симона де Бовуар в 1938 г.
(Журнал «Лир»)

КОМУ КАК ЛУЧШЕ ПИШЕТСЯ?

Недавно парижский журнал «Лир» провел опрос именитых писателей на одну-единственную тему: как они ухитряются скрываться от внешнего мира, дабы спокойно заниматься творчеством?

«Да так ли уж сильны давление и помехи внешнего мира?» — удивляется Патрик Модиано. В самом деле, писатель — не актер, ему не надо выходить к публике, между ним и его читателями есть неизменный посредник — его книга. «Как я готовлюсь к работе? Да никак, потому что терпеть не могу режимы и графики. И расплачиваюсь за это приступами душевной лени и безволия, когда начинаю писать».

«Я охотно посещаю всевозможные литературные вечера и конференции, посвященные выходу очередной моей книги,— признается Анни Эрно.— Не чураюсь и журналистов, хотя интервью даю только на действительно содержательные темы. Мне, например, противны корреспондентки из женских журналов с их расспросами о меблировке моего дома, о клумбах в саду и прочей ерунде». Однако А. Эрно обитает далеко от Парижа и, по ее словам, ничуть не мучается от того, что лишена внимания общества, ибо никогда не стремилась жить на виду.

«А я вовсе не уединяюсь,— заявляет Гонкуровский лауреат Пьер Комбеско.— В тишине вообще не могу работать. Обычно я пишу за карточным столиком, сидя у окна с видом на мое любимое бистро; телефон у меня всегда под рукой. Ведь все это жизнь, и мне нужно ее наблюдать, говорить с людьми — как же иначе?»

Не старается напрочь отгородиться от всех и вся другой Гонкуровский лауреат — Тахар Бен Джеллун. «Я люблю жизнь, люблю развлекаться, встречаться с друзьями, ходить за покупками в магазин или на рынок. Все это дает пищу писательскому воображению». Но писательское ремесло требует сосредоточенности и полной самоотдачи, поэтому каждое утро Т. Бен Джеллун как обыкновенный служащий отправляется из дома, где живет со своей семьей, в специально снятую небольшую квартиру, которая служит ему рабочим кабинетом. Очень удобно — семья не мешает работе, и наоборот.

Подобные ухищрения могут показаться забавными, однако именно так советует поступать Филипп Соллерс. Заниматься литературой — значит, вести войну с обществом, считает он, а потому необходимо перестроиться на военный лад, как это делали Хемингуэй, Кафка, Джойс, Пруст, Селин... То есть нужно постоянно менять маски — а заодно и места обитания,— уметь заметать следы и путать карты. «Вообще, чтобы убежать от окружающего мира, лучше всего погрузиться в счастливое состояние души: тогда становишься неуязвим для любой общественной системы, которая призвана тебя подавлять и унижать».

ПЛАГИАТ ИЛИ ТВОРЧЕСКАЯ НАХОДКА?

Над этой этической проблемой размышляет искусствовед Юбер Дамиш в своей недавно вышедшей книге «Суд Париса» (издательство «Фламмарион»). В ней автор анализирует примеры внешнего сходства между произведениями живописи и графики различных времен и мастеров, пытаясь определить: в каких случаях правомерно говорить о собственно «продукции», а в каких — о более или менее умело скрытой «репродукции»?

Особенно любопытна история, связанная с гравюрой Марка-Антуана Раймунди,— ей исследователь уделил главное внимание. На ней изображены два обнаженных бога и нимфа, сидящие на берегу ручья. (Впрочем, нимфа ли это — наверняка сказать трудно: тело ее по-мужски мускулисто, внешностью она напоминает андрогина.) Так или иначе, все трое зеркально отражены на знаменитой картине Э. Мане «Завтрак на траве». Правда, мужчин известный импрессионист «одел», оставив, однако, их компаньонку в костюме Евы. Эта вызывающая несуразность и взгляд голой женщины, обращенный к зрителю, шокировали публику и разгневали критиков — намек на проституцию казался очевидным. Примечательно, пишет Ю. Дамиш, что того же Кабанеля за его «Рождение Венеры», напротив, хвалили. Разгадка проста: художник мягче преподнес тему, и то, что у Мане сочли непристойным, у Кабанеля нашли целомудренным.

Как показывает дальнейший иконографический анализ, композиционные следы гравюры М.-А. Раймунди можно обнаружить и в другой картине Мане — «Олимпия»: достаточно сравнить позы отдыхающей на ложе красавицы и одного из богов. Оспаривать авторство М.-А. Раймунди никто не собирается, но как теперь быть с Мане?

ЗОЛОТО И ЖЕМЧУГ ТРОПИКОВ

Лауреат Гонкуровской премии, известный писатель и литературный критик Доминик Фернандез (см. «ИЛ», 1992, № 5-6) отличается нестандартными подходами к любой теме, что еще раз подтверждает его недавно опубликованная книга «Золото тропиков. Прогулки по Португалии и Бразилии эпохи «барокко» (издательство «Грассе»). Эти путевые заметки, насыщенные историческими, литературными и искусствоведческими аллюзиями, по-своему уникальны. Их автор держится в сто-

Картина Э. Мане и гравюра М.-А. Раймунди.

(Журнал «Кензен литтерер»)

Часовня в Кампу-Маиор.

(Журнал «Магазин литтерер»)

роне от проторенных маршрутов массового туризма — этого современного варварства. Заглядывая в самые неожиданные уголки, дотошно изучая всевозможные редкости — от архитектурных чудес до таинственных древних обрядов,— Доминик Фернандез уподобляется путешественнику XVIII века, для которого и странствие, и рассказ о нем были настоящим искусством.

Не случайно избран и столь несовременный на первый взгляд стиль — «барокко». Впрочем, для Д. Фернандеза это даже не стиль, а состояние духа, преодолевающее время и пространство. Первоначально португальское слово «барроку» означало «маленькая жемчужина неправильной формы»; такими «жемчужинами» Португалия и Бразилия щедро усыпаны и поныне. Это и жутковатая часовня в Кампу-Майор (Португалия), где черепа и кости служат художественно оправданным материалом для памятника жертвам землетрясения. Это и удивительная по красоте «терраса пророков» в Конгоньяш-ду-Кампу (Бразилия), созданная не менее удивительным скульптором и архитектором XVIII века Алейжадинью: он работал инструментами, привязанными к изуродованным проказой рукам.

По-французски «барок» означает еще и «причудливый, необычный», что вполне соответствует тому, как Доминик Фернандез воспринимает страны и народы. Мягкость и меланхоличность «португальской души» он противопоставляет «испанской одержимости»; Бразилия (почти синоним нищеты, коррупции и преступности) являет ему и другую свою сторону — неудержимую чувственность и жизнерадостность. Книгу Д. Фернандеза идеально дополняют работы соавтора и компаньона, молодого фотографа Ферранта Ферранти: они не просто иллюстрируют текст — они делают его зримым. Поразительная способность Ф. Ферранти фотографировать скульптуры как живые тела, а тела — как скульптуры, поймать блеск этого «золота тропиков» — что может быть лучше для книги о барокко?

ГОД ПОД ЗНАКОМ АНРИ-РЕНЕ-АЛЬБЕРА-ГИ ДЕ МОПАССАНА

В череде культурных событий 1993 года крупнейшими, несомненно, явились общенациональные торжества, посвященные памяти известнейшего писателя. Ровно сто лет назад закончил он свой жизненный путь, но почитателей его таланта со временем ничуть не убавилось. Свидетельство тому — масштабы и разнообразие культурной программы: проведен международный литературный семинар в городе Фекане (родной край Ги де Мопассана), переизданы многие произведения, выпущена почтовая марка с изображением писателя, изготовлен новый сорт шоколада — «Мопассан» (французы гурманством славятся). Неожиданно активными оказались фотохудожники. Их работы были представлены на фотовыставках, а также собраны в альбоме «Неведомый край» (издательство «Медьян»). На снимках запечатлена Нормандия, вдохновившая Мопассана на создание больших и малых шедевров.

К этой дате приурочен выход литературоведческих новинок, в числе которых и биографическая книга Жана-Жака Брошье из серии «Один день из жизни писателя». 1 февраля 1880 года

Рисунки Мопассана к «Наследству Аполлона Лельё».

(Журнал «Лир»)

Ги де Мопассан пережил счастливейший момент: он получил письмо, в котором его литературный учитель Флобер назвал «Пышку» шедевром и предложил ученику перейти на «ты». Похоже, исследователи творчества Мопассана еще долго будут открывать новое и любопытное. Так, в недавних публикациях приведены интереснейшие результаты литературоведческого анализа роли зеркал и воды в его произведениях. У Мопассана прослеживается явная подсознательная тяга вводить эти образы практически в каждое из них.

С появлением кинематографа Мопассан стал одним из наиболее часто экранизируемых авторов. Почему? Об этом лучше других знает Клод Сантелли — режиссер-постановщик 13 телефильмов по нормандским рассказам Мопассана, а также телесериала «Друг Мопассан» (1986): «Приступая к работе над текстами других писателей, задаешься вопросом: что урезать, сократить? Иное дело — Мопассан. Он сказочно идеальный сценарист: сюжет укладывается в десяток строк. Иногда, правда, хочется добавить кое-какие детали, но их я опять-таки заимствую из прочих его произведений». К сожалению, режиссер еще не осуществил свою четырнадцатую экранизацию (роман «Жизнь»), однако совместно с коллегой Клодом-Жаном Филипом он подготовил ретроспективный показ кинокартин в рамках программы «Мопассан на экране».

В этом номере разделы «У книжной витрины» и «Курьер «ИЛ» подготовили А. Волков и М. Волкова.

По материалам газеты «Фигаро», журналов «Кензен литтерер», «Лир», «Магазин литтерер», «Нувель обсерватёр» (Франция).

Авторы этого номера

ЭЖЕН ГИЛЬВИК (EUGÈNE GUILLEVIC; род. в 1907 г.) — французский поэт. Начал печататься накануне второй мировой войны. Участвовал в движении Сопротивления. Автор многих книг стихов: «Из земли и воды» («Terraque», 1942), «Земля для счастья» («Terre á bonheur», 1952), «31 сонет» («Trente et un sonnets», 1954), «Сфера» («Sphère», 1963) и др. В русском переводе стихи Гильвика печатались в книге «Из французской поэзии. Френо. Гильвик» с предисловием С. Великовского (М., «Прогресс», 1969), а также в сборниках и антологиях, в «ИЛ» (1966, № 10). Публикуемые стихи взяты из его книг, вышедших в парижском издательстве «Галлимар»: «Прокладка пути» («Creusement», Poèmes. 1977—1986; 1987), «Поэтическое искусство» («Art poètique», 1989), «Песня» («Le Chant», 1990), «Сейчас» («Maintenant». 1993). Лауреат премии «ИЛ» (1985).

ЖОРЖ БЕРНАНОС (GEORGES BERNANOS; 1888—1948) — французский католический писатель. Участник первой мировой войны. Автор новеллы «Госпожа Даржан» («Madame Dargent», 1922), романов «Под солнцем сатаны» («Sous le soleil de Satan», 1926), «Радость» («La joie», 1929), «Дневник сельского священника» («Journal d'un curé de campagne», 1936), «Новая история Мушетты» («Nouvelle histoire de Mouchette», 1937), «Господин Уин» («Monsieur Ouine», 1943) и др. Его перу принадлежат публицистические произведения: «Позорное разоблачение истины («Scandale de la verité», 1939), «Письмо к англичанам» («Lettre aux Anglais», 1942).
Пьеса «Диалоги кармелиток» («Les dialogues des Carmélites») вышла в издании «Библиотека «Плеяды» в 1961 г. («Bibliothèque de Pléiade». Paris, Gallimard, 1961).

С. ГАБРИЕЛЬ КОЛЕТТ (SIDONIE-GABRIELLE COLETTE; 1873—1954) — французская писательница. Во время первой мировой войны была военным корреспондентом; в 1936 г. избрана в Бельгийскую академию; с 1944 г.— член Академии Гонкуров. В 1953 году за литературную деятельность была удостоена ордена Почетного легиона. Автор многочисленных романов, в том числе «Скиталица» («La vagabonde», 1910), «Плен» («L'entrave», 1913), «Шери» («Chéri», 1920), «Конец Шери» («La fin de Chéri», 1926), книг воспоминаний «Дом Клодины» («Le maison de Claudine», 1922), «Сидо» («Sido», 1930), лирических дневников «Рождение дня» («La naissance du jour», 1928), «Вечерняя звезда» («L'etoile vesper», 1946), «Голубой фонарь» («Le fanal bleu», 1949).
Рассказ «Больной ребенок» («L'enfant malade») взят из собрания сочинений Колетт (Oeuvres completes. Paris, 1950—1954).

АЛЬБЕРТИНА САРРАЗЕН (ALBERTINE SARRAZIN; 1937—1967) — французская писательница, ее перу принадлежит автобиографическая трилогия, которую составляют романы «Перелом» («L'astragale», Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1964), «В бегах» («La cavale, 1965; премия Трех жюри за 1965 г.), «Судовой канат» («La traversiére», 1966). В 1967 году уже посмертно вышла подготовленная писательницей к изданию ее последняя книга «Письма и стихи» («Lettres et poèmes»).

МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ (MICHEL TOURNIER; род. в 1924 г.) — французский писатель, член Академии Гонкуров. Его первый роман «Пятница, или Круги Тихого океана» («Vendredi, ou les Limbes du Pacifique») появился в 1967 году, был удостоен «Гран-при» Французской академии и принес автору широкую известность. За роман «Лесной царь» («Le roi des aulnes», 1970) ему была присуждена Гонкуровская премия. В последующие годы выходили романы М. Турнье «Метеоры» («Les météores», 1975), «Гаспар, Мельхиор и Балтасар» («Gaspard, Melchior et Balthazar», 1980), сборник рассказов «Глухарь» («Le coq de bruyère», 1978); рассказы из этого сборника напечатаны в «ИЛ» (1981, № 10); книга эссе «Ключи и замочные скважины» («Des clefs et des serrures», 1978) и другие произведения.
Повесть «Жиль и Жанна» вышла во Франции в 1983 году («Gilles et Jeanne». Paris, Gallimard, 1983).

МОРИС БЛАНШО (MAURICE BLANCHOT; род. в 1907 г.) — французский писатель — прозаик, критик, эссеист. Автор романов и повестей «Темный Тома» («Thomas l'Obscur», 1941), «Аминадав» («Aminadab», 1942), «Тот, кто не был со мною» («Celui qui ne m'accompagnait pas»,

1953), «Последний человек» («Le dernier homme», 1957) и др., а также многих статей о литературе, философии, эстетике, вошедших в книги «Лотреамон и Сад» («Lautreamont et Sade», 1949), «Обречено огню» («La part du feu», 1949), «Грядущая книга» («Le livre a venir», 1959) и др.
Повесть «При смерти» («L'arrêt de mort». Paris, Gallimard, 1948, вторая редакция 1970) — первое крупное произведение Бланшо, переведенное на русский язык.

ЭЖЕН ИОНЕСКО (EUGÈNE IONESCO; род. в 1912 г. в Румынии; с 1938 г. живет во Франции), французский драматург, эссеист, философ. Один из создателей в 40—50-е годы «авангардистского театра». Автор пьес «Лысая певица» («La cantatrice chauve», 1953), «Стулья» («Les chaises», 1954), «Жертвы долга» («Victimes du devoir», 1954), «Амадей, или Как от него избавиться» («Amádée, ou Comment s'en débarrasser»; 1954), «Убийца по призванию» («Tueur sans gages», 1958), «Воздушный пешеход» («Piéton de l'air»; 1962; рус. пер. 1967) и др., книги «Театр» («Théâtre»; t. 1—5, 1962—1974), в «ИЛ» напечатана его пьеса «Носорог» (1965, № 9), в 1990 г. Библиотека «ИЛ» выпустила сборник, в который вошли пьесы «Лысая певица», «Стулья», «Жертвы долга», «Бескорыстный убийца».
Книга «Белое и черное» вышла во Франции в 1981 г. («Le blanc et le noir». Paris, Gallimard, 1981).

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.) — переводчик, литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги очерков «Французская литература наших дней» (1967), сборников переводов «Поль Элюар. Стихи» (1971), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976), «Страницы африканской поэзии. XX век» (1980), переводил стихи Г. Аполлинера, Сен-Жон Перса, Р. Шара, П. Сегерса, А. Френо, Ж. Рубло («ИЛ», 1988, № 1), Гильвика, Боске, Я. Рицоса и др. В его переводах издавались романы: «Воспоминания Адриана» М. Юрсенар, «Большой Мольн» Алена-Фурнье, «Ночной полет» и главы из книги «Цитадель» А. де Сент-Экзюпери, «Мадрапур» Р. Мерля («ИЛ», 1993, № 6), повести «Взгляд египтянки» («ИЛ», 1977, № 1) и «Дитя-зеркало» Р. Андре («ИЛ», 1981, № 6), эссеистика А. Моруа, А. Мальро и др.

ГИНЗБУРГ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — литературовед, переводчик с французского. Переводила произведения А. Камю: пьесу «Калигула», отрывки из книги «Человек бунтующий»; статьи А. де Сент-Экзюпери, Клоделя. Автор работ о Шекспире, Монтене, Мольере.

ШАХОВСКАЯ НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА — переводчик с французского. В ее переводах публиковались стихи Ж. Расина, Л. Лабе, П. дю Гийе, Клода ле Пти, стихотворная сказка Вольтера «Кто нравится дамам».

МАВЛЕВИЧ НАТАЛИЯ САМОЙЛОВНА — переводчик с французского. Переводила «Сказки Кота Мурлыки» М. Эме, рассказы Лотреамона, «Портреты-воспоминания» Кокто, рассказы Б. Виана.

МОРОЗОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА — кандидат филологических наук, переводчик с французского. Переводила пьесы А. Бенедетто, романы П. де Террайля, Э. Сю «Утес дьявола», сборник новелл Д. Альфонса Франсуа де Сада «Соперница собственной дочери». В «ИЛ» в ее переводе напечатаны новеллы Д.А.Ф. де Сада из книги «Преступления любви» (1992, № 1).

СТАФ ИРИНА КАРЛОВНА — литературовед и переводчик с французского, кандидат филологических наук. Автор работ по истории французской литературы эпохи Возрождения. В ее переводах выходили произведения Джакомо Казановы, Стефана Малларме, Андре Жида, Ромена Роллана и др.

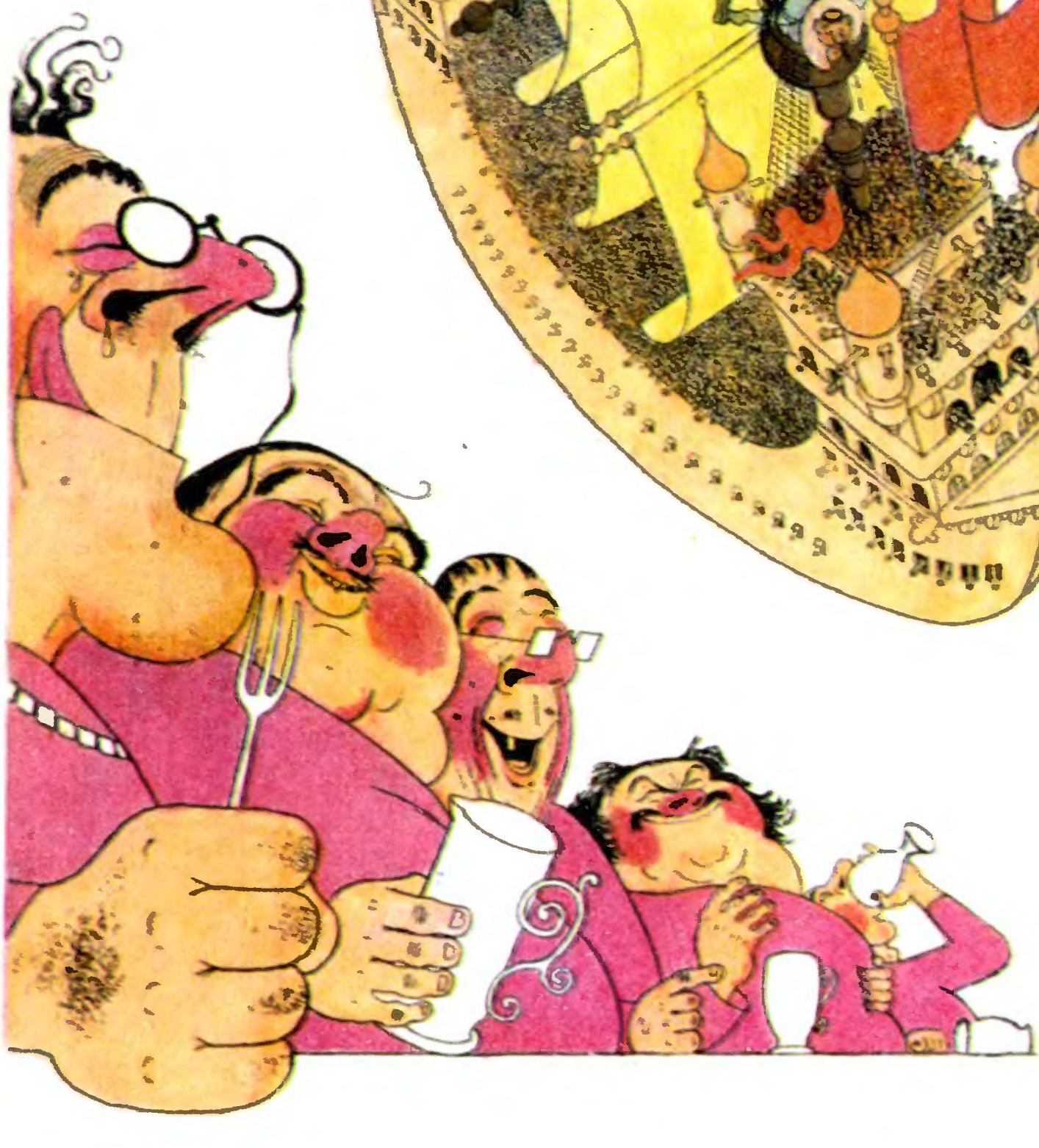
ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — переводчик. В его переводах публиковались стихи испанских поэтов: Ф. Гарсиа Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских: А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских: П. Верлена, Г. Аполлинера. В «ИЛ» печатались его переводы стихов Сесара Вальехо (1983, № 8), андалусская песенная поэзия «Каде хондо» (1986, № 7). Лауреат премии «ИЛ» (1985).

СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1939 г.) — поэт, прозаик, переводчик с французского. В его переводах публиковались стихи А. Шенье, Э. Верхарна, А. Рембо, Ф. Вийона, А. Боске, романы М. Бети «Помни Рубена», С. Бадиана «Кровоточащие маски», А. Камю «Счастливая смерть» («ИЛ», 1992, № 2), повесть Вольтера «Белый бык», роман-репортаж Р. Мерля «Солнце встает не для нас» («ИЛ», 1988, № 10), А. Камю «Человек бунтующий» (главы из книги; «ИЛ», 1990, № 5, 6) и др.

Редакция журнала
«Иностранная литература»
благодарит всех,
приславших соболезнование
в связи с кончиной
нашего Главного редактора
ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИНА ЛАКШИНА.

ulrich
gallé

Riflandmülle



ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1993, № 10 1—272